

ТЕОДОР
ФОНТАНЕ

*Шах
фон Вушенов*



Пусти-перепустья



*Госпожа
Женни
Трайбель*



ТЕОДОР ФОНТАНЕ

*Шах
фон Вутенов*

*

Пути-перепутья

*

*Госпожа
Женни
Трайбель*

Перевод с немецкого



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1971

И (Нем)
Ф 78

THEODOR FONTANE
SCHACH VON WUTHENOW (1883)
IRRUNGEN, WIRRUNGEN (1888)
FRAU JENNY TREIBEL (1892)

Предисловие *И. ФРАДКИНА*
Комментарии *Н. БЕРНОВСКОЙ*

Оформление *А. ЛЕПЯТСКОГО*
Гравюры *А. ГОЛИЦЫНА*

«ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» ТЕОДОРА ФОНТАНЕ

Все, писавшие о Теодоре Фонтане (1819—1898) — литературоведы, критики, эссеисты, — неизменно употребляли формулу «старик Фонтане». Слово окаменевший эпитет, обозначение «старик» прочно приросло к имени этого выдающегося писателя. Между тем он не был каким-то особенно уникальным «долгожителем» среди немецких художников слова. Вильгельм Раабе или Густав Фрейтаг умерли в том же возрасте, а Фридрих Шпильгаген или, например, Герхарт Гауптман достигли и более глубокой старости. Но «стариком» в сознании читателей и историков литературы остался лишь Фонтане.

Творческая судьба этого писателя сложилась необычно. Еще в юности он осознал свое призвание, с середины 30-х годов XIX века начал писать и в течение четырех с лишним десятилетий был продуктивно работающим литератором, автором многих книг публицистического, политико-репортажного, культурно-исторического и публицистического характера. Он был особенно замечателен как поэт, и некоторые его баллады вошли во все хрестоматии. Но при всем том неутомимая литературная деятельность Фонтане на протяжении едва ли не полувека была ненормально затянувшейся предлюдией к тому главному, что ему еще суждено было совершить, и свое истинное место в истории немецкой литературы, в европейском реализме XIX столетия он обрел лишь произведениями, написанными в старости. Свой первый роман — «Перед бурей» — он закончил на пороге шестидесятого года жизни, а такие его шедевры, как «Эффи Брист», «Пути-перепутья», «Госпожа Желанная Трайбель» и др., относились к еще более позднему времени.

Случай, конечно, в истории литературы исключительный — чтобы подлинная зрелость и творческие свершения пришли к художнику лишь в ту пору, когда обычно писатель уже миновал

свой зенит и его произведения обнаруживают признаки истощения таланта. Это столь позднее воплощение долголетних наблюдений и жизненного опыта было вынужденным: прежде чем отважиться приступить к работе над романами и повестями, в совокупности своей составившими нечто вроде «человеческой комедии» бисмарковской Германии, Фонтане должен был десятилетиями тянуть ляжку журналиста-поденщика. «Безденежье и нужда порождают чернильных рабов», — писал он в 1891 году в статье «Общественное положение писателей», после того как ему пришлось в 50—60-е годы самому вдосталь отведать доли «чернильного раба» консервативной правительственной печати.

Впрочем, формула «старик Фонтане» не только констатирует тот элементарный факт, что значительнейшие произведения этого писателя создавались им в преклонном возрасте. Они и несут на себе — в трактовке и оценке человеческого поведения, в общем тоне жизнесприятия, в характере юмора — явственный отпечаток возраста. Трезвость и пронизательность в понимании людских страстей и общественных пороков соединяются в романах и повестях Фонтане с известной умиротворенностью конечных выводов. Радикализм юности сменился в них терпимостью, и мудрость жизни нередко выступает в форме житейской умудренности.

* * *

Известный немецкий критик Пауль Рилла следующим образом охарактеризовал позднее творчество Фонтане: «То, что Фонтане был принужден идти против своих собственных консервативно-прусских симпатий, то, что он видел неизбежность падения своего с ироническими оговорками любимого бранденбургского дворянства и описывал прусские порядки как косную условность, не заслуживающую лучшей участи, и то, что он видел способности, душевное величие и будущее в тех людях, от которых официальное общество Германской империи высокомерно и с возмущением отворачивалось, — это нужно считать одной из величайших побед реализма, одной из величайших особенностей старика Фонтане».

Легко заметить, что приведенная характеристика представляет собой очень близкий к исходной формуле парафраз известного высказывания Энгельса о Бальзаке: «В том, что Бальзак таким образом вынужден был идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков, — писал Энгельс Маргарет Гаркнесс, — в том, что он *видел* неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи, и в том, что он *видел* настоящих людей

будущего там, где их в то время единственно и можно было найти,— в этом я вижу одну из величайших побед реализма и одну из величайших черт старого Бальзака»¹.

Конечно, в смысле широты и универсальности нарисованной обоими писателями реалистической картины буржуазного общества и в смысле глубины художественного обобщения Фонтане не достигал уровня Бальзака. Различие между ними определялось и разными масштабами дарований, и несовпадением национально-исторических условий действительности, породившей их творчество и по-разному определившей границы возможностей обоих писателей. В романах Фонтане мы не встретим такой остроты драматических коллизий, столь сильных характеров и бурных страстей, которыми отмечены произведения Бальзака. Но при всем том сближение этих имен не случайно: Бальзак и Фонтане во многом стояли перед сходными общественно-историческими проблемами, на сходных путях искали их разрешения и приходили в ряде случаев к сходным выводам.

Романы и повести Фонтане заключали в себе реалистическую историю немецкого общества в десятилетия, последовавшие за объединением Германии. Скептически и настороженно наблюдал писатель за быстрым изменением облика империи, которая, впитав золотой дождь французских миллиардов, пройдя через годы грюндерства, стремительно шла вперед по пути капиталистического развития и готовилась к решительной схватке за передел мира. В письмах и дневнике Фонтане постоянно сопровождал политику германского правительства, речи и действия Бисмарка и августейших особ резким критическим комментарием, но еще больше, чем политика сама по себе, его тревожило ее преломление в быту и нравах, ее пагубное влияние на человеческую личность, на умственное и нравственное состояние общества.

Жалобы на шовинистическую спесь и милитаристскую ослепленность господствующих классов и поразительное сочетание в их общественном поведении холопства с отталкивающим кастовым высокомерием, упреки в стяжательстве, в холодном и бездушном карьеризме,— все это на протяжении многих лет составляло лейтмотив писем Фонтане. В лавине обвинений, обрушиваемых писателем на общественные верхи гогенцоллерновской империи, он умел, однако, различать главное зло, от которого производил все человеческие пороки. «Буржуазный дух является в настоящее время определяющим»,— так писал Фонтане 25 августа 1891 года дочери, и в этом же письме он высказал свое отношение к буржуазии в весьма примечательной формуле: «Я ненавижу все

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 37, стр. 37.

буржуазное с такой страстью, как если бы я был завзятым социал-демократом».

Ценности, презираемые в буржуазном мире, Фонтане искал в другом лагере. Он неоднократно признавался в своих симпатиях к представителям дворянства, в своем влечении к бранденбургскому юнкеру как определенному человеческому типу. «Бранденбургские юнкеры и сельские пасторы, несмотря на их огромные недостатки, остаются моим идеалом, моей тихой любовью», — так заметил Фонтане в письме к жене от 9 июля 1884 года, и эта «тихая любовь» (в соединении с критикой «огромных недостатков») сложным образом отразилась в его творчестве.

Общественная позиция Фонтане была замечательна в том отношении, что, при всей своей ненависти к «вульгарному денежному выскочке» и симпатии к дворянству, он не питал никаких исторических иллюзий и не выдвигал утопических программ. Он был твердо убежден в необратимости исторического развития и не только не верил в патриархальную идиллию «доброе старое время», в возможность возврата феодальных, сословно-иерархических порядков, но и понимал социальную пагубность подобных реакционных идеалов. В отличие от многих писателей-современников (например, от Раабе), он не предавался идеализации капиталистических форм жизни, не испытывал суеверного страха перед городской цивилизацией, а, напротив, всегда приветствовал прогресс и осуждал лица, сословия и классы, не желающие или не способные понять задачи времени и идти в ногу с ним.

Такой исторический реализм вносил определенные коррективы в его отношение к буржуазии и юнкерству. Принятие капиталистического развития сопровождалось отвращением к буржуазии, а известное пристрастие к дворянству сталкивалось со все возрастающим осознанием его исторической обветшалости. Персонажи из юнкерской среды действуют во всех романах и повестях Фонтане. При этом «тихая любовь» писателя к своим героям с каждым годом все больше отступала на задний план перед сатирическим изображением их «огромных недостатков».

Правда, в произведениях Фонтане, в которых выведены представители дворянства, наряду с лицами, воплощающими политическое ретроградство, неумеренные общественные претензии, рабское поклонение условностям, непонимание жизни и прочие неисцелимые пороки этого сословия, выступают часто и дворяне другого склада, носители принципов великодушия, простоты, естественности и некоего органического «демократизма». Очевидно, это — белые вороны среди юнкеров, чудаки, оригиналы, отчасти даже отщепенцы; их привлекательность базируется в конечном счете на том, что они находятся за пределами сословного образа

мыслей и поведения. Писатель понимал социальную нетипичность этих персонажей, когда так характеризовал замысел романа «Штехлин»: «Противопоставление дворянства, каким оно у нас должно было бы быть, тому, какое оно есть» (письмо К.-Р. Лесингу, 8 июля 1896 г.).

Правдивое изображение дворянства таким, «какое оно есть» (вопреки «тихой любви» писателя к нему), было несомненно «одной из величайших побед реализма» в творчестве старика Фонтане, но победой отнюдь не стихийной, слепой и неосознанной. Письма Фонтане последних лет жизни пестрели резкими выпадами против дворянства, против неправомерной концентрации политической власти в его руках. «Человечество начинается не с барона, — писал Фонтане дочери 22 августа 1895 года, — а ниже, в четвертом сословии; три остальных пора похоронить». Еще более решительно и более развернуто эта мысль выражена в письме Фонтане к его английскому другу — Джемсу Моррису — 22 февраля 1896 года. Чрезвычайно высоко оценивая английскую газету «Лейбор лидер», орган независимой рабочей партии, Фонтане замечает: «Все интересное сосредоточено в четвертом сословии. Буржуа отвратители, а дворянство и духовенство отжили свое и все время повторяют зады. Начало нового, лучшего мира заключено в четвертом сословии... То, что рабочие думают, говорят и пишут, уже фактически опередило мысли, речи и писания старых правящих классов. Все у них гораздо натуральнее, правдивее и более жизненно. Они, рабочие, за все берутся по-новому, не только стремятся к новым целям, но и идут новыми путями».

Сознание того, что будущее принадлежит рабочему классу — причем это сознание не сопровождалось у Фонтане, в отличие от многих его современников, зловещим предчувствием «гибели культуры», страхом перед грядущим «торжеством варварства» и т. д. — свидетельствовало в каком-то определенном смысле о столь высоком уровне исторического мышления, какого, пожалуй, никто из представителей реализма XIX века не достигал. И все же перейти на позиции рабочего класса Фонтане не сумел — ни в своих общественно-политических воззрениях, ни в художественном творчестве.

Почти все произведения Фонтане посвящены в различных вариантах разрабатываемой теме, представляющей собой один из аспектов генеральной темы литературы критического реализма, конфликта личности и общества. В романах писателя изображаются светские люди, представители высших общественных сословий, в стремлении к личному счастью вступающие в столкновение с обычаями, традициями и нормами поведения своей среды, с мертвыми и фальшивыми, но тем более жестокими и деспоти-

ческими условностями света. «Каждый человек,— писал Фонтане,— имеющий мужество воспринимать вещи иначе, чем остальное стадо... вызывает у меня интерес».

«Воспринимать иначе» — этим, однако, и исчерпывается мужество героев Фонтане. Они боятся крайних выводов и не решаются смело и сознательно порвать со своей средой. Это не борцы, желающие разрушить или преобразовать существующие порядки, не обвинители и протестанты, а преимущественно слабые натуры, «натуры самоотречения», отступающие перед косной силой предрассудков, капитулирующие перед «необходимостью» и требованиями среды, смиряющиеся или добровольно уходящие из жизни. Свою правоту, если они ее даже и осознают, они оставляют при себе, как свое самое ценное и сокровенное достояние, но не переносят ее в плоскость практического действия и общественной борьбы.

Глубокий и сочувственный интерес Фонтане к «четвертому сословию» нашел отражение в его творчестве. Во всех его произведениях действуют плебейские персонажи. Более того: он неизменно показывает в своих романах моральное превосходство людей из народа над господами. Свободные от тирании светских условностей, от кодекса ложной чести и сословного тщеславия, они возвышаются над представителями юнкерских и буржуазных кругов естественностью, добротой, чистой, человеческой моралью. Но и плебейские персонажи Фонтане, при всем своем отличии от господ, тоже принадлежат к «кротким натурам». Их добродетели — верность, скромность и отсутствие претензий, выходящих за рамки их социального положения.

Пытливая мысль Фонтане и его дар реалистического видения жизни помогли ему пролить свет на многие темные стороны современной ему действительности, познать многие ее сложные явления и проблемы. Но, пройдя в поисках истины плодотворный, полный открытий путь, он в итоге останавливается перед противоречием, которое не в силах разрешить: в его творчестве сочетаются резкая критика, отрицание буржуазного общества и строя Германской империи и одновременно неспособность воодушевиться идеей революционного преобразования жизни.

* * *

Первенцем эпической прозы Фонтане был роман «Перед бурей» (1878). Над этим произведением писатель работал с перерывами более пятнадцати лет, и поэтому оно запечатлело в себе ту эволюцию социально-политических взглядов, которую Фонтане проделал в течение 60—70-х годов. В нем не было целостности:

консервативные идеи, присущие автору на предыдущем этапе его творчества, причудливо соседствовали в романе с прогрессивными воззрениями; и в художественном отношении он свидетельствовал еще о неопытности писателя и уступал его последующим романам. Сам Фонтане, посвятивший этому произведению так много времени и труда, впоследствии быстро охладел к нему. «...Роман, о котором я всегда забываю, что его написал», — так пренебрежительно отзывался Фонтане о своем первенце в письме к жене 16 июня 1883 года.

Писатель стремился в своем первом романе нарисовать всеобъемлющую картину политического состояния, быта и нравов различных слоев прусского общества «перед бурей», то есть накануне национального подъема и антинаполеоновской войны 1813 года. Социальная широта панорамы, обилие действующих лиц из всех классов и сословий, многоплановая эпическая композиция — все имело своей целью полно и правдиво передать изображаемую эпоху. Между тем этой полноты и исторической правдивости Фонтане достичь не удалось, поскольку из его поля зрения выпало главное — демократический, проникнутый пафосом прогрессивных общественных преобразований характер народного подъема.

Фонтане видит и изображает преимущественно одну сторону народного движения — ненависть к чужеземному владычеству. Но то, что за этой ненавистью скрывался патриотизм разных толков, вернее, патриотизм истинный и показной, то, что закосневшая в своей реакционности придворная камарилья стремилась к реставрации феодально-крепостнической Пруссии, окончательно уничтоженной под Иеной и Ауэрштедтом, в то время как передовые люди, не оставшиеся глухими к идеям французской революции, добивались конституции, гражданских прав и демократических преобразований, то, что тупые юнкеры ненавидели и боялись своих свободолюбивых соотечественников больше, чем французских завоевателей, и поэтому не раз были готовы предать знамя национально-освободительной борьбы, — все это, то есть подлинная правда о 1813 годе, в романе «Перед бурей» находит свое отражение лишь в немногих эпизодах.

Центральной фигурой романа, главным организатором движения против французского владычества писатель вывел Берндта фон Вицевица. В этом образе своевольного юнкера, исполненного феодальной гордыни и даже фрондирующего против короля («Мы были здесь еще до Гогенцоллернов!»), легко узнать подлинное историческое лицо, Людвига фон дер Марвица, возглавлявшего оппозицию справа реформам Штейна и Гарденберга и известного своей ультрареакционностью. Придав этому закоренелому ретро-

граду столь преувеличенное значение и обрисовав его с нескрывае­мой симпатией, Фонтане оставил в тени людей типа Шарнгорста и Гнейзенау, Штейна и Арндта, то есть тех, кто, восприняв идеи, шедшие из-за Рейна, провел прогрессивные преобразования и сумел поднять Пруссию после иенского разгрома и Тильзитского мира из бездны национальной катастрофы на вершины освободительной войны.

За романом «Перед бурей» последовали небольшие исторические повести «Грете Минде» (1880) и «Эллернклип» (1881), завершилась же работа Фонтане над историческими темами созданием одного из его шедевров — повести «Шах фон Вутенов» (1883), которая соединила в себе зрелое художественное мастерство с отчетливо выраженными новыми демократическими чертами мировоззрения. В этой повести писатель произвел окончательный расчет с консервативными старопруссскими идеалами, которым он прежде поклонялся.

События, описываемые в «Шахе фон Вутенов», развертываются летом 1806 года, в недели, предшествующие разгрому Пруссии под Иеной, и действие повести, все мысли и высказывания персонажей,— все овеяно ощущением близкой гибели прогнившего, внутренне несостоятельного режима. Эта обреченность старой Пруссии выражена в повести не столько через описание хода исторических событий, сколько через изображение частной жизни и характеров людей, воплощающих в себе типические черты времени и общественной среды. «Шах фон Вутенов» относится к произведениям, глубоко раскрывающим, по выражению Белинского, «связь исторической жизни с частною».

Фонтане рассказывает об одном действительном происшествии, упоминание о котором он вычитал в старинных мемуарах. Героем этого происшествия является родовитый юнкер и потомственный прусский офицер Шах фон Вутенов. В кругу столичных дворян он слыет мужем чести и долга, человеком строгих правил, иногда педантичным, но безусловно нравственным и светски воспитанным. Но как в своих добродетелях, так и в слабостях Шах — покорное дитя своей среды, верное зеркало понятий, распространенных и господствующих при дворе, в офицерском собрании и в аристократических салонах. Эта среда формирует все интересы и честолюбие Шаха, сводящиеся к тому, чтобы служить украшением великосветского общества и быть кумиром интимного окружения принца.

Объективно идеалы и устремления Шаха мелки и суетны, и поэтому коллизия, которая приводит его к гибели, воспринимается скорее как трагикомическая, чем как трагическая. Оказавшись сломленным совсем незначительным испытанием, он обнаруживает

таким образом свое духовное, нравственное и волевое ничтожество. Боясь утратить свой авторитет в свете, боясь стать предметом насмешек, Шах сначала отступает от собственных моральных правил и трусливо пытается нарушить свой долг, а затем, выполнив его лишь по прямому приказу короля, в день вынужденной свадьбы кончает жизнь самоубийством. Мысленно он уже слышал злые эпиграммы Цитена, уже рисовал себе мрачную картину прощания со двором и унылого прозябания в сельской глуши. «Вот чего он испугался,— вспоминает о нем Виктуар Карайон.— Он вдруг увидел перед собой мелкую, ограниченную жизнь,— он, стремившийся к... я не решаюсь сказать: к значительному, но к тому, что ему представлялось значительным». Поэтому пуля показалась Шаху единственно возможным выходом из тупика.

«Маленький человек в больших сапогах»,— такую злую и убийственно точную характеристику дает Шаху его антагонист и отчасти авторский alter ego¹ Бюлов. Но этим определением умный наблюдатель и критик своего времени метил не в одного лишь Шаха. Ведь не случайно он называл этого гвардейского ротмистра и придворного баловня «воплощением прусской ограниченности»; все чванливое, полное амбиции и претензий прусское королевство, обещавшее наследие Фридриха II, было державой «маленьких людей в больших сапогах». Эти люди, носившие обувь не по росту — Шах был их типичнейшим представителем,— предавались иллюзиям, считали себя вершителями судеб Европы, были убеждены, что «земля на плечах Атласа покоится менее надежно, чем Прусское государство на плечах прусской армии», и в слепоте своей не ведали, что их Пруссия и их армия подобны, по выражению Мирабо, «плоду, сгнившему еще до того, как он созрел», что они доживают последние дни.

История гибели Шаха изображена в повести как исполненная символического смысла предыстория гибели старой Пруссии. «...Я хотел,— писал Фонтане Матильде фон Рор 13 июля 1882 года,— через эту историю дать одновременно картину эпохи, хотел, по существу, показать, что это происшествие относится специфически к данной эпохе». Шах пал жертвой своих ложных представлений о чести, своего неизлечимого пристрастия к видимости, которую он ставил выше сущности, к внешнему блеску и мишуре, которые он ценил больше, чем духовные и нравственные достоинства. Той же болезнью страдала и феодально-абсолютистская Пруссия, и это предвещало ей судьбу Шаха. И как бы выводом от имени автора резюме повести, Бюлов пишет своему другу Зан-

¹ Другое «я» (лат.).

деру накануне сражения при Иене: «Война объявлена. А что это означает, я отчетливо вижу духовным взором. Мы погибнем из-за тех же иллюзий, из-за которых погиб Шах».

В те годы, когда Фонтане повестью «Шах фон Вутенов» завершал цикл своих исторических произведений, он одновременно работал над своей первой повестью на современную тему. Эта повесть «Неверная жена», положившая начало циклу так называемых «берлинских романов», вышла в свет в 1882 году.

Главной темой повести «Неверная жена» является конфликт, впервые намеченный еще в «Шахе фон Вутенов» и проходящий красной нитью через все последующие произведения Фонтане,— столкновение личности с деспотической властью светских условностей, с враждебным человеческому счастью гнетом казенной морали и ложной чести. В основе почти всех романов и повестей писателя лежит в общих чертах следующая сюжетная ситуация: герой или героиня, влекомые чувством, вступают в противоречие с традициями, обычаями, предрассудками, писаными и неписаными законами своей среды, но жестокая сила общественного уклада одерживает верх над порывами героев. В этом смысле повесть «Неверная жена» в творчестве Фонтане стоит несколько особняком. Ее героиня Мелани ван дер Страатен, изменив нелюбимому мужу, покинув дом и семью и связав свою судьбу с другим человеком, после некоторого периода моральных страданий, материальных невзгод и общественного бойкота все же вновь обретает положение в свете, удостоивается уважения людей своего круга.

Впрочем, значительным художественным завоеванием Фонтане в повести «Неверная жена» является не столько образ Мелани, сколько образ ее мужа, одного из финансовых тузов столицы, коммерции советника ван дер Страатена, человека, который «на бирже пользовался безусловным признанием, а в обществе — лишь условным». В этот образ писатель вложил типические черты буржуа, богача-парвеню. В морально-психологическом облике ван дер Страатена отчетливо проявляется его социальная сущность как человека, положение которого в жизни и обществе определяется не его личными качествами, а силой и властью денег. Здесь возникает антибуржуазная тема, которая проходит затем через все творчество Фонтане и с особой силой звучит в романе «Госпожа Женни Трайбель».

По теме и сюжету к «Неверной жене» довольно близко примыкает повесть «Сесиль» (1886), которая является как бы промежуточным звеном между «Неверной женой» и «Эффи Брист». 80-е годы писатель завершил также созданием двух очень важных для уяснения его идейно-художественного развития

произведений — романа «Пути-перепутья» (1888) и повести «Стина» (1890).

Один из исследователей творчества Фонтане — Конрад Вандрей — называет «Неверную жену» и «Сесиль» «светскими», а «Пути-перепутья» и «Стину» «социальными повестями». Смысл этого разграничения понятен. В первых двух повестях конфликт не выходит за рамки социально однородной среды: ван дер Страатен, Мелани, Рубейн, равно как и Арно, Сесиль и Гордон, — люди одного круга, они принадлежат к официальному берлинскому обществу, и драматические коллизии, в которые они вступают, не имеют собственно сословной или классовой подоплеки. Другое дело — «Пути-перепутья» и «Стина», где основной пружиной конфликта является мотив социального неравенства. В «светских повестях» Фонтане вскрывает ложь, неискренность, отношения купли-продажи, то есть фактическую безнравственность, которая нередко таится в буржуазной семье и в законном браке под покровом благопристойности, безупречного соблюдения внешних форм и требований светского приличия. И напротив, в «социальных повестях» писатель показывает, что во внебрачных связях, осуждаемых с точки зрения официальной морали, может быть заключено гораздо больше чистого чувства и истинной, далекой от ханжества нравственности.

Сюжетную основу романа «Пути-перепутья» составляет история любовной связи гвардейского офицера барона Бото фон Ринекера и швеи Лены Нимпч. Эта связь резко отлична от распространенных в высшем свете легковесных интрижек или подобных торговой сделке отношений с женщинами «нижнего круга». Бото и Лену соединяет сильное, искреннее чувство, не связанное с какими-либо практическими расчетами. Бото, прусский юнкер, для которого моральный кодекс его класса является аксиомой и который свято верит в справедливость и нерушимость сословной иерархии, даже и не помышляет о женитьбе на швее. И Лена, трезво, без иллюзий смотрящая на жизнь, исполненная плебейской гордости и чувства собственного достоинства, вовсе не собирается стать баронессой. В то время как Бото до поры до времени еще тешит себя несбыточными мечтами о неофициальных, но длительных отношениях, Лена ясно понимает, что вскоре внешние силы, рок социального неравенства их разлучат.

И действительно, Бото оказывается перед необходимостью немедленного и решительного выбора. Род фон Ринекеров, подобно многим знатным дворянским фамилиям, в материальном отношении оскудел, и ныне, как выражается офицер Питт, Бото «получает в год девять тысяч, а проживает двенадцать». Лишь выгодная и, разумеется, отвечающая сословным требованиям женитьба

может спасти положение. Борьба в душе Бото продолжается недолго, ибо ему страшна даже мысль о разрыве со своей средой, о перемене привычек и условий жизни. «Кто я такой? Самый заурядный представитель так называемых высших слоев общества. Что я умею? Я умею выездить лошадь, разделать кашлуна и поддерживать игру. Вот и всё, значит, выбирать мне придется между амплуа циркового наездника, старшего кельнера и крупье...» Чтобы избежать такой будущности, Бото женится на невесте с большим приданым, девушке своего круга, и кладет конец идиллии со швейей.

В романе «Пути-перепутья» становится уже отчетливо заметной та черта творчества Фонтане, которая получит еще большее развитие в его дальнейших произведениях: исключительный интерес писателя к людям, как он любил выражаться, «из четвертого сословия». Наряду с помещиками и коммерсантами, офицерами и крупными чиновниками, внимание Фонтане все чаще начинают привлекать швей, слуги, извозчики, садовники, причем их доброта, человечность, юмор, естественность и простота — все это возвышает их над господами.

Бото не какой-нибудь пошлый соблазнитель, он искренне любит Лену, он доброжелателен и прост в обращении и принадлежит отнюдь не к худшим представителям своего сословия. Но насколько он слабохарактерен и инертен по сравнению с Леной, как он эгоистичен в любви и не способен на самоотверженные поступки! Это нравственное и волевое (вообще — человеческое!) превосходство Лены над Бото не вытекает просто лишь из случайного столкновения личных качеств двух людей: в этом личном превосходстве заключено превосходство социальное. Люди из плебейской среды в силу условий своего общественного бытия свободны от тех бессмысленных и бесчеловечных предрассудков, ложных представлений о чести и долге и прочих жестоких фетишей, которым вольно или невольно поклоняются представители великосветского общества.

И все же, наряду с таким выводом, более чем критическим по отношению к общественным верхам, сквозь весь роман проходит идея о необходимости сохранения сословных перегородок, о пагубности покушений на традиции и моральные устои существующих отношений между высшими и низшими классами. Бунт против законов света неразумен и безнадежен, и нужно уметь жить в этих, пусть порою стеснительных, но нерушимых границах. Это понимают и соответственно действуют оба героя — не только барон Бото фон Ринекер, признающий, что «происхождение определяет наши поступки», но и швея Лена Ничпч, которая «знает свое место» и не посягает на большее. И вслед за своими

героями Фонтане также склоняется к мысли, что соблюдение социальной иерархии — необходимость, не лишенная своего резона. Вспомним такой штрих: Лена не может прочесть английский текст под картиной, и это ее болезненно задевает, так как дает ей почувствовать ту духовную дистанцию, разницу в образовании и воспитании, которая отделяет ее от Бото. Из многих таких штрихов вырастает общее впечатление, к которому и подводит писатель: связь Бото и Лены не прочна, не органична, в ней отсутствуют духовное равенство и общность интересов и вообще — сословные устои имеют свои разумные основания.

В письме к Ф. Стефани 16 июля 1887 года Фонтане так формулирует идею своего романа: «Обычай властвует и должен властвовать! Но в этом «должен» заключено немало горького и сурового. И именно потому, что все есть так, как есть, лучше всего держаться подальше и не покушаться на этот порядок. Кто пренебрегает этой наследственной и благоприобретенной мудростью — о морали я предпочитаю не говорить, — тот не будет больше знать радости в жизни». Эта мысль находит своеобразное воплощение в сюжете и композиции романа «Пути-перепутья».

Может показаться, что роман завершен шестнадцатой главой. В первых шестнадцати главах тема как будто исчерпана, конфликт доведен до развязки: Бото расстался с Леной, женился на Кете Селлентин, временный и непрочный союз барона и швеи распался... Все! К чему же последующие десять глав, в которых ничего особенного не происходит? Не являются ли они лишними? Отнюдь! В авторской концепции романа эти десять глав для того именно и нужны, чтобы показать, что после разрыва Бото и Лены и возвращения их в прежнее русло жизни, предназначенное каждому из них их сословным положением, «ничего особенного не происходит»: герои романа постепенно оправляются от перенесенной травмы; для Бото брак оказывается не только материально выгодным, но и не тягостным по существу — жена любит его, она красива, весела, у нее легкий характер; для Лены тоже находится хороший человек, который женится на ней, не придавая значения ее прошлому. В итоге любовь Бото и Лены отодвигается в область несколько элегических, умиротворенных воспоминаний, и читатель убеждается, что торжество сословных принципов ведет не к хаосу, а напротив — к установлению порядка в жизни героев. Так композиция романа оказывается нераздельно слитой с идейным замыслом автора.

Другая особенность построения романа «Пути-перепутья» заключается в том, что основные темы, проходящие сквозь все повествование, сопровождаются параллельно развивающимися и пере-

плетающимися вариациями, благодаря которым смысл этих основных тем выявляется ярче, полнее и разностороннее.

Такой темой с вариациями является, например, история Лены. Драматизм ее судьбы и противоречия между чистотой ее чувства и общественной двусмысленностью ее положения как любовницы аристократа достигают особой выразительности в результате введения в роман ряда в чем-то близких Лене и в то же время контрастных образов. Такова приятельница семьи Нимпч, госпожа Дёрр. Прежде, в молодости, она в течение ряда лет была содержанкой какого-то старого графа. «Она и вспоминает-то про это,— рассказывает Лена,— как про тягостную повинность, которую честно отбыла — из чувства долга». Лена не состоит на содержании, а зарабатывает себе на жизнь трудом своих рук и притом любит Бото искренне и бескорыстно. Все равно аналогия — пусть даже чисто внешняя, по существу, мнимая — неотступно стоит перед ее глазами, заставляет ее чувствовать объективную унижительность своего положения.

Еще острее драматизм судьбы Лены раскрывается в эпизоде пикника, во время которого Бото и Лена случайно встречают трех офицеров с их любовницами. Эта встреча грубо разрушает царившую до того атмосферу, пронизанную светлым чувством взаимной любви и исключаящую мысль о социальном неравенстве. Лена видит в облике своих нечаянных подруг, корыстных, вульгарных, лишенных достоинства и самолюбия содержанок, собственное (пусть даже искаженное!) отражение. Неужели и она, Лена Нимпч, так же выглядит в глазах окружающих, может быть, даже в глазах самого Бото? В свою очередь, и Бото предстает перед ней в новом, неожиданном свете: следуя за своими товарищами, светскими бонвиванами, Бото переходит на небрежно-проницательский тон, в котором сквозит неуважение к «дамам» и сознание своего сословного превосходства. Все это оскорбляет Лену, ибо низводит ее до уровня заурядных кокоток.

Тема Бото также сопровождается оттеняющими ее вариациями. Если одной из таких вариаций является мотив легкомысленного аристократического жуирования (см. встречу во время пикника), то другая вариация передана через образ офицера Рексина, искренне и глубоко любящего девушку из простонародья. Он обращается к Бото за советом как раз тогда, когда тот сам стоит перед необходимостью решить для себя такой же вопрос. Давая совет Рексину, Бото словно обращается к себе самому. Эпизод с Рексином выполняет очень важную функцию: он дает возможность коллизии, в которой находится герой, передать не только через его субъективное переживание, но и увидеть и взвесить ее с объективных позиций.

Роман «Пути-перепутья» вследствие своей внутренней противоречивости вызвал в общественных и литературных кругах несовпадающие и подчас неожиданные оценки. Он заключал в себе поводы для недовольства как справа, так и слева. С одной стороны, буржуазно-юнкерская публика была шокирована «безнравственностью» сюжета и негодовала по поводу предпочтения, отдаваемого автором плебейству перед дворянством. Когда роман печатался в 1887 году в «Фоссише цейтунг», подписчики засыпали редакцию протестующими письмами, а один из владельцев газеты с раздражением спрашивал главного редактора: «Когда же наконец кончится эта отвратительная история о шлюхах?» С другой стороны, в социал-демократических кругах роман также был встречен отрицательно. Франц Меринг резко осудил его, увидев в нем некую «капиталистическую утопию», в которой отношения между антагонистическими классами изображаются в виде безмятежной идиллии, и социальным низам приписывается холопски верноподданническая психология.

Лишь считанные месяцы отделяют «Пути-перепутья» от повести «Стина», а между тем здесь — хотя писатель разрабатывает ту же проблему, беря за основу почти тот же сюжет, — акценты расставлены иначе и выражено уже другое отношение автора к «разумности» и «справедливости» существующего общественного уклада. В отличие от идиллического финала романа «Пути-перепутья», развязка «Стины» трагична. Молодой граф Вальдемар фон Гальдерн во имя своей любви к девушке-вязальщице Стине восстает против сословных устоев, но, оказавшись неспособным к борьбе, кончает жизнь самоубийством. Погибает и Стина.

Персонажи повести «Стина» сознают грозную силу сословных обычаев. Они готовы даже видеть в них нечто фатальное и непреодолимое, но ореола мудрости и справедливости эти обычаи лишены. И прежде всего этого ореола лишено — как в глазах автора, так и его плебейских персонажей — дворянство, класс, являющийся верховным хранителем всей сословной системы. Он изображен Фонтане без былой почтительности. В лице бонвиванов преклонных лет и опереточных рамоли с шутовскими прозвищами «Зарастро», «Папагено» и т. д. высшее сословие Германской империи предстает перед читателями в весьма непрезентабельном виде.

В повести «Стина» превосходство плебейских персонажей над высокородными проявляется еще более ярко, чем в предыдущих произведениях Фонтане. Это относится даже не столько к героине повести, довольно анемичной особе, сколько к ее сестре, вдове

Пительков, фигура которой явилась значительным художественным успехом писателя. Сам Фонтане относил образ вдовы Пительков к достижениям своего творчества. Эту свою мысль он даже запечатлел в шуточном экспромте:

В моем собрании картинок,
Пожалуй, не из лучших — Стина.
Она ни полтора, ни два,
Но какова зато вдова!

Рубеж 80—90-х годов был особенно продуктивным периодом в творчестве Фонтане. В это время писатель, следуя своей привычной манере, работал одновременно над несколькими произведениями. Переходя поочередно от одного к другому, писатель создал в эти годы повести «Матильда Мёринг» (1891) и «Поггенпулы» (1892), романы «Госпожа Женни Трайбель» (1892) и «Эффи Брист» (1895).

Роман «Госпожа Женни Трайбель» был итогом долголетних размышлений. Еще в мае 1888 года, осуществив первый набросок романа, Фонтане в письме к сыну Тео так определил свой замысел: «Смысл истории — показать пустую, выпрениую, лживую, высокомерную и жестокую сущность буржуа, у которого на устах — Шиллер, а в голове — Герзон»¹. А почти десятью годами позже, в своих мемуарах «От двадцати до тридцати», писатель так характеризовал людей с «мировоззрением денежного мешка»: «...все⁶⁶ они прикидываются идеалистами, как заводные разглагольствуют о «Красоте, Добре, Истине», а на самом деле поклоняются лишь золотому тельцу... Любой из них считает себя воплощением добра, между тем как в действительности их поступки определяются только стремлением к собственной выгоде, что знают и видят все на свете, кроме них самих. Сами же они, напротив, всегда подчеркивают благородство своих мотивов и неумолчно доказывают себе и другим свое полное бескорыстие. И каждый раз во время подобных тирад они излучают сияние, как праведники». Антибуржуазная критика, заключенная в таких высказываниях Фонтане, нередких в 80—90-е годы, точно совпадала с направленностью романа «Госпожа Женни Трайбель»; эти высказывания представляли собой как бы эскизы к портрету его главной героини.

Противоречие между «казаться» и «быть», между рекламной видимостью и сокровенной сущностью — главная черта госпожи коммерции советницы Женни Трайбель. Во время приемов в своей роскошной вилле эта парвеню, прорвавшаяся благодаря выгод-

¹ Герзон — владелец шикарного магазина мод в Берлине.

ному замужеству из мелких лавочниц в нувориши, имеет обыкновение, теща свое тщеславие, терзать слух гостей слащавыми романсами. Начало одного из них гласит:

Груз богатства, бремя власти
Тяжелее, чем свинец.
Есть одно лишь в мире счастье:
Счастье любящих сердец.

Эти слова, слыша которые гости каждый раз усмеваются и переглядываются,— боевой девиз госпожи советницы. В своих собственных глазах она бескорытна, предана высоким и светлым идеалам, презирает все низменное — и прежде всего деньги и материальные блага, и такое представление о себе она стремится внушить окружающим, преследуя их утомительными излияниями своего благородного сердца. Но люди, давно знающие Женни Трайбель, в девичестве Бюрстенбиндер, не обольщаются ни ее речами, ни романсами. Для профессора Вилибальда Шмидта она — «образцовая буржуазка», «дама опасная, тем опаснее, что сама этого не сознает и искренне внушила себе, что у нее чувствительное сердце, открытое «всему возвышенному». На самом же деле ее сердце устремлено только к материальному, к тому, что имеет вес, к тому, что приносит проценты... Когда понадобится выбрать партию, прозвучит лозунг «Золото — вот козырь» и ничего более».

Ход событий подтверждает правоту Шмидта: когда младший сын советницы Леопольд обручился с бесприданницей Коринной, дочерью старого профессора, и matrimониальные расчеты советницы, которые должны были принести дому Трайбелей полмиллиона в виде приданого, оказались под угрозой, она сразу сбросила с себя маску бескорыстного идеализма и показала свое подлинное лицо. Где там поэзия и прочие сантименты! С почти базарной вульгарностью (в этот момент в ней проснулась лавочница с Адлерштрассе), с яростью испуганной собственницы она ринулась в бой, чтобы расторгнуть помолвку сына. Тут уж ей было не до романа о «счастье любящих сердец». И не удивительно, что, наблюдая столь мало привлекательные проявления буржуазного естества госпожи советницы, старый Шмидт с философическим юмором замечает: «...не будь я профессором, я бы наверняка стал социал-демократом».

Образ Женни Трайбель вводит читателя в мир буржуазных отношений, буржуазной морали и психологии, в бесчеловечный мир, где деньги властвуют над чувствами, где корыстный расчет определяет судьбы людей. Женни Трайбель — наиболее колоритная представительница этого мира, но с ней перекликаются и ее дополняют некоторые другие персонажи. Такова прежде всего невестка главной героини, исполненная родовой (точнее, фирменной!)

спеси, дочь гамбургской патрицианской купеческой семьи Мунк, Елена. Она, как и Женни Трайбель, но в еще более вызывающей форме, заражена высокомерием и тщеславием, чопорна до уродства. Эта купеческая гордыня куда отвратительнее дворянской: дворянская имеет многовековую традицию и исторически выросла из иерархической структуры феодального общества, буржуазная же основана на гнусном принципе измерения достоинств человека весом его мощны. Из этого и проистекает кичливое презрение, которым взаимно преисполнены Женни и Елена, этим и вызвана смехотворная борьба «династических» самолюбий Трайбелей и Мунков, сопровождаемая шпильками по адресу «трайбелевщины» и «гамбурговщины». Но эту пикировку как рукой снимает, как только возникает угроза обоюдным коммерческим интересам обеих фирм. Перед лицом опасности, которую несет в себе предполагаемый брак младшего Трайбеля и Коринны Шмидт, спор о купеческом первородстве сразу смолкает, вчерашние враги становятся союзниками.

Галерея лиц, представляющих буржуазный дух в его различных ипостасях, в романе очень обширна. К ней относится и сам коммерции советник Трайбель, в котором «буржуа засел так же глубоко, как и в его сентиментальной супруге». Изображенный Фонтане, несомненно, с большей симпатией, нежели его жена, он, однако, чем-то ей подобен. Прежде всего тем, что и в нем гнездится противоречие между «казаться» и «быть». Если притворство и лживость Женни проявляются в широкой области моральных принципов, то «патриот и гражданин», как с циничной усмешкой аттестует себя глава фирмы Трайбель, ведет свою фальшивую игру в сфере политики. Прикидываясь бескорыстным рыцарем консервативно-монархической идеи, он в действительности глубоко равнодушен к любым идеям, ко всему, кроме собственной выгоды. Писатель с большим мастерством строит психологическую характеристику Трайбеля на комических контрастах между его речами и самоочевидной сущностью, или между речами, произносимыми при разных обстоятельствах, перед разными людьми.

В воспоминаниях «От двадцати до тридцати» Фонтане заметил, что есть много «людей, которые не имеют вообще денежного мешка или имеют лишь очень тощий, но, несмотря на это, обладают мировоззрением денежного мешка». Наряду с Трайбелями, Мунками и другими толстосумами, в романе «Госпожа Женни Трайбель» встречаются и люди скромного достатка и трудового образа жизни, все же как-то задетые развращающим обаянием золотого тельца. Отчасти это относится даже к умной, волевой, эмансипированной Коринне. Ведь отнюдь не любовью и не случайной прихотью вызвано ее обручение со слабохарактерным и посредственным Леопольдом, а лишь в какой-то момент желанием приобщить-

ся к богатству и роскоши, и только отрезвляющий практический урок заставляет Коринну со стыдом осознать свою неправоту.

Советнице Трайбель и группирующимся вокруг нее персонажам противостоят в романе Вилибальд Шмидт, его друзья и коллеги, его домочадцы (в конечном счете и Коринна). Правда, при этом старый профессор, которого автор щедро одарил собственными мыслями, привычками и чертами характера, принадлежит к натурам компромиссным, «натурам самоотречения». Он сохраняет по отношению к кумирам буржуазного общества полную независимость, людей типа Женни видит насквозь и беспощадно точно их характеризует, но его вполне удовлетворяет сознание своего морального превосходства: он резонер, а не борец, он полон иронии, а не гнева, зовущего к решительным действиям.

Зато есть в доме Шмидта человек, для которого его нравственные представления являются естественным переходом к действию. Такова экономка и домоправительница профессора, бравая вдова берлинского полицейского Шмольке. То, чего Коринна не получает от отца, занимающего позицию философического невмешательства, восполняется удивительными по своей гуманности и этической требовательности наставлениями доброй Шмольке. Если интеллект Коринны развивается под влиянием отца, то ее нравственное чутье формируется под воздействием этой душевно щедрой женщины. Она правильно понимает ханжескую сущность Женни Трайбель и своим мягким и разумным вмешательством помогает Коринне найти выход из запутанного положения. Устами Шмольке говорят здравый смысл и мораль простых людей.

Вслед за «Госпожой Женни Трайбель» через очень короткий промежуток времени Фонтане завершил повесть «Поггенпулы». По идейно-художественному замыслу и теме оба эти произведения соотносятся между собой, как бы образуя своего рода социальную дилогию, рисующую высшие сословия Германской империи. В первом автор разоблачает и высмеивает буржуазию, во втором — дает критической кистью написанную картину дворянства.

Правда, отношение Фонтане к дворянству более сложно, чем его отношение к буржуазии. Трайбелей он живописует без тени сочувствия, при изображении Поггенпулов сатира нередко сменяется юмором. Как и Бальзак, Фонтане испытывает известные симпатии к некоторым представителям дворянства, к его традициям, его культуре. С особой отчетливостью это сказывается в образе человека чести, великодушного, чуждого сословной гордыни отставного генерала Эберхарда фон Поггенпула, преемника таких фигур, как Бамме («Перед бурей») или дядя Остен («Пути-перепутья»). Но так же как и Бальзак, Фонтане с реалистической трезвостью показывает в своей повести безнадежный разлад кон-

сервативного дворянства с временем, его историческую обреченность и невозвратимость старинного феодального уклада жизни.

Несоответствие кичливых претензий более чем скромным возможностям, сочетание аристократической гордыни с унижительной бедностью, своя домашняя Зигесаллее — портретная галерея предков, с одной стороны, и нехватка денег на железнодорожный билет в вагон третьего класса, с другой, — все это определяет сложную и изменчивую тональность повести, переходы от сцен, овеянных элегической грустью, к ситуациям, полным гротескного комизма. Сколько смешного, можно даже сказать — символически смешного, заключено, например, в уже упомянутой семейной святыне Поггенпулов — картинной галерее, в которой запечатлены воинские подвиги представителей этого офицерско-юнкерского рода. Особо почетное место в галерее занимает большое полотно, изображающее ночной бой при Гохкирке; сквозь пороховой дым, застилающий всю картину, на переднем плане вырисовывается застывшая в героической позе фигура майора Балтазара фон Поггенпула, полураздетого, босого, в подштаниках, с ружьем в руке. Это художество доставляет много мороки служанке Фредерике, представляющей в повести глубоко симпатичное автору плебейское начало. Каждый раз, когда она сметает с доблестного майора пыль и паутину, картина срывается с гвоздя и с грохотом летит на пол, сопровождаемая горестными сентенциями доброй служанки: «Бог ты мой, ну пусть он себе сражался полуголый, может, так было нужно. Но нарисовать его в таком виде?.. А главное — не держится, ну никак, хоть убей, не держится...»

В этом и других подобных эпизодах отчетливо проступает проническая улыбка автора, который ясно видит смешные стороны аристократических претензий, анахроничность траченных молью юнкерских идеалов, нечто музейное в хранимых ими традициях и формах жизни, которые «не держатся, ну никак, хоть убей, не держатся». Но Фонтане видит и другое: сопротивление ходу времени не может продолжаться долго, идет неумолимый процесс деклассации дворянства (в этом — смысл эпизода с фон Клессентином, который променял традиционную офицерскую карьеру на амплу второразрядного актера), непримиримые, вроде Терезы, так и умрут, ничему не научившись, а ее сестры Софи и Манон, умные, не заносчивые девушки, изменят старому сословному знамени и ступят на новый путь, подсказанный необходимостью.

С 1889 по 1894 год Фонтане параллельно с работой над другими произведениями писал роман «Эффи Брист»¹. Исследуя

¹ Роман вышел в русском переводе. См. Т. Фонтане, Эффи Брист, М. 1960.

рукописи, Фриц Беренд сумел обнаружить семь если не полных редакций, то, во всяком случае, рабочих пластов, этапов создания романа. От этапа к этапу углублялись и совершенствовались характеристики персонажей, изменялось место действия и общий колорит повествования. Вышедший в 1895 году, этот роман был высоко оценен критикой и выдержал много изданий подряд. «Первый настоящий успех, которого мне удалось добиться романом», — отмечал Фонтане в дневнике.

Писатель создал шедевр, который не только оказался вершиной его творчества, но и явился наивысшим достижением немецкого реализма второй половины XIX века. Этот роман вобрал в себя художественный опыт, накопленный Фонтане, начиная с «Шаха фон Вутенов» и кончая «Поггенпулами», он заключал в себе наиболее яркое в смысле остроты социальной критики и эстетически наиболее совершенное воплощение тем, идей и конфликтов, которые разрабатывались писателем в разных аспектах в произведениях 80—90-х годов.

Многие сюжетные мотивы «Эффи Брист» уже встречались в повестях «Неверная жена» и «Сесиль», а отдельные эпизоды перенесены из них даже с соблюдением ряда запоминающихся деталей. Преемственность еще более очевидна в постановке проблемы, которую писатель сделал центральной в «Эффи Брист»: честь ложная и истинная, поведение человека в его отношении к общественным требованиям и житейским правилам, диктуемым моралью господствующих классов. Эта проблема проходила через все творчество Фонтане, занимая особенно видное место в романе «Пути-перепутья» и в повестях «Шах фон Вутенов» и «Стина».

Роман «Эффи Брист» остался непревзойденным в творчестве Фонтане. После него — в те немногие годы, которые ему еще были подарены судьбой, — Фонтане написал две мемуарные книги, написал (посмертно вышедший книжным изданием) роман «Штехлин», но подняться до уровня «Эффи Брист» ему уже было не суждено.

Глубокое разочарование в общественном строе и моральных устоях Германской империи, которое так отчетливо сказывалось в художественных произведениях и письмах старого писателя, и постепенно возникшая уверенность, что будущее принадлежит рабочему классу, — все это вызывало у него противоречивый, но властный интерес к проблеме народного восстания, заставляло его все чаще задумываться о перспективе социальной революции. Выражением этих раздумий был замысел исторического романа о народном восстании в XIV веке «Ликейды» («Клаус Штертебекер»), преследовавший Фонтане в течение последних лет его жизни. Писатель не успел его осуществить, но многочисленные упоминания о нем в письмах и дневнике и черновой, схематиче-

ский набросок свидетельствовали о намерении Фонтане, вопреки традициям реакционной историографии, трактовать своих героев не как пиратов и грабителей, а как социальное движение коммунистов-уравнителей. По признанию самого писателя, его прежде всего привлекала «социал-демократическая актуальность» темы. Свой схематический набросок Фонтане, вслед за сценой массовой казни бунтарей в Гамбурге на Грасбруке, заканчивал словами, несомненно навеянными «Коммунистическим манифестом»: «Призрак, которой бродил в Мариенгафене, побежден. Но призрак ликедейцев ныне бродит по всему свету».

* * *

В несравненно большей степени, чем кто-либо из его современников, Фонтане возвышался над провинциальным уровнем немецкого критического реализма. Свободный от патриархальных иллюзий и реакционных утопий, приветствуя поступательный ход истории, он сумел, опережая свое время, увидеть порочность и обреченность общественного строя современной Германии. Он смог подняться до сознания того, что «начало нового, лучшего мира заключено в четвертом сословии», и подчас находил даже в себе мужество приветствовать историческую бурю, которая сметет отживший строй. Правда, глубокие и смелые прозрения грядущих революционных перемен, к которым Фонтане пришел в своих частных высказываниях и письмах, не нашли прямого воплощения в его художественном творчестве, но лучшие из его произведений содержали в себе замечательную реалистическую картину старого мира как мира несостоятельного и идущего навстречу неизбежной гибели.

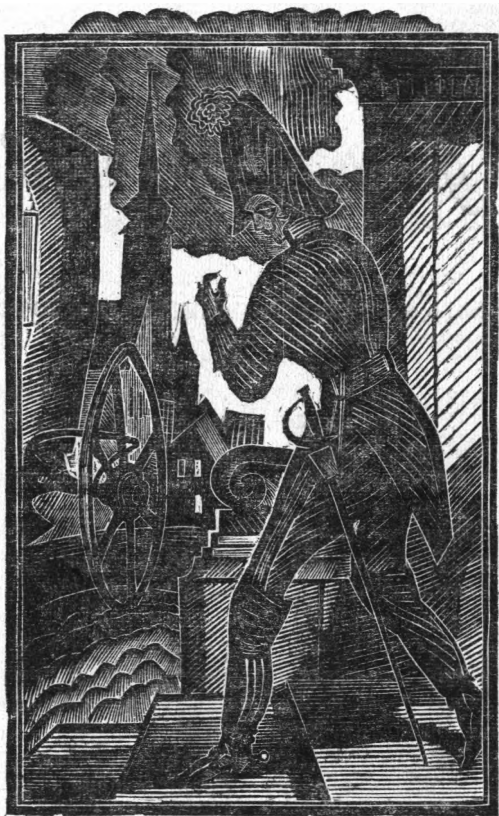
В этом смысле Фонтане — переходная фигура от старого критического реализма к реализму XX века. Ближайшим преемником Фонтане был его превосходный знаток и почитатель Томас Манн. От Фонтане, автора романов и повестей «Поггенпулы», «Эффи Брист», «Штехлин», перешла к Т. Манну главная тема его творчества — тема вырождения и распада традиционного буржуазно-дворянского мира. Через Томаса Манна (прежде всего) и далее, через Георга Германа, Ганса Фалладу и некоторых других писателей, наследие Фонтане вливается плодотворной струей в литературу немецкого реализма нашего века.

И. Фрадкин

Шах фон Вутенов

ПОВЕСТЬ ИЗ ИСТОРИИ ЖАНДАРМСКОГО ПОЛКА

Перевод Наталии Ман



Глава первая

В САЛОНЕ ГОСПОЖИ ФОН КАРАЙОН

На Беренштрассе, в салоне госпожи фон Карайон и ее дочери Виктуар, вечером, в их обычный приемный день, собрались друзья, правда, лишь немногие, ибо отчаянная жара прогнала за город даже самых ревностных посетителей этого кружка. Из офицеров славного жандармского полка, постоянно бывавших на вечерах госпожи фон Карайон, на сей раз явился только некий господин фон Альвенслебен; усаживаясь рядом с прекрасной хозяйкой дома, он выразил шутливое сожаление об отсутствии того, кому, собственно, надлежало занять это место.

Напротив них за столом, с той его стороны, что была обращена к середине комнаты, сидели два господина в партикулярном платье. Лишь недавно приобщившиеся к кругу госпожи фон Карайон, они, однако, успели завоевать себе в нем первенствующее положение. Прежде всего это относилось к тому из них, кто был помоложе. В прошлом штабс-капитан, он, после исполненного приключений пребывания в Англии и Соединенных Штатах, воротился на родину и стал считаться главой военных фрондеров, в ту пору определявших, вернее, терроризировавших политические воззрения столицы. Звали его фон Бюлов. Поскольку непринужденность манер считалась одним из атрибутов гениальности, фон Бюлов, вытянув обе ноги и держа левую руку в кармане штанов, правой размахивал в воздухе, стремясь энергичной жестикულიацией придать больший вес своей проповеди. Его друзья утверждали, что говорить он умеет, только обращаясь к публике, а говорил он, не закрывая рта. Толстый господин рядом с ним — Даниель

Зандер, издатель произведений Бюлова, — во всем был полной его противоположностью, и в первую очередь внешне. Черная окладистая борода обрамляла его лицо, столь же приятное, сколь и саркастическое; прилегающий в талии сюртук из нидерландского сукна, словно корсет, стягивал его дородное тело. Различие между обоими завершала тонкая белоснежная рубашка, каковой отнюдь не мог похвалиться фон Бюлов.

Разговор сейчас, видимо, вращался вокруг недавно завершенной миссии Хаугвица, успех которой, по мнению Бюлова, не только восстановил столь желательное взаимопонимание между Пруссией и Францией, но еще и «подарил нам Ганновер». Госпожа фон Карайон, однако, отрицательно отнеслась к такому «дару»: нельзя, мол, со спокойной совестью отдавать или дарить то, что тебе не принадлежит; при этих словах ее дочь Виктуар, до сих пор хлопотавшая у чайного стола, не вмешиваясь ни в какие разговоры, бросила на мать нежный и любящий взгляд, господин же Альвенслебен поцеловал руку прекрасной женщины.

— В вашем одобрении, милый Альвенслебен, — начала хозяйка дома, — я была уверена. Но взгляните на нашего друга фон Бюлова, это же Минос и Радамант в одном лице! Он уже опять помышляет о бурях; Виктуар, предложи господину фон Бюлову карлсбадскую облатку. Это, кажется, единственное, что он признает из всего австрийского. А господин Зандер тем временем развлечет нас рассказом о наших успехах в новой провинции. Боюсь только, что они не так уж велики.

— Скажем лучше, что их и вовсе нет, — отвечал Зандер. — Никто из сторонников вельфского льва и скачущего коня не желает подчиняться Пруссии. И в вину я им этого не ставлю. Поляков мы более или менее удовлетворяли. Но ганноверцы — народ требовательный.

— Это верно, — подтвердила госпожа фон Карайон и тут же добавила: — Возможно, и несколько надменный.

— Несколько! — расхохотался Бюлов. — Ах, сударыня, побольше бы таких добросердечных людей, как вы! Положитесь на меня, я давно знаю ганноверцев, как уроженец Альтмарка, можно сказать, с молодых ногтей наблюдаю за ними; смею вас уверить: все, что мне так нестерпимо в Англии, в сей исконно Вельфской земле представлено в двойном размере. Потому-то я считаю, что они заслужили ту розгу, которую мы им несем. Наше прусское хозяйство,

разумеется, хозяйство жалкое, и Мирабо был прав, сравнивая хваленое государство Фридриха Великого с плодом, сгнившим еще до того, как он созрел, но, как бы там ни было, одно мы теперь все-таки имеем: уверенность, что мир за эти последние пятнадцать лет сделал шаг вперед и что великие судьбы нашего времени не обязательно должны свершаться между речушками Нуте и Нотте. В Ганновере между тем продолжают верить в особое назначение Каленберга и Люнебургской степи. *Nomen est omen*¹. Ганновер — застойное болото, гнездо всяческих предрассудков. Мы, по крайней мере, сознаем, что нам грош цена, и в таком сознании заложена возможность исправления. Кое в чем мы от них отстали, допускаю, но в целом, конечно, опережаем их, и этим оправдываются притязания, которые нам надлежит претворить в жизнь. То, что мы, вопреки Зандеру, собственно, потерпели фиаско в Польше, ничего не доказывает; государство не пожелало приложить каких-либо усилий, считая, что его сборщики налогов вполне способны нести культуру на восток. И в общем-то, справедливо, поскольку не кто иной, как сборщик налогов, представляет наш строй, хотя, разумеется, с самой неприятной стороны.

Виктуар, в ту минуту, когда разговор коснулся Польши, покинувшая свое место за чайным столом, погрозила пальцем оратору и сказала:

— Имейте в виду, господин фон Бюлов, что я люблю Польшу, и даже *de tout mon coeur*². — Говоря это, она наклонила голову, свет лампы озарил ее лицо, и сразу стало видно, что нежный профиль девушки, некогда очень походившей на мать, изуродован многочисленными оспинами.

Каждый из присутствующих это заметил; единственный ничего не заметивший, а может быть, с полнейшим равнодушием к этому отнесшийся, был Бюлов. Он только повторил:

— О да, поляки. Никто лучше их не танцует мазурку, за что вы их и любите.

— Вовсе нет. Я их люблю за рыцарственность и за то, что они несчастны.

— Ах, вот оно что! Мне уже доводилось слышать подобные речи. Право же, несчастьям поляков можно толь-

¹ Имя — уже значение (*лат.*).

² От всего сердца (*франц.*).

ко позавидовать, ибо таковые преисполняют симпатией все дамские сердца. В том, что касается покорения женщин, право же, более славной военной истории не существует.

— А кто спас...

— Вам известны мои еретические взгляды на подобные спасения. Подумать только — Вена! Ее спасли! Разумеется. Но зачем? Моему пылкому воображению уже представляется гробница любимой жены султана в Склепе капуцинов. Может быть, на том самом месте, где теперь стоит гробница Марии-Терезии. Что-то от ислама всегда жило в этих петухах и фазанах, а Европе не причинило бы особого вреда более близкое знакомство с гаремами и сералями.

Вошедший слуга доложил о ротмистре фон Шахе, и отсвет радостного удивления промелькнул на лицах обеих дам, когда тотчас же после доклада ротмистр появился в дверях. Он поцеловал руку госпожи фон Карайон, склонился перед Виктуар, от души приветствовал Альвенслебена и довольно сухо поздоровался с Бюловом и Зандером.

— Боюсь, что я прервал господина фон Бюлова...

— Это было неизбежно, — заметил Зандер, отодвигая в сторону свой стул.

Все присутствующие рассмеялись, не исключая самого Бюлова; бóльшая, чем обычно, сдержанность Шаха позволяла заключить, что он явился в салон либо под впечатлением какой-то лично его касавшейся неприятности, либо с безрадостным политическим известием.

— Какую весть вы принесли нам, милейший Шах? Вы чем-то очень озабочены. Неужто новые бури...

— Не о том речь, сударыня, совсем не о том. Я пришел сюда от графини Хаугвиц, которую навещаю тем чаще, чем дальше отхожу от политики графа. Графине это известно, и она одобряет мое поведение. Сегодня, едва у нас с ней завязался разговор, перед дворцом стала собираться толпа — сначала сотни, потом и тысячи людей. Шум нарастал, наконец кто-то бросил камнем в окно, он пролетел над столом, за которым мы сидели, на волосок от графини. Но что действительно ранило ее, так это брань и проклятия, до нас доносившиеся. Наконец явился граф. Он был вполне спокоен и, как всегда, вел себя по-рыцарски. Прошло, однако, немало времени, прежде чем удалось очистить улицу от смутьянов. Значит, вот до чего мы докатились! Emeute! Крамола! И это в Пруссии, на глазах у его величества!

— А винить в этих событиях,— перебил его Альвенслебен,— будут нас. И только нас, жандармов. Всем известно, что мы порицаем заискивание перед Францией. Что мы от нее имеем? Ничего, кроме украденных провинций. О нашем к этому отношении знают и при дворе и, уж конечно, не преминут свалить на нас вину за подобную смуту.

— Зрелище, достойное богов,— вставил Зандер.— Жандармский полк держит ответ за государственную измену и крамольные действия.

— А в общем-то, это справедливо! — теперь уже в неподдельном волнении воскликнул Бюлов.— Справедливо, говорю я. И не пытайтесь острить, Зандер, с толку вы меня не собьете. Почему господа, во что бы то ни стало желающие быть умнее короля и его министров, ведут подобные разговоры? Почему политиканствуют? Вопрос, следует ли армии заниматься политикой, мы оставим открытым, но если уж политиканствовать, то хотя бы правильно. Наконец-то мы на верном пути, наконец-то стоим там, где нам надлежало стоять с самого начала, его величество наконец-то внял доводам рассудка. И что же происходит? Наши господа офицеры, у которых каждое третье слово — король и лойяльность, чувствуют себя хорошо, только почуяв запах России и юфти, а никак не свободы; эти господа офицеры вдруг прониклись столь же наивной, сколь и опасной страстью к фрондерству и дерзкими своими поступками и еще более дерзкими речами навлекли на себя гнев едва умиротворившегося императора. Затем все это, конечно же, стало достоянием улицы. Господа из жандармского полка сами не бросят камня, который в результате пролетает над чайным столом графини, но так или иначе они духовные зачинщики смуты; они подготовили для нее благоприятную почву.

— Нет, благоприятная почва уже существовала.

— Возможно. Но в таком случае надо было с этой почвой бороться, а не удобрять ее. Удобрять ее, мы приближаем свою гибель. Император ждет только подходящего случая, в его долговой книге мы числимся по разным статьям, и когда он подведет итог — мы пропали.

— Не думаю,— проговорил Шах.— Впрочем, я не в состоянии проследить за ходом ваших мыслей.

— Весьма сожалею.

— А я ничуть. Вам очень удобно читать мне проповедь о верности королю и отечеству, поскольку принципы, коих

вы придерживаетесь, в настоящее время возобладали. В согласии с вашим желанием и высочайшей волей мы толпимся у французского стола и подбираем крохи, брошенные нам императором. Но сколько это продлится? Государство Фридриха Великого должно же наконец взяться за ум.

— О, если бы это было так! — парировал Бюлов. — Но оно упускает время. Разве эти колебания, эти половинчатые симпатии к России и Австрии не отдаляют от нас императора, разве такая политика достойна Фридриха? Вот о чем я вас спрашиваю.

— Вы меня неправильно поняли.

— В таком случае разъясните мне.

— Попытаюсь... Но вы ведь и не хотите меня понять, господин Бюлов. Я не ополчаюсь на союз с Францией лишь из-за того, что это союз, и из-за того, что, наподобие всех союзов, он готов использовать наши силы для самых разных целей. О нет! Разве бы я посмел. Союз — средство, необходимое для любой политики, великий король тоже пользовался этим средством и постоянно его варьировал. Но конечная его цель не знала вариантов. Она оставалась неизменной — могучая и самостоятельная Пруссия. Вот я и спрашиваю вас, господин фон Бюлов: разве то, что привез нам граф Хаугвиц, то, что заслужило ваше столь живое одобрение, — это могучая и самостоятельная Пруссия? Вы спрашивали меня, теперь я спрашиваю вас.

Глава вторая

«ОСЕНЕННЫЙ СИЛОЙ»

Бюлов, чье лицо принимало все более надменное выражение, собрался ответить, но тут вмешалась госпожа фон Карайон, сказав:

— Постараемся извлечь урок из политики наших дней: если невозможен мир, пусть будет хотя бы перемирие. У нас тоже. Ну а теперь угадайте, мой милый Альвенслебен, кто сегодня нанес нам визит? Знаменитость, рекомендованная Рахелью Левин. Знаменитость сегодняшнего дня.

— Значит, принц, — отозвался Альвенслебен.

— О нет, человек куда более знаменитый, по крайней мере — на сегодняшний день. Принц — признанная знаменитость, а такие знаменитости лет через десять перестают ими быть... Но я приду вам на помощь: это человек из ли-

тературного мира, посему я полагаю, что наш господин Зандер разгадает мою загадку.

— Во всяком случае, я попытаюсь это сделать, сударыня, и уповаю, что ваше доверие до известной степени осенит меня силой, или, говоря прямее, я предстану перед вами уже «осененный силой»!

— Превосходно. Да, здесь побывал Цахариас Вернер. На беду, нас не было дома, и мы разминулись с дорогим гостем. Я очень об этом сожалею.

— Напротив, вам следует поздравить себя с тем, что вы избегли разочарования,— вмешался Бюлов.— Поэты, увы, редко соответствуют нашему о них представлению. Мы надеемся увидеть олимпийца, вкушающего амброзию и нектар, а видим гурмана, уплетающего жареную индейку; ждем от него признаний о сокровенных беседах с небожителями, а слышим рассказ об ордене, ему пожалованном, или повторение милостивых слов августейшего покровителя касательно последнего дитяти его музыки. А не то и заведомо вздорных слов августейшей супруги.

— Не более и не менее вздорных, чем суждения тех, кто имел преимущество родиться в хлеву или в конюшне,— язвительно парировал Шах.

— К сожалению, глубокоуважаемый господин фон Шах, я и в данном случае не могу с вами согласиться. Различие, в котором вы, видимо, сомневаетесь, насколько мне известно, действительно существует и вдобавок, разрешите мне повторно это заметить, оборачивается не в пользу владетельных особ. В мире маленьких людей суждение само по себе может быть ничем не лучше, однако застенчивая скромность, в которую оно рядится, запинаящаяся речь, которая свидетельствует о сомнении в своей правоте, нас отчасти с ним примиряют. Но вот заговорил владетельный князь! В своей земле он законодатель для всех и вся, законодатель в большом и в малом, а значит, и в эстетике. Неужто же тот, кто волен в жизни и смерти, не волен судить о каком-то стишке? Еще бы! Что бы он ни говорил, скрижали стоят наготове у подножия Синая. Я уже не раз слышал, как возвещаются такие десять заповедей, и знаю, к чему это сводится: *regarder dans le néant*¹.

— И все-таки я согласна с мамá,— заметила Виктуар; ей хотелось вернуться к началу разговора,— вернее, к пьесе и ее автору.— Мне доставило бы истинную радость позна-

¹ Смотреть в ничто (*франц.*).

комиться со «знаменитостью сегодняшнего дня», как мамá ограничительно охарактеризовала нашего гостя! Вы забываете, господин фон Бюлов, что мы женщины и, следовательно, имеем право быть любопытными. Не испытать удовольствия от знакомства со знаменитым человеком в конце концов все же лучше, чем вовсе его не увидеть.

— А мы, без сомнения, больше не увидим его, — добавила госпожа фон Карайон. — Он на днях покидает Берлин, да и вообще приехал сюда лишь затем, чтобы присутствовать на первых репетициях своей пьесы.

— Из чего следует, — вставил Альвенслебен, — что премьеры теперь уже безусловно состоится.

— Я в этом не уверена. Для того чтобы она состоялась, автору надо склонить на свою сторону двор и рассеять все предвзятые мнения.

— Вот чего я никак в толк не возьму, — продолжал Альвенслебен. — Пьесу эту я читал. Автор стремится возвеличить Лютера, а концы иезуитства то и дело выглядывают из-под черной докторской мантии. Но самое странное, по-моему, то, что пьесой заинтересовался Иффланд. Иффланд, свободный каменщик.

— Здесь сам собою напрашивается вывод, что ему поручена главная роль, — проговорил Зандер. — Нашим принципам приходит конец, как только они вступают в конфликт с нашими страстями или тщеславием, тут уж им не устоять. Он хочет играть Лютера. Этим все сказано.

— Признаюсь, мне не по душе смотреть, как актер изображает Лютера. Или я захожу уж слишком далеко?

Вопрос был обращен к Альвенслебену.

— Слишком далеко? О нет, любезнейшая Виктоуар, конечно, нет. Вы словно читаете мои мысли. Одно из самых ранних моих воспоминаний — как я сижу в деревенской церкви рядом со старым своим отцом, который подпевает всем псалмам. А слева возле алтаря висит наш Мартин Лютер в натуральную величину с Библией под мышкой, которую он придерживает правой рукой, — весьма схожий портрет, — и в упор глядит на меня. Смеею сказать, что его серьезное и мужественное лицо в иное воскресенье воздействовало на меня сильнее, проникновеннее, чем проповедь нашего говоруна-пастора, у которого, правда, были такие же широкие скулы и такие же белые брыжки, как у реформатора, но этим сходство и ограничивалось. И мне тоже не хочется, чтобы сей богом предпочтенный человек, по которому мы себя именуем, к которому подьемлем взор не

иначе как с набожным благоговением, выходил из-за кулис или из двери в заднике. Даже если его будет играть Иф-фланд, хоть я и очень люблю Иффланда — и не только как актера, но и как человека твердых принципов и честных прусских убеждений.

— *Pectus facit oratorem*¹, — заметил Зандер, чем привел в восторг Виктоуар. Бюлов же, не терпевший новых богов рядом с собою, откинулся на спинку стула и, поглаживая бородку, спросил:

— Вы не будете удивлены, если я останусь при особом мнении?

— Конечно, нет, — рассмеялся Зандер.

— Мне хотелось бы только уберечь себя от подозрений, будто этим особым мнением я набиваюсь в адвокаты поповствующему Цахарпасу Вернеру, чьи мистическо-романтические тенденции мне глубоко противны... Я и вообще-то не адвокат.

— Даже не Лютеров? — иронически осведомился Шах.

— Даже не Лютеров!

— Его счастье, что он может обойтись без адвоката...

— Но надолго ли? — спросил Бюлов, вставая. — Верьте мне, господин фон Шах, он тоже не в чести, как и многое от него исходящее, и никакое заступничество мирских властей не поможет ему долго продержаться на поверхности.

— Я своими ушами слышал слова Наполеона об эпизоде «Пруссия», — ответил Шах. — Может быть, наши новаторы, с господином фон Бюловым во главе, намерены осчастливить нас еще эпизодом «Лютер»?

— Да. Вы попали в точку. Только что не мы придумали эту серию эпизодов. Отдельному человеку не под силу создать таковые, их создает история. И при этом выясняется причудливая взаимосвязь между эпизодами «Пруссия» и «Лютер». Здесь уместно вспомнить о речении: «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты». Признаюсь, я считаю, что дни Пруссии сочтены, а «коли мантия упала, и герцогу не сносить головы». Распределение ролей в этом спектакле я предоставляю вам. Взаимосвязям между государством и церковью придается слишком мало значения, а ведь любое государство в известном смысле является государством церковным. Оно вступает в брак с церковью, и если этот союз оказывается счастли-

¹ Убеждение рождает оратора (лат.).

вым, значит, они созданы друг для друга. В Пруссии это именно так. А почему? Потому что оба в равной мере ху-досочны и ограничены. Это малые величины, они должны взойти или зачахнуть в чем-то более значительном. И к тому же весьма скоро. *Hannibal ante portas*¹.

— Я было иначе понял вас, — отвечал Шах, — а именно, что граф Хаугвиц привез нам не гибель, а мир и спасенье.

— Так оно и есть. Но ему не под силу изменить нашу участь, — во всяком случае, на более долгий срок. Эта участь зовется — слияние с универсумом. Национальная позиция, так же как и религиозная, постепенно утрачивает свою жизнеспособность, и прежде всего это относится к прусской позиции и ее *alter ego* — лютеранству. Это величины выдуманные. Что они означают, спрашиваю я вас? Какие миссии выполняют? Взыскивают по векселям друг с друга, взаимно являют и цель и задание — вот и все. И это именуется всемирным назначением? Что дала Пруссия миру? Что я обнаруживаю, подводя итоги? Великанов-гвардейцев Фридриха-Вильгельма Первого, железный шомпол, косицу и ту странную мораль, что умудрилась изобрести сентенцию: «Я привязал его к яслям, почему же, спрашивается, он не жрал?»

— Ладно, ладно. Но Лютер...

— Существует легенда, что вместе с этим человеком из Виттенберга в мир явилась свобода; тупоумные историки внушали это северным немцам, куда те не поверили. На самом же деле, что он принес с собой в мир? Нетерпимость, погоню за ведьмами, трезвость и скуку. Такой клей на века не клеит. Всемирной монархии теперь не хватает лишь последнего штриха: им, разумеется, станет всемирная церковь, ведь если с церковью взаимодействуют даже малые государства, то великие — тем паче. Я не стану смотреть театрального Лютера, потому что, искаженный господином Цахарнасом Вернером, он меня раздражает, но отказываться его смотреть, потому что такое кощунство оскорбляет нравственные чувства, воля ваша — я этого понять не в силах.

— А мы, милый Бюлов, — перебила его хозяйка дома, — пойдем смотреть Иффланда, хотя кощунство и оскорбляет наши нравственные чувства. Виктуар права, и если у Иффланда тщеславие возобладало над принципа-

¹ Ганнибал у ворот (*лат.*).

ми, то у нас возобладает любопытство. Надеюсь, что вы, господин фон Шах, и вы, любезный Альвенслебен, будете нас сопровождать. Кстати, несколько песен, вставленных в пьесу, очень недурны. Мы вчера их получили. Виктоуар, хорошо бы ты исполнила для нас одну из них.

— Я едва успела их проиграть.

— О, тогда я тем горячее прошу вас! — воскликнул Шах. — Салонная виртуозность для меня нестерпима. В искусстве мне всего милее такое вот поэтическое блуждание впотьмах.

Бюлов неприметно усмехнулся, казалось желая сказать: «Кому что дано». Но Шах уже подвел Виктоуар к роялю, и под его аккомпанемент она запела:

Цветочная почка, ей спится теплей
Под снежным глубоким покровом.
Зима напеваает: «Усни поскорей,
И крепни, и зрей!»
И, ласковым убаюкано словом,
Не плачет дитя, улыбаясь во сне.
А воздух уж запахом полон медовым,
И звонкие сестры парят в вышине¹.

Наступила пауза, и госпожа фон Карайон спросила:

— Итак, господин Зандер, каковы будут ваши критические замечания?

— Кажется, очень мило, — отвечал тот. — Хотя я этого не понимаю. Но послушаем еще. Почка, спящая под снегом, со временем, конечно, пробудится.

Весна наступает — и стало теплей,
Не спится под снежным покровом.
И май напеваает: «Проснись поскорей,
И крепни, и зрей!»
И, сразу разбужена ласковым словом,
Она забывает о неге и сне
И тянется к небу, к зефирам медовым,
Где звонкие братья парят в вышине¹.

Раздавшиеся аплодисменты относились только к пению Виктоуар и к композитору; когда же речь зашла о тексте, все решительно присоединились к еретическим воззрениям Зандера.

Только Бюлов молчал. У него, как у всех фрондеров, поглощенных мыслью об упадке государства, имелись свои слабые стороны, и одну из них задела эта песня. В небе,

¹ Перевод В. Левика.

на которое наплывали облака, еще блестели две-три звезды, лунный серп стоял между ними, и Бюлов, глядя сквозь стекла высокой балконной двери, повторил:

Где звонкие братья парят в вышине.

Сам того не ведая, он был сыном своего времени, а следовательно, романтиком.

Виктуар пропела вторую и третью песни, но общее мнение осталось прежним. Засим гости разошлись, хотя час был еще не очень поздний.

Глава третья

У САЛА ТАРОНЕ

Башенные часы на Жандармском рынке пробили одиннадцать, когда гости госпожи фон Карайон вышли на Беренштрассе и, свернув налево, зашагали к Унтер-ден-Линден. Месяц скрылся в туманной дымке, и влажный воздух, предвещавший перемену погоды, на всех подействовал благотворно. На углу Шах отклонялся под предлогом каких-то служебных забот, остальные же, то есть Альвенслебен, Бюлов и Зандер, решили еще часок провести вместе и поболтать.

— Но где, спрашивается? — произнес Бюлов, вообще то человек не очень прихотливый, но питавший отвращение ко всяким ресторациям, где «шпики и кельнеры затыкают тебе рот».

— И правда, где? — повторил Зандер. — Э, да ведь от добра добра не ищут.

И он указал пальцем на угловую лавку с вывеской, на которой некрупными буквами было выведено: «Сала Тароне, торговля итальянскими винами и деликатесами». Поскольку лавка была уже закрыта, они постучали в дверь, на одной створке которой было прорезано оконце, изнутри закрытое ставнем. За дверью тотчас послышались шаги, в оконце показалась чья-то голова, и так как мундир Альвенслебена успокоил хозяина относительно запоздалых гостей, ключ повернулся в замке, и все трое вошли в дом. Но тут порыв ветра задул светильник в руках винодела, и теперь только тусклый фонарь где-то в глубине над дверью во двор кое-как освещал узкий и опасный проход.

— Как вам нравится, Бюлов, это дефиле? — пробормотал Зандер, втягивая живот, чтобы стать потоньше. Здесь и вправду приходилось остерегаться, так как перед бочками с оливковым маслом и винами стояли, откинутыми крышками вперед, открытые ящики с лимонами и апельсинами.

— Осторожно, — сказал винодел. — Здесь везде валяются гвозди. Я вчера вогнал себе один в ногу.

— Значит, еще и испанские сапоги... О Бюлов! До чего может довести человека издание военных книг.

Горестный вопль Зандера снова привел всю компанию в хорошее настроение; ошупью пробираясь вперед, они наконец приблизились к двери, ведущей во двор, здесь с правой стороны бочки стояли чуть пореже. Протиснувшись между ними, они поднялись на четыре или пять крутых ступенек и очутились в довольно просторном помещении с желтыми, закоптелыми стенами, где, как во всех «утренних» закусточных, больше всего народу собиралось к полуночи. Вдоль низких панелей тянулись давно просиженные кожаные диваны, перед ними — большие и маленькие столы. Только в одном месте у стены вместо дивана высилась конторка с полками и ящичками; сидя за ней, один из представителей фирмы изо дня в день крутился на вертящемся табурете, выкрикивая свои приказы (обычно одно-единственное слово) в погреб со всегда открытым люком, который находился возле самой конторки.

Наши друзья уселись в углу, наискосок от зияющего отверстия погреба, и Зандер, достаточно давно занимавшийся издательской деятельностью, чтобы разбираться в Лукулловых изысках, стал просматривать карточку вин и кушаний, от которой пахло омарами, хотя она была переплетена в русскую кожу. Но наш Лукулл, видимо, не нашел ничего, что пришлось бы ему по вкусу, и, отодвинув карточку, заявил:

— От такого скверного апреля ничего ждать не приходится, кроме майской травки — *asperula odorata* Linnei¹. Имейте в виду, что я и ботанические сочинения издавал! В наличии свежих апельсинов мы с опасностью для жизни убедились сами, а за мозельское вино нам ручается фирма.

Господин за конторкой не пошевелинулся, но по его спине было очевидно, что он одобряет выбор издателя,

¹ Ясменник пахучий (лат.).

Бюлов с Альвенслебенем тоже к нему присоединились, и Зандер решительно сказал:

— Итак, майский пунш.

Сказано это было громко, с повелительной интонацией, и в тот же миг с вертящейся табуретки раздалось:

— Фриц!

Из люка, точно на шарнирах, тотчас же наполовину вынырнул толстый малый с короткой шеей; подняв руку, он угодливо взбежал вверх по ступенькам и в мгновение ока уже стоял перед Зандером, которого, видимо, давно знал.

— Скажите-ка, Фриц, какого мнения придерживается фирма Сала Тароне относительно майского пунша?

— Наилучшего, сударь.

— Но на дворе еще только апрель, а я, хоть и сторонник суррогатов, терпеть не могу тонкинских бобов. Им место в табакерке с нюхательным табаком, а не в майском пунше. Понятно?

— Так точно, господин Зандер.

— Хорошо. Значит, майская травка — ясменник. И долго не держите. Ясменник не настой из ромашки. Зелень не спеша польете мозельским, ну, скажем, цельтингером или браунебергером, этого достаточно. Апельсиновые дольки — разве что как орнамент. Переложить две три, и на тебе — головная боль. Да смотрите, чтобы не пересластить. Еще дадите нам клико экстра. Экстра, запомните! Лучшее всегда лучше.

С заказом было покончено, и не прошло и десяти минут, как на столе появился пунш, на поверхности которого плавало всего три или четыре листочка ясменника — вполне достаточно для подтверждения, что это настоящий майский пунш.

— Хорошо, Фриц, молодец! Иной раз пунш как ряской затянут. Это ужасно. Похоже, что мы останемся друзьями. Ну, а теперь зеленые бокалы!

— Зеленые? — засмеялся Альвенслебен.

— Да, я знаю, что тут можно возразить, любезный Альвенслебен, отлично знаю. Право же, этот вопрос давно меня мучает наряду с теми сомнениями, которые, хотим мы того или не хотим, тащатся за нами через всю жизнь. Цвет вина, конечно, пропадет, но его сменит цвет весны и сообщит праздничный колорит всему окружающему. По-моему, это важнее. Еда и питье, если они не служат удовлетворению простой жизненной потребности, долж-

ны мало-помалу превратиться в символическое действо; мне приятно думать о позднем средневековье, когда серебряные блюда и вазы значили больше, чем сама трапеза.

— Вам очень к лицу эти рассуждения, Зандер, — смеясь, сказал Бюлов. — И все-таки я благодарю бога за то, что мне не приходится оплачивать ваших каплунов.

— В конце концов вы все-таки их оплачиваете.

— Ах, я впервые обнаруживаю, что вы благодарный издатель. Ваше здоровье... Но бог ты мой, из люка лезет долговязый Ноштиц! Смотрите, Зандер, ему, кажется, конца не будет...

Это и впрямь был Ноштиц; пройдя через потайной вход, он теперь, спотыкаясь, вылезал из погреба. Ноштиц из жандармского полка, самый высокий лейтенант в армии, хотя и саксонец родом, благодаря своим шести футам и трем дюймам роста был без особых возражений зачислен в аристократический жандармский полк и довольно быстро сумел подавить в начальстве остатки антагонизма. Отважный наездник и не менее отважный ловелас, всегда по уши в долгах, он стал любимцем полка, таким любимцем, что принц, не кто-нибудь, а сам принц Луи, по случаю прошлогодней мобилизации испросил разрешения взять его себе в адъютанты.

Любопытствуя, откуда он вдруг явился, его осыпали вопросами, но ответил он на них, лишь удобно устроившись на кожаном диване.

— Откуда явился? Почему не был у Карайонов? Да потому, что мне хотелось взглянуть на Французский Бухгольц, вернулись ли уже аисты, кукует ли снова кукушка и по-прежнему ли такие длинные косы у белокурой лесниковой дочки, как в прошлом году. Прелестное дитя. Я всегда прошу ее показать мне церковь, и мы поднимаемся на колокольню, я ведь питаю настоящую страсть к старинным надписям на колоколах. Вы себе представить не можете, сколько всего узнаешь на таких колокольнях. Я причисляю проведенные там часы к счастливейшим и поучительнейшим часам моей жизни.

— Вас сопровождает туда блондинка. В таком случае все понятно. Наша фрейлейн Виктуар, конечно, не может идти в сравнение с белокурой принцессой. Так же как и ее прекрасная мамаша, дама очень красивая, но, увы, брюнетка. А брюнеткам никогда не угнаться за блондинками.

— Я не возвожу это в аксиому, — ответил Ноштиц. — Все ведь зависит от побочных обстоятельств, в данном слу-

чае они складываются в пользу моей подруги. Прекрасной мамаше, как вы изволили ее назвать, скоро стукнет тридцать семь, да при этом у меня еще хватает галантности четыре года ее брака считать не за восемь, а всего за два. Впрочем, это дело Шаха, рано или поздно он сможет узнать тайну из ее свидетельства о крещении.

— Как так? — удивился Бюлов.

— Как так? — повторил Ноштиц. — До чего же господа ученые плохие наблюдатели, даже если это ученые офицеры. Неужто вы не заметили их отношений? Довольно далеко зашедших, думается мне. *C'est le premier pas, qui coûte...*¹

— Вы несколько темно выражаетесь, Ноштиц.

— Не моя вина.

— Мне кажется, я вас понял, — вмешался Альведслебен. — Но вы ошибаетесь, полагая, что речь идет о браке. Шах — человек весьма своеобразный, пусть не во всем приятный, но он безуслово склонен к всевозможным психологическим проблемам. Я, например, никого не знаю в такой степени устремленного к эстетическому началу; может быть, в этой связи у него и составились столь преувеличенные представления о безупречности брака. По крайней мере, брака, в который он желает вступить. Посему я готов голову прозакладывать, что Шах никогда не женится на вдове, будь она хоть раскрасавица. Но если здесь еще и может возникнуть какое-нибудь сомнение, то известное обстоятельство устранил его, имя же этому обстоятельству: Виктоуар.

— Как так?

— Если многим брачным планам случалось рухнуть из-за недостаточно представительной матери, то этот рухнет из-за непредставительной дочери. Он стесняется ее некрасивости и, конечно, страшится мысли свою, если можно так выразиться, нормальность каким бы то ни было образом сочетать с ее отклонением от нормы. Он болезненно, именно болезненно зависит от мнения людей, прежде всего — своего сословия; ему будет казаться невозможным представить Виктоуар какой-нибудь принцессе или высокопоставленной даме как свою дочь.

— Вполне вероятно. Но подобных okazji можно избежать.

¹ Труден только первый шаг... (франц.)

— Не всегда же оставлять Виктуар в тени или, еще того чище, обходиться с ней как с Золушкой, для этого он слишком утончен, да и сердце у него не злое. Вдобавок госпожа фон Карайон никогда бы не потерпела такого обхождения. Она хоть и безусловно любит Шаха, но так же безусловно любит Виктуар, а пожалуй, даже и больше. Отношения матери и дочери я бы назвал идеальными, они-то сделали и сейчас делают этот дом таким для меня дорогим.

— Итак, оставим этот разговор,— сказал Бюлов,— мне на радость и утешение, потому что я преклоняюсь перед этой женщиной. Какое очарование правдивости, естественности, даже ее слабости прелестны и достойны восхищения. И рядом с ней этот Шах! Пусть его заслуги при нем и остаются, но для меня он не более как чванливый педант, вдобавок олицетворение прусской ограниченности, исповедующей три символа веры: первый — «Земля на плечах Атласа покоится менее надежно, чем Прусское государство на плечах прусской армии», второй — «Кавалерийская атака пруссаков неотразима» и, наконец, третий, и последний, — «Битва не проиграна, раз еще не вступила в действие лейб-гвардия». Или жандармский полк. Это же родные братья, близнецы. Мне отвратительны подобные обороты, и уже недалек день, когда человечество поймет, до чего пустопорожни эти хвастливые фразы.

— И все-таки вы недооцениваете Шаха. Как-никак он один из лучших.

— Тем хуже.

— Один из лучших среди нас, утверждаю я, и по-настоящему добрый человек. Он не только строит из себя рыцаря, он доподлинный рыцарь. Разумеется, на свой лад. Во всяком случае, у него честное лицо, а не личина.

— Альвенслебен прав,— подтвердил Ноштиц.— Я не очень-то его люблю, но в нем все подлинно, даже его высокомерная чопорность, хоть я и считаю ее скучной и оскорбительной. Этим-то он от нас и отличается. Он всегда таков, каков он есть, все равно, входит ли он в великосветскую гостиную, смотрится в зеркало или, укладываясь спать, надевает на ночь шафранного цвета перчатки. Но пусть выскажется Зандер, он ведь не любит Шаха, поэтому за ним остается последнее слово.

— Каких-нибудь три дня назад,— начал тот,— в «Хауде унд шпенерше цейтунг» я прочитал, что император Бразилии произвел святого Антония в чин обер-лейтенанта и повелел своему военному министру назначить святому

обер-лейтенантский оклад. Последнее привело меня в еще бóльший восторг, чем само назначение. Но дело не в этом. Никого не удивит, если я, в дни таких производств и повышений в чине, воскликну, пытаюсь облечь в слова свои чувства, а заодно и приговор, которого от меня требуют: «Да здравствует его величество ротмистр фон Шах!»

— Превосходно, Зандер! — воскликнул Бюлов. — Как ловко вы сумели объединить все эти смешные нелепости! Маленький человек в больших сапогах! Ну что ж, пусть здравствует, я не против.

— Вот вам вдобавок и слово «верноподданнейшей оппозиции его величества», — вместо ответа произнес Зандер и поднялся. — А теперь, Фриц, давайте счет. Надеюсь, господа позволят мне покончить с этим делом.

— Оно в надежных руках, — сказал Ноштиц.

Через пять минут все они вышли на улицу. От ворот на Унтер-ден-Линден несло клубы пыли, видимо, надвигалась сильная гроза, уже падали первые капли дождя.

— *Hâtez vous!*¹

Следуя этому совету, каждый поспешил избрать кратчайший путь к дому.

Глава четвертая

В ТЕМПЕЛЬГОФЕ

Наступившее утро застало госпожу фон Карайон и ее дочь в той же угловой комнате, в которой они вечером принимали друзей. Обе они любили эту комнату, предпочитая ее всем остальным. В ней было три высоких окна, два справа смотрели на Берен- и Шарлоттенштрассе, третье окно, занимавшее весь срезанный угол, было собственно дверью на балкон, обнесенный позолоченной решеткой в стиле рококо. С наступлением теплых дней эта дверь всегда стояла открытой, так что с любого места комнаты можно было наблюдать за близлежащими улицами, по временам — хоть это и был аристократический квартал — шумно оживленными, особенно в пору весенних парадов, когда мимо дома Карайонов проходили не только старые и достопочтенные пехотные полки Берлинского гарнизона, но — что для матери и дочери было значительно важнее —

¹ Поторапливайтесь! (*франц.*)

под звуки серебряных труб проезжал гвардейский корпус и жандармский полк. При таких случаях (само собой разумеется, что глаза господ офицеров были устремлены на балкон) угловую комнату, конечно же, невозможно было променять ни на какую другую.

Но она была прелестна и в тихие дни — эта изысканно обставленная и в то же время уютная комната. Здесь лежал турецкий ковер, уже с полвека помнивший петербургские времена дома Карайонов, стояли малахитовые часы — дар императрицы Екатерины, высилось огромное, щедро вызолоченное трюмо, которому надлежало ежедневно заверять прекрасную женщину в том, что она все еще прекрасна. Правда, Виктуар не упускала случая успокоить мать касательно сего важного пункта, но госпожа фон Карайон была достаточно умна, чтобы всякое утро придирчиво вглядываться в свое отображение и самой в том убеждаться. Даже если взгляд ее в эти мгновения и скользил по висевшему над софой портрету господина фон Карайона, во весь рост и с алой орденской лентой через плечо, то каждому, хоть отчасти посвященному в ее домашние обстоятельства, было ясно, что перед внутренним взором госпожи фон Карайон витал иной, более привлекательный образ. Ибо господин фон Карайон, чернявый низкорослый француз, весьма далекий от идеала мужской красоты, кроме своей службы в посольстве да нескольких знатных Карайонов, живших под Бордо, — оба эти обстоятельства преисполняли его гордости — не привнес в их брак ничего значительного.

Пробило одиннадцать часов, сначала на церковной башне, потом в угловой комнате, где обе дамы склонились над пальцами. Балконная дверь была широко распахнута, ибо дождь хоть и шел всю ночь напролет, но теперь солнце снова сияло на небосклоне и зной стоял такой же, как накануне. Виктуар, подняв глаза от работы, заметила, что по Шарлоттенштрассе в ботфортах и с двумя цветными лентами на шляпе (она всегда шутила, что это «национальные цвета» фон Шаха) шагает его маленький грум.

— Смотри, мамá, — воскликнула Виктуар, — вон идет малыш Нед! И как важно выступает! Право же, его слишком балуют, он уже больше походит на куклу, чем на мальчика. Интересно, что он несет нам?

Любопытство ее недолго оставалось неудовлетворенным. Минуту спустя послышался звонок, и старый слуга в гетрах, еще бывший свидетелем величественных петербург-

ских дней, внес на серебряном подносе записку. Виктуар взяла ее. Записка была адресована госпоже фон Карайон.

— Тебе, мамá.

— Прочитай,— сказала та.

— Нет, читай сама, я страшусь секретов.

— Глупышка,— засмеялась мать, разорвала конверт и прочитала: — «Досточтимая сударыня. Дождь, пролившийся ночью, не только прибил пыль на дорогах, но и освежил воздух. Короче говоря, апрель редко дарит таким днем нас, гипербореев. В четыре часа я остановлю свой экипаж у Вашего дома, чтобы повезти Вас и фрейлейн Виктуар на прогулку. Касательно цели таковой — жду Ваших распоряжений. Вы знаете, какое для меня счастье Вам повиноваться. Ответ прошу передать подателю сего. Он уже достаточно понаторел в немецком, чтобы отличить «да» от «нет». С почтительнейшим приветом моей дорогой подруге Виктуар (пусть и она, для верности, черкнет хоть строчку).

Преданный Вам Шах».

— Какой же ответ мы дадим, Виктуар?

— Но ты же не всерьез это спрашиваешь, мамá.

— Ну, значит, «да».

Между тем Виктуар уселась за свой письменный стол, перо ее уже выводило: «Приглашение принято с радостью, хотя цель покуда еще темна. Но в решающий момент мы, надо думать, сумеем сделать правильный выбор».

Госпожа фон Карайон читала через плечо дочери.

— Звучит достаточно двусмысленно,— проговорила она.

— В таком случае я просто напишу «да», а ты скрепишь его своей подписью.

— Нет, оставь как есть.

Виктуар сложила листок и отдала его груму, дожидавшемуся в сенях.

Вернувшись в комнату, она застала мать в глубокой задумчивости.

— Я не люблю подобных намеков и тем паче загадочных фраз.

— Тебе и не пристало их писать. Но мне? Мне все можно. А теперь выслушай меня, мамá. Что-то должно произойти. Люди уже о многом говорят, даже со мной, но так как Шах все еще молчит, а тебе говорить не пристало, то я должна все сделать вместо вас, иными словами,

должна вас поженить. На свете все нет-нет да и изменяется. Обычно матери выдают замуж дочерей, у нас обстоит по-другому, я выдам замуж тебя. Он тебя любит, и ты любишь его. Вы ровесники и будете прекраснейшей из пар, когда-либо венчавшихся во Французском соборе или в церкви Святой троицы. Как видишь, тебе предоставляется выбрать храм и проповедника, большего я тебе предоставить не могу. Что ты возьмешь и меня с собою к мужу, конечно, нехорошо, но и не так уж плохо. Где много солнца, много и тени.

Глаза госпожи фон Карайон увлажнились.

— Ах, ненаглядная моя Виктуар, ты все видишь не в том свете. Я не хочу огорошивать тебя признаниями, а говорить намеками, как ты подчас любишь, мне несвойственно. И философствовать не люблю. Но одно позволь тебе сказать: наша судьба заложена в нас самих, и то, что кажется причиной, нередко оказывается следствием наших поступков. Верь мне, твоей маленькой руке не скрепить тех уз, которые ты хотела бы скрепить. Этого не может, не должно быть. Мне лучше знать. Да и к чему? В конце концов, я люблю только тебя.

Разговор их прервало появление старой дамы, сестры покойного Карайона, которая раз и навсегда была приглашена обедать у них по вторникам; слишком буквально понимая слово «обед», она являлась ровно в двенадцать часов, хотя знала, что у Карайонов за стол садятся в три. Тетушка Маргарита все еще оставалась истинной французской-эмигранткой, жеманно вытягивала губки, силясь говорить «по-берлински», ела не вишни, а «вюшни», и ходила не с визитами, а с «вюзитами», и, конечно, богато орнаментировала свою речь французскими словечками и выражениями. Всегда опрятно и старомодно одетая, тетушка Маргарита зимой и летом носила то же самое шелковое манто, сутулилась, как почти все дамы французской колонии в Берлине, что однажды заставило малютку Виктуар воскликнуть: «Мама́, почему это почти все тети такие чудачки?» При этом она недоуменно пожала плечами. Неотъемлемой принадлежностью тетушкиного шелкового манто были шелковые же перчатки, которые она берегла как зеницу ока и всегда надевала лишь на верхней ступеньке лестницы. Новости, непременно приносимые тетушкой, были лишены всякого интереса, в особенности когда она пускалась в рассказы, — а поговорить она была большая охотница — о высоких и высочайших особах. Ее специаль-

ностью были маленькие принцессы королевской фамилии: la petite princesse Charlotte et la petite princesse Alexandrine¹, которых она иной раз видела в комнатах своей подруги — француженки, их воспитывавшей. Она умудрилась так слиться с их жизнью, что однажды, когда часовые у Бранденбургских ворот, при проезде принцессы Александрины, зазевались, вовремя не взяли под ружье и не дотронулись до барабана, она не только разделила всеобщее возмущение, но отнеслась к этому событию так, словно в Берлине произошло землетрясение.

Такова была вошедшая тетушка.

Госпожа фон Карайон пошла навстречу старой даме, приветствуя ее теплее, чем обычно, надо думать потому, что благодаря ее приходу прервался разговор, прервать который сама она была не в силах. Тетушка немедленно почувствовала, сколь благоприятно складываются для нее обстоятельства сегодня; усевшись и спрятав перчатки в свой «помпадур», она немедленно приступила к повествованию об аристократических обитателях королевских резиденций, на сей раз даже не упомянув о «высочайших особах». Сообщения из аристократической сферы были много занятнее ее придворных анекдотов, их вполне можно было бы слушать, если бы не некая тетушкина слабость, а именно — крайнее пренебрежение довольно важным моментом: она вечно путала имена, и если рассказывала об эскападе баронессы Штиглиц, то с уверенностью можно было сказать, что сия эскапада была предпринята графиней Таубе. Для начала тетушка и сегодня выложила разные новости, и среди них следующую: «Ротмистр фон Шенк, лейб-гвардеец, устроил серенаду под окном княгини фон Крой», — новость довольно существенная, тем более когда после недолгих расспросов выяснилось, что под ротмистром фон Шенком следует понимать ротмистра фон Шаха, под гвардейским корпусом — жандармский полк, а под княгиней фон Крой — княгиню фон Каролат. Такие поправки тетушка принимала без всякого смущения, не смутилась она и когда под конец этой своеобразной беседы ей сказали, что ротмистра фон Шенка — сиречь фон Шаха — ждут здесь еще сегодня, так как дамы условились поехать с ним на загородную прогулку. Ротмистр — настоящий рыцарь и, конечно же, будет рад, что в поездке примет участие и их

¹ Маленькая принцесса Шарлотта и маленькая принцесса Александрина (франц.).

милая родственница. Последние слова были приняты тетушкой Маргаритой весьма благосклонно, она даже торопливо огладила юбку своего тафтового платья.

Ровно в три все прошли в столовую, а ровно в четыре — *l'exactitude est la politesse des rois*¹, как сказал бы Бюлов, — у подъезда на Беренштрассе остановился фаэтон. Шах, сам правивший, собрался было передать вожжи груму, но обе дамы, уже одетые для загородной прогулки, приветствовали его с балкона и минуту спустя, с изрядным запасом шалей и зонтиков от солнца и от дождя, подошли к экипажу. С ними и тетушка Маргарита. Представленный ей Шах приветствовал старую даму учтивым и одновременно величественным поклоном.

— Ну, скажите, какова же будет ваша «темная цель», фрейлейн Виктуар?

— Поедемте в Темпельгоф, — отвечала она.

— Выбор превосходный. Но прошу прощения, это самая нетемная цель на свете. Особенно сегодня. Солнце, беспощадное солнце.

Быстрой рысью проехали они вниз по Фридрихштрассе к площади, а потом к Галльским воротам, покуда песчаная дорога, подымающаяся на Крейцберг, не заставила их ехать медленнее. Шах считал себя обязанным извиниться за плохую дорогу, но Виктуар — с переднего сиденья ей было удобно вполоборота перебрасываться с ним словами, — истинное дитя города, восторгаясь всем, что открывалось ее взору по обе стороны дороги, не уставала расспрашивать о том о сем Шаха, что положило конец его беспокойству. Всего больше ее забавляли расставленные в огородах и среди ягодников чучела, изображающие старух в соломенных шляпках или в папильотках, развевавшихся на ветру.

Лошади наконец одолели подъем и по убитой глинистой дороге, обсаженной тополями, быстрее побежали к Темпельгофу. У дороги ребяташки запускали змеев, в небе носились ласточки, а на горизонте блестели деревенские колоколенки.

Тетушка Маргарита, на ветру непрерывно оправлявшая воротник своего мантио, тем не менее взяла на себя роль проводника, продолжая повергать в удивление обеих дам, — уже не только путаницей с именами, но и постоянными открытиями несуществующего сходства.

¹ Точность — вежливость королей (*франц.*).

— Смотри, милочка Виктоуар, на вильмерсдорфскую колокольню! До чего же она похожа на нашу в Доротеенштадте!

Виктуар молчала.

— Я не шпиль имею в виду, Виктоуар, милочка, нет, только *corps de logis*¹.

Дамы были испуганы. Но все случилось как обычно случается: то, что повергает в смущение близких, сторонние либо вовсе не замечают, либо воспринимают с полнейшим равнодушием. Шах же слишком долго вращался в обществе старых принцесс и придворных дам, чтобы удивляться глупости или необразованности. Улыбнувшись, он подхватил слова «церковь в Доротеенштадте», оброненные тетушкой, чтобы спросить госпожу фон Карайон, видела ли она в этой церкви барельеф, по приказу покойного короля высеченный на гробнице его сына, графа фон дер Марка.

Мать и дочь ответили отрицательно. Но тетушка Маргарита, не любившая сознаваться, что она чего-то не знает или чего-то не видела, ни к кому не обращаясь, произнесла:

— Ах, бедный маленький принц! Умереть так рано! Какое несчастье! Он был похож на свою, блаженной памяти, мать как две капли воды.

Одно мгновенье казалось, что Шах, уязвленный в своем монархическом чувстве, готов немедленно свергнуть «бедного маленького принца», рожденного «блаженной памяти матерью», но тотчас же, уразумев смехотворность такой мысли, он, чтобы хоть что-то сделать, показал на внезапно возникшую впереди зеленую куполообразную крышу Шарлоттенбургского дворца и свернул на обсаженную липами широкую деревенскую улицу, ведущую к Темпельгофу.

Во втором доме по этой улице помещалась гостиница. Шах передал вожжи груму и спрыгнул с козел, чтобы помочь дамам выйти из экипажа. Но помощь его с благодарностью приняли только госпожа фон Карайон и Виктоуар, тетушка учтиво ее отклонила: она-де давно поняла, что предпочтительно полагаться только на себя самое.

Погожий день привлек множество посетителей, все столики на огороженной штaketом площадке перед гостиницей были заняты. Возникло некоторое замешательство. Но когда уже решено было выпить кофе в садике позади

¹ Основная часть здания (франц.).

дома, под навесом кегельбана, один столик в углу освободился, и все обрадовались, что не надо уходить с площадки, откуда открывался вид на деревенскую улицу. К тому же и столик оказался просто очаровательным. Из середины его прорастал молодой клен, и хотя пышной его крону еще никак нельзя было назвать, но и на редких ветвях уже сидели и щебетали птицы. Мало этого: отсюда были видны экипажи, остановившиеся на деревенской улице; городские кучера без умолку болтали, крестьяне и батраки с плугом и бороной, возвращавшиеся с поля, медленно проходили мимо вереницы карет и колясок. Под конец еще показалось стадо, которое сторожевой пес обегал справа и слева, чтобы не дать ему разбрестись, в это же время зазвонил колокол, сзывая жителей на молитву. Был уже шестой час вечера.

Дамы Карайон, прирожденные горожанки, возможно, именно потому решительно всем восхищались; когда же Шах упомянул о посещении темпельгофской церкви, пришли в полный восторг. Ведь нет минут прекраснее, чем заход солнца. Конечно, тетушка Маргарита, боявшаяся «неразумных тварей», предпочла бы остаться за столиком, но когда призванный на помощь хозяин заверил ее, что «нашего быка бояться не приходится», взяла под руку Виктуар, и они вдвоем вышли на улицу; Шах и госпожа фон Карайон следовали за ними. Все сидевшие на площадке усталились им вслед.

— Нет ничего тайного, что не стало бы явным, — проговорила госпожа фон Карайон и рассмеялась.

Шах вопросительно посмотрел на нее.

— Да, друг мой, мне все известно. И не кто другой, как тетушка Маргарита, рассказала нам об этом сегодня.

— О чем рассказала?

— О серенаде. Фон Каролат ведь светская дама и княгиня. А знаете ли вы, что о вас говорят, будто вы самую безобразную принцессу готовы предпочесть красавице буржуазке? Повторяю, самую безобразную. Каролат же до сих пор красива. *Un teint de lys et de rose*¹. Вы еще заставите меня ревновать.

Шах поцеловал руку своей прекрасной спутнице.

— Тетушка Маргарита все правильно рассказала вам, но теперь прошу, выслушайте меня, я поведаю вам даже мельчайшие подробности. Ибо если мне, не скрою, приятно,

¹ Цвет лица как лилии и розы (франц.).

среди всего прочего, вспомнить о том вечере, то еще большую радость принесет мне возможность поболтать о нем с моей прелестной подругой. Ведь только ваши шутки, столь меткие и в то же время свидетельствующие о добром сердце, делают мне все на свете интересным и приятным. Не смейтесь. Ах, если бы я мог сказать вам: дорогая Жозефина, вы для меня идеал женщины, вы умны без педантизма и спеси, остроумны без злобной насмешливости. Только к вам сейчас, как и прежде, устремляется благоговейный восторг моего сердца, к вам, лучшей и достойнейшей. И высшая ваша прелесть, дорогая моя подруга, в том, что вы даже не подозреваете, сколь вы добры и какую власть вы надо мной имеете.

Он говорил едва ли не растроганно, и глаза прекрасной женщины сияли, а рука вздрагивала в его руке. Но она быстро вернулась к своему шутливому тону и сказала:

— Красиво же вы умеете говорить! Но знайте: красиво говорит лишь тот, кто чувствует себя виноватым.

— Или от полноты сердца. Но лучше поговорим о вине, требующей искупления. Начнем с исповеди. За этим я и пришел вчера, позабыв про ваш приемный день, и почти что испугался, увидев Бюлова и этого плебея, Зандера. Как он попал в ваше общество?

— Зандер — тень Бюлова.

— Хороша тень, весящая в три раза больше того, кто ее отбрасывает. Настоящий мамонт. Толще Зандера, говорят, только его жена, и я сегодня слышал следующий анекдот: «Зандеру, чтобы совершить свой ежедневный моцион, достаточно три раза обойти вокруг жены». И этот человек тень Бюлова! Правильнее уже будет сказать — его Санчо Панса...

— Значит, вы Бюлова считаете Дон-Кихотом?

— Да, сударыня. Вы знаете, что, в общем-то, я не склонен к злословию, но это *au fond*¹ не клевета, скорее — прямая лесть. Славный рыцарь из Ламанча был честным энтузиастом, а позвольте вас спросить, дорогая моя подруга, можно ли то же самое сказать о Бюлове? Энтузиаст! Нет! Он эксцентричен и все тут, а пылающий в нем огонь — не более как огонь inferнального себялюбия.

— Вы несправедливы к нему, милый Шах. Он, конечно, озлоблен, но боюсь, что по праву.

— Человек, болезненно себя переоценивающий, всегда

¹ В сущности (франц.).

отыщет тысячи причин для озлобления. Он ходит из дома в дом, проповедуя самую дешевую мудрость, мудрость *post festum*¹. Смешно. Во всех унижениях, перенесенных нами в прошлом году, если послушать его, виноваты не высокомерие или мощь наших врагов, о нет, этой мощи без труда можно было противопоставить еще большую, если бы люди вовремя поверили в наши таланты, понимай — в таланты Бюлова. Человечество на это не пошло и обрекло себя гибели. И так далее без конца. Отсюда Ульм и отсюда Аустерлиц. Все приняло бы иной оборот, если бы перед корсиканским похитителем короны и престола, перед этим ангелом тьмы, именующим себя Бонапартом, на поле боя предстал просветленный лик Бюлова. Мне противно. Я не терплю фанфаронов. О герцоге Брауншвейгском и о Гогенлоэ он говорит с насмешкой, а я стою за Фридрихово изречение: «Земля покоится на плечах Атласа не надежнее, чем Пруссия на плечах своей армии».

Покуда Шах и госпожа фон Карайон вели этот разговор, пара, шедшая впереди, дошла до того места, где от дороги ответвлялась тропинка, пересекавшая свежевспаханное поле.

— Вот и «цюрковь», — сказала тетушка, указывая зонтиком на новехонькую красную крышу колокольни, мелькнувшую среди деревьев.

Виктуар подтвердила то, что все равно нельзя было оспаривать, и обернулась, чтобы жестами спросить мамá, не пойти ли им по тропинке. Госпожа фон Карайон утвердительно кивнула, и тетя с племянницей двинулись в указанном направлении. При каждом их шаге с бурой вспаханной земли взлетали жаворонки, свившие гнезда в бороздах еще до того, как взошли хлеба; дальше до самой кладбищенской стены шла уже невозделанная земля, на которой, кроме полоски чахлого дерна, имелся только воронкообразный прудик, где музицировала чета жерлянок, по берегу этой лужи рос высокий камыш.

— Смотри-ка, Виктуар, это камыш!

— Да, тетушка.

— Можешь себе представить, *ma chère*², в пору моей молодости камышинки употребляли в качестве ночников, когда нездоровилось или просто не спалось, и представь себе, они отлично плавали в стаканчике.

¹ Здесь: (мудрость) вчерашнего дня (*лат.*).

² Моя дорогая (*франц.*).

— Теперь,— сказала Виктоуар,— режут на кусочки навощенную нить и продергивают ее сквозь кружок картона.

— Да, мой ангел. Но раньше это были камышинки, les joncs. И они тоже славно горели. Потому-то я тебе об этом и рассказываю. Наверно, в них был естественный жир или какая-нибудь смола.

— Вполне возможно,— отвечала Виктоуар, она никогда не спорила с тетушкой и, произнося эти слова, прислушалась — музицирование жерлянок становилось все громче. Но тут же ее внимание привлекла к себе девочка-подросток, во всю мочь бежавшая от церкви им навстречу; за нею с лаем неся косматый шпиц, он прыгал на девочку и старался ее укусить. А она при этом еще подбрасывала в воздух тяжелый церковный ключ, веревкой привязанный к чурке, и так ловко его ловила, что ни ключ, ни чурка не причиняли ей боли. Наконец она остановилась, левой рукой прикрывая глаза от света закатного солнца.

— Ты не дочь церковного служителя? — осведомилась Виктоуар.

— Да,— ответила девочка.

— Пожалуйста, дай нам ключ или вернись с нами и отопри церковь. Мы хотели бы осмотреть ее вместе с господами, что идут вон там.

— Ладно,— сказала девчушка, побежала обратно, перелезла через кладбищенскую стену и тотчас же исчезла за кустами лещины и шиповника, так густо посаженных, что, даже еще не покрывшись листвою, они образовывали плотную изгородь.

Тетушка и Виктоуар медленно шли среди заброшенных могил, которых еще не коснулось дыхание весны; куда ни глянь — голые ветки, только возле самой церкви зеленела тенисто-влажная полянка, поросшая фиалками. Виктоуар нагнулась, торопливо нарвала букетик, и когда мгновенье спустя Шах и госпожа фон Карайон показались на главной дороге, пошла им навстречу и протянула матери фиалки.

Девчушка между тем отперла тяжелую дверь и, дожидаясь посетителей, присела на пороге, но когда обе пары приблизились, вскочила и первой вошла в церковь, где скамьи стояли так же косо и беспорядочно, как кресты на кладбище. Все здесь было убого и запущено, но близившийся к закату солнечный шар за окнами, смотревшими на запад, вдруг залил стены красноватым сиянием, обнов-

ляя, пусть только на миг, давно поблекшую позолоту старых святых на алтаре, что еще с католических времен владели здесь свое смиренное существование. Верная жедевскому реформатству, тетушка, конечно же, перепугалась, увидев этих «идолов», а Шах, среди многих пристрастий которого была и генеалогия, спросил девочку, нет ли здесь старинных надгробий.

— Одно есть,— ответила та.— Вот.— И указала на обветшавший, но все еще четко различимый барельеф, вмурованный в столб у самого алтаря. По-видимому, то был рейтарский полковник.

— Кто это? — спросил Шах.

— Тамплиер,— ответила девочка,— рыцарь фон Темпельгоф. Это надгробие он велел сделать с себя еще при жизни, хотел, чтобы было на него похоже.

Тетушка одобрительно кивнула: стремление, которым был одержим почивший рыцарь, затронуло какие-то родственные струны в ее душе.

— Он и церковь эту построил,— продолжала девочка,— а потом еще и деревню и назвал ее Темпельгоф, его-то самого ведь Темпельгоф звали. Берлинцы говорят «Темплов», только это неправильно.

Дамы задумчиво ее слушали, а Шах, в котором пробудилось любопытство, спросил, не знает ли она еще каких-либо подробностей из жизни рыцаря.

— Нет, из жизни ничего не знаю. Только после смерти.

Все вострепнулись, тетушку даже дрожь пробрала, а девочка спокойно продолжала:

— Уж не знаю, правда или нет, что люди говорят, только старый бобыль Мальтуш все это своими глазами видел.

— Что именно, детка?

— Рыцарь лежал вот здесь, перед алтарем, больше ста лет, а потом подосадовал, что крестьяне и конфирманты вечно на нем толпятся и уже истоптали ему все лицо. Старик Мальтуш, ему уже скоро девяносто стукнет, рассказывал нам с отцом, что своими ушами слышал, как под полом что-то стучало и перекатывалось, словно гроза гремела над соседней деревней.

— Вполне возможно.

— Но они не понимали, что это стучит и перекатывается,— рассказывала девочка,— и так продолжалось, покуда один русский генерал, никак не упомяну его фамилию, не пал под Темпельгофом. Как-то раз, в субботу, пришел

прежний служитель и хотел стереть с доски номера псалмов и проставить новые, на воскресенье. Он взял в руки мел, и вдруг все увидели, что прежние цифры уже стерты и там стоят новые, и еще цифры, обозначающие главу и стих библейского изречения. Все написано по-старинному, очень неясно, едва-едва можно прочесть. Ну, они, конечно, постарались и отыскали: «Ты должен воздавать почести своему покойнику, а не топтать его лицо». Тут уж им ясно стало, кто писал цифры, они подняли камень и вмуровали его в этот столб.

— Я считаю,— заявила тетушка Маргарита, она чем больше боялась привидений, тем ажитированнее отрицала их существование,— что правительство должно больше заботиться о борьбе с суеверием.— С этими словами она боязливо отвернулась от зловещего надгробия и вместе с госпожой фон Карайон, которая по части суеверия могла бы поспорить с тетушкой, направилась к выходу.

Шах, держа под руку Виктуар, последовал за ними.

— Интересно, он и вправду был тамплиер? — спросила она.— Все, что я знаю о тамплиерах, сводится к одному-единственному, в «Натане», но если в наших театрах не слишком произвольно трактуется вопрос о костюмах, то тамплиеры должны выглядеть совсем по-другому. Или я не права?

— Вы всегда правы, милая моя Виктуар.— Тон, каким были сказаны эти слова, проник ей в сердце и долго звучал в нем, хотя Шах этого даже не заподозрил.

— Хорошо. Но если не тамплиер, кто же тогда? — продолжала допытываться Виктуар, доверчиво и в то же время смущенно взглядывая на него.

— Рейтарский полковник времен Тридцатилетней войны. А может быть, и более поздних дней Фербеллина. Я разобрал его имя: Ахим фон Хааке.

— Значит, вы всю эту историю считаете выдумкой?

— Нет, не совсем. Установлено, что в наших краях жили тамплиеры, и эта церковь с ее доготическими формами вполне могла возникнуть в их времена. Вот единственное, что здесь достоверно.

— Меня так интересует этот орден!

— Меня тоже. Карающая рука божества грозно поразила его, и, наверно, поэтому он остался самым интригующим и поэтическим. Вы же знаете, что было поставлено ему в вину: идолопоклонство, отречение от Христа, все-

возможные пороки. И боюсь, что справедливо. Но как ни огромна была вина, еще страшнее было искупление, не говоря уже о том, что и в данном случае безвинный потомок поплатился за вину сошедших поколений. Таков удел и рок всех, кто, пусть блуждая и ошибаясь, стремится возвыситься над повседневностью. Итак, этот орден, над которым тяготели столь страшные обвинения, несмотря на упадок и бесславие, окончил свое существование в сияющем ореоле. Убила его зависть, зависть и корыстолюбие, и, виноватый или безвинный, он подавляет меня своим величием.

Виктуар улыбнулась.

— Тот, кто услышал бы вас, милый Шах, право, мог бы подумать, что вы последний из тамплиеров. Но все же это был монашеский орден, монашеским был и его обет. Разве могли бы вы жить и умереть, как тамплиер?

— Да.

— Возможно, вас прельщает одеяние, еще более изящное, чем жандармская безрукавка?

— Нет, не одеяние, милая Виктуар. Вы не знаете меня, есть во мне что-то такое, отчего ни один обет мне не страшен.

— И не страшно его блюсти?

Не дав ему ответить, она опять заговорила шутливым тоном:

— Мне думается, гибель этого ордена лежит на совести Филиппа Красивого. Странное дело, все исторические лица, прозванные «красивыми», мне антипатичны. И, думаю, не из зависти. Но красота, как говорят, и, по видимому, не без причины, делает человека себялюбцем, а себялюбец — неблагодарен и вероломен.

Шах искал возражений. Он знал, что слова Виктуар, как ни любила она колкие намеки, не могли быть адресованы ему. И он не ошибался. Все это было только *jeu d'esprit*¹, неизбывная страсть к философствованию. И тем не менее ее слова, безусловно непреднамеренные, так же безусловно были навеяны каким-то смутным предчувствием.

Они кончили спорить уже у околицы, где Шах остановился, дожидаясь отставших госпожу фон Карайон и тетушку Маргариту.

¹ Игра ума (*франц.*).

Как только те подошли, он предложил руку госпоже фон Карайон и теперь уже ее повел обратно к гостинице.

Виктуар растерянно смотрела им вслед; как, даже без извинения, совершил он этот быстрый обмен? «Что это было?» Она изменилась в лице, ибо внезапное подозрение заставило ее ответить на ею же поставленный вопрос.

О том, чтобы снова отдохнуть на площадке перед гостиницей, не могло быть и речи; впрочем, они легко и даже охотно от этого отказались, так как ветер, не прекращавшийся весь день, подул с северо-запада, и сразу заметно похолодало.

Тетушка Маргарита попросилась на переднее сиденье, «чтобы ветер не дул в лицо».

Никто с ней не спорил. Она уселась на свою скамеечку, и куда каждый в молчании размышлял о том, что дала ему сегодняшняя прогулка, экипаж все быстрее катился к городу.

Сумерки уже сгустились над ним, когда они стали подниматься на Крейцберг, и лишь купола обеих жандармских башен высились над сизой дымкой.

Глава пятая

ВИКТУАР ФОН КАРАЙОН — ЛИЗЕТТЕ ФОН ПЕРБАНДТ

«Берлин, 3 мая.

*Ma chère Lisette!*¹

Как рада я была получить от тебя весточку, да еще такую добрую. Конечно, ничего другого я и не ждала. Мне мало доводилось видеть мужчин, являющих собою столь верный залог счастья, как твой супруг. Здоровый, благожелательный, скромный, с таким запасом знаний и просвещенности, каковой исключает опасное «чересчур» или «маловато». При этом «чересчур», пожалуй, еще опаснее. Ибо молодые женщины склонны требовать: «У тебя не должно быть других богов, кроме меня!» Я чуть ли не ежедневно наблюдаю это у Ромбергов, Мари не очень-то благодарна своему умному и достойному супругу за то,

¹ Моя дорогая Лизетта! (*франц.*)

что политика и французские газеты заставляют его забывать о визитах и нарядах.

Единственное, что меня встревожило, это твоя новая родина. Мазуры всегда представлялись мне сплошным гигантским лесом с сотнями болот и озер. Вот мне и подумалось, как бы это новое отечество не повергло тебя в меланхолическую мечтательность, которая может положить начало тоске по родине, а не то даже печали и слезам. Ведь тут и мужчина испугается, говорила я себе. Вдруг, к великой моей радости, я узнаю, что ты избегла и этой опасности и что березы, растущие вокруг твоего замка, веселые и нарядные, как на троицу, а не плакучие кладбищенские березы. А *propos*¹, хорошо бы ты, при случае, объяснила мне, что это за напиток березовый. Меня давно уже разбieraет любопытство, но попробовать его мне пока что так и не довелось.

Ну а теперь расскажу тебе о нас. Ты участливо расспрашиваешь меня обо всем и обо всех, хочешь даже услышать о последней принцессе тети Маргариты и о новой путанице с именами. Как раз об этом я могу тебе поведать, ибо не прошло и трех дней, как нас до глубины души потрясла пресловутая путаница.

Было это, когда мы ездили в Темпельгоф с господином фон Шахом, тетушку тоже пришлось пригласить на прогулку, поскольку это был ее день. Ты же знаешь, что каждый вторник она у нас обедает. Вместе с нами она посетила «цюрковь», где при виде икон, восходивших к католическим временам, не только настойчиво и упорно требовала искоренения подобного суеверия, но к тому же всякий раз обращалась с этим требованием к Шаху, словно он заседает в консистории. Тут мне приходится отложить перо, чтобы от души посмеяться (не знаю уж, достоинство это или недостаток, но я все представляю себе с одинаковой живостью). Au fond, это, конечно, не так уж смешно, как кажется в первую минуту. В Шахе есть что-то консисторски торжественное, и, если я не ошибаюсь, именно эта торжественность восстанавливает против него Бюлова. Много, много больше, чем разность убеждений.

Право, по моим словам можно подумать, что я здесь принимаю сторону Бюлова. И не знай ты всего из характеристики, данной мною нашему другу, ты не могла бы

¹ Кстати (*франц.*).

уяснить себе, как я его ценю. Да, нынче больше, чем когда-либо, хотя мне и довелось испытать из-за него много горького. Но люди в моем положении научаются быть кроткими, забывать обиды, прощать. Если бы я этому не научилась, как могла бы я жить, я, так сильно любящая жизнь? Последнее — слабость (как я где-то вычитала), свойственная тем, в ком она менее всего понятна.

Но я обмолвилась «много горького», и мне хочется тебе об этом рассказать.

Это случилось только вчера, во время нашей загородной прогулки. Когда мы из деревни направились в церковь, Шах шел с мамá. Не случайно, это было подстроено, и подстроено мною. Я их оставила вдвоем, так как хотела вызвать на объяснение (ты сама понимаешь — какое). Тихие вечера, когда идешь по полю и не слышишь ничего, кроме вечернего звона, ставят нас выше мелких оглядок, освобождают нашу душу. А освобожденные, мы находим нужные слова. О чем они говорили, я не знаю, во всяком случае, не о том, о чем им надо было говорить. Наконец мы пришли в церковь, насквозь пронизанную красноватым сиянием заката, все в ней ожило и стало незабываемо прекрасно. На обратном пути Шах пошел уже со мною. Он очень интересно говорил, и в тоне для меня столь же приятном, сколь и неожиданном. Каждое его слово осталось у меня в памяти и дает мне повод для размышлений. Но что же произошло дальше? Когда мы подошли к деревне, он сделался молчалив и стал дожидаться мамá. Затем предложил ей руку, и так мы направились к гостинице, где стояли экипажи и толклось множество людей. Меня словно кольнуло в сердце, ибо я не могла отогнать от себя мысль, что ему было бы неприятно под руку со мной появиться в толпе. При его тщеславии, а это свойство нельзя не признать за ним, ему невозможно возвыситься над мнением людей, и насмешливая улыбка на неделю приводит его в дурное расположение духа. При всей своей самоуверенности, в этом единственном пункте он слаб и зависим. Никому на свете, даже мамá, не сделала бы я подобного признания, тебе одной я должна открыться. Если я ошибаюсь, скажи, что мое несчастье сделало меня мнительной, отчитай меня как следует и будь уверена, что я с благодарностью приму твои суровые слова. Ведь, несмотря на тщеславность, я ценю его больше, чем кого бы то ни было. Говорят, что мужчины не вправе быть тщеславными, потому что тщеславие комично. По-моему, это

несколько преувеличено. Но если эти слова верны, значит, Шах — исключение. Я не терплю эпитета «рыцарственный», но другого для него подобрать не умею. Есть в нем, пожалуй, и что-то большее; он сдержан, внушает уважение или, во всяком случае, исполнен врожденного обаяния, и, если случится то, чего я желаю для мамá, да и для себя тоже, мне нетрудно будет занять по отношению к нему вполне достойную позицию.

И еще одно. Ты никогда не считала его особенно умным, а я лишь боязливо тебе возражала. Но ум у него наилучший, то есть средний ум честного человека. Я думаю об этом всякий раз, прислушиваясь к его спорам с Бюловом. Тот возвышается над ним настолько же, насколько стоит ниже его. Сейчас мне вдруг пришло в голову, что злость, которая при таких столкновениях вскипает в нашем друге, сообщает ему находчивость и даже остроумие. Вчера он назвал Зандера — тебе этот муж хорошо известен — Санчо Пансой Бюлова. Вывод напрашивается сам собою, и, по-моему, вполне благоприятный.

О публикациях Зандера сейчас говорят больше, чем когда-либо; время разжигает интерес к острополюмической литературе. Кроме статей Бюлова, вышли в свет еще статьи Массенбаха и Пулля; посвященные объявили их чем-то невиданным и неслыханным. Все ополчаются на Австрию, сызнова доказывая, что «кто в беде, над тем и посмеются». Шах, возмущенный этим наглым всезнайством, как он выражается, вернулся к прежним своим радостям — скаковым лошадям и гравюрам на меди. Его маленький грум становится все меньше. Как для китайнок непрменный атрибут красоты — маленькие ножки, так для грумов — миниатюрное телосложение. Я, со своей стороны, отрицательно отношусь и к тому и к другому, особенно к забинтованным китайским ножкам, и напротив, с удовольствием влезая в удобные туфли. Никогда я не могла бы руководить *им, его* вдохновлять, делать такое умеет разве что моя дорогая Лизетта с деликатностью, которая ей свойственна. Передай мой поклон своему милому мужу, согрешившему лишь однажды, когда он увез тебя от нас. Мамá тоже кланяется и целует свою любимицу, я же только прошу тебя, среди полноты счастья, тебе дарованного, не забывай ту, которая принуждена довольствоваться лишь малой его толикой.

Виктуар».

Глава шестая

У ПРИНЦА ЛУИ

В тот вечер, когда Виктуар писала письмо Лизетте фон Пербандт, Шах, в своем доме на Вильгельмштрассе, получил приглашение от принца Луи, собственноручно им написанное.

Оно гласило:

«Милый Шах. Я всего три дня нахожусь в стране Моабитской и уже жажду людей и разговоров. В четверти мили от столицы ее уже не чувствуешь и оттого тоскуешь по ней. Могу ли я надеяться завтра видеть Вас у себя? Бюлов со своим неразлучным издателем уже дали согласие, так же как Массенбах и Пулль. Словом, сплошная оппозиция, а она всегда меня тешит, хоть я и борюсь с нею. Из Вашего полка будут еще Ноштиц и Альвенслебен. Итак, форма одежды — непарадная, время — пять часов.

Ваш Луи, принц Прусск.»

В назначенный час экипаж Шаха, предварительно захавшего за Альвенслебеном и Ноштицем, остановился перед виллою принца. Она стояла на правом берегу реки, окруженная заливными лугами; из ее окон открывался широкий вид на Шпрее и далее, вплоть до западного края Тиргартена. Парадный подъезд находился с обратной стороны. Торжественная лестница, усталая ковром, вела на просторную площадку и оттуда в зал, где принц встречал гостей. Бюлов и Зандер были уже там, Массенбах и Пулль письменно извинились за то, что не могут быть. Шах остался этим доволен, ему уж и одного Бюлова было предостаточно, и ни малейшего желанья видеть большее число гениев он не испытывал. Был еще день, но в столовой, куда они проследовали, уже горели свечи и — правда, при открытых окнах — были опущены жалюзи. С этим искусственным светом, к которому примешивался свет, проникавший снаружи, прекрасно гармонировал пылающий камин. Спиной к нему сидел принц, сквозь створки жалюзи глядя на деревья Тиргартена.

— Я прошу снисхождения, — начал он, когда гости расселись по местам, — мы с вами в деревне, и да послужит это извинением за все, чего здесь недостает. A la

guerre comme à la guerre¹. Наш гурман Массенбах, видно, ничего лучшего не ждал и заранее испугался. Меня это, впрочем, не удивляет. Недаром говорят, мой милый Зандер, что ваш превосходный стол, больше даже чем превосходное издательство, скрепил вашу с ним дружбу.

— Бряд ли я решусь это оспаривать, ваше королевское высочество.

— По правде говоря, вы обязаны это делать. Ведь в вашем издательстве нет и следа той *laisser passer*², что является привилегией, более того — долгом пресыщенных людей. Ваши гении (прошу прощения, Бюлов), все без исключения, пишут как алчущие и жаждущие. Что ж, это их дело. Над нашей парадоманией вы можете издеваться сколько угодно, но то, что вы так дурно обходитесь с австрийцами, мне, право, не по вкусу.

— Я, ваше высочество? Мне и в голову не приходит претендовать на высокую стратегию. Но разумеется, я хотел бы, так сказать, посредством моего издательства, прямо поставить вопрос: «Умно ли мы действовали под Ульмом?»

— Ах, любезный Зандер, а что умно? Мы, пруссаки, внушаем себе, что мы умны, а известно ли вам, что сказал Наполеон о нашей прошлогодней тюрингской диспозиции? Ноштиц, пожалуйста, повторите его слова... Не хочет, что ж, придется мне это сделать. «*Ah, ces Prussiens, ils sont encore plus stupides, que les Autrichiens*»³. Вот вам критическое замечание о нашем прославленном уме, да еще со стороны достаточно компетентной. Если эти слова попали в цель, то нам в конце концов еще придется поздравить себя с миром, который выторговал для нас Хаугвиц. Да, выторговал! Что другое можно сказать о подарочке, оплаченном нашей честью? На что нам Ганновер? Этим кусочком подавится прусское дворянство.

— Я с ббльшим доверием отношусь к глотательному и пищеварительному аппарату прусского дворянства, — возразил Бюлов. — Что-что, а глотать и переваривать оно умеет с давних пор. Тем не менее об этом еще можно спорить, но о мире, принесенном нам Хаугвицем, спорить не приходится. Этот мир нам необходим как хлеб насущ-

¹ На войне как на войне (*франц.*).

² Здесь: небрежности, будь что будет (*франц.*).

³ Ах, уж эти пруссаки, они еще глупее, чем австрийцы (*франц.*).

ный, и мы должны его иметь, если хоть сколько-нибудь дорожим жизнью. Ваше высочество ненавидит беднягу Хаугвица, чему я поневоле удивляюсь: ведь Ломбар, душа этой политики, пользовался неизменным благоволением вашего Императорского высочества.

— Ах, боже мой, Ломбара я всерьез не принимаю и к тому же учитываю, что он наполовину француз. Вдобавок меня обезоруживает его остроумие. Вы же знаете, его отец был *friseur*¹, а отец его жены *barbier*². И вот однажды входит его супруга, тщеславная до сумасшествия, которая к тому же кропает прескверные французские стишки, и спрашивает, как будет лучше: «*L'hirondelle frise la surface des eaux*» или «*L'hirondelle rase la surface des eaux*»³. Что же он отвечает? «Не вижу особой разницы, дорогая: «*l'hirondelle frise*» славит моего отца, а «*l'hirondelle rase*» — твоего». В этом *bon mot*⁴ весь Ломбар. Что касается меня, то должен сознаться — против такого умения посмеяться над самим собой я устоять не могу. Он озорник, а не государственный муж.

— Пожалуй, то же самое можно сказать и о Хаугвице — как в хорошем, так и в дурном смысле. За него я не стану заступаться перед вашим высочеством. Только за его политику. Она уже тем хороша, что оперирует реальными величинами. И ваше высочество знает это лучше, чем я. Каковы в действительности наши силы? Мы едва сводим концы с концами, а почему, спрашивается? Потому, что государство Фридриха Великого не страна, имеющая армию, но армия, имеющая страну. Наша страна всего-навсего казарма и военные склады, а сама она сколько-нибудь крупных ресурсов не имеет. Победим мы — еще куда ни шло; но вести войны вправе лишь те страны, что могут вынести и поражения. Мы этого не можем. Погибнет армия — и все пропало. А как быстро может она погибнуть, нам показал Аустерлиц. Одно дуновение может сгубить нас, да, и нас. «И богдохнул — и грозный флот, рассеян бурей, пошел ко дну морскому». «*Afflavit Deus et dissipati sunt*»⁵.

¹ Парикмахер (франц.).

² Цирюльник (франц.).

³ Оба предложения означают одно и то же: «Ласточка касается поверхности воды» (франц.). В то же время здесь непереводаемая игра слов: *frise* — завивает, *rase* — бреет.

⁴ Острота (франц.).

⁵ Бог дунул — и они рассеялись (лат.).

— Господин фон Бюлов, — перебил его Шах, — разрешите мне одно замечание. В адском ветре, что дует сейчас над миром, думается, нельзя распознать дыхание господа, рассеявшее армаду.

— Тем не менее, господин фон Шах. Или вы и впрямь полагаете, что дыхание господа состоит на службе у протестантизма или, еще того чище, Пруссии и прусской армии?

— Надеюсь, что так.

— А я боюсь, что нет. У нас «образцовая армия», вот и все. Но образцовостью битвы не выигрывают. Помните, ваше высочество, слова великого короля, когда генерал Левальд вывел на парад свои трижды побежденные полки? «Образцовые парии, — сказал он. — Но пусть посмотрит на моих. С виду черти болотные, а кусаются». Увы, у нас слишком много Левальдовых полков и мало Фридриховых. Духа больше нет, осталась игра и дрессировка. Находятся же офицеры, которые из пустого бахвальства и модничанья надевают мундир прямо на тело. Все противоестественно. Даже уменья маршировать, этой простейшей способности человека переставлять ноги, из-за нашего вечного парадного шага более не существует. А ведь хорошая маршировка сейчас главнейшее условие успеха. Все современные битвы выиграны ногами.

— И золотом, — прервал его принц. — Ваш великий император, любезный Бюлов, не брезгует и мелкими средствами. Даже низкими. Он лжец, это не подлежит сомнению. Но он еще и великий мастер подкупа. И кто же открыл нам на это глаза? Он сам. Прочитайте-ка, что он говорил перед самым Аустерлицким сражением: «Солдаты, враг пойдет в наступление, стремясь атаковать наш фланг, но при этом маневре обнажит свой. Мы по нему ударим, разобьем его и уничтожим». Так и протекала битва. Нельзя поверить, что он только по диспозиции австрийцев разгадал их умысел.

Воцарилось молчанье. Для принца с его живым характером оно было куда неприятнее споров, почему он и обратился к Бюлову с предложением:

— Попробуйте меня опровергнуть.

— Если ваше высочество приказывает, я должен повиноваться. Император точно знал, что произойдет, мог это знать, ибо не только заранее задался вопросом: «Что в таком случае сделает посредственность?», но и сам же на него ответил. Величайшая глупость — надо признать-

ся — так же неучтима, как и величайший ум, — это одна из характерных черт подлинной и неподдельной глупости. Напротив, посредственность, достаточно умную, чтобы ощутить желание «выкинуть однажды гениальное коленце», разгадать нетрудно. А почему? Да потому, что она неизменно следует моде и сегодня копирует то, что увидела вчера. Император все это знал. *Nic haeret*¹. Никогда он не выказывал себя блистательнее, чем в Аустерлицком сражении, ни во второстепенных делах, ни даже в тех *impromptus*² или остроумных, но страшных причудах, всегда отличающих гения.

— Пример, прошу вас.

— Один из ста. Когда фронт был уже прорван, часть русской гвардии — точнее, четыре батальона — отступила к четырем же замерзшим прудам. Французская батарея выдвинулась вперед, чтобы картечью обстрелять батальоны. Откуда ни возьмись появился император. Он мгмом учел необычность положения. К чему эти усилия *en détail*?³ И повелел стрелять ядрами по льду. Минуту спустя лед затрещал, разломился, и все четыре батальона *en saut*⁴ ушли в болотистую глубь. Подобные молниеносные озарения бывают лишь у гениев. При первой же возможности русские сделают то же самое, но если Кутузов станет дожидаться льда, он угодит в воду или в огонь. Всяческого уважения заслуживает мужество русских и австрийцев, но не их таланты. Сказано же:

А в ранце том потертом
Сидит прислужник черта,
Тот кобольд, гений тот...

Ну, а в русско-австрийском ранце этот самый «кобольд, прислужник черта» отродясь не сиживал. Чтобы скрасить неудачу, приходится пользоваться старыми жалкими утешениями: подкуп и предательство. Побежденному всегда трудно найти причину своего поражения в единственно правильном месте — в себе самом; мне думается, что и император Александр отказался от поисков там, где следует их производить.

— И кто может поставить ему это в вину? — отвечал Шах. — Он сделал все, что мог, и даже больше. Когда

¹ От этого все зависит (*лат.*).

² Экспромтах, импровизациях (*франц.*).

³ По мелочам (*франц.*).

⁴ В полном составе (*франц.*).

высота была потеряна, но еще не окончательно исчезла надежда выровнять ход битвы, он, под бой барабанов, помчался впереди своих полков. Лошадь под ним пала, он пересел на другую, и еще полчаса битва продолжалась с переменным успехом. Поистине то были чудеса храбрости, даже французы превозносили своих врагов в самых восторженных выражениях.

Принц, на которого император Александр во время своего прошлогоднего пребывания в Берлине, чуть ли не всеми объявленный *deliciae generis humani*¹, произвел не слишком приятное впечатление, счел нежелательным «любезнейшего из людей» объявлять еще и «храбрейшим». Посему он, улыбнувшись, сказал:

— Не затрагивая достоинства его императорского величества, я хочу сказать, любезный Шах, что вы доверяете французским газетам больше, чем они того заслуживают. Французы — люди умные. Прославляя врагов, они приумножают свою славу, при этом я умалчиваю о всевозможных политических причинах, которые тут, разумеется, соучаствуют. Есть такая пословица: «Для врага строй золотые мосты», весьма разумная, ибо тот, кто сегодня был моим врагом, завтра может стать моим союзником. Что-то такое носится в воздухе, и если мои сведения правильны, то речь идет о новом переделе мира, я хочу сказать — о восстановлении восточной и западной империй. Но не будем говорить о том, что еще не определилось, и попробуем с помощью простого расчета объяснить себе хвалы, расточаемые героическому императору. Если отвага побежденных русских весит один центнер, то победоносная отвага французов, уж конечно, не меньше двух.

Шах, со времени визита императора Александра в Берлин носивший Андреевский крест, закусил губу и собрался возразить, но Бюлов опередил его, заметив:

— К лошадям, павшим под царственным седоком, я вообще отношусь с недоверием. А в данном случае и по-давно. Такие преувеличенные восхваления разве что сконфузили бы императора Александра, так как нашлось бы достаточно свидетелей, которые могли бы утверждать обратное. Он «добрый император» — и basta.

— Вы так насмешливо это произносите, господин фон Бюлов, — ответил Шах. — А я вас спрашиваю, есть ли на свете лучший титул?

¹ Украшением человечества (лат.).

— Конечно. Истинно великого человека не славят за его доброту и тем паче не именуют «добрым». Он, напротив, становится объектом неутомимой клеветы, ибо пошлости, повсюду преобладающей, угодно только то, что с ней сходствует. Бренкенхоф, которого, несмотря на его склонность к парадоксам, читают меньше, чем он того заслуживает, напрямки говорит, что «в наш век лучшие люди неизбежно пользуются наихудшей репутацией». Добрый император! Бог ты мой! Воображаю, какую мину соорил бы король Фридрих, если бы его назвали «добрым Фридрихом».

— Bravo, Бюлов! — воскликнул принц и, глядя на него, поднял свой бокал. — Вы словно прочитали мои мысли.

Но Бюлов, казалось, вовсе не нуждался в одобрении.

— Все короли, прозванные «добрыми», — продолжал он с возрастающей горячностью, — доводили вверенное им государство до гибели или до революции. Последний польский король тоже именовался «добрым». Как правило, у этих августейших особ большой гарем и малый разум. И если надо отправляться на войну, они берут с собой Клеопатру со змеей или без оной.

— Не думаете же вы, господин фон Бюлов, — вспыхнул Шах, — таким образом охарактеризовать императора Александра?

— Хотя бы приблизительно.

— Вы возбуждаете мое любопытство.

— Для этого достаточно вспомнить последний визит императора в Берлин и в Потсдам. О чем шла речь? Как известно, не о пустяках, не о будничных заботах, а о заключении союза на жизнь и на смерть, и точно, при свете факелов монархи вошли в склеп, где покоится Фридрих Великий, чтобы над его гробом поклясться в полумистической кровной дружбе. Но что же произошло после этого? Не прошло и трех дней, как всем уже стало известно, что император Александр, с радостью вышедший на свет божий из склепа Фридриха Великого, распределил пятерых знаменитых придворных красавиц по пяти категориям: *beauté coquette*, *beauté triviale*, *beauté céleste*, *beauté du diable*¹ и, наконец, пятая категория — *beauté qui inspire seul de vrai sentiment*². Конечно же, всех разобрала охота поглядеть на красотку наивысшего разряда.

¹ Красота кокетливая. красота будничная. красота небесная, красота чертовская (франц.).

² Красота, внушающая истинное чувство (франц.).

Глава седьмая

ЕЩЕ ОДИН ГОСТЬ

Полемические наскоки Бюлова развеселили принца, и он, в свою очередь, собрался преподнести гостям изящное капрично на близкую ему тему *beauté céleste* и *beauté du diable*, но вдруг за полуоткинутой тяжелой портьерой на двери в коридор заметил хорошо ему знакомого человечка с явно актерскими повадками, который тут же и вошел в столовую.

— А, Дуссек, как это мило, — приветствовал его принц. — *Mieux vaut tard que jamais*¹. Садитесь, пожалуйста. Вот сюда. А теперь я попрошу все, что осталось из сладостей, пододвинуть нашему другу. Вы застали еще *tutti quanti*², милейший Дуссек. Нет, отказов я не принимаю. Что вы обычно пьете? К вашим услугам асти, монтефнасконе, токай.

— Я предпочитаю венгерское.

— Сухое?

Дуссек усмехнулся.

— Глупый вопрос, разумеется, — поправился принц и еще веселее продолжал: — Ну, а теперь, Дуссек, рассказывайте. У людей театра, за исключением добродетели как таковой, множество добродетелей, и не последняя из оных — общительность. На вопрос «что нового?» они, как правило, отвечают незамедлительно.

— Так будет и сегодня, ваше королевское высочество. — Пригубив вина, Дуссек обтер подбородок.

— Мы ждем. Что нынче всплыло на поверхность?

— Весь город в волнении. Говоря «весь город», я, конечно же, подразумеваю театр.

— Театр и есть город. Вы напрасно оправдываетесь. Ну, а теперь дальше.

— Раз ваше высочество приказывает. Дело в том, что в лице нашего вождя и старейшины нам нанесена весьма чувствительная обидка, следствием коей явился доподлинный театральный мятеж. Вот, значит, каковы новые времена, вот каковы сливки бюргерства, вот каков уважение к прусским *belles lettres et beaux arts*³. «Поклонение

¹ Лучшее поздно, чем никогда (*франц.*).

² Всех в сборе (*итал.*).

³ Беллетристике и изящным искусствам (*франц.*).

искусств» — это всем по душе, но поношение искусств — это уж никуда не годится.

— Любезный Дуссек, — перебил его принц, — ваши мысли заслуживают всяческого уважения. Но поскольку вы заговорили об искусстве, я вынужден вас просить не злоупотреблять искусством ретардации. Если возможно, сообщите нам факты. Что, собственно, произошло?

— С Иффландом случилась беда. Он не получает ордена, о котором столько говорилось.

Хозяин и гости расхохотались. Зандер всех заливи-стее. Ноштиц же проскандировал:

— Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus¹.

Но Дуссек и впрямь был в волнении, еще возросшем от этой вспышки веселья. Особенно он досадовал на Зандера.

— Вы смеетесь, Зандер. Однако здесь это касается только вас и меня. Ибо против кого же заострено копьё, как не против бюргерства в целом?

Принц через стол протянул ему руку.

— Отлично, любезный Дуссек. Я люблю подобные выпады. Расскажите, как это случилось.

— Прежде всего — неожиданно. Как гром среди ясно-го неба. Вашему высочеству известно, что о награждении речь шла уже давно, и мы, позабыв о зависти к собрату по искусству, радовались, словно орден предназначался нам всем. Все складывалось хорошо, и «Осененный силой» — двор очень интересовался спектаклем — должен был стать поводом и последним толчком для этого отличия. Иффланд — масон (последнее тоже давало нам надежду), ложа действовала весьма энергично и склонила на свою сторону королеву. И тем не менее все рухнуло. Пустяки, скажете вы, но нет, это очень важно. Такие пустяки — соломинка, по ней видно, куда дует ветер. А у нас он сейчас, как и раньше, дует с той же стороны. «Chi va piano, va sano»², — гласит пословица. Но в Пруссии следовало бы говорить: *pianissimo*³.

— Вы сказали — рухнуло, Дуссек. Но из-за чего?

— Из-за влияния придворных кругов. В этой связи называют имя Рюхеля. Вообразив себя ученым, он объявил, что гистрионы и ныне и присно стояли очень низко,

¹ Горы стонут, рождается мышь (лат.).

² Тихе едешь, дальше будешь (итал.).

³ Напштишайшим образом (итал.).

за исключением разве что времен Нерона. А эти времена вряд ли можно взять за образец. Он преуспел. Ибо какой же всехристианнейший король захочет быть Нероном, он даже его имени слышать не желает. Итак, мы узнали, что все это дело пока что отложено *ad acta*¹. Королева опечалена, а нам, видно, остается сострадать сей высочайшей печали. Новые времена и старые предрассудки.

— Дорогой маэстро,— начал Бюлов,— к сожалению, я убеждаюсь, что мысли у вас изрядно опережают чувства. Впрочем, это общее явление. Вы говорите о предрассудках, в которых мы увязли, но сами вы также увязли в них вместе со всем вашим бюргерством, которое не стремится создать новый свободный общественный строй, а, одержимое ревностью и тщеславием, пытается встать в ряд привилегированных старых классов. Но так им это не удастся. Место ревности, изнуряющей сердце нашего третьего сословия, должно заступить безразличье к подобным ребячествам, давно уже себя изжившим. Для того, кто не верит в привидения, их больше не существует, тот, кто не придает значения орденам, тщится их искоренить, искореняя тем самым опасную эпидемию.

— А господин фон Бюлов, наоборот, тщится создать новое королевство — Утопию,— вмешался Зандер.— Я, со своей стороны, до поры до времени полагаю, что болезнь, о которой он говорит, все дальше распространяется с востока на запад, но не утихает и в обратном направлении — запад — восток. Более того, внутренним оком я вижу дальнейшее ее распространение и расцвет орденской флоры двадцати четырех классов, под стать классификации Линнея.

Присутствующие единодушно поддержали Зандера, и решительнее всех принц. В человеческой натуре, видно, заложена какая-то тяга к нарядам и украшениям, а посему и к побрякушкам такого рода.

— Да,— продолжал он,— и вряд ли существует стеньга ума, предохраняющая от этой слабости. Думаю, что все здесь считают графа Калькрейта умным человеком, к тому же более других презирающим «суету сует» наших дел и мыслей. И все же, когда граф, надеясь на Черного орла, получил Красного, он швырнул его в ящик стола, крикнув: «Лежи, покуда не почернеешь». Такое изменение цвета и произошло со временем.

¹ Здесь: в долгий ящик (*лат.*).

— Странная эта история с Калькрейтом,— сказал Бюлов,— откровенно говоря, мне больше по душе другой наш генерал, сказавший: «Я готов отдать Черного, чтобы освободиться от Красного». Впрочем, я менее строг, чем это может показаться. Существуют награды, каковые не считать за награду было бы признаком глупости или низкой души. Адмирал Сидней Смит, прославленный защитник Сен-Жан-д'Акр и ненавистник орденов, тем не менее очень ценил безделку, которую епископ акрский вручил ему со словами: «Мы получили эту вещь из рук Ричарда Львиное Сердце и через шестьсот лет возвращаем драгоценную реликвию тому из его соплеменников, кто бесстрашно, как он, защищал наш город». Повторяю, только убогий или дурак мог бы не порадоваться такой награде.

— Как я рад слышать эти слова из ваших уст,— проговорил принц.— Они укрепляют мое чувство к вам, милый Бюлов, и лишний раз доказывают, прошу прощения, что черт не так страшен, как его малюют.

Принц еще не кончил говорить, когда к нему подошел слуга и шепотом доложил, что курительный столик приготовлен и кофе подан. Хозяин тотчас же поднялся и повел своих гостей — Бюлова он даже взял под руку — на балкон, куда вела дверь из столовой. Большая, белая в голубую полосу маркиза, с кольцами, весело дребезжавшими на ветру, была уже опущена, и сквозь ее свисавшие фестоны, вниз по течению реки, виднелись окутанные туманом башни столицы, а вверх — едва-едва одевшиеся листвою деревья Шарлоттенбургского парка, за которыми садилось солнце. Все молча любовались прелестным ландшафтом, а когда спустились сумерки и слуга внес лампу с абажуром, почти не отбрасывающим тени, гости расселись по местам и закурили голландские трубки, причем каждый выбрал ту, которая ему больше нравилась. Лишь Дуссек, знавший, как принц любит музыку, в одиночестве импровизировал что-то за роялем, стоявшим в столовой, и, слегка повернув голову, видел своих вновь оживленно беседовавших сотрапезников да искорки, время от времени вылетающие из глиняных трубок.

В разговоре орденская тема больше не возникала, затронут был разве что повод к ее возникновению, то есть Иффланд и предстоящий спектакль. Альвенслебен при сем заметил, что недавно слышал несколько песен, вставленных в текст. Кстати, и Шах тоже. Было это в салоне

очаровательной госпожи фон Карайон, ее дочь Виктуар пела их, а Шах ей аккомпанировал.

— Мать и дочь Карайон, — проговорил принц. — Ни одно имя я теперь не слышу чаще, чем их имя. Моя милая подруга Паулина мне уже раньше рассказывала об этих дамах, а недавно о них говорила Рахель. Все объединяется, чтобы возбудить мое любопытство и заставить меня искать каких-нибудь связей для знакомства с ними, — впрочем, таковые, думается мне, все же найдутся. Я отлично помню прелестную барышню Карайон на детском балу у Массова, где, как всегда на детских балах, можно было вдосталь насладиться выставкой взрослых, вполне расцветших красоток. Говоря «расцветших», я, собственно, еще ничего не сказал. Нигде и никогда не приходилось мне видеть больше тридцатилетних красавиц, чем на детских балах. Как будто близость подростков, сознательно или бессознательно помышляющих о ниспровержении, вдвойне, втройне подстегивает тех, что еще царят сегодня, подчеркнуть свой перевес, перевес, коего завтра, возможно, уже не будет. Так или иначе, господа, все мы знаем, что детские балы устраиваются только для взрослых, проследить за первопричинами сего интереснейшего явления — подходящая задача для нашего Генца. Бухгольц, ваш философический друг, любезный Зандер, для такой игры, по-моему, недостаточно грациозен. Впрочем, ни слова порицания, ведь он ваш друг.

— Да, но этого друга я в любую минуту готов принести в жертву вашему высочеству. И полагаю, что в данном случае позволительно будет это добавить не только из соображений чисто личных, но и по причине общего характера. Как детские балы, согласно точке зрения и опыта вашего королевского высочества, отлично обходятся без детей, так и дружба спокойно существует без друзей. Суррогаты, пожалуй, самое главное в жизни и, конечно же, наилучший экстракт мудрости.

— У вас, наверно, очень хорошо на душе, милый Зандер, если вы можете публично исповедоваться в столь чудовищных воззрениях, — живо откликнулся принц. — *Mais revenons à notre belle*¹ Виктуар. Она участвовала в живых картинах, которыми юные девицы открыли праздник, и, если память мне не изменяет, изображала Гебу, протягивающую кубок Зевсу. Да, да, так оно и было, покуда я это

¹ Но вернемся к нашей красавице (франц.).

говорил, ее образ отчетливо предстал перед моим внутренним взором. Ей было лет пятнадцать, и талия этого создания, казалось, вот-вот переломится. Но такие талии не переламываются. «*Somme un ange*»¹, — заметил старый граф Неаль; он стоял рядом со мною и докучал мне своими восторгам, потому что они казались мне карикатурой на моп. Я был бы очень рад возобновить знакомство с обепмп дамами.

— Ваше королевское высочество не узнали бы Виктуар, — сказал Шах; тон, в котором говорил принц, был ему неприятен. — Вскоре после бала у Массова она заболела оспой и лишь чудом осталась жива; известная прелесть, конечно, сохранилась в ней, но лишь в отдельные мгновения удивительные достоинства ее натуры набрасывают на Виктуар вуаль красоты, воскрешая былое очарование.

— Итак, *restitutio in integrum*², — вставил Зандер.

Раздался всеобщий хохот.

— Если хотите — именно так, — колко ответил Шах, отвесив проницательный поклон Зандеру.

Заметив, что тень набежала на лица гостей, принц сказал:

— Ничего вам не поможет, любезный Шах. Вы, видно, хотите меня запугать. Не удастся. Скажите, что, собственно, такое красота? Одно из наиболее смутных понятий. Может быть, я должен напомнить вам о пяти категориях, открытию которых мы в первую очередь обязаны его величеству императору Александру, а во вторую — нашему другу Бюлову. Все прекрасно. И все ничто. Я, например, всегда готов отдать предпочтение *beauté du diable*, а ведь это тот феномен красоты, который в известной мере соответствует недавно еще прекрасной Виктуар Карайон.

— Ваше королевское высочество весьма добры, — подхватил Ношниц, — но мне все же представляется сомнительным, чтобы вашему высочеству удалось обнаружить у Виктуар признаки *beauté du diable*. У барышни тон шутивно-элегический, что в первую минуту производит странно противоречивое впечатление, но является для нее бесспорно характерным. Вы со мной согласны, Альвенслебен?

Тот утвердительно кивнул.

¹ Как ангел (*франц.*).

² Восстановление в первоначальном виде (*лат. юридический термин*).

Между тем принц, до смерти любивший углубляться в разнообразнейшие вопросы, сегодня опять предался своей страсти; все более оживляясь, он продолжал:

— «Элегический», говорите вы, «шутливо-элегантский», что же может лучше сочетаться с *beauté du diable*? Вы, видимо, слишком узко трактуете это понятие, господа. Все, что вам представляется при словах «*beauté du diable*», не более как разновидность самой будничной формы красоты — *beauté coquette*: носик чуть более вздернутый, цвет кожи смугловатый, темперамент несколько более живой, манеры более смелые и бесперемонные. Но подобный образ отнюдь не исчерпывает высшей формы *beauté du diable*. В ней есть нечто всеобъемлющее, бесконечно возвышающееся над понятиями расы или цвета лица. Тут напрашивается параллель с католической церковью. И та и эта обращены вовнутрь, а внутренние черты, в данном случае решающие, зовутся энергией, огнем, страстью.

Ношниц и Зандер улыбались и кивали.

— Да, господа, я иду дальше и повторяю: «Что есть красота?» Красота! Можно не только пренебречь обычными ее формами, иной раз их отсутствие является прямым преимуществом. Уверяю вас, любезный Шах, я видел много удивительных поражений и еще более удивительных побед. В любви, как в битвах при Моргартене и Земпахе, прекрасные рыцари терпят поражение, а безобразные мужики торжествуют. Верьте мне, все решает сердце, только сердце. Тот, кто любит, кому дарована сила любви, тот достоин ее, и страшно было бы, будь это не так. Припомните то, что вам самим доводилось видеть. Как часто красавицу жену оттесняет неприглядная возлюбленная! И не в силу речения — *toujours perdrix*¹. О нет, причинные связи здесь много глубже. На свете ничего нет скучнее лимфатически флегматичной *beauté par excellence*². То ей неможется, то она и вовсе расхворалась, я не хочу сказать, что это постоянно и обязательно, но все же часто, тогда как моя *beauté du diable* обладает совершеннейшим здоровьем, тем здоровьем, которое в конце концов равнозначно величайшей прелести. Вот я и спрашиваю вас, господа, где больше представлен этот вид

¹ Всегда куропатка (*франц.*) — намек на известный анекдот, смысл которого в том, что приедается даже самое хорошее.

² Совершенной красоты (*франц.*).

красоты, как не в природе, которая проходит через ряд великих и грозных преобразений, как сквозь огонь чистилища. Две-три ямочки на щеке,— есть ли на свете что-нибудь прелестнее, уже римляне и эллины ценили их, а я не настолько суров и нелогичен, чтобы с почтением и восторгом не относиться к множеству ямочек, если эти чувства спокон веков подобают одной или двум. Парадоксальное «*le laid c'est le beau*»¹ вполне оправдано, и значит оно лишь то, что за внешней некрасивостью таится высшая форма красоты. Будь здесь моя дорогая Паулина, сегодня, увы, отсутствующая, она бы неприятно поддержала меня, даже не поддаваясь гипнозу чужой судьбы.

Принц умолк. Он явно ждал, что гости выразят сожаление по поводу отсутствия госпожи Паулины, нередко исполнявшей роль хозяйки в его доме. Но так как никто и слова не проронил, он продолжал:

— Когда за столом нет женщин, не вспенивается ни вино, ни жизнь. Повторяю, мне очень хотелось бы иметь честь и удовольствие принять дам фон Карайон в салоне моей подруги. Я рассчитываю, что господа, входящие в дом госпожи фон Карайон, сообщат ей о моем желании. Скажем, вы, Шах, или вы, любезный Альвенслебен.

Оба поклонились.

— Но, пожалуй, всего лучше, если моя добрая приятельница Паулина возьмет это дело в свои руки. Надо думать, она первая нанесет визит дамам фон Карайон, и я заранее предвкушаю часы оживленного духовного общения.

Досадное молчание, встретившее эти заключительные слова, было бы еще неприятнее, если бы в эту самую минуту на балкон не вышел Дуссек.

— Какая красота! — воскликнул он, указывая на огненно-желтый горизонт.

Вместе с ним все подошли к перилам и устремили взоры вверх по течению реки, где полыхала вечерняя заря. Перед ярко-желтой полосой, черные и немые, высились тополя, и даже дворцовый купол был сейчас лишь темнеющим силуэтом.

Гостей, как и хозяина, захватила эта картина. Но всего прекраснее были лебеди на фоне вечернего неба, длинной вереницей тянувшиеся от Шарлоттенбургского парка. Некоторые уже опустились и выстроились в ряд. Всю эту

¹ Уродливое — прекрасно (франц.).

флотилию что-то, видимо, влекло поближе к вилле принца, ибо, едва пролетев над нею, они по-военному разворачивались и подстраивались к фронту тех, что уже, словно бросив якорь, недвижно сидели на воде, спрятав клювы под крылья. Тихонько покачивался только камыш позади них. Так прошло довольно долгое время. Потом вдруг один лебедь почти вплотную приблизился к балкону и вытянул шею, словно желая что-то сказать.

— С кем это он собрался побеседовать? — поинтересовался Зандер. — С принцем, или с Дуссеком, или с этой лампой *sine umbra*?¹

— Разумеется, с принцем, — отвечал Дуссек.

— А почему, собственно?

— Потому что принц не только принц, но еще и Дуссек, человек *sine umbra*.

Все расхохотались (и принц тоже), Зандер же церемонно поздравил Дуссека со званием «придворного капельмейстера».

— И если наш друг, — так закончил он, — в будущем опять примется собирать соломинки, чтобы определить по ним, «откуда ветер дует», то для него этот ветер всегда будет дуть из краев священных традиций, а не из краев предрассудков.

Покуда Зандер говорил, лебединая флотилия, видимо привлеченная музыкой Дуссека, снялась с места и двинулась, на этот раз уже вниз по течению реки. Только лебедь, изображавший из себя главного, появился снова, как бы желая еще раз выказать благодарность и церемонно откланяться.

Но затем и он вылетел на середину реки и присоединился к остальным, хотя головной отряд уже скрылся в тени парковых деревьев.

Глава восьмая

ШАХ И ВИКТУАР

Вскоре после обеда у принца в Берлине стало известно, что король, еще до конца недели, прибудет из Потсдама, чтобы на Темпельгофском поле произвести смотр войскам. Сие известие возбудило интерес бóльший, чем обычно, ибо

¹ Без тени (лат.).

население столицы не только не верило в мир, привезенный Хаугвицем, но все больше и больше прониклось убеждением, что в последнюю минуту нашу безопасность, наше спасение обеспечит лишь собственная наша сила. А какая же сила имелась у нас, кроме армии, которая по своей выучке и выправке была еще Фридриховой армией!

В таком настроении все дожидались смотра, назначенного на субботний вечер.

В субботу столица волновалась уже с раннего утра. Тысячи людей загрохотали улицу, поднимающуюся в гору от Галльских ворот, по обе стороны которой выстроились лотошники, эти цивильные маркитанты, со своими корзинами и бутылками. Вскоре стали подъезжать экипажи берлинской знати, среди них ландо Шаха, сегодня отданное в распоряжение дам фон Карайон. Их сопровождал старый господин фон Реке, бывший офицер и близкий родственник Шаха, выполняя роль почетного эскортера и военного комментатора. На госпоже фон Карайон было стального цвета шелковое платье и мантилья того же оттенка, голубая вуаль итальянской шляпы Виктуар трепетала на ветру. Рядом с кучером сидел грум, радуясь благоволению обеих дам и в особенности произвольно акцентированным английским словам, с которыми Виктуар время от времени к нему обращалась.

Прибытие короля было назначено на одиннадцать часов, но задолго до этого времени на смотр стали собираться издавна прославленные пехотные полки Альт-Лариша, Арнима и Меллендорфа, предшествуемые своими военными оркестрами. За ними следовала кавалерия: лейб-гвардия, жандармы и лейб-гусары, под конец, в облаке пыли, становившемся все гуще, со стуком и грохотом проехали шести- и двенадцатифунтовые пушки; некоторые из них гремели еще под Прагой и Лейтеном, а недавно опять под Вальми и Пирмазенсом. Толпа приветствовала их появление ликующими криками, и правда, сердца всех очевидцев поневоле бились в горделивом патриотическом подъеме. Дамы Карайон, разделяя всеобщие чувства, сочли за стариковское брюзжанье, когда старый господин фон Реке, нагнувшись к ним, взволнованным голосом проговорил:

— Постарайтесь запомнить это зрелище, милостивые государыни, и поверьте предчувствию старика: больше нам никогда не видеть подобной мощи. Это прощальный смотр армии великого Фридриха.

Виктуар, слегка простудившись на Темпельгофском поле, вечером осталась дома, мамá же собралась в театр, который она всегда любила, а теперь, когда к воздействию искусства примешивались еще политические эмоции, просто жить без него не могла. «Валленштейн», «Дева», «Телль» — ставились от случая к случаю, чаще всего давали «Политического жестянщика» Хольберга; как видно, и дирекция и публика полагали, что эта пьеса значительно лучше пригодна для шумных демонстраций, нежели творения Шиллеровой музыки.

Виктуар, оставшись одна, наслаждалась тишиной и покоем; она завернулась в турецкую шаль и легла на диван, положив рядом с собой письмо, полученное утром, как раз когда они собирались на Темпельгофское поле, почему она едва-едва успела пробежать его глазами. Зато теперь, возвратясь домой, читала его тем более вдумчиво и внимательно.

Письмо было от Лизетты. Сейчас Виктуар снова взяла его в руки и перечитала место, еще ранее отчеркнутое карандашом:

«...Знай, милая моя Виктуар, что я, прости за такое признание, не до конца поверила некоторым твоим высказываниям в последнем письме. Ты пытаешься обмануть себя и меня, говоря о своем уважительном отношении к Ш. Он сам бы улыбнулся, услышав такое. То, что тебе стало больно, то, что ты была уязвлена, когда он взял под руку твою мамá, с головой выдает тебя, меня же наводит на множество мыслей, как, впрочем, и многое другое из того, что ты пишешь в этой связи. Моя подруга неожиданно открылась мне с той стороны, с которой я ее совсем не знала: ты, оказывается, склонна к подозрительности. А теперь, моя дорогая, постарайся дружелюбно выслушать то, что я скажу тебе касательно этого важного пункта. Как-никак я старше тебя. Ты ни в коем случае не должна культивировать в себе недоверие к людям, безусловно имеющим право на прямо противоположное отношение. А к таковым, думается мне, принадлежит и Шах. Чем больше я над этим размышляю, тем яснее мне становится, что ты стоишь перед альтернативой — либо поступиться своим добрым мнением о Ш., либо своим к нему недоверием. Он настоящий рыцарь, утверждаешь ты, добавляя, что «рыцарственность» — его вторая натура, и в то самое мгновение, когда ты это пишешь, твоя подозрительность обвиняет его в таком образе дей-

ствий, который, будь это правдой, был бы самым нерыцарственным на свете. Подобных противоречий не существует. У человека либо есть честь, либо ее нет. В остальном, дорогая моя Виктуар, наберись мужества и будь раз и навсегда уверена — *зеркало тебе лжет*. Для нас, женщин, смысл жизни в одном — завоевать сердце того, кого мы любим, а чем мы его завоюем, это уже безразлично».

Виктуар снова сложила листок. «Обладая всеми благами жизни, нетрудно утешать и советовать; у нее есть все, и она сделалась великодушной. Убогие слова, брошенные богачом со своего стола».

И Виктуар закрыла глаза обеими руками.

В это мгновение послышался звонок, затем второй, но никто из прислуги на него не откликнулся. Неужто Беата и старый Яннаш не слышат звонка? Или они ушли? Ее разобрало любопытство. Она тихонько подошла к двери и сквозь стекло увидела Шаха. Секунду-другую Виктуар пребывала в нерешительности, но все же открыла дверь и пригласила его войти.

— Вы так тихо звонили. Беата, вероятно, не слышала.

— Я пришел, только чтобы узнать, как чувствуют себя дамы. Погода для парада выдалась — лучше не надо, солнечная и прохладная, но ветер был довольно резкий.

— Вы видите перед собой одну из его жертв. Меня лихорадит, не слишком сильно, но вполне достаточно, чтобы пожертвовать театром. Эта шаль — прошу извинить меня, если я снова в нее закутаюсь, — и отвар, от которого Беата ждет истинного чуда, наверно, будут мне полезнее, чем «Смерть Валленштейна». Мама сначала хотела остаться со мной. Но вы же знаете ее страсть ко всему, что зовется театром, — вот я и уговорила ее поехать. Правда, не из чистого альтруизма, сознаюсь, мне хотелось побыть одной и отдохнуть.

— А теперь я нарушил ваш покой. Но я вас задержу ровно столько, сколько нужно, чтобы выполнить поручение, впрочем, вероятно, я уже опоздал с ним, и меня опередил Альвенслебен.

— Не думаю, разве что это поручение такого характера, что мама сочла желательным утаить его даже от меня.

— Случай достаточно невероятный. Ибо оно в равной мере относится к матери и к дочери. Мы обедали у прин-

ца, *sercle intime*¹, хотя под конец, разумеется, явился Дуссек. Он говорил о театре (о чем же еще ему говорить) и даже Бюлова заставил замолчать, что, пожалуй, можно назвать подвигом.

— Вы злословите, милый Шах.

— Я достаточно давно посещаю салон госпожи фон Карайон, чтобы усвоить хотя бы отдельные элементы этого искусства.

— Час от часу не легче, вы настоящий еретик, и вам придется предстать перед великим инквизитором — мамá. Тут уж вам не избежать пытки морализующей проповедью.

— Более приятной кары я себе не желаю.

— Вы слишком легко ко всему относитесь... Ну, а теперь о принце...

— Он хочет видеть вас обеих, мать и дочь. Госпожа Паулина, которая, как вы, вероятно, знаете, исполняет роль хозяйки в доме принца, придет к вам с приглашением.

— Принять таковое мы обе сочтем за честь.

— Меня это удивляет. Впрочем, вы вряд ли говорите серьезно, милая Виктуар. Принц — мой высокий покровитель, и я люблю его *de tout mon coeur*. Это само собой разумеется. Но он — свеча, отбрасывающая слишком большую тень, вернее, если вы не рассердитесь за такое сравнение, уже оплывшая свеча. Короче говоря, принц, как и многие высочайшие особы, пользуется сомнительной привилегией — одинаково преуспевать в подвигах ратных и любовных, иными словами, он попеременно то герой, то сорвиголова. К тому же беспринципный и бесцеремонный и, что хуже всего, не заботящийся даже о простейшей благопристойности. Вам известны его отношения с госпожой Паулиной.

— Да, и я не одобряю их. Но не одобрять еще не значит осуждать. Мамá учила меня не думать и не печалиться о таких делах. И разве она не права? Скажите, милый Шах, что случилось бы с нами, именно с нами, двумя женщинами, если бы мы вообразили себя судьями своих друзей и знакомых и, не приведя господь, захотели бы огнем и водой испытать поведение каждой женщины и каждого мужчины. Общество всегда суверенно. То, что оно допускает — допустимо, что отвергает — отвергнуто. Кроме

¹ В интимном кругу (*франц.*).

того, все здесь — особый случай. Принц — это принц, госпожа фон Карайон — вдова, а я — это я.

— Вы так решили и так все должно остаться, Виктуар?

— Да. Боги блюдут равновесие. Я только что получила письмо от Лизетты Пербандт. Она пишет: «У кого много отнято, тому много и воздастся». В моем случае такая мена довольно безрадостна, и я совсем к ней не стремлюсь. Но с другой стороны, и не прохожу с закрытыми глазами мимо блага, дарованного мне в возмещение, и радуюсь своей свободе. То, что отпугивает других девушек моего возраста, мне дозволено. На балу у Массова, где мною впервые восхищались, я, сама того не зная, была рабой. Или, по крайней мере, зависела от сотен условностей. Теперь я свободна.

Шах с удивлением взглянул на нее. Многое из того, что говорил о ней принц, вдруг вспомнилось ему. Что это, подлинное ее убеждение или минутный каприз? Может быть, лихорадка? Щеки у нее разгорелись, огонь, вспыхнувший в глазах, вдруг ожег его выражением упрямой решимости. Тем не менее он попытался вернуться к тому легкому тону, в котором начался разговор, и сказал:

— Моя дорогая Виктуар шутит. Бьюсь об заклад, всему виной томик Руссо, что лежит перед нею; фантазия Виктуар шагает в ногу с автором.

— Нет. Это не Руссо. Другой больше интересует меня.

— Кто же именно, разрешите полюбопытствовать.

— Мирабо.

— А почему больше?

— Потому, что он мне ближе. А личное всегда определяет наше суждение. Или почти всегда. Мирабо — мой товарищ по несчастью. Он вырос среди ласк и восторгов, только и слыша: «Ах, какое прелестное дитя». А потом вдруг все это кончилось, кончилось, как... как...

— Нет, Виктуар, вы не смеете выговорить это слово.

— Но я хочу и даже готова сделать своим имя товарища по несчастью, если, конечно, это было бы возможно. Victoire Mirabeau или, скажем: Mirabelle de Carayon. Правда, ведь красиво звучит и непринужденно, а если постараться перевести это имя, оно будет значить: чаровница.

Сказав так, она рассмеялась высокомерно и горько. Но горечи было больше, чем высокомерия.

— Вы не должны так смеяться, Виктоуар, так не должны. Вам это не идет, это уродует вас. Да, не обижайтесь, уродует. Видно, принц был прав, с таким восторгом говоря о вас. Жалкого закона формы и цвета не существует. Во веки веков истинно лишь одно — душа создает тело для себя или же пронизывает и просветляет его.

Губы Виктоуар дрожали, ее уверенности в себе как не бывало, озноб сотрясал ее. Она плотнее укуталась шалью, Шах взял ее руку, холодную как лед, ибо вся кровь прилила к ее сердцу.

— Виктоуар, вы к себе несправедливы, вы напрасно лютуете против себя самой, напрасно видите все в черном цвете, не замечая, как светит солнце. Умоляю вас, соберитесь с силами, сызнова поверьте в свое право на жизнь и на любовь. Разве я был слеп? Вы хотели унижить себя горьким словом, но именно этим словом себя определили, попали в самую точку. Вы принцесса из сказки, вы чудо, да, Мирабелла, да, да, чаровница.

Ах, то были слова, которых страшилось ее сердце, упорством силясь защитить себя.

Сейчас она, безвольно внимая его словам, молчала, погруженная в сладостный дурман.

Стенные часы пробили десять, им ответили часы на башне. Виктоуар, считавшая удары, откинула волосы, подошла к окну и выглянула на улицу.

— Что тебя испугало?

— Мне послышался стук колес.

— У тебя слишком тонкий слух.

Она покачала головой, и в эту самую минуту карета госпожи фон Карайон остановилась у подъезда.

— Оставьте меня... прошу вас.

— До завтра.

Сам не зная, удастся ли ему избежать встречи с госпожой фон Карайон, Шах быстро поклонился и проскользнул через коридор в прихожую.

Тишина и мрак царили внизу, только из середины вестибюля падал ответ почти до верхней ступеньки лестницы. Ему повезло. Широкая колонна делила узкий парадный вход на две половины, он укрылся за нею и стал ждать.

Виктоуар у застекленной двери встречала мамá.

— Ты рано вернулась. Ах, как я тебя ждала!

Шаху было слышно каждое слово. «Где грех, там и ложь,— сказал в нем какой-то голос.— Старая песня».

Но острие этих слов было обращено против него, не против Виктуар.

Он вышел из своего укрытия и быстро, бесшумно бежал по лестнице.

Глава девятая

ШАХ ИДЕТ НА ПОПЯТНЫЙ

«До завтра»,— сказал Шах, прощаясь, но назавтра он не явился, так же как не явился на второй и на третий день. Виктуар тщилась подыскать этому объяснения, но так как у нее ничего не получалось, она снова и снова перечитывала то место из письма Лизетты, которое давно уже знала наизусть. «Ты ни в коем случае не должна культивировать в себе недоверие к людям, безусловно имеющим право на прямо противоположное отношение. А к таковым, думается мне, принадлежит и Шах. Чем больше я над этим размышляю, тем яснее мне становится, что ты стоишь перед альтернативой — либо поступиться своим добрым мнением о Ш., либо своим к нему недоверием». Да, Лизетта права, и все-таки страх закрадывался в ее душу. «Лишь бы обошлось». И она заливалась краской.

На четвертый день он наконец объявился. Но Виктуар, незадолго до его прихода, ушла в город. Вернувшись, она узнала, что он нанес им визит, был очень любезен, раза два или три спросил о ней и оставил для нее букет. Фиалки и розы наполняли ароматом комнату. Покуда мама все это ей рассказывала, Виктуар пыталась отвечать в легком и беззаботном тоне, но сердце ее разрывали противоречивые чувства, и она ушла к себе, чтобы дать волю слезам, счастливым и тревожным.

Меж тем настал день премьеры «Осененного силой». Шах послал своего слугу — узнать, желают ли дамы быть на спектакле. Разумеется, лишь для проформы, ибо в их желании не сомневался.

Театр был переполнен. Шах, сидя насупротив дам Карайон, с подчеркнутой учтивостью приветствовал их. Но этим все и ограничилось, к ним в ложу он не зашел, что озадачило госпожу фон Карайон не меньше, чем Виктуар. Тем временем в публике, разделившейся на два лагеря,

разгорелся такой жаркий и яростный спор по поводу пьесы, что дамы Карайон поневоле оказались в него вовлеченными и хотя бы на время позабыли о личных своих заботах. Лишь на пути домой они стали вновь удивляться поведению Шаха.

На следующий день он к ним приехал. Госпожа фон Карайон ему обрадовалась, но более проникательную Виктор охватило неприятное чувство. Он, конечно же, дожидался этого дня, чтобы иметь тему для салонной болтовни и, таким образом, облегчить себе неловкость первой встречи с нею. Поцеловав руку госпожи фон Карайон, Шах обернулся к Виктор и выразил сожаление, что в прошлый свой приход не застал ее. «Редкие встречи не сближают людей, скорее содействуют их отчуждению». Эти слова были сказаны тоном, заставившим ее усомниться, вкладывает ли он в них более глубокий смысл или говорит просто так, от смущенья. Она задумалась, но ничего еще не успела решить, а разговор уже перешел на пресловутую пьесу.

— Как вы ее находите? — осведомилась госпожа фон Карайон.

— Я не люблю комедий, которые длятся пять часов, — отвечал Шах. — В театре мне хочется отдохнуть и получить удовольствие, а не выбиваться из сил.

— Согласна. Но это нечто внешнее, случайная неудача, которую нетрудно исправить. Сам Иффланд не против довольно значительных сокращений. Я хочу знать ваше мнение о пьесе.

— Она меня не удовлетворила.

— Почему?

— Потому, что в ней все поставлено с ног на голову. Такого Лютера, слава богу, никогда не было, а явись такой, он попросту увел бы нас туда, откуда в свое время нас вывел подлинный Лютер. Каждая строчка там противоречит духу времени и духу Реформации; все иезуитство или мистицизм, ведущий недозволенную, почти ребяческую игру с правдой, с историей. Постоянная несуразица. Мне все время вспоминалась гравюра Альбрехта Дюрера, на которой Пилат едет верхом с притороченной к седлу кобурой, или не менее известный алтарный образ в Зосте, где на блюде, вместо пасхального агнца, лежит вестфальский окорок. В этой претенциозной пьесе нам на блюде преподносится самый заправский поп, какого только можно себе представить. Да и вся она — сплошной анахронизм.

— Пусть так. Но это в том, что касается Лютера. А меня, повторяю, интересует пьеса.

— Лютер и есть пьеса. Все остальное нуль. Или прикажете мне восхищаться Катариной фон Бора, монахиней, которая, в сущности, и не была ею?

Виктуар потупилась, руки ее дрожали. Шах это заметил; испугавшись допущенной бестактности, он быстро, сам себя перебивая, заговорил о готовящейся пародии на эту пьесу, об уже заявленном протесте лютеранского духовенства, о придворных кругах, об Иффланде, о самом авторе и закончил неумеренным восхвалением песен, вставленных в пьесу. Он надеется, что фрейлейн Виктуар еще помнит тот вечер, когда ему выпала честь ей аккомпанировать.

Говорилось все это любезно и дружески, но звучало отчужденно, и Виктуар чутким своим слухом уловила, что это не те слова, на которые она была вправе рассчитывать. Она старалась отвечать ему непринужденно, но из тона пустой светской беседы так и не вышла. Вскоре он откланялся.

На следующий день явилась тетушка Маргарита. При дворе она слышала о «прекрасной пьесе, лучше которой и быть не может», и, конечно, очень хотела ее посмотреть. Госпожа фон Карайон, желая сделать приятное старой даме, пригласила ее на второе представление. И так как пьеса уже подверглась большим сокращениям, то у них еще осталось время поболтать с полчасика, воротившись домой.

— Ну как тебе понравилось, тетя Маргарита? — спросила Виктуар.

— Отлично, моя дорогая. Ведь там говорится об одной из основ нашей протестантской церкви.

— Что ты под этим подразумеваешь, милая тетя?

— Идею христианского брака.

Виктуар едва сдержалась, чтобы не рассмеяться, и ответила:

— Я полагала, что основу нашей религии составляет нечто иное, хотя бы учение о причастии.

— О нет, мплочка, уж это я знаю точно. С вином или без вина, особой роли не играет, но вот живут ли наши *prédicateurs*¹ в церковном браке или не живут, это, мой ангел, очень важно.

¹ Проповедники (франц.).

— Я считаю, что тетя Маргарита совершенно права, — вставила госпожа фон Карайон.

— О том и толкует пьеса! — ободренная неожиданной похвалой, воскликнула тетушка. — И это становится еще яснее оттого, что Бетман такая красивая женщина. Во всяком случае, куда красивее, чем та. Я о монахине говорю. Но это не беда, тот ведь тоже был некрасивый, — во всяком случае, не такой красивый, как *он*. Ты краснеешь, Виктуар, милочка, но столько-то и я понимаю.

Госпожа фон Карайон от души расхохоталась.

— Что и говорить, — продолжала тетушка, — наш ротмистр фон Шах — очень приятный господин, я все вспоминаю Темпельгоф и воскресшего рыцаря... А знаешь, говорят, в Вильмерсдорфе тоже есть такой, и его тоже переместили. И как вы думаете, кто мне это рассказал? *La petite princesse Charlotte*.

Глава десятая

«ЧТО-ТО ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ»

«Осененный силой» по-прежнему часто давался в театре, и Берлин все еще делился на два лагеря. Те, что были настроены мистико-романтически, стояли за пьесу, свободомыслящие — против. Даже в доме Карайонов продолжалась эта распря, и если мамá, отчасти из-за своих придворных связей, отчасти из-за собственных «чувств», страстно восторгалась пьесой, то Виктуар сентиментальность таковой внушала отвращение. Все там казалось ей лживым, надуманным, и она уверяла, что Шах кругом прав в своих суждениях.

Он время от времени опять появлялся у них, но всегда в те часы, когда мог быть уверен, что Виктуар сидит в гостиной с матерью. Теперь он снова зачастил в знатнейшие дома Берлина и, как пронизировал Ноштиц, выкладывал у Радзивиллов и Каролатов то, что вылавливал у Карайонов. Альвенслебен тоже над этим подшучивал, и даже Виктуар пыталась ему вторить. Правда, ей это не удавалось. Она часто впадала в задумчивость, но печалью это нельзя было назвать. И несчастной она тоже себя не чувствовала.

Среди тех, кого занимала эта пьеса, иными словами — влоба дня, были и офицеры жапдармского полка. Хотя всерьез они, разумеется, ни к одной из сторон не примы-

кали, но находили неисчерпаемый материал для озорства и насмешек в роспуске женского монастыря, в девятилетней «приемной дочке» Катарины фон Бора и, наконец, в Лютере, на протяжении всего спектакля играющем на флейте.

В те дни любимым местом их сборищ стала полковая караульня; молодые офицеры заходили туда к товарищам, несли дежурную службу, и нередко засиживались у них до глубокой ночи. Остроты и подшучиванья над новой комедией, как уже сказано, не сходили у них с языка, а когда кто-то вдруг сказал, что, дескать, их полку, в последнее время несколько упавшему в общественном мнении, прямо-таки вменяется в патриотический долг вновь показать, «каков он есть», эти слова были встречены бурным ликованием, и в конце концов все пришли к заключению, что «что-то должно произойти». Надо устроить маскарад, пародирующий «Осененного силой», — таков был единодушный вывод, мнения разошлись только в одном: как это сделать. В результате решено было через несколько дней встретиться вновь и, выслушав различные предложения, выработать окончательный план.

Слух об этом собрании распространился достаточно широко, и, когда настал день и час встречи, в упомянутую караульню явился человек двадцать: Итценлиц, Юргас и Брицке, Биллербек и Дирике, граф Хезлер, граф Херцберг, фон Рохов, фон Путлиц, Крахт, Клицинг и, наконец, лейтенант фон Цитен, низкорослый, уродливый человечек с кривыми ногами и уже в летах, который пробивал себе дорогу в жизни дальним родством с прославленным генералом, но главным образом крикливым нагловатым голосом, искупавшим отсутствие у него иных добродетелей. Пришли и Ноштиц с Альвенслебенем. Шах отсутствовал.

— Кто будет председательствовать? — осведомился Клицинг.

— Речь может идти лишь о двоих, — отвечал Дирике. — Либо самый длинный, либо самый короткий: следовательно, Ноштиц или Цитен.

«Ноштиц, Ноштиц», — наперебой закричали собравшиеся, и единогласно избранный Ноштиц торжественно уселся на выдвинутый из ряда садовый стул. Длинный стол караульни был сплошь уставлен бутылками и бокалами.

— Говори речь! *Assemblée nationale* ¹.

¹ Национальное собрание (франц.).

Ноштиц дал им немного пошуметь, затем стукнул по столу палашом, лежавшим рядом, как знак его председательского достоинства:

— *Silentium, silentium!*¹

— Друзья мои жандармы, наследники старой славы и почестей не только на поле брани, но и в гостиных (ибо мы одинаково умели изменять ход битвы и задавать тон в обществе), друзья, итак, мы пришли к решению: *что-то должно произойти!*

— Да, да. Что-то произойдет.

— Осененные прекрасной мыслью, благодаря «Осененному силой», мы, в угоду старику Лютеру и себе самим, решили устроить шествие, о котором еще будут говорить грядущие поколения. Оно должно быть поистине грандиозным. Недаром говорится: «Кто не идет вперед, пятится назад». Но суть его и характер нам еще следует определить, для этой цели мы сюда и явились. Я готов поочередно выслушать все ваши предложения. Прошу заявить, у кого таковые имеются.

Среди имеющих предложения оказался и лейтенант фон Цитен.

— Даю слово лейтенанту фон Цитену.

Тот поднялся и, слегка раскачивая спинку стула, сказал:

— То, что я хочу предложить, называется «Саный поезд».

Все переглянулись. Кое-кто рассмеялся.

— Это в июле-то?

— Да, в июле,— повторил Цитен.— Мы велим рассыпать соль на Унтер-ден-Линден и поедем по этому снегу. Сначала парочка бывших монахинь, засим в самых больших санях, которые будут являться центром процессии,— Лютер и его фамулус, оба играющие на флейтах, на козлах же будет восседать сама Катаринхен. *Ad libitum*² с факелом или кнутом в руках. Впереди процессии поскачут форейторы. Костюмы мы раздобудем в театре или велим сшить. Я все сказал.

Неистовый шум покрыл его последние слова. Ноштицу с трудом удалось утихомирить собрание.

— Этот шум я принимаю за изъявление согласия и хочу поздравить нашего товарища Цитена, первым же

¹ Молчанье. молчанье! (лат.)

² По желанию (лат.).

выстрелом попавшего в черный кружок. Итак, санный поезд. Принято единогласно?

— Да, да.

— Остается только распределить роли. Кто будет изображать Лютера?

— Шах.

— Он не согласится.

— Почему? — прокаркал Цитен, питавший откровенную неприязнь к красивому и не раз ему предпочтенному Шаху. — Разве можно так недооценивать Шаха? Конечно, с полчаса он будет расстраиваться из-за широких скул, которые ему придется сделать, и еще из-за того, что свою изящную голову он должен будет превратить в мужицкую tête carrée¹. Но в борьбе двух тщеславий победит сознание, что в течение двадцати четырех часов он будет героем дня.

Цитен еще не договорил, как в комнату вошел караульный ефрейтор с письмом, адресованным Ноштицу.

— А, lupus in fabulis!²

— От Шаха?

— Да!

— Читайте, читайте вслух!

Ноштиц сорвал печать и прочитал:

— «Прошу Вас, мой милый Ноштиц, на собрании молодых офицеров, предположительно имеющем место в данный момент, взять на себя роль моего посредника, а если потребуется, и адвоката. Получив циркуляр, я поначалу решил явиться в собрание. Но вскоре мне сообщили, чему, видимо, будет посвящено таковое, и это заставило меня изменить решение. Для вас не секрет, что задуманное идет вразрез с моими убеждениями, и вы без труда поймете, как мало приязни я испытываю (мне и театральная Лютер был *contre soi*³) к Лютеру маскарадному. То, что этот маскаррад не оправдан даже карнавальная порой, положения ничуть, разумеется, не улучшает. Однако эта моя позиция ни в какой мере не должна влиять на молодых людей, они, разумеется, могут быть убеждены в моей скромности. Я не совесть полка и тем паче не надзиратель. *Ваш Шах*». Я так и знал, — спокойно заметил Ноштиц, сжимая записку на стоящей возле свече. — Велико-

¹ Квадратную голову (*франц.*).

² Легко на помине! (*лат.*)

³ Не по сердцу (*франц.*).

лепные предложения Цитена и его фантазия превосходят его знание человеческой природы. Я вижу, он собирается мне ответить, но я не дам ему слова, в настоящую минуту важно одно: кто будет Лютером? Реформатор пойдет с молотка. Кто больше даст, тот его получит. Считаю: раз, два... три. Все молчат? Остается назначить Лютера. Альвенслебен, вы.

Альвенслебен покачал головой.

— Я отношусь к этой затее так же, как Шах; игру я вам портить не собираюсь, но сам в ней участвовать не стану. Не могу и не хочу. Слишком много сидит во мне от Лютерова катехизиса.

Ноштиц уступил не вдруг.

— Всему свой черед,— начал он,— недаром же говорят: делу время, потехе час. Вы всё воспринимаете слишком добросовестно, торжественно, слишком педантически. Точь-в-точь как Шах. На свете нет ничего, что само по себе было бы добрым или злым. Помните, что мы вовсе не намерены издеваться над старым Лютером, напротив, мы хотим отомстить за него. Насмешки заслуживает пьеса, карикатура на Лютера — реформатор, фальшиво освещенный и поставленный в фальшивое положение. Мы верховное судилище, высшая инстанция нравственности. Согласитесь, Альвенслебен, прошу вас. Нельзя бросать нас на произвол судьбы, или весь замысел уйдет в песок.

Другие живо поддержали Ноштица, но Альвенслебен остался непреклонен. Общее настроение, несколько уже упавшее, поднялось вновь, когда неожиданно (почему это и было встречено громкими изъявлениями восторга) встал молодой граф Херцберг и предложил себя в исполнители Лютера.

Не прошло и десяти минут, как уладилось все, что еще должно было уладиться, и главные роли были распределены: граф Херцберг — Лютер, Дирике — фамулус, Ноштиц, за свой колоссальный рост, — Катарина фон Бора. Остальные пошли просто как сырье для монахинь, и только Цитен, так как все чувствовали себя ему обязанными, возвысился до роли настоятельницы. Он тут же заявил, что, сидя в саях, будет вести себя весьма игриво, а не то станет дуться в марьяж с монастырским фогтом. Это вызвало новый взрыв восторга, и, после того как днем маскарада был назначен следующий понедельник, что, разумеется, следовало держать в строжайшем секрете, Ноштиц закрыл заседание.

В дверях Дирике вдруг обернулся и спросил:

— А что, если будет дождь?

— Дождя быть не может.

— Что тогда станется с солью?

— Вопрос pour les domestiques¹.

— Et pour la canaille²,— заключил молоденький корнет.

Глава одиннадцатая

САННЫЙ ПОЕЗД

Обет молчания на сей раз никто не нарушал. Случай едва ли не единственный. В городе, правда, поговаривали: жандармы, мол, «что-то затевают», и усиленно вспоминали сумасбродные проказы, возвышавшие их над всеми другими полками, однако никому не было известно, во что выльется это новое сумасбродство, равно как и день, назначенный для неведомой потехи. Даже дамы Карайон, в последний приемный день которых не явились ни Шах, ни Альвенслебен, никаких сведений не имели, так что знаменитая «летняя поездка на санях» оказалась одинаковой неожиданностью как для причастных к кругу жандармов, так и для непрichастных.

Едва спустились сумерки, в здании одной из конюшен между Миттель- и Доротеенштрассе собрались участники процессии. Двенадцать роскошно одетых фореиторов, в сопровождении факелоносцев, как и предлагал Цитен, чуть только пробило девять, промчались мимо Академии на Унтер-ден-Линден, оттуда вниз, сначала на Вильгельмштрассе, далее завернули на Берен- и Шарлоттенштрассе и в еще более бешеном темпе по квадрату объехали Унтер-ден-Линден.

Когда санный поезд первый раз пронесся мимо карайоновского дома и свет факелов тревожно замелькал во всех окнах бельэтажа, госпожа фон Карайон, случайно сидевшая в угловой совсем одна, в испуге выглянула на улицу. Но вместо крика «пожар», ею ожидаемого, услышала, совсем как в разгар зимы, щелканье длинных бичей и звон колокольчиков; прежде чем она пришла в себя, саней уже

¹ Для слуг (франц.).

² И для всякого сброда (франц.).

и след простыл. Вбежавшая в комнату Виктуар застала ее в смятении и полубомороке.

— Мамá, ради бога, что случилось?

Мать не успела еще ответить, как голова поезда показалась вторично; желая узнать, в чем дело, обе выбежали на балкон и сразу поняли: происходит надругательство, все равно над кем и над чем. Впереди мчались распутные монахини, во главе с ведьмой-настоятельницей; они горланили, пили вино, играли в карты, в середине поезда на роликах двигались главные сани, щедро вызолоченные и, видимо, задуманные как некое подобие триумфальной колесницы; в этих санях ехал Лютер с фамулусом, а на козлах восседала Катарина фон Бора. По колоссальной фигуре они узнали Ноштица. Но кто был тот на переднем сиденье, спрашивала себя Виктуар. Кто скрывался под Лютеровой маской? Неужели он? Нет, это невозможно. Но даже если не он, он все-таки был совиновником мерзостной игры; он ее одобрил или, по меньшей мере, ей не воспрепятствовал. Какой страшный упадок нравов, какое кощунство, какое полное отсутствие представлений о благопристойности! До чего все пошло и гадко! Ей нестерпимо больно было смотреть на искажение прекрасного, на чистоту, извалянную в грязи! И зачем? Чтобы заставить день-другой говорить о себе? Чтобы удовлетворить мелкое свое тщеславие? Вот в каком мире она жила, и думала, и смеялась, жаждала любви и самое страшное — верила в любовь!

— Пойдем отсюда, — сказала Виктуар, дотронувшись до плеча матери, и повернулась, чтобы войти в комнату, но сознание ее вдруг затуманилось, и она в глубоком обмороке осталась лежать на пороге.

Мамá дернула сонетку, прибежала Беата, вдвоем они перенесли ее на диван, где у нее сразу же сделался сильнейший нервный припадок. Она всхлипывала, пыталась подняться, снова падала на подушки, а когда мать захотела протереть ей лоб и виски одеколоном, оттолкнула ее. Но в следующее же мгновение выхватила у нее из рук флакон и вылила себе на шею и на затылок чуть не все его содержимое.

— Я сама себе противна, весь мир мне противен. Тогда, во время болезни, я молила бога сохранить мне жизнь... Но мы не смеем молить о жизни... Господу лучше ведомо, что подобает нам. Если он хочет вознести нас к себе, нельзя просить: оставь нас здесь еще немного...

О, как больно мне это сознавать! Вот я живу... Но как, как живу!

Госпожа фон Карайон опустилась на колени перед диваном и стала что-то тихонько нашептывать ей. Тут вновь зазвенели колокольчики, и санный поезд в третий раз пронесся мимо их дома: черные фантастические фигуры в огненно-красном свете, казалось, гонятся друг за другом, друг друга травят.

— Как в аду,— проговорила Виктуар, глазами указывая на тени, мельтешащиеся на потолке.

Госпожа фон Карайон послала Беату за врачом. На самом же деле ей нужно было остаться наедине с любимой дочерью, с глазу на глаз поговорить с нею.

— Что с тобою, дитя мое? Ты дрожишь, рвешься куда-то. Смотришь в одну точку. Я не узнаю свою веселую Виктуар. Подумай, дорогая, что, собственно, случилось? Еще одна озорная выходка, одна из многих, в свое время такие шалости смешили мою Виктуар, а не огорчали. Что-то другое тяготит и мучает тебя: я уж давно это вижу. Но ты ничего не рассказываешь мне, хранишь свою тайну. Заклинаю тебя, Виктуар, откройся мне, не страшись. Что бы это ни было.

Виктуар обняла госпожу фон Карайон, и слезы хлынули из ее глаз.

— Лучше тебя никого нет на свете, мамá!

Она крепче прижала к себе мать и, покрывая ее лицо поцелуями, во всем ей открылась.

Глава двенадцатая

ШАХ У ГОСПОЖИ ФОН КАРАЙОН

На следующий день госпожа фон Карайон сидела у постели дочери и, покуда Виктуар с прежним спокойно-счастливым выражением смотрела на нее, говорила:

— Верь мне, дитя мое. Я давно его знаю. Он малодушен и тщеславен, как все красивые мужчины, но чувство чести в высокой мере ему присуще, и образ мыслей его безупречен.

В это мгновение вошел старик Яннаш и доложил о ротмистре фон Шахе, добавив, что провел его в гостиную.

Госпожа фон Карайон одобрительно кивнула.

— Я знала, что он придет,— сказала Виктуар.

— Потому что он тебе приснился?

— Нет, не потому: я просто наблюдаю и прикидываю. С некоторых пор я могу точно сказать, в какой день и по какому случаю он явится к нам. Он приходит, когда произошло что-нибудь из ряда вон выходящее или когда предстоит что-то новое,— словом, когда под рукой благодарная тема для разговора. Он избегает разговора со мною с глазу на глаз. Он был у нас после премьеры комедии, сегодня пришел после комедии с санным поездом. Мне интересно, принимал ли и он участие в этой эскападе. Если так, скажи ему, какую боль он мне причинил. Нет, лучше не говори.

Госпожа фон Карайон была растрогана.

— Ах, голубка моя, Виктуар, ты слишком, слишком добра. Он этого не заслуживает, впрочем, и никто другой.— Она погладила дочь по волосам и пошла в гостиную, где ее дожидался Шах.

Сегодня он выглядел менее смущенным, склоняясь к ее руке; она, в свою очередь, приветливо с ним поздоровалась. И все-таки что-то изменилось в ее поведении. Она церемонно, что всегда было ей чуждо, указала ему на стоявший в стороне японский стул, подвинула себе под ноги скамеечку и села на софу.

— Я пришел узнать о здоровье дам и, заодно, милостиво ли они отнеслись ко вчерашнему маскараду?

— Откровенно говоря — нет. Я сочла его не вполне уместным, а Виктуар едва не стало дурно от отвращения.

— Вполне разделяю ее чувство.

— Значит, вы в маскараде не участвовали?

— Разумеется, нет. Мне даже странно вас в этом зачислять. Вы же знаете мою позицию в данном вопросе, дорогая моя Жозефина, знаете с того самого вечера, когда мы впервые обсуждали пьесу и ее автора. То, что я говорил тогда, и сегодня осталось моим убеждением. С серьезным надо серьезно и обходиться, потому я душевно рад, что Виктуар держит мою сторону. Дома ли она сейчас?

— Она лежит в постели.

— Надеюсь, ничего серьезного?

— И да и нет. Последствия нервного припадка, сделавшегося у нее вчера.

— Вероятно, из-за этой безумной затей? Всем сердцем сожалею...

— А я в какой-то мере даже благодарна за нее. От *dégoût*¹ к неистовствам этих ряженых у Виктуар развязался язык; она прервала наконец свое долгое молчание и поверила мне тайну, тайну, вам известную.

Шах, чувствуя себя вдвойне виновным, густо покраснел.

— Любезный Шах.— Госпожа фон Карайон взяла его руку и, дружелюбно, но твердо глядя на него своими умными глазами, продолжала: — Я не так глупа, чтобы устраивать вам сцены или читать проповеди, болтовню о добродетели я терпеть не могу. Я с юных лет живу в свете, знаю свет и многое испытала на собственном опыте. И если бы у меня достало лицемерия скрывать это от себя и от других, то как бы я могла скрыть это от вас?

Немного помолчав, она отерла лоб батистовым платочком и добавила:

— Многие, разумеется, — даже среди нас, женщин, — известное речение о том, что правая рука не ведает, что делает левая, перетолковывают так: мол, сегодня знать не знает, что делало вчера. Или даже *позавчера!* Но я не принадлежу к этим виртуозкам забвения. Я ничего не отрицаю, я не хочу отрицать, не умею. А теперь судите меня, если можете.

Он опешил от ее слов, и даже самая поза его свидетельствовала о том, какую власть она все еще имела над ним.

— Милый Шах, вы видите, я отдаю себя на ваш суд. Но если я безусловно отказываюсь от любого заступничества, от любой юридической защиты Жозефины фон Карайон, *Жозефины* (прошу прощения, вы только что сами вызвали из небытия это прежнее имя), то я тем не менее обязана быть адвокатом госпожи фон Карайон, ее дома и доброго имени.

Шах, казалось, хотел прервать ее. Но она не позволила.

— Еще одно мгновение. Я сейчас кончу. Виктуар просила меня обо всем молчать, не выдавать тайны даже вам и ничего не требовать. В искупление половинной вины (я еще хорошо считаю, говоря о половинной) она готова нести бремя целой, даже перед всем светом, и, с присущей ей склонностью к романтизму, надеется извлечь счастье из своего горя. Ей по душе быть жертвой, по душе сла-

¹ Отвращения (*франц.*).

достная гибель за того, кого она любит, и за то, что будет любить. Конечно, я слаба в своей любви к Виктуар, но не настолько, чтобы поощрять ее в этой комедии великодушия. Я принадлежу к обществу, выполняю условия, им продиктованные, подчиняюсь его законам и не имею ни малейшей охоты жертвовать своим положением в свете ради жертвенных причуд моей любимой дочери. Иными словами, даже в угоду Виктуар я не пойду в монастырь, так же как не стану разыгрывать из себя столпницу, от-решившуюся от всего земного. Посему я настаиваю на легитимизации того, что случилось. Вот, любезный господин ротмистр, все, что я хотела вам сказать.

Шах, между тем успевший собраться с духом, отвечал: ему-де хорошо известно, что за все в жизни надо нести ответственность. И он отнюдь не намерен от таковой уклоняться. Знай он раньше то, что узнал сейчас, он бы по доброй воле предпринял шаги, которых требует от него госпожа фон Карайон. Он предполагал остаться холостяком, и отказ от этого выпестованного намерения в данный момент, разумеется, поверг его в смятение. Но он понимает, что безусловно должен поздравить себя с наступлением дня, в столь краткий срок изменившего его жизнь. Виктуар — дочь своей матери, что уже само по себе порука за его будущее, лучший залог подлинного счастья.

Его слова звучали весьма учтиво и обязательно, но в то же время и не без холодка.

Госпожу фон Карайон это не только больно задело, но и ранило ее сердце. То, что ей довелось услышать, не было языком любви или вины, и, когда Шах умолк, она колко заметила:

— Я вам очень благодарна за ваши слова, господин фон Шах, особенно за сказанные в мой адрес. Но вот что ваше «да» могло бы звучать решительнее и менее принужденно, это вы и сами чувствуете. Ибо чего я, собственно, домогаюсь? Торжественного венчания в соборе. Я хочу еще раз появиться в желтом атласе, он мне всегда был к лицу, а после того как мы станцуем наш танец с факелами и разрежем на кусочки подвязку Виктуар — ведь нам придется устроить праздник немножко по-придворному, хотя бы из-за тетюшки Маргариты, — я даю вам *carte blanche*, вы снова свободны, свободны, как птица, в своих намерениях и поступках, в любви и в ненависти, ибо тогда уже можно будет сказать: произошло то, что должно было произойти.

Шах молчал.

— Помолвка состоится без всякого шума. Об остальном мы без труда договоримся. Если угодно — в письменной форме. Но больная ждет меня, и потому простите.

Госпожа фон Карайон встала, Шах тотчас же отклонился; больше они не обменялись ни единым словом.

Глава тринадцатая

«LE CHOIX DU SCHACH»¹

Расстались они едва ли не врагами. Но затем все пошло лучше, чем того можно было ожидать после столь раздраженного разговора, и в немалой степени этому способствовало письмо, которое на следующий день Шах прислал госпоже фон Карайон. Он чистосердечно признавал свою вину, оправдывал себя, как и во время злополучного разговора, неожиданностью, смятением духа, причем все его слова теперь звучали сердечнее и теплее. Да, врожденная честность, вероятно, принудила его сказать больше, чем должно и можно было сказать. Дальше он говорил о своей любви к Виктуар, обходя, преднамеренно или случайно, все заверения в почтении и преклонении перед ее душевными качествами, причиняющие столь острую боль, когда от тебя ждут обыкновенного признания в сердечной склонности. Виктуар жадно внимала каждому слову, а мамá, отложив письмо, не без растроганности увидела, что две минуты счастья вернула ее бедной дочери надежду, а вместе с надеждой утраченный румянец и блеск глаз. Больная сияла, чувствовала себя совсем здоровой, так что госпожа фон Карайон не смогла удержаться от восклицания:

— Какая ты красивая, Виктуар!

Шах в тот же день получил ответную записку; в ней старая его подруга откровенно высказывала свою радость. Пусть он забудет горькие слова, сорвавшиеся у нее с языка; он знает ее живой характер и простит ее за то, что она не сумела сдержаться. Вообще же ничего важного, ничего существенного еще не упущено, и если говорят, что из радости прорастает беда, значит, бывает и наоборот.

¹ Выбор Шаха (франц.).

Жертву, которая требуется от нее, она приносит охотно, поскольку от этой жертвы зависит счастье любимой дочери.

Шах, прочитав это письмецо, долго переключивал его из руки в руку; смешанные чувства, видимо, одолевали его. Говоря в своем письме о Виктуар, он проникся тем доброжелательным к ней отношением, в котором вряд ли кто-нибудь мог ей отказать. И (он хорошо это помнил) в самых живых выражениях о нем распространялся. Но то, к чему вновь призывала его подруга, значило больше и называлось: свадьбой, браком — словами, самое звучанье которых с давних пор пугало его. Брак! И брак с кем? С красавицей, прошедшей, как изволил выразиться принц, «через огонь чистилища». «Но я-то,— продолжал он эту беседу с самим собой,— ведь не разделяю точки зрения принца, я не сторонник «очистительных процессов», когда не знаешь, что больше, проигрыш или выигрыш, и если бы я даже заставил себя согласиться с его точкой зрения, то свет ведь я заставить не могу. Я буду беззащитен перед насмешками и остротами однополчан, да мне и самому отчетливо представляется комедия счастливейшего «сельского брака», что, как фиалка, цветет в глуши. Я наперед знаю, что будет: я выхожу в отставку, перебираюсь в Вутенов, занимаюсь пахотой, мелиорацией, дергаю рапс или сурепицу и изо всех сил стараюсь быть верным мужем. Какая жизнь! Какое будущее! Одно воскресенье — проповедь, другое — эпистола, а на неделе — вист en trois¹, с неизменным партнером — пастором. Однажды в соседнем городишке проездом оказывается принц, возможно, принц Луи собственной персоной; он дожидается, куда меняют лошадей, а я дожидаюсь его у городских ворот или на постоялом дворе. Окинув меня критическим взглядом, принц милостиво спрашивает: «Как дела?» А на его лице при этом написано: «О, боже, во что могут превратить человека какие-нибудь три года». Три года... а если не три, а тридцать?»

Он расхаживал взад и вперед по комнате и вдруг остановился перед зеркальной консолью, на которую положил письмо, когда произносил свой монолог. Взял его, положил обратно, снова взял... «Моя судьба. Да, «момент решает». Так, помнится, она писала. Разве могла она знать, что произойдет? Могла этого хотеть? Фу, Шах, не клеветчи

¹ Втроем (франц.).

на прелестное создание. Ты виноват во всем. Твоя вина и есть твоя судьба. Значит, надо нести ее бремя».

Он позвонил, отдал распоряжения слуге и отправился к Карайонам.

Разговор с самим собой, казалось, снял с него непосильную тяжесть.

Со своей старой подругой он говорил теперь естественно, почти сердечно, так, что даже маленькое облачко не затемнило восстановленного доверия госпожи фон Карайон. Шах со всем соглашался. Через неделю помолвка, через три недели — свадьба. Сразу же после свадьбы молодая чета уезжает в Италию и возвращается на родину не ранее чем через год — Шах в столицу, Виктоуар в Вутенов, старинное родовое поместье, о котором она (однажды побывав там еще при жизни матери Шаха) доньше вспоминает с теплом и восхищением. Пусть земли теперь сданы в аренду, дворец все равно пустует и готов к приезду хозяев.

Решив все вопросы, они расстались. Солнце озарило дом Карайонов, и Виктоуар позабыла все предыдущие горести.

Успокоился и Шах. Снова увидеть Италию, после того как он несколько лет назад побывал там, было его страстной мечтой, и вот теперь она воплощается в жизнь. А вернуться они домой, что ж, из предполагаемого двойного хозяйства можно будет извлечь немало пользы и выгоды. Виктоуар привержена к тишине и сельской жизни. Время от времени он будет брать отпуск и в экипаже или верхом ездить в Вутенов. Вдвоем они станут бродить по полям и беседовать. О, на это Виктоуар мастерица, она умна и чиста в то же время. А через год или два, пусть даже через три, рана заживет, все будет предано забвению. Люди легко забывают, а светские люди тем паче. И тогда они въедут в угловой дом на Вильгельмплац, и оба будут радоваться возвращению в привычные условия жизни, как возвращению на родину. Все горькое останется позади, корабль его жизни не разобьется о риф комического.

Бедняга Шах! Звезды сулили ему иную участь.

Не прошло еще недели, по истечении каковой должна была быть объявлена помолвка, как он получил письмо с полным перечислением всех его титулов, запечатанное большой красной печатью. В первый момент он принял его за официальное послание (возможно, новое высокое

назначение) и не сразу вскрыл конверт, желая продлить предвкушение радости. Но откуда оно? От кого? Взглянув на печать, он тотчас же заметил, что это вовсе не печать, а оттиск геммы. Странно. Шах разорвал конверт, оттуда выпал рисунок — гравированный набросок с подписью: «Le choix du Schach». Он машинально повторил эти слова, не разобравшись еще ни в их значении, ни даже в самом рисунке, но вдруг почувал опасность, нападение из-за угла. Взяв себя в руки, он понял, что первое чувство его не обмануло. На троне под балдахином сидел персидский шах, это можно было заключить уже по его высокой барашковой шапке, на нижней же ступеньке трона стояли две женщины, трепетно дожидаясь мгновенья, когда он, владыка, холодно и надменно взирающий с высоты престола, остановит свой выбор на одной из них. Между тем персидский шах, увы, был не кто иной, как наш Шах, что подтверждалось разительным портретным сходством, тогда как лица обеих женщин, подъявших к нему вопрошающий взор, были набросаны куда небрежнее, но все же не настолько, чтобы в них нельзя было узнать госпожу фон Карайон и Виктуар. Значит, не более и не менее как карикатура! Его отношения с матерью и дочерью Карайон сделались достоянием городской молвы, и кто-то из его завистников и врагов, а их у него было более чем достаточно, воспользовался случаем удовлетворить свою злобную прихоть.

Шах дрожал от стыда и гнева, кровь бросилась ему в голову, казалось, его вот-вот хватит удар.

Подчиняясь естественному стремлению к движению, воздуху, а может быть, полагая, что последняя стрела еще осталась в колчане, он схватил кивер, шпагу и убежал из дому. Встречи, светская болтовня, наверно, развлекут его, возвратят ему душевный покой. Да и что тут такого в конце концов? Акт мелочной мести.

Прохладный воздух благотворно на него подействовал, дышать стало легче, хорошее настроение уже возвращалось к нему, когда, свернув с Вильгельмплац на Унтерден-Линден, Шах перешел на тенистую сторону, чтобы перекинуться словечком-другим со старыми знакомыми, которых он там приметил. Те, однако, уклонились от разговора, и вид у них был явно смущенный. Подошел Цитен, небрежно кивнул головой, и мина у него при этом — если все не было наваждением — была самая язвительная. Шах смотрел ему вслед, раздумывая, что может значить наг-

лость одного и смущение других, как вдруг, на какую-нибудь сотню шагов выше, заметил необычное скопление народа перед лавкой торговца картинами. Люди смеялись, переговаривались, казалось спрашивая друг друга: «Что это, собственно, такое?» Шах, обойдя толпу, бросил взгляд поверх голов и все понял. В среднем окне была выставлена та самая карикатура, под которой красным карандашом была обозначена нарочито низкая цена.

Итак, это заговор.

У него не хватило сил продолжать свою прогулку, и он вернулся домой.

В полдень Зандер получил записку от Бюлова:

«Милый Зандер. Мне только что принесли карикатуру на Шаха и дам Карайон. Думая, что Вам она еще не знакома, прилагаю ее к этой записке. Прошу Вас, разведайте, как и откуда она возникла. Вы же знаете Берлин как свои пять пальцев. Я лично возмущен. Не из-за Шаха, он этого «шаха персидского», в общем-то, заслужил, но из-за дам Карайон. Виктуар, достойная любви и уважения, выставлена на посмеяние толпы! Все плохое мы перенимаем от французов и проходим мимо того хорошего, что у них есть, *gentilezza*¹, например.

Ваш Б.».

Зандер бегло взглянул на картинку, ему уже известную, сел за свою конторку и настроил ответ:

«*Mon général!*² Я не стану разведывать, «как и откуда», ибо мне все стало известно само собой. Дня три-четыре назад в мою контору явился человек и осведомился, согласен ли я взять в свои руки распространение кое-каких рисунков. Увидев, о чем идет речь, я отклонил предложение. Он принес три листа, среди них «*Le choix du Schach*». Господин, явившийся ко мне, выдавал себя за иностранца, но, несмотря на старанье коверкать язык, говорил по-немецки так хорошо, что я понял: это только маска. Многие из круга принца Р. недовольны его интрижкой с принцессой, полагаю, это их рук дело. Если мое предположение ошибочно, значит, постарались его однополчане. Он отнюдь не их любимец. Кто держится особняком, добрых чувств не возбуждает. Все бы это было не

¹ Благородство (*итал.*).

² Мой генерал! (*франц.*)

важно, если бы, как вы правильно изволили заметить, не Карайоны. Из-за них я и намерен подать жалобу, ибо эта история вряд ли ограничится одной злобной карикатурой. Вскоре, надо думать, появятся и две другие, о коих я упомянул вначале. В этой анонимной атаке все тонко рассчитано, неглупа и сама мысль давать яд небольшими порциями. Все равно он свое дело сделает, и ждать нам остается только одного: *как* это произойдет.

*Tout à vous*¹ З.».

И правда, опасения, высказанные Зандером в письме к Бюлову, оказались справедливыми. С перерывами в два дня, точно приступы лихорадки, появились оба других рисунка; так же как и первый, их покупали все прохожие или, по крайней мере, глядели на них и их обсуждали. Проблема «Шах — Карайоны» за одну ночь сделалась *cause célèbre*², хотя любопытная публика знала разве что половину всего происходящего. Шах, говорили люди, отвернулся от красавицы матери, предпочтя ей некрасивую дочь. Каких только ни строилось предположений относительно мотивов его поступка, но до истины никто не додумался.

Шах получил и два остальных рисунка в запечатанном конверте. Печать была та же самая. Второй листок именовался «*La gazza ladra*», иначе «Шах — сорока-воровка». На нем была изображена сорока, она разглядывала два кольца неодинаковой ценности и вынимала из шка-тулки то, что похуже.

Самым обидным из рисунков, пожалуй, был тот, на котором изображался салон госпожи фон Карайон. На столе там стояла шахматная доска, фигуры были опрокинуты, как бы после проигрыша, — чтобы подчеркнуть поражение. За столом сидела Виктуар (сходство было от-лично схвачено), у ее ног — Шах, в барашковой шапке первого рисунка, но на сей раз измятой и потрепанной. Внизу подпись: «Шах — мат».

Цель этих повторных атак была достигнута вполне. Шах велел всем говорить, что он болен, никого не принимал и подал прошение об отпуске, немедленно удовлетворенное его командиром, полковником фон Шверингом.

¹ Весь ваш (*франц.*).

² Злобой дня (*франц.*).

Так и получилось, что в тот самый день, когда, согласно обоюдной договоренности, должно было состояться оглашение, Шах покинул Берлин. Он отбыл в свое имение, не попрощавшись с Карайонами (в доме которых не был все это время).

Глава четырнадцатая

В ВУТЕНОВЕ НА ОЗЕРЕ

Пробило полночь, когда Шах прискакал в деревню Вутенов; напротив нее, на другом берегу Руппинского озера, высился на холме дворец Вутенов, из окон которого открывался широкий вид на все стороны. Дома и домишки давно уже погрузились в глубокий сон, только из конюшен изредка доносился топот копыт, да со скотного двора негромкое мычанье коров. Шах проехал через деревню и за околицей свернул на узкую полевую дорогу, которая некруто поднималась на дворцовый холм. Справа темнели деревья большого парка, слева скошенный луг наполнял воздух запахом сена. Самый дворец, впрочем, был не более как старым побеленным зданием с дочерна просмоленными венцами, только мать Шаха, покойная генеральша, увенчав его двускатной крышей, громоотводом, да еще пристроив к нему великолепную террасу, точь-в-точь как в Сан-Суси, сделала его не столь деловито будничным. Сейчас, под звездным небом, он выглядел как дворец из сказки, и Шах то и дело поднимал к нему взор, видимо потрясенный красотой всей картины.

Наконец он наверху, у въездных ворот, под плоской аркой, соединяющей щипец дворца со стоящим рядом «челядинским домом». В ту же минуту до его слуха донесся лай и рычанье дворового пса, в ярости выскочившего из конуры и заметавшегося на своей цепи вдоль ее деревянной стенки.

— Куш, Гектор.— Пес, узнав голос хозяина, выл и визжал от радости, то вбегая в конуру, то снова из нее выскакивая.

Перед «челядинским домом» рос раскидистый грецкий орех. Шах спешил, обмотал поводья вокруг сука и тихонько постучал в одну из ставен. Но какое-то движение внутри началось лишь после вторичного стука, и, наконец, из глубины комнаты до него донесся сонный голос:

— Кто там?

— Я, Крист.

— Пресвятая богородица, никак, молодой хозяин.

— Я самый. Вставай-ка, да поживей.

Шах слышал каждый шорох и, приоткрыв одну из ставен — они стояли незапертыми, — добродушно крикнул в комнату:

— Ладно, не торопись, старина.

Но старик уже слез с кровати и, шаря в поисках одежды, приговаривал:

— Сейчас, хозяин, сейчас. Все еще спят.

И правда, через минуту Шах увидел, что блеснула искра серного шнура, и услышал, как раз-другой хлопнула дверца фонаря. За створками ставен стало светло, и деревянные башмаки застучали по глиняному полу. Наконец, загремел засов, и Крист, в спешке натянувший только полотняные подштанники, возник перед «его милостью». Этот почетный титул он перенес на молодого хозяина после смерти «его милости» старого, но Шах, вместе с Кристом подстреливший свою первую лысую и вместе с Кристом впервые севший в лодку, слышать не хотел это го обращения.

— Господи боже мой, ваша милость, вы же всегда нам писали, а не то присылали слугу или этого мальчика аглицкого. А нынче — ни словечка. Я-то все равно знал. Жабы вечером до того расквакались, думал, уж и не заткнутся до утра. «Ну, мать, — говорю я, — это неспроста». А баба, что она смыслит? «Неспроста? — говорит. — К дождю квакают, вот и все». И, мол, слава богу. А не то вся картошка посохнет.

— Да, да, — произнес Шах, слушавший в пол-уха, покуда старик отпирал дверь, ведущую в дом со стороны торца. — Да, да, дождь — это хорошо. Но иди-ка вперед.

Крист повиновался, и оба пошли по узкому коридору, выстланному каменными плитами. В середине он расширился, слева начиналась просторная лестница, тогда как справа двухстворчатая дверь в стиле рококо, богато украшенная золотым орнаментом, вела в гостиную покойной генеральши, матери Шаха, весьма знатной и гордой старой дамы. Крист с трудом открыл разбухшую дверь, и оба вошли в гостиную.

Среди множества предметов искусства и сувениров, наполнявших комнату, здесь стоял бронзовый двухсвечник, который Шах три года назад привез из путешествия по

Италии и подарил матери. Его-то Крест сейчас снял с камина, зажег обе восковые свечи, некогда служившие покойной генеральше для запечатывания писем и после ее смерти еще ни разу не зажигавшиеся. Генеральша скончалась год назад, и так как Шах с тех пор не был здесь, то все оставалось на старых местах. Два маленьких диванчика, как и при жизни матери, стояли один против другого, по узким стенам, тогда как два больших занимали середину длинной стены — между ними находилась только золоченая дверь. Круглый стол из розового дерева (гордость генеральши) и большая мраморная чаша, в которой лежали алебастровые кисти винограда, алебастровые же апельсины и ананас, тоже стояли на своих местах. Но воздух в давно не проветриваемой комнате был тяжел и удушлив.

— Открой окно, — распорядился Шах, — и дай мне одеяло. Вон то.

— Вы здесь спать собрались, ваша милость?

— Да, Крест. Мне доводилось спать и на менее удобном ложе.

— Я знаю. О, господи, кабы покойный генерал это видел! Он, бывало, в самую трясиину лезет — и меня тянет. Нет, нет, говорю, куда мне, так недолго и шапку потерять. А покойный барин смеется и говорит: «Нет, Крест, на нас шапки крепко сидят».

Старик болтал без умолку, вспоминая былое, но даром времени не терял, а схватив камышовую выбивалку, стоявшую в углу у камина, пытался выколотить диван, который Шах избрал своим ложем. Но плотное облако пыли, поднявшееся над ним, доказывало тщетность этих усилий, и Шах, внезапно пришедший в хорошее настроение, сказал: «Не тревожь лежащее во прахе!» Не успел он выговорить эти слова, как ему уяснилась их двусмысленность, он вспомнил о родителях, лежавших в медных гробах с припаянным к ним распятием, в фамильном склепе под деревенской церковью.

Поспешив отогнать это видение, он лег на диван.

— Дай моему жеребцу хлеба и ведро воды; до утра потерпит. А теперь поставь свечи на окно, и пусть себе горят... Нет, нет, не на открытое, на другое, рядом. А теперь спокойной ночи, Крест. И запири дом снаружи, чтобы они меня не утащили.

— Неужто вы думаете...

Вскоре Шах услышал, как стучат деревянные башмаки в коридоре, покуда Крест не дошел до двери и не запер

ее с улицы; этот звук камнем ложился на его перевозбужденный мозг.

Вскоре это ощущение прошло, и, несмотря на тяжесть, все еще его давившую, ему почудилось какое-то жужжание, что-то вдруг коснулось его, пощекотало; он ворочался с боку на бок, в полусне, почти непроизвольно, хлопал рукой по постели, но когда и это не помогло, с трудом вырвался из сонного плена и вскочил. И тут же все понял. Огоньки двух оплывших свечей — от их чада удушливый воздух комнаты становился еще удушливее — приманили всевозможных летучих тварей из сада, он не знал только, каких именно. Подумав на мгновение о летучих мышцах, Шах, однако, тут же убедился, что это были просто комары и ночные бабочки; великое множество их летало взад и вперед по комнате и билось о стекла, в тщетных поисках открытого окна.

Шах скрутил одеяло жгутом и несколько раз взмахнул им в воздухе, сясь разогнать возмутителей ночного спокойствия. Но от этой гоньбы, от этих ударов, пугавших насекомых, их, казалось, стало вдвое больше, а писк и жужжанье сделались еще громче и ближе. О сне нечего было и думать. Шах вылез в открытое окно, чтобы на воздухе дожидаться утра.

Он взглянул на часы. Половина второго. Под окнами гостиной была устроена круглая площадка с солнечными часами, вокруг которой клумбы, в большинстве своем треугольной формы, обрамленные бордюром из самшита, пестрели всевозможными летними цветами: резедой, шпорником, левкоями и лилиями. Нетрудно было заметить, что здесь, с недавних пор, отсутствовала заботливая и упорядочивающая рука, хотя Крест, среди многочисленных обязанностей, исполнял еще и обязанности садовника. С другой стороны, хозяйка дома умерла не так давно, чтобы все успело прийти в полнейшее запустение, появились разве что первые признаки одичания, и тяжелый, хотя и бодрящий аромат левкоев стоял над клумбами; Шах жадно вдыхал его.

Он обошел круглую площадку один раз, десять раз, осторожно балансируя на узких, с ладонь, стежках между клумбами. Хотел проверить свою ловкость и заодно убить время, но оно не желало утекать, и когда он снова взглянул на часы, оказалось, что прошло всего пятнадцать минут.

Он выбрался из цветника и зашагал по одной из двух густых аллей, что тянулись по обе стороны большого пар-

ка и спускались почти к самому подножию дворцового холма. Местами кроны деревьев соприкасались, образуя зеленый свод, и Шах забавлялся, меряя шагами пространство, лежащее между тьмой и светом. Кое-где аллея расширялась, образуя, полукруглые ниши, в которых, как в языческом храме, стояли разные статуи из песчаника: боги и богини, мимо которых он, в свое время, сотни раз проходил, почти их не замечая и, уж конечно, нимало не интересуясь, что они, собственно, символизируют. Сегодня он останавливался перед каждой и с особым удовольствием разглядывал безголовые статуи, ибо темно и непонятно было их значение. Наконец он спустился до конца аллеи, снова поднялся наверх ко дворцу, снова сошел вниз и в деревне, у околицы, наконец, остановился. Часы пробили два раза. Или же два удара означали половину? Значит, уже половина третьего? Нет, только два.

Он прекратил свое хождение вверх и вниз и, описав полукруг у подножия холма, очутился напротив дворцового фасада. Его взору открылась огромная терраса — в обрамлении апельсиновых деревьев в кадках и кипарисов она спускалась почти к самому озеру. Лишь маленькая лужайка их разделяла. На этой лужайке стоял старый-престарый дуб. Тень его кроны Шах обошел раз, другой, третий, словно она держала его в плену. Круг, по которому он ходил, заставил его подумать о другом замкнутом круге, и он неслышно пробормотал: «О, если б выбраться я мог!»

Воды, относительно близко подступавшие к дворцу, были всего-навсего протокой, подернутой тиной. Выезжать из нее на озерный простор в детстве составляло величайшее его счастье.

«Если найдется лодка, поеду!» И Шах шагнул в камышовые заросли, с трех сторон опоясывавшие глубокую бухточку. Нет, тут, видно, не пройдешь! Наконец ему все же удалось обнаружить заросшую стежку, в конце ее виднелась большая лодка; матушка Шаха в течение долгих лет ездила на ней в гости к Кnezeбекам, жившим на другом берегу. Весла и черпак лежали в лодке, а плоское дно — чтобы не промокли ноги — было застлано толстым слоем соломы. Шах вскочил в лодку, отвязал цепь, обмотанную вокруг столба, и оттолкнулся. Показать, сколь он ловкий гребец, ему поначалу не удавалось, протока была так мелка и узка, что весла при каждом взмахе задевали камыш. Но вскоре водная поверхность сделалась шире, и

он уже мог грести в полную силу. Глубокая тишина царила вокруг, день еще не пробудился, и до его слуха не доносилось ничего, кроме веяния легкого ветерка, шуршанья осоки да плеска мелких волнишек, что разбивались о прибрежный камыш. Наконец, он выехал на широкий плес. Гладкая как зеркало водная поверхность слегка зыбилась в том месте, где через озеро протекал Рейн, отчего его течение и было сразу заметно. В этот поток свернул Шах, он сложил весла на соломенную подстилку и тотчас же почувствовал, что лодка, слегка покачиваясь, движется сама собой.

Звезды бледнели, на востоке заалело небо, и он уснул.

А когда проснулся, лодка, несомая течением, была уже далеко от узкой протоки, что сворачивала к Вутенову. Он изо всех сил налег на весла, стремясь выбраться из течения и вернуться назад: усилия, которые он при этом затрачивал, радовали его.

Меж тем настал день. Над коньком вутеновского дворца стояло солнце, а на другом берегу облака пылали, отражая его, и темная лесная полоса отбрасывала тень в озерные воды. Ожило и само озеро. Лодка с торфом, торопясь использовать легкий утренний бриз, надувший ее паруса, пронеслась мимо Шаха. Его знобило. Но это было даже приятно, ибо он ясно чувствовал, что бремя, его давившее, становится легче. Может быть, он все принял слишком близко к сердцу? Что, собственно, произошло? Злоба и недоброжелательство. Кто может их избежать? Ведь злоба иссякает. Еще неделя, и она вовсе изживет себя. Но куда он занимался самоутешением, иные картины возникли перед ним. Он увидел себя в карете, едущим к их высочествам представлять свою невесту — Виктуар фон Карайон. И казалось, ясно слышал, как старая принцесса шепчет, склонившись к своей дочери — красавице княгине Радзивилл: «*Est-elle riche?*» — «*Sans doute.*» — «*Ah, je comprends*»¹.

Эти сменяющиеся картины и горестные наблюдения не оставляли его и когда он свернул в недавно столь тихую протоку, где сейчас в камышах царила подвижная и пестрая жизнь. Птицы, в них гнездившиеся, пели, крикали; два чибиса поднялись в воздух, а дикая утка, с любопытством осмотревшись вокруг, нырнула, завидев лодку. Минуту спустя Шах причалил к стежке, обмотал цепь

¹ «Она богата?» — «Разумеется». — «А, понимаю» (франц.).

вокруг столба и напрямик пошел наверх, к террасе, на верхней ступеньке которой сидела жена Криста, старая матушка Кристшен, поднявшаяся спозаранку, чтобы задать корм козе.

— Доброе утро, — приветствовал ее Шах.

Старуха вздрогнула, увидев, что молодой хозяин, спавший в гостиной (она из-за него не выпускала кур, чтобы они своим кудахтаньем не мешали ему спать), появился со стороны озера.

— Бог ты мой, хозяин, откуда это вы взялись?

— Мне не спалось, матушка Кристшен.

— С чего бы это? Опять, что ли, нечисть зашебаршилась?

— Вроде того. Комары и бабочки. Я забыл потушить свечи. А одно окно стояло открытым.

— Как же это вы, свечи-то не задули? Известное дело, ежели свет горит, всякие там мошки да мушки налетают. А мой-то старик и не знал ничего. Ай-ай-ай, значит, хозяин и глаз не сомкнул.

— Нет, матушка Кристшен, я в лодке поспал, да еще как крепко. А вот теперь что-то замерз. Если печь у вас уже топится, принесите мне чего-нибудь горячего. Ладно? Супу или кофе.

— Да у меня чуть не с ночи топится, хозяин; огонь — самое первое дело. Конечно, надо вам горяченького выпить, я сейчас принесу, только вот накормлю эту козу проклятую. Ох, уж и озорница она у меня. У ней словно часы в голове, знает, пять или уже шесть пробило. А в шесть, ну уж прямо с ума сходит. Бегу я ее доить, и что, думаете, она делает? Бодает меня, и всегда вот сюда, в крестец. А за что, спрашивается? Хочет, видать, чтобы я помучилась. Пойдемте-ка в нашу горницу, хозяин, посидите там, а не то и прилягте. Старик-то мой лошадь вашу кормить пошел. Да уж ладно, через четверть часа я, хозяин, кофе подам. И еще кое-чего найдется. Херцбергских булочек у меня в буфете — ешь не хочу.

Под эту болтовню Шах вошел в «чистую комнату» стариков. Все в ней было аккуратно прибрано, все чисто, кроме воздуха, так как его наполнял острый запах смеси перца и кориандра, которую они «от моли» насыпали в уголки дивана. Шах открыл окно, закрепил его на крючок и теперь уже был в состоянии порадоваться мелочам, украшавшим «чистую комнату». Над диваном висели картинки из календаря, изображавшие два анекдотических

случая из жизни великого короля. «Ты! Ты!» — было написано под одной, под другою: «Bon soir, messieurs»¹. Вокруг этих картинок с золоченым кантом были укреплены два венка из иммортелей с черными и белыми бантами; на низенькой печке стояла ваза с травой трясункой.

Но главным украшением комнаты был домик с красной крышей, в котором прежде, по-видимому, жила белка и на цепочке подтаскивала к себе малюсенькую тележку с кормом. Сейчас домик был пуст, и тележка бездействовала.

Шах только-только разглядел все это, как ему доложили, что «там все прибрано».

И правда, когда он вошел в гостиную, столь упорно отказывавшую ему в ночном покое, его удивило, что сделали с ней за это короткое время две дружеские руки и любовь к порядку. Двери и окна стояли настежь, утреннее солнце заливало комнату ярким светом, на столе, на диванах не осталось ни пылинки. Мгновение спустя вошла жена Криста, неся кофе и корзинку с булочками, Шах не успел еще снять крышку с маленького мейсенского кофейника, как из деревни донесся колокольный звон.

— Что это значит? — спросил Шах. — Ведь еще и семи нет.

— Ровно семь, хозяин.

— Но прежде звонили в одиннадцать. В двенадцать уже была проповедь.

— Так это прежде. Нынче все по-другому. Два воскресенья, когда народ приходит из Раденслебена, в двенадцать звонят, потому что *ихний* пастор служит, а в третье воскресенье приезжает старик из Руппина, тогда в восемь. А ежели старик Кривиц из Турмулка, заместо нашего старика, он по-своему велит звонить. Ровно в семь.

— А как теперь зовут пастора из Руппина?

— Как звали, так и зовут. Старым Биненгребером.

— Он еще меня конфирмовал. Добрый он человек.

— Верно, добрый. Да вот беда, у него ни единого зуба не осталось, бормочет чего-то, бормочет себе под нос, ни одна душа не понимает.

— Ну, это беда небольшая, матушка Кристшен. А люди всегда чем-то недовольны. И крестьяне в первую очередь! Схожу-ка я, поинтересуюсь, что мне скажет старый Биненгребер, мне и другим прихожанам. Скажите, у него

¹ Добрый вечер, господа (*франц.*).

в комнате и сейчас еще висит подкова, а на ней десятифунтовая гиря? Я всегда ее рассматривал, стоило ему отвернуться.

— Кажись, висит. Мальчуганы все на нее не налюбоуются.

И она ушла, чтобы не мешать больше молодому хояину, пообещав принести ему молитвенник.

Шах с аппетитом поел вкусных херцбергских булочек, ибо с отъезда из Берлина еще маковой росинки во рту не имел. Наконец он встал и подошел к садовой двери. Отсюда ему открылся вид на круглую площадку, обсаженную самшитом, и вдали за нею вершины парковых деревьев, потом взгляд его остановился на освещенной солнцем чете аистов, что у подножия холма прогуливались по лужайке, желто-красной от цветущих лютиков и конского щавеля.

Эта картина навела его на множество размышлений, но тут колокол прогудел в третий раз, и он спустился вниз, в деревню, чтобы, сидя на «помещичьей» скамье, послушать, что ему скажет старый Биненгребер.

Биненгребер говорил хорошо, искренне, основываясь на своем житейском опыте, а когда был пропет последний стих и церковь снова опустела, Шаху вправду захотелось пойти в ризницу, поблагодарить за добрые слова, сказанные в давно прошедшее время, и затем на своей лодке отвезти его домой. По дороге он все ему скажет, исповедуется, попросит совета. Старик уж будет знать, что ему ответить. Старики всегда мудры, если и не от мудрости, то хотя бы от старости. «Но,— перебил Шах свои размышления,— на что мне его ответ? Разве я не знаю его заранее? Разве этот ответ не живет во мне? Разве я не знаю заповедей? Недостает мне только охоты выполнять их».

Так вот беседуя с самим собой, он отказался от своего намерения и опять пошел наверх ко двору.

Ничем не помогла ему церковная служба, и все-таки пробило только десять, когда он добрался до дому.

Здесь он обошел все комнаты раз, второй, разглядывая портреты Шахов, по отдельности и группами развешанные на стенах. Все они были в высоких чинах, у всех на груди красовался Черный орел или «Pour le mérite»¹. Вот этот генерал взял большой редут под Мальплаке, а

¹ «За заслуги» (франц.).

рядом висел портрет Шахова деда, командира полка Итценплиц, с четырьмястами своих солдат целый час державшего Хохкирхновское кладбище. Там он и пал, разбитый, разрубленный, как и те, что были с ним. Эти портреты перемежались портретами женщин, и самой прекрасной среди них была его мать.

Когда он снова вошел в гостиную, пробило полдень. Он бросился на диван, ладонью прикрыл глаза и стал считать удары. «Двенадцать. Я пробыл здесь ровно двенадцать часов, а мне кажется, что двенадцать лет. Что же будет со мной? Каждый день Крист, его жена, а по воскресеньям Биненгребер или пастор из Раденслебена, что, собственно, никакой разницы не составляет. Один день точь-в-точь как другой. Хорошие люди, даже очень хорошие... Воротившись из церкви, я гуляю в парке с Виктуар, потом мы идем на лужайку, ту самую, что сейчас и вечно видна нам из окон дворца и на которой цветут лютики и конский щавель. А среди них бродят аисты. Возможно, мы идем одни, а скорей всего с нами еще трехлетний карапуз, и он тонким голоском поет: «Адебар, ты эту птичку преврати в мою сестричку». И моя супруга краснеет, ей тоже хочется видеть рядом с ним сестричку. Так проходят одиннадцать лет. И вот мы уже добрались до первой станции, что почему-то зовется «соломенной свадьбой». А тут потихоньку подкрадывается время, когда с нас уже пора писать портреты для галереи. Нельзя же, чтобы мы в ней отсутствовали. И вот в ряду генералов оказываюсь я, ротмистр, а для Виктуар уготовлено место среди красавиц. Предварительно я совещаюсь с художником, говорю ему: «Уверен, что вы сумеете воспроизвести выражение лица. Ведь сходство — это душа». А может, мне лучше будет добавить: «Прошу вас быть к ней снисходительным...»? Нет! Нет!»

Глава пятнадцатая

ШАХИ И КАРАЙОНЫ

То, что всегда случается, случилось и на сей раз: мать и дочь ничего не знали о том, о чем знал весь город. Во вторник, как обычно, явилась тетушка Маргарита, сказала Виктуар: «У тебя что-то подбородочек заострился» — и, в ходе застольной беседы, проронила:

— Вы, наверно, уже знаете, что появились «карикатуры»?

Но так как тетушка Маргарита принадлежала к тем старым светским дамам, которые всегда только «слышали», никто разговора не поддержал, а когда Виктуар спросила:

— О чем ты говоришь, тетушка? — та только повторила:

— «Карикатуры», дитя мое, я наверно это знаю. — И разговор перешел на другую тему.

Разумеется, для матери и дочери было счастьем, что они знать не знали о пресловутых карикатурах, но для третьего участника событий, для Шаха, это безусловно было бедой, источником новых ссор и неприятностей. Знай, хотя бы отчасти, госпожа фон Карайон, прекраснейшим душевным свойством которой было глубокое состраданье к людям, о горестях, в эти дни непрерывно сыпавшихся на ее друга, она, хоть и не отказалась бы от требований, ему предъявленных, но, по крайней мере, не торопила бы его, постаралась бы выказать ему сочувствие и как-то его успокоить. Но, даже не подозревая о том, что с ним происходит, она все сильнее на него гневалась и, узнав о его бегстве в Вутенов, об «обмане и вероломстве», как она назвала этот поступок, отзывалась о нем в крайне нелестных выражениях.

Об этом бегстве она узнала немедленно. В тот самый вечер, когда он получил отпуск, к Карайонам пришел Альвенслебен. Виктуар, не выносившая сейчас чьего-либо присутствия, заперлась у себя, но госпожа фон Карайон велела просить его и встретила с непритворной сердечностью.

— Не могу сказать, милый Альвенслебен, как я рада вас видеть после столь долгой разлуки. За это время чего-чего только не случилось. И как хорошо, что вы проявили стойкость и не позволили навязать вам Лютера. В противном случае ваш образ омрачился бы для меня.

— И все же, сударыня, несколько мгновений я был в нерешительности, стоит ли мне отказываться.

— Но почему?

— Потому что непосредственно передо мною отказался наш общий друг. А мне не нравится всегда ходить по его следам. И так уж многие называют меня его жалким подражателем, и прежде всего — Цитен, на днях он крик-

нул мне: «Поостерегитесь, Альвенслебен, как бы командиры и квартирьеры не занесли вас в списки под именем Шаха Второго».

— Ну, этого бояться не приходится. Вы совсем другой человек.

— Но не лучше его.

— Как знать!

— Сомнение, и для меня несколько неожиданное в устах моей дорогой госпожи фон Карайон; нашему же избалованному другу, узнай он о таком, оно, пожалуй, испортило бы его вутеновские дни.

— Вутеновские дни?

— Так точно, сударыня. Он там в бессрочном отпуске. Разве вы ничего не знаете? Возможно ли, что он, не простившись с вами, отбыл в свой старый приозерный дворец, который Ноштиц называет «воплощенной романтикой, а вернее, пищей для червей»?

— Что поделаешь, Шах человек капризный, вам это известно.— Она хотела сказать больше, но сумела сдержаться и перевести разговор на разные злободневные мелочи, из чего Альвенслебен, к вящей своей радости, заключил, что о злободневнейшей из новостей, то есть о широком распространении карикатур, ей ровно ничего не известно. И правда, за три дня, прошедших со времени визита тетушки Маргариты, госпоже фон Карайон и в голову не пришло разузнавать что-нибудь о словах, оброненных старой дамой.

Альвенслебен наконец откланялся, и госпожа фон Карайон, вдруг освободившись от страшного душевного напряжения, дала волю слезам и поспешила в комнату Виктуар, чтобы сообщить ей о бегстве Шаха. Ибо иначе как бегством его отъезд нельзя было назвать. Виктуар внимала каждому ее слову. Но то ли надежда и доверие, то ли, напротив, покорность судьбе и смирение дали ей силы остаться спокойной.

— Прошу тебя, не осуждай его раньше времени. Он нам напишет, и все разъяснится. Подождем его письма; ты увидишь, что сгоряча поддалась гневу и несправедливым подозрениям.

Но переубедить госпожу фон Карайон было невозможно.

— Я знала его, когда ты была еще ребенком. Слишком хорошо знала. Он суетен и высокомерен, а жизнь при дворах разных принцев окончательно его испортила. Шах

день ото дня становится все более смешон. Верь мне, он жаждет политического влияния и в тиши вынашивает честолюбивые планы или обдумывает, как ему стать государственным мужем. Но больше всего меня раздражает, что он вдруг вспомнил о своем дворянстве времен оботритов и вообразил, что Шахи невесть какую роль играли в мировой истории.

— Что ж, это свойственно многим... а род Шахов и вправду древний род.

— Пусть думает об этом и распускает свой павлиний хвост, прогуливаясь по птичьему двору в Вутенове. Кстати сказать, таких птичьих дворов где только нет. Но нам-то что до этого? По крайней мере, тебе? Хорошо уж, пусть он горделиво шествует мимо меня, пусть отворачивается от дочери генерального откупщика налогов, скромной простолюдинки. Но ты, ты, Виктуар, ты же не только моя дочь, ты *Карайон!*

Виктуар удивленно и не без лукавства взглянула на мамá.

— Смейся, дитя мое, смейся, сколько твоей душе угодно, я тебе этого в вину не поставлю. Ты не раз видела, что и я смеюсь над такими разговорами. Но, любимая моя девочка, день на день не приходится, и сегодня я готова от всего сердца просить прощения у твоего отца за то, что своей дворянской гордостью, иной раз доводившей меня до отчаяния и скуки, более того, заставлявшей бежать его общества, он дал мне в руки желанное оружие против этой невыносимой спеси. Шах, Шах! А что такое Шах? Я не знаю истории его рода и не хочу знать, но ставлю свою брошь против простой булавки, что если весь их род вывести на гумно, туда, где всего сильнее дует ветер, то от него останется разве что с полдюжины полковников, красноносых от неумеренного потребления вина, да несколько ротмистров, павших во славу своего короля.

— Но, мамá...

— И рядом с ними Карайоны! Конечно, их колыбель не стояла на берегах Хавеля или хотя бы Шпрее, и ни в Бранденбургском, ни в Хавельском соборе колокола не звонили, когда рождался или уходил в небытие один из них! Oh, ces pauvres gens, ces malheureux Carayons!¹

¹ О, бедняги, о, эти несчастные Карайоны! (*франц.*)

Своих замков, кстати сказать, настоящих замков, они лишились во время Жиронды, все Карайоны были жирондистами, и двоюродные братья твоего отца пали жертвами гильотины, потому что они были верными, но в то же время и свободными, не позволили крикам Горы запугать себя и проголосовали за жизнь своего короля.

Виктуар, все больше удивляясь, слушала ее.

— Но я не хочу,— продолжала госпожа фон Карайон,— говорить о недавних событиях, о сегодняшнем дне. Ибо хорошо знаю, что нынешнее — всегда преступление в глазах тех, что жили вчера, а как жили, это не важно. Нет, я буду говорить только о старых временах, о временах, когда первый из Шахов пришел на берег Руппинского озера, соорудил вал, вырыл ров и прослушал латинскую мессу, ни слова в ней не поняв. В ту самую пору Карайоны, *ses pauvres et malheureux Carayons*, двинулись в крестовый поход на Иерусалим и освободили его. Вернувшись на родину, они созвали певцов в свой замок и пели вместе с ними, а когда Виктуар Карайон (да, да, ее тоже звали Виктуар) обручилась со славным графом фон Лусиньяном, чей сиятельный брат был великим приором высокого ордена госпитальеров, а потом королем Кипра, Карайоны породнились с домом Лусиньянов, от которых произошла прекрасная Мелузина; скорбная, но, слава богу, поэтическая память о ней, как тебе известно, и донныне живет в людских сердцах. И от нас, Карайонов, и не то еще повидавших на своем веку, думает отвернуться этот Шах, надменно удалившись в свое поместье! Нас он, видно, стыдит. Он, Шах! Не знаю уж, просто как Шах или как владелец Вутенова? А что, собственно, значит то и другое? Шах — это синий мундир с красным воротником, а Вутенов — глинобитная развалина.

— Мама́, поверь мне, ты к нему несправедлива. Я ищу причину в другом, а потому и нахожу ее.

Госпожа фон Карайон склонилась к Виктуар и стала покрывать ее лицо страстными поцелуями.

— Ах, как ты добра, куда, куда добрее, чем твоя мама́! В ней только и есть хорошего, что ее любовь к тебе. Но и он должен был бы тебя любить! Уж за одно твое смирение.

Виктуар улыбнулась.

— Нет, дело совсем не в том. Мысль, что ты обеднела и отдалилась от света, владеет тобой, словно навязчивая идея. Но ты не так уж бедна. А он...

Виктуар запнулась.

— Ты была прелестным ребенком, Виктуар, и Альвенслебен рассказывает мне, в сколь восторженных словах принц, еще совсем недавно, говорил о твоей красоте, поразившей его на балу у Массова. Эта красота не ушла, каждый, кто с любовью взглянется в твои черты, прочитает в них ум и сердце. И первый это обязан прочитать *он*. Но он упирается; несмотря на всю свою заносчивость, он дрожит перед условностями. Мелкий, недостойный человек. Вечно прислушивается, что говорят люди, а если так поступает мужчина (мы, женщины, другое дело), я называю его трусом и подлецом. Но он еще поплатится. Я сейчас додумала свой план, и я унижу его так же, как он хотел унижить нас.

После этого разговора госпожа фон Карайон вернулась в угловую, села за письменный столик Виктуар и написала:

«Со слов господина фон Альвенслебена, я поняла, что Вы, уважаемый господин фон Шах, сегодня, в субботу вечером, покинули Берлин, решив пожить некоторое время на лоне природы в Вутенове. У меня нет причин упрекать Вас за такое решение или оспаривать Ваше право на отдых в своем поместье, но Вашим правам я вынуждена противопоставить права моей дочери. Посему разрешите мне Вам напомнить, что, согласно нашей обоюдной договоренности, на завтра было назначено оглашение. На нем я настаиваю еще и сегодня. Ежели оно не состоится до среды, я должна буду предпринять другие, вполне самостоятельные шаги. Как это ни противоречит моей натуре (не говоря уже о Виктуар, которая, разумеется, не подозревает о моем письме и постаралась бы любыми средствами удержать меня от него), но обстоятельства, увы, слишком хорошо Вам известные, не оставляют мне выбора. Итак, до среды!

Жозефина фон Карайон».

Она запечатала письмо и вручила его посыльному с указанием — на рассвете отправиться в Вутенов.

И еще ему было приказано ни в коем случае не дожидаться ответа.

Глава шестнадцатая

ГОСПОЖА ФОН КАРАЙОН И СТАРИК КЁКРИЦ

Среда пришла и прошла, а от Шаха не было ни строчки, не говоря уж о требуемом извещении о помолвке. Госпожа фон Карайон, ничего другого и не ожидавшая, успела сделать соответствующие приготовления.

В четверг с самого утра перед подъездом уже стояла карета, которая должна была отвезти ее в Потсдам, в течение нескольких месяцев бывший резиденцией короля. Госпожа фон Карайон намеревалась упасть перед королем на колени, поведать о нанесенном ей оскорблении и просить его заступничества. В том, что во власти короля оказать ей заступничество и уладить всю эту горестную историю, она не усомнилась ни на минуту. Пути и возможности проникновения к его величеству были обдуманы заранее и, надо сказать, безуспешно. Генерал-адъютант фон Кёкриц, тридцать, если не более, лет назад, еще молодым лейтенантом, а может, уже и штабс-капитаном, бывал в доме ее родителей и частенько дарил бонбоньерки всеобщей любимице — маленькой Жозефине. Теперь он был любимцем короля, пользовался огромным влиянием при дворе, и через Кёкрица, с которым у нее сохранялось доброе, хотя теперь уже поверхностное знакомство, она надеялась обеспечить себе высочайшую аудиенцию.

В полдень госпожа фон Карайон прибыла в Потсдам, остановилась в «Отшельнике», привела себя в порядок и немедленно отправилась во дворец. Но здесь от встретившегося ей на широкой лестнице камергера она, увы, узнала, что его величество снова покинул Потсдам и выехал навстречу королеве, которая, едучи из Бад-Ширмонта, собиралась остановиться в Паретце. Королевская чета рассчитывала провести там несколько дней в счастливом уединении, вдали от стеснительных условностей двора.

Да, нехорошее то было известие. Тот, кто пустился в скорбный путь, с тоскою ждет пусть даже рокового конца этого пути, и нет для него ничего жесточе оттяжки. Ему ведомо лишь одно: скорей, скорей! Короткое расстояние он еще кое-как сносит, дальше нервы уже сдают.

С тяжелым сердцем, боясь, как бы сия неудача не стала предвестьем других, вернулась госпожа фон Карайон в гостиницу. О том, чтобы еще сегодня ехать в Паретц, нечего было и думать, тем паче что вечером ей, конечно

же, не удастся испросить аудиенцию. Значит — ждать до завтра! Она велела принести себе обед, села за стол, чтобы хоть немножко передохнуть, и на первых порах решила все эти долгие, долгие часы провести в тиши своей комнаты. Но мысли, картины, возникавшие перед ее внутренним взором, и, наконец, торжественные обращения, которые она повторяла сотни раз, покуда не почувствовала, что в нужный момент не сумеет выдать из себя ни слова, — все, вместе взятое, заставило ее принять благоразумное решение: покончив с бессмысленными терзаниями, прокатиться по городу и его окрестностям. Она позволила лакею, и в шестом часу к подъезду гостиницы уже подкатил наемный экипаж весьма относительной элегантности, так как собственным ее лошадям, после долгого и трудного пути по песчаным дорогам, необходимо было передохнуть.

— Куда прикажете, сударыня?

— Выбор я предоставляю вам. Только, пожалуйста, никаких замков или хотя бы как можно меньше; парки, сады, луга и озера мне милее.

— Ah, je comprends¹, — изрядно коверкая французский, отвечал слуга, привыкший всех приезжающих считать французами, а быть может, и отдавая должное французскому имени госпожи фон Карайон. — Je comprends. — И велел кучеру в потертой шляпе с галунами для начала ехать в Новый сад.

В Новом саду все словно вымерло, темной и печальной кипарисовой аллее, казалось, конца не будет. Но вот кучер свернул вправо на дорогу, идущую вдоль озера; деревья, посаженные с одной ее стороны, плакучими своими ветвями касались воды. Сквозь узорную решетку листьев мерцал красноватый свет заходящего солнца. Эта красота заставила госпожу фон Карайон забыть свои горести, и освободилась она от ее чар, только когда экипаж снова свернул с приозерной дороги в широкую аллею и вскоре остановился перед кирпичным зданием, правда богато орнаментированным золотом и мрамором.

— Чей это дом?

— Короля.

— А как он называется?

— Мраморный дворец.

— Ах, Мраморный дворец. Значит, это...

¹ Понимаю (франц.).

— Да, сударыня, тот самый дворец, в котором от долгой и мучительной водянки в бозе почил его величество король Фридрих-Вильгельм Второй. Там все стоит, как стояло при нем. Я, можно сказать, вдоль и поперек знаю комнату, где добрый государь всегда вдыхал свой «живительный газ»; тайный советник Хуфеланд приказывал подносить его прямо к постели его величества в маленьком баллоне, а может, и просто в телячьем пузыре. Не хочет ли сударыня взглянуть на эту комнату? Поздно уж, конечно. Но камер-лакей мой приятель, если я попрошу, он, надо думать, согласится... Это та самая комнатка, где стоит статуя госпожи Риц, или, как некоторые ее называют, мамзели Энкен, или же графини Лихтенау, ну не статуя, а, вернее, маленькая такая фигурка, до бедер только, а то и выше...

Госпожа фон Карайон поблагодарила. Принимая во внимание то, что предстояло ей завтра, она не имела ни малейшей охоты разглядывать ни святая святых мамзели, ни ее бюст. Итак, она сказала, что хочет еще проехаться по парку, и велела повернуть, лишь когда ток прохладного воздуха возвестил наступление вечера. И правда, часы на гарнизонной церкви, когда они проезжали мимо, пробили девять, и прежде чем куранты доиграли свой вечный хорал, экипаж уже остановился у подъезда «Отшельника».

Эта поездка подкрепила ее силы, вернула ей мужество. А тут еще благодетельная усталость, так что она проспала ночь крепче и лучше, чем спала все последнее время. Даже сны ей виделись светлые и радостные.

На следующее утро, как и было договорено, ее берлинский дормез уже стоял перед гостиницей. Поскольку госпожа фон Карайон имела все основания сомневаться в том, что ее кучер достаточно знаком с этой местностью, она взяла с собою вчерашнего лакея, который сумел, несмотря на некоторые черты, свойственные его званию, так хорошо себя зарекомендовать. Он и сегодня был на высоте. Рассказывал о каждой деревне, мимо которой они проезжали, о каждом загородном дворце и дольше всего распространялся о Марквардте; в тамошнем парке, на минуту пробудив интерес госпожи фон Карайон, промелькнул садовый домик, где под руководством и при содействии генерала фон Бишофсвердера «толстому королю» (как бесцеремонно выразился ее чичероне, час от часу становившийся все более конфиденциальным) являлись призраки.

В четверти мили от Марквардта им пришлось переезжать Вублиц — густо поросший кувшинками рукав Хавеля, дальше начались луга, где уже высоко стояли цветы, травы, и еще до полудня им открылся мостик и широко распахнутые чугунные ворота — въезд в Паретцовский парк.

Госпожа фон Карайон, считавшая себя просительницей, с присущей ей деликатностью приказала кучеру остановить лошадей, желая остаток пути пройти пешком. Это было всего несколько десятков шагов по ярко освещенной солнцем дорожке, но солнечный свет раздражал ее, и она шла сбоку, в тени деревьев, чтобы не быть замеченной раньше времени.

Дойдя до ступеней дворцовой лестницы, она храбро поднялась по ним. Близкая опасность вернула ей частицу врожденной решительности.

— Я хотела бы видеть генерала фон Кёкрица, — обратилась она к лакею, который сидел в вестибюле и мигмом вскочил, увидев важную даму.

— Как прикажете доложить?

— Госпожа фон Карайон.

Лакей низко поклонился и через минуту-другую вернулся с ответом:

— Генерал просит пройти в приемную.

Долго ждать госпоже фон Карайон не пришлось. Генерал фон Кёкриц, о котором говорили, что, кроме своей страстной любви к королю, он знает только две страсти — трубку и вист, — вышел из кабинета ей навстречу, тотчас вспомнил давнее знакомство и учтивейшим жестом пригласил ее сесть. Все его существо было проникнуто таким благодушием и благожелательностью, что вопросом о его уме никому уже не хотелось задаваться. В особенности тем, кто, как госпожа фон Карайон, являлся к нему с просьбой. А при дворе это делали многие. Он безусловно подтверждал теорию, что благожелательность среди людей, окружающих властителя, всегда следует предпочесть блеску и остроумию. При условии, разумеется, что столь верные слуги государя остаются его слугами, а не соучаствуют в управлении страной.

Генерал фон Кёкриц сидел в профиль к госпоже фон Карайон. Голова его наполовину уходила в высокий и жесткий воротник мундира, из этого воротника впереди струилось жабо, сзади же на него спускалась аккуратно заплетенная косица. Она, казалось, жила своей отдельной

жизнью и, не без кокетства, двигалась то в одну, то в другую сторону, даже когда сам генерал пребывал в полной неподвижности.

Госпожу фон Карайон, не забывавшую о серьезности своего положения, все же развеселила эта своеобразно-лукавая игра, а когда она пришла в лучшее настроение, все предстоящее показалось ей намного легче, одолимее, и она сумела с чистосердечной простотой рассказать о случившемся в ее доме, вплоть до того, что следовало бы обозначить как «деликатный пункт» в жизни ее самой и ее дочерей.

Генерал слушал госпожу фон Карайон не только внимательно, но и сочувственно и, когда она умолкла, сказал:

— Да, сударыня, событие весьма печальное, его величество не любит слушать о таких историях, почему я обычно о них и умалчиваю, разумеется, когда делу нельзя помочь и уже поздно что-либо исправить. Но в вашем случае все еще поправимо, и я не выполнил бы своего долга перед его величеством и оказал бы ему плохую услугу, утаив ваш рассказ или, поскольку вы, сударыня, взяли на себя труд сами сюда явиться, своевременно не доложив о вас под предлогом тех или иных выдуманных трудностей. Ибо в стране, подобно нашей, где князья и короли издавна блюдут права своих подданных и, разумеется, не считают возможным пренебречь утверждением этих прав, такие трудности всегда выдуманы. И в первую очередь это относится к моему государю и повелителю, который составил себе весьма высокое понятие о справедливости и потому с подлинным отвращением относится ко всем, кто — как, например, офицеры жандармского его величества полка, в остальном храбрые и доблестные, — из непонятного высокомерия склонен позволять себе всевозможные дурачества и, видимо, считает допустимым, даже похвальным или по меньшей мере не заслуживающим порицания приносить в жертву своей заносчивости и озорству счастье и репутацию других.

Глаза госпожи фон Карайон наполнились слезами.

— *Que vous êtes bon, mon cher général!*¹

— Не я, сударыня! Истинно добр мой августейший повелитель. Думается мне, что вскоре вы будете иметь доказательство его редкостной доброты, несмотря на то что сегодня день у нас трудный, — вернее, суетливый. Вам,

¹ Как вы добры, мой генерал! (*франц.*)

вероятно, уже известно, что его величество через несколько часов ждет прибытия августейшей супруги; король и приехал-то сюда, чтобы никто не помешал радости нового свидания, для этого он здесь, для этого проделал весь путь в Паретц. И вдруг в вожделенную идиллию вторгается правовой вопрос, спорное дело. Спорное дело весьма деликатного свойства. Право же, госпожа фортуна сыграла с его величеством изрядную шутку. Король хочет насладиться семейным счастьем (вы же знаете, как он любит ее величество), но в миг, когда он уже на пороге счастья, ему преподносят рассказ о несчастной любви. Конечно, это его расстроит. Но он слишком добр, чтобы не совладать с собой, и если наша встреча сойдет неплохо, то нам можно будет извлечь еще и дополнительную пользу. Собственное счастье, которого он ждет с минуты на минуту, еще скорее подвигнет его на то, чтобы восстановить омраченное счастье других. Я знаю его чувство справедливости, знаю всю его сердечную доброту. Итак, дорогая моя, я иду доложить о вас его величеству.

Он двинулся к двери, но вдруг оборотился и сказал:

— Если я не ошибаюсь, король сейчас в парке. Мне известен его любимый уголок. Пойду посмотрю, там ли он. Через несколько минут я вернусь с ответом, пожелает ли его величество выслушать вас или нет. Итак, мужайтесь, дорогая моя. У вас к тому есть все основания.

С этими словами он взял шляпу, трость и вышел через боковую дверь, ведущую прямо в парк.

В приемной, где сидела госпожа фон Карайон, по стенам были развешаны цветные литографии — мода, пришедшая из Англии: головки ангелов Рейнольдса, пейзажи Гейнсборо, а также несколько репродукций итальянских мастеров, среди них — кающаяся Магдалина. Кажется, Корреджо? Удивительного синего тона плат, наполовину прикрывающий фигуру кающейся грешницы, привлек внимание госпожи фон Карайон; она подошла поближе, чтобы прочесть подпись художника. Но прежде чем ей удалось ее разобрать, генерал уже вернулся и попросил свою подопечную следовать за ним.

Они вошли в парк, где царил полнейшая тишина. Дорожка, змеившаяся меж берез и пихт, вела к декоративной скалистой стене, поросшей мхом и увитой плющом. На каменной скамейке перед нею (старик Кёкриц замедлил шаг и отстал) сидел король.

Он поднялся, заметив приближение прекрасной женщины, и с видом серьезным и приветливым пошел ей навстречу. Госпожа фон Карайон хотела было опуститься на колени, но король помешал этому, взяв ее за руку.

— Госпожа фон Карайон? — сказал он. — Знаю, отлично знаю... Детский бал... прелестная дочь... Тогда...

Он вдруг умолк, то ли смущенный словом, сорвавшимся у него с языка, то ли преисполнившись глубокого сочувствия к несчастной матери, что дрожь стояла перед ним, но тут же продолжил:

— Кёкриц отчасти посвятил меня... Весьма фатально... Но прошу... садитесь, сударыня... Не бойтесь... Все расскажите сами.

Глава семнадцатая

ШАХ В ШАРЛОТТЕНБУРГЕ

Через неделю король и королева покинули Паретц, а через день после их отъезда ротмистр фон Шах, вытребованный из Вутенова письмом дворцового ведомства, уже скакал в Шарлоттенбург, куда успел перебраться двор. Он выбрал дорогу через Бранденбургские ворота и Тиргартен, слева ехал его ординарец, рыжий Окунок, с лицом как блюдо гороха — до того оно было усыпано веснушками — и торчащими бакенбардами ярко-красного цвета; Цитен любил говорить, что «этого окуня можно узнать по плавникам». Уроженец Вутенова, друг детства своего помещика и ротмистра, он, разумеется, был беззаветно предан всем и всему, что было связано с Шахами.

Было уже четыре часа пополудни, но на улицах особого движения не замечалось, хотя солнце ласково светило и дул освежающий ветерок. Навстречу им попалось всего несколько всадников, среди них два офицера из Шахова полка. Шах ответил на их приветствия, проехал через Ландверграбен и вскоре свернул на главную улицу Шарлоттенбурга с ее виллами и палисадниками.

У «Турецкого шатра», куда он частенько заглядывал, конь хотел было свернуть, но Шах поехал дальше, до кафе Морелли, расположенного ближе к сегодняшней его цели. Там он спешил, бросил поводья ординарцу и тотчас же зашагал ко дворцу. Миновав четырехугольный газон с давно выжженной июльским солнцем травой, он взшел по широкой лестнице, затем повернул в узкий коридор, на

стенах которого, казалось, больше чем в натуральную величину, маршировали синие пучеглазые великаны Фридриха-Вильгельма I. В конце коридора его встретил заранее предупрежденный камер-лакей и проводил в рабочий кабинет короля.

Король стоял у пюпитра, на котором были расстелены карты — планы Аустерлицкого сражения. Он сразу обернулся, подошел к Шаху и сказал:

— Приказал вызвать вас, любезный Шах... Карайоны; фатальная история. Не люблю строить из себя моралиста и критикана; противно; сам заблуждался. Но исправлял ошибки; заглаживал вину. Вообще в толк не возьму. Красавица женщина, мать; очень мне понравилась; умна.

Шах поклонился.

— А дочь! Знаю, все знаю; бедняжка... Но enfin¹ вы, видно, нашли ее прелестной. А что ты раз нашел прелестным, найдешь и во второй, надо только захотеть. Но это ваше дело, меня не касается. Касается только honnêteté². Ее я требую и потому требую, чтобы вы женились на барышне Карайон. Иначе — извольте выходить в отставку.

Шах молчал, но вид его и поза свидетельствовали, что уход в отставку — для него самое страшное.

— Если так, оставайтесь; brave молодой человек; люблю. Но ошибку исправить тут же, немедленно. Старый род, Карайоны; перед вашими дочками (прошу прощения, любезный Шах) всегда будут открыты двери приютов в Мариенфлизе и Хейлигенграбе. Так. Решено. Рассчитываю, полагаюсь. Должите мне.

— Слушаюсь, ваше величество.

— Еще одно; говорил об этом с королевой; хочет вас видеть; женский каприз. Найдете ее в оранжерее... Благодарю.

Милостиво отпущенный Шах низко поклонился и пошел по коридору в противоположное крыло дворца, где находилась большая застекленная теплица, о которой ему сказал король.

Но королевы там не было, — наверно, еще не вернулась из парка. Он решил пойти ей навстречу по выложенной каменными плитами дорожке, среди стоящих рядами римских императоров, которые — или это ему чудилось? — с коварной улыбкой фавнов наблюдали за ним. Наконец

¹ В конце концов (*франц.*).

² Честность, добропорядочность (*франц.*).

он увидел королеву, она спускалась с мостика в сопровождении придворной дамы, по-видимому, младшей из барышень Фирек. Сделав несколько шагов по направлению к обеим, Шах еще на почтительном расстоянии отошел в сторону, чтобы по-военному приветствовать их. Придворная дама в эту минуту немного отстала.

— Рада вас видеть, господин фон Шах,— произнесла королева,— вы идете от короля?

— Так точно, ваше величество.

— Может быть, я не должна была просить вас к себе,— продолжала она.— Король сначала был против и даже посмеялся надо мной, но потом все же со мной согласился. Я женщина, и было бы жестоко, если б мне пришлось отказаться от своей женской сути лишь из-за того, что я еще и королева. Как женщину меня интересует то, что касается моих сестер женщин, а всего ближе мы принимаем к сердцу, конечно же, разные questions d'amour¹.

— Ваше величество так милостивы...

— Не к вам, любезный Шах. К барышне Карайон... Король все рассказал мне, и Кёкриц, со своей стороны, многое добавил. Это было в день моего приезда из Пирмонта, и мне трудно даже сказать вам, какое сочувствие внушила мне барышня Карайон. И вдруг вы, именно вы отказываете бедняжке в сочувствии, а заодно и посягаете на ее право. Невозможно! Я так давно вас знаю и всегда считала вас джентльменом, человеком чести. Продолжать, думается мне, не стоит. Я слышала о карикатурах, кем-то опубликованных, и полагаю, что эти картинки привели вас в замешательство, лишили спокойствия духа, а значит, и спокойствия суждения. Мне это понятно, я по собственному опыту знаю, что ядовитая стрела не только ранит нашу душу, она преображает нас, и преображает не к лучшему. Но все равно, вы должны были опомниться, а значит, подумать о том, чего требуют от вас долг и честь.

Шах молчал.

— Так и будет,— живо продолжала королева,— вы докажете, что раскаялись и готовы искупить вину. Вам это нетрудно, ибо даже в жалобе на вас, так меня заверил король, все еще звучала сердечная склонность. Вспомните об этом, если вновь поколеблетесь в своем решении, чего я, впрочем, не опасаюсь. Право, в эти минуты мне больше всего хочется благополучного разрешения спора и союза

¹ Вопросы любви (франц.).

двух сердец, которые, я в этом уверена, предназначены друг для друга. И предназначены — истинной любовью. Ведь вы, надеюсь, не станете отрицать, что таинственное веление привело вас к этой милой и некогда столь красивой девушке. Предположить иное я не в состоянии. А теперь поспешите домой, сделайте счастливыми других и будьте счастливы сами. Мои лучшие пожелания будут сопровождать вас, вас обоих. На время, покуда этого требуют обстоятельства, вы, вероятно, уединитесь, но я все равно буду ждать, что вы сообщите мне о событиях в вашей семье и велите занести имя королевы, как первой вашей кумы, в церковную книгу Вутенова. Итак, поезжайте с богом.

Кивок и дружелюбный жест сопроводили эти слова. Шах, обернувшись, уже в конце аллеи заметил, что обе дамы свернули на боковую дорожку и направились в тенистую часть парка, туда, где протекала Шпрее.

Через четверть часа он уже сидел в седле; сзади ехал ординарец Окунек.

Милостивые слова его и ее величеств произвели впечатление на Шаха, но лишь поверхностное, переубедить его они не смогли. Он знал, что первейший его долг повиноваться королю. Но сердце бунтовало, а значит, надо было сыскать нечто, объединяющее в себе повиновение и неповиновение, нечто одинаково отвечающее велению короля и велению собственного сердца. Но для этого существовал лишь один путь. Мысль, однажды пришедшая ему на ум в Вутенове, снова посетила его, чтобы тотчас же обернуться решением, и чем тверже становилось это решение, тем больше обретал он прежнюю свою выправку, прежнее спокойствие. «Жить, — говорил он себе, — что значит жить? Вопрос минут, разница между сегодня и вчера». И, впервые после долгих дней, он словно сбросил тяжелый гнет, вновь почувствовал себя легко и свободно.

Повернув в старую каштановую аллею, что ответвлялась от дороги и вела к Курфюрстендамму, Шах кивком головы подозвал Окунька, отпустил поводья и, левой рукой похлопывая круп своего коня, спросил:

— Скажи, Окунек, какого ты мнения о женитьбе?

— Господи помилуй, господин ротмистр, да откуда у меня мнение возьмется? Покойный отец всегда говорил: «Жениться хорошо, а не жениться и того лучше».

— Да, что-то припоминаю. Ну, а если я женюсь, Окунек?

- Ох, господин ротмистр, не женитесь вы!
- Как знать... А разве это такая уж беда?
- Бог ты мой, господин ротмистр, для вас, может, и нет, а для меня...
- Ничего не понимаю.
- Я об заклад побился с унтером Степанским, что не бывать вашей женитьбе. А кто проиграет, должен всю роту угостить.
- Но как вы об этом прознали?
- Да все говорят, давно уж. А на прошлой неделе еще картинки...
- Ах, вот оно что... Скажи-ка, Окунек, как по-твоему, хорошо обстоят твои дела с пари? Или плохо?
- Господин ротмистр, только по кружке котбусского и по стаканчику тминной. Да ведь каждому...
- Не бойся, Окунек, ты убытков не понесешь. Я заплачу.
- Он умолк и только еще чуть слышно пробормотал:
- Et payer les pots cassés¹.

Глава восемнадцатая

ФАТА-МОРГАНА

Шах приехал домой не поздно и в тот же вечер написал госпоже фон Карайон, в псевдоискренних словах испрашивая прощения за все, им содеянное. Письмом из дворцового ведомства он был вызван сегодня в Шарлоттенбург, где король и королева вынуждены были напомнить ему о том, что является его долгом. Ему горько, что он заслужил это напоминание, шаги же, предпринятые госпожой фон Карайон, по его мнению, вполне обоснованы, и он просит разрешить ему завтра посетить обеих дам, чтобы еще раз, уже устно, выразить свои сожаления по поводу сих прискорбных упущений. В постскриптуме, бывшем длиннее самого письма, Шах добавлял, что «прошел через кризис», но теперь кризис миновал, и он уверен, что причин сомневаться в нем или в его чувстве чести более не возникнет. Он живет одной мыслью, одним желанием — узаконить все, что случилось. Говорить же о большем пока не считает возможным.

¹ И платить за разбитую посуду (*франц.*).

Несмотря на то что маленький грум принес эту записку в довольно поздний час, госпожа фон Карайон незамедлительно на нее ответила. Она обрадована его примирительным тоном. Обо всем, что, судя по его письму, отныне следует считать прошедшим, лучше не говорить вовсе, — она, в свою очередь, чувствует, что могла бы действовать спокойнее и осмотрительнее; извинением ей может послужить лишь одно — всего два дня назад она узнала о коварных нападках, словесных и живописных, которые, видимо, и определили его поведение в последнее время. Будь ей все это известно ранее, она о многом судила бы снисходительнее и, уж конечно, заняла бы выжидательную позицию относительно его молчания. Она надеется, что теперь все пойдет на лад. Безмерная (вернее, чрезмерная) любовь Виктуар и собственные его убеждения, которые, она в этом уверена, если и поколеблются, то вскоре снова придут в равновесие, служат для нее залогом мирного, а ежели господь услышит ее мольбы, то и счастливого будущего.

На следующий день госпоже фон Карайон доложили о приходе Шаха. Она пошла ему навстречу, и быстро завязавшийся разговор отнюдь не свидетельствовал об обоюдном смущении, несмотря на все происшедшее. Мало-помалу многое объяснилось. Как ни больно это отозвалось на матери и дочери, на Шахе, каждая из двух партий в конце концов была понята другой, а где понимание, там и прощение или хотя бы возможность такового. Все, в естественной последовательности, вытекало из сложившихся обстоятельств, и ни бегство Шаха, ни жалоба госпожи фон Карайон в высшую инстанцию, не означали ни злого умысла, ни открытой вражды.

Когда разговор на мгновение иссяк, вошла Виктуар. Никаких следов горя и тревог не было на ее лице, она выглядела свежо и бодро. Он приветствовал ее, на сей раз не холодно и церемонно, но с искренней радостью, и сердечное участие, с которым он на нее смотрел и пожимал ей руку, скрепило уже воцарившийся мир. В его растроганности не могло быть сомнений; Виктуар так и светилась радостью, а глаза матери наполнились слезами.

Железо надо ковать, пока оно горячо. Госпожа фон Карайон попросила Шаха, уже собиравшегося откланяться, присесть еще на минутку, чтобы совместно принять кое-какие решения. Всего несколько слов. Разумеется, немало времени было упущено, его нужно наверстать. Ее долге-

летняя дружба со старым консисторским советником Боке — он венчал ее и крестил Виктуар — предоставляет для того наилучшие возможности. Невелика беда, если вместо традиционного трехкратного оглашения они ограничатся однократным; это будет сделано в ближайшее воскресенье, а в пятницу на следующей неделе — пятница хоть и считается несчастливым днем, но в ее жизни всегда бывало наоборот — состоится свадьба. Лучше всего — у них в доме, так как она терпеть не может свадеб в гостиницах или ресторациях. Что будет дальше — зависит от молодых супругов; ей, конечно, интересно, возьмет верх Венеция над Вутеновом или Вутенов над Венецией. Лагуны есть и там и тут, и она надеется только, что мостик в камышах, где стоит гондола, не станет называться «мостом вздохов».

Еще несколько минут светской болтовни, и Шах удалился.

В воскресенье, как и было договорено, воспоследовало оглашение, и неумолимо придвинулась пятница — день свадьбы. Дом Карайонов был в волнении, больше всех волновалась тетушка Маргарита, являвшаяся теперь ежедневно, причем ее наивное счастье уравнивало все смешные неловкости, обычно связанные с ее приходом.

Вечером приехал Шах. Он был веселее и мягче, чем всегда, но столь старательно, сколь, к счастью, и незаметно, обходил все разговоры о свадьбе и о приготовлениях к ней. Когда его спрашивали, считает ли он что-либо желательным или нет, он поспешно отвечал: «Прошу вас, поступайте, как считаете нужным»; ему известен такт и превосходный вкус обеих дам, и он уверен, что и без его советов все будет сделано наилучшим образом, а если что-то и останется для него таинственным и непонятным, он будет только рад, ибо с детства любит неожиданности.

Под разными предлогами он уклонялся от участия в проектах и замыслах, связанных с «торжественным днем», как выражалась тетушка Маргарита, но тем охотнее переводил разговор на свадебное путешествие. Ибо Венеция, несмотря на деликатные уговоры госпожи фон Карайон, все же взяла верх над Вутеновом, и Шах, когда речь заходила о ней, с несвойственной ему горячностью строил всевозможные планы и рисовал заманчивые картины, их ожидавшие. Он хотел посетить еще и Сицилию, проплыв мимо островов Сирен, «свободным или привязанным к мачте — это уж будет зависеть от Виктуар и ее веры в

меня». Далее они собирались побывать на Мальте. Не из-за самого острова, о нет. Но потому, что по дороге туда имеется место, где таинственная черная часть света в зыбких образах или лишь в отражениях предстает перед глазами рожденного в снегах и туманах гиперборей. В этом месте обитает вечно меняющаяся фея, немая сирена, волшебством своих красок еще коварнее завлекающая человека, чем сирена поющая. То и дело сменяются образы и сцены ее *laterna magica*¹: если только что усталый караван плелся по желтым пескам, то теперь перед ними вдруг возникают зеленые оазисы, где под тенистыми пальмами сидит толпа мужчин; все они, опустив головы, курят трубки, а черные и бронзовокожие девушки, расплетя косы, подоткнув юбки, как для танца, поднимают вверх бубны, бьют в тамбурин. И кажется, что все они хохочут. А потом воцаряется тишина, и всей картины как не бывало. Вот это-то отражение таинственной дали и станет их целью!

Виктуар ликовала, увлеченная живостью его описаний.

Но вдруг все стало жутким и сумрачным вокруг нее, и какой-то голос в ее душе произнес: фата-моргана.

Глава девятнадцатая

СВАДЬБА

После венчания, уже в четвертом часу, приглашенные на свадьбу собрались в парадной столовой с окнами, выходящими во двор, в комнате, обычно считавшейся просто неудобным придатком дома, и сегодня, после долгих лет, использовавшейся впервые. Госпожа фон Карайон сочла это желательным, хотя число гостей было невелико. Старый консистерский советник Боке позволил уговорить себя и теперь сидел за столом напротив жениха и невесты; из гостей, кроме тетушки и нескольких старых друзей, бывавших еще в доме генерального откупщика налогов, в первую очередь следует назвать Ноштица, Альвенслебена и Зандера. На приглашении этих троих Шах, несмотря на полное безразличие к составлявшемуся списку гостей, настаивал весьма энергично, ибо за это время ему сделалось известно их тактичное отношение к истории с карикатурами, — отношение, которое он тем более оценил, что никак

¹ Волшебного фонаря (лат.).

его не ожидал. Бюлова, давнего противника Шаха, не было в Берлине, впрочем, он вряд ли попал бы в число приглашенных, даже если бы никуда и не уезжал.

Застольная беседа протекала с традиционной чопорностью, покуда не был провозглашен первый тост. Консistorский советник произнес речь, своего рода «исторический обзор», подразделенный на три части. Сначала он говорил о деде — генеральном откупщике и его славном доме, засим вспомнил бракосочетание госпожи фон Карайон, потом конфирмацию Виктуар (прочитывая библейский стих, коим он вооружил ее перед вступлением на жизненный путь) и закончил благопристойной шуткой, касательно «египетской чудо-птицы, к многообещающей близости коей стремятся наши молодожены»; что послужило знаком к перемене настроения за столом. Непринужденная веселость овладела всеми, даже Виктуар развеселилась, особенно когда тетушка Маргарита, в честь торжественного дня облачившаяся в ярко-зеленое шелковое платье, — а в ее прическе красовался высокий черепаховый гребень, — поднялась, чтобы произнести второй тост в честь молодоженов. Смущаясь, она довольно долгое время постукивала ножом о графин с водой, прежде чем это заметила госпожа фон Карайон и объявила:

— Тетушка Маргарита хочет что-то сказать.

Тетушка склонила голову в знак согласия и начала свою речь с куда большей самоуверенностью, чем можно было предположить, судя по ее первоначальному смущению:

— Господин консисторский советник говорил так хорошо и так долго, я же не более как Руфь, что идет по полю и подбирает колосья, — кстати, это было темой проповеди в последнее воскресенье, читанной в маленькой церкви Пресвятой троицы, где опять было совсем пусто, человек одиннадцать, двенадцать, не больше. Но как тетка нашей милой невесты, а следовательно, как старшая, я поднимаю бокал, чтобы еще раз выпить за счастье молодой четы.

Сказав это, она села, спокойно принимая восхваления собравшихся. Шах попытался поцеловать руку старой дамы, но она уклонилась, зато обласкала Виктуар, ее обнимавшую, и заверила, что она все это знала наперед, с того самого дня, когда они ездили в Темпельгоф и там пошли в «цюрковь», так как заметила, что Виктуар, кроме большого букета фиалок для мамы, держала в руке еще

маленький, который собиралась, в церковных дверях, отдать своему милому жениху, господину фон Шаху. Но когда он подошел, она бросила свой букетик, и он упал рядом с дверью на могилу ребенка, а это всегда что-то значит, значило и на сей раз. Будучи ярой противницей суеверия, она тем не менее верит в «сюмпатию», разумеется, только в пору ущербной луны. Весь этот день так и стоит у нее перед глазами, словно это было вчера, а если кто и делает вид, что ничего не заметил, то достаточно иметь два глаза, чтобы знать, где «вюшни» уже поспе-ли. Эту поговорку тетушка стала развивать и в нее углубляться, отчего значение таковой отнюдь не прояснилось.

Тетушка Маргарита договорила свой тост, и гости начали вставать с мест, переходили от одного к другому, вступали в беседы, а после того как всех обнесли пирожными «с сюрпризом» из знаменитой кондитерской Йоста и всевозможные изречения, в них спрятанные, вроде: «Любовь, ты подлинное чудо, и муки испытать твои не худо», несмотря на мелкий и стертый шрифт, были прочитаны, все дружно поднялись из-за стола. Альвенслебен повел госпожу фон Карайон, Зандер — тетушку Маргариту, причем тема Руфи служила ему для непрерывных поддразниваний, которые так ей нравились, что во время кофе она, улучив минутку, прошептала Виктуар:

— Очаровательный человек. Как галантен. И как умен.

Шах много говорил с Зандером, спрашивал его о Бюлове, «который, правда, никогда не был ему симпатичен, но, вопреки своим вывертам, все же интересен», и даже просил его, при случае, передать это Бюлову. Во всем, что говорил Шах, сквозило дружелюбие, тяга к примирению.

В последнем он был не одинок, к тому же стремилась и госпожа фон Карайон. Она собственноручно протянула ему вторую чашку кофе и, покуда Шах клал в нее сахар, сказала:

— Два слова, милый Шах. Но в соседней комнате.

И первой туда направилась.

— Милый Шах, — снова проговорила она, когда они сели на цветастое канапе, откуда обоим, сквозь открытую двухстворчатую дверь, видна была угловая, — это наши последние минуты, и мне бы хотелось, прежде чем мы простимся, немного облегчить свою душу. Я не собираюсь кокетничать своим возрастом, но год — срок немалый, и кто знает, свидимся ли мы вновь. О Виктуар я ни слова не

скажу. Она, даже на час, не доставит вам огорчений: слишком она вас любит, чтобы хотеть вас огорчить. А вы, милый Шах, покажете себя достойным этой любви. Не станете причинять боль кроткому созданию, она ведь теперь не ведаёт ничего, кроме любви и преданности. Это было бы невозможно. Я не требую от вас никакого обещания, так как знаю наперед, что имею его.

Шах смотрел прямо перед собой, когда госпожа фон Карайон произносила эти слова, и, держа чашку в левой руке, медленно прихлебывал кофе с изящной маленькой ложечки.

— Со времени нашего примирения, — продолжала она, — я снова обрела веру в вас. Но эта вера, как я уже говорила в своем письме, в дни, к счастью оставшиеся далеко позади, пошатнулась во мне, и пошатнулась так, как я и сама не ожидала. Я говорила о вас жестокие слова Виктуар и еще более жестокие, когда оставалась одна. Называла вас мелочным, надменным, суетным и зависимым от чужого мнения и, что еще хуже, приписывала вам неблагодарность и малодушие. Во всем этом я каюсь и стыжусь того душевного состояния, которое заставило меня забыть наше прошлое.

На мгновение она умолкла. Шах хотел ей ответить, но она не позволила, добавив:

— Еще одно только слово. Все, что я говорила и думала в те тяжкие дни, мучило меня, заставляло стремиться к этой исповеди. Теперь все ясно между нами, и я снова могу без стеснения смотреть вам в глаза. Но довольно. Идемте. Нас и так уж, наверно, хвалялись.

Она взяла его под руку и шутливо заметила:

— *On revient toujours á ses premiers amours*¹, не так ли? И как же хорошо, что я могу смеясь сказать это вам, да еще в минуты великой и чистой радости.

Виктуар уже шла из угловой навстречу своей мамá и Шаху.

— Что это было? — спросила она.

— Объяснение в любви.

— Так я и думала. Как хорошо, Шах, что мы завтра уезжаем. Правда? Я ни в коем случае не хочу являть миру образ ревнивой дочери.

Мать и дочь сели на диван, к ним присоединились Альвенслебен и Ноштиц.

¹ Старая любовь не ржавеет (*франц.*).

Вошедший лакей доложил Шаху, что экипаж подан; при этом известии Шах, казалось, изменился в лице. Обстоятельство, не ускользнувшее от госпожи фон Карайон. Но он быстро взял себя в руки, откланялся и вышел в коридор, где маленький грум дожидался его с пальто и шляпой. Виктуар проводила его до лестницы, на которую с улицы еще падал тусклый сумеречный свет.

— До завтра, — сказал Шах и быстро пошел к двери. Но Виктуар, перегнувшись через перила, тихонько повторила его слова:

— До завтра. Слышишь?.. А где мы будем завтра?

И странно, сладостный звук ее голоса не остался без отклика в его душе даже в этот миг. Он взбежал по ступенькам, обнял ее, словно прощаясь навек, и поцеловал.

— До свиданья, Мирабелла.

До нее донесся еще только звук его шагов. Потом дверь захлопнулась, и экипаж покатиł вниз по улице.

На козлах сидели ординарец Окуней и грум. Каждый из них испросил себе право в этот торжественный день везти своего ротмистра и хозяина. Каковое и было немедленно дано обоим. Когда карета завернула на Вильгельмштрассе, раздался треск, удар, хотя экипаж и не трянуло снизу.

— Damn! — сказал грум. — What's that? ¹ -

— Что, испугался, малыш? Камень под колесо подкатился.

— Ох, нет! Не камень. 't was something... dear me... like shooting ².

— Ну и выдумщик ты!

— Да, pistol shooting... ³

Но он не успел договорить, так как карета остановилась перед домом Шаха; испуганный грум мигом соскочил с козел, чтобы открыть дверцы своему господину. Он откинул подножку, густой дым ударил ему в лицо; Шах сидел в углу, слегка откинувшись назад. На ковре у его ног валялся пистолет. В ужасе малыш захлопнул дверцу, крича:

— Heavens, he is dead! ⁴

¹ Черт возьми! — Что это такое? (англ.)

² Что-то вроде... бог мой... вроде как выстрел (англ.)

³ Выстрел из пистолета... (англ.)

⁴ Господи, он мертв! (англ.)

Хозяева соседней ресторации прибежали на их зов и внесли мертвого Шаха наверх, в его дом.

Окунек ругался, выл в голос и все сваливал на «человечество» — сваливать на женитьбу он не смел. Ибо по природе был дипломатом, как, впрочем, все крестьяне.

Глава двадцатая

БЮЛОВ — ЗАНДЕРУ

«Кёнигсберг, 14 сентября 1806 г.»

...Вы пишете мне, милый Зандер, также и о Шахе. Самый факт мне был уже известен, «Кёнигсбергер дейтунг» поместила краткую заметку о происшествии, но только из Вашего письма что-то уяснилось мне, если в данном случае могло уясниться. Вы знаете мою склонность (я и сегодня следую ей) единичное возводить к целому и, конечно же, из целого выводить единичное, что, разумеется, связано со страстью к обобщению. Это занятие весьма щекотливое и часто заводит меня слишком далеко. Но если когда-либо для этого имелись основания, то кто-кто, а вы уж безусловно поймете, что случай с Шахом, собственно, только симптом, серьезнейшим образом меня занимающий именно вследствие своей симптоматичности. Конечно, это явление времени — пусть локально ограниченное, случай совершенно особый по своим причинам, — но это могло произойти и произойти таким образом лишь в прусской столице его королевского величества, или если уж вне ее, то лишь в рядах армии, какой она стала после Фридриховой смерти, армии, у которой самоуверенность заменяет честь, а душу — часовой механизм, механизм, уже перестающий работать. Великий король подготовил сие плачевное положение вещей, но для того чтобы оно стало совсем уж плачевным, сначала должны были навеки закрыться великие королевские глаза, взгляда которых его подданные, как известно, страшлись больше битвы и больше смерти.

Я достаточно долго был в рядах этой армии, чтобы знать: «честь» там каждое третье слово. «Клянусь честью, эта танцовщица очаровательна»; «клянусь честью, великолепная кобыла»; «мне тут присоветовали ростовщиков, у которых достаточно развито чувство чести». По-

стоянная болтовня о чести, о фальшивой чести, спутала все понятия и убила честь доподлинную.

Все это, как в зеркале, отражено в истории с Шахом, в личности самого Шаха, а он, несмотря на множество недостатков, все еще был одним из лучших.

Как же все случилось? Офицер часто посещает аристократический дом; ему нравится мать, а в один погожий майский день понравилась и дочь, вероятно, нет, скажем лучше — весьма вероятно, потому, что принц Луи несколько дней назад прочитал ему лекцию о «*beauté du diable*». Но так или иначе, она ему понравилась, и природа сделала из этого свои выводы. В подобной ситуации что может быть проще, естественнее, чем уладить всю сложность положения, вступив в брак, тем паче в брак, не погрешающий ни против выгоды, ни против предрассудков. Но что же случается? Он удирает в Вутенов только потому, что на щечке у милой девушки на две-три ямочки больше, чем это модно или принято, и потому, что эти «лишние» ямочки могли на неделю-другую сделать нашего гладкого и отполированного Шаха мишенью для острот и насмешек. Итак, он удирает, трусливо бежит долга и слова, пока наконец «всемиплостивейший король и повелитель», желая заставить его заговорить и требуя безусловного повиновения, не напоминает ему о долге и слове. Он покоряется, но лишь затем, чтобы в ту же минуту дерзновенно попраť свою покорность. Он не в силах вынести насмешливый взгляд Цитена, тем паче новый натиск карикатур и, повергнутый в ужас тенью, мыльным пузырем, прибегает к старому, испытанному способу спастись от отчаяния: *un peu de poudre*¹.

Вот вам характерный пример неправильно понятой чести. Она делает нас зависимыми от самого непрочного и произвольного, что существует на свете, — от построенного на зыбучем песке мнения общества и заставляет священные заповеди, лучшие, естественнейшие свои порывы приносить в жертву этому идолу. Культ неправильно понятой чести, иными словами — суетность и взбалмошность стубили Шаха и стубят еще многих, более значительных людей. Вы вспомните эти мои слова. Мы, как страусы, прячем голову в песок, чтобы не слышать, не видеть. Но такой страусовый образ действий еще никогда никого не спасал. Династия Мин клонилась к закату, победоносные

¹ Немножко пороха (франц.).

маньчжурские войска уже ворвались в дворцовые сады Пекина, но гонцы все еще приносили императору вести о победах, все новых победах, ибо «тон» высшего общества и двора не позволял говорить о поражениях. Ох, уж этот «хороший тон»! Часом позднее империя пала, трон рухнул. А почему? Да потому, что все неестественное ведет ко лжи, а всякая ложь — к гибели.

Помните вечер в салоне госпожи фон Карайон, когда там всплыла тема «Hannibal ante portas»; я уже говорил что-то в этом роде. Шах назвал меня тогда лжепатриотом! Лжепатриот! Впередсмотрящих всегда зовут этим именем. А теперь! То, что в тот вечер чудилось мне только как нечто «возможное», ныне стало свершившимся фактом. Война объявлена. А что это означает, я отчетливо вижу духовным взором. Мы погибнем из-за тех же иллюзий, из-за которых погиб Шах.

Ваш Бюлов.

Постскриптум: Дона (раньше он служил в лейб-гвардии), с которым я только что говорил об истории Шаха, истолковал ее так, что это мне напомнило прежние высказывания Ноштица. Шах, по его словам, любил мать; если бы он женился на дочери, это привело бы его к тягчайшим сердечным конфликтам. Напишите мне ваше мнение. Я лично нахожу это достаточно пикантным, но недостаточно верным. Суетность Шаха помогла ему всю жизнь сохранять полную холодность сердца, к тому же его представления о чести (здесь, в виде исключения, правильные), вступи он в брак с дочерью, оградили бы его от любого faux pas¹.

Б.»

Глава двадцать первая

ВИКТУАР ФОН ШАХ — ЛИЗЕТТЕ ФОН ПЕРБАНДТ

«Рим, 18 августа 1807 г.

Нет слов сказать, как я была растрогана твоим милым письмом! Из бедствий войны, горя и потерь ты осыпаешь меня доказательствами старой неизменной дружбы и не ставишь мне в упрек мое небрежение перепиской.

Мама не раз собиралась писать тебе, но я просила ее еще немного повременить.

¹ Ложного шага (*франц.*).

Ах, дорогая моя Лизетта, ты принимаешь живое участие в моей судьбе и считаешь, что пора мне выговориться перед тобой. Ты права. И я это сделаю, по мере сил.

«Как все произошло?» — спрашиваешь ты и добавляешь, что «бьешься над загадкой, которая никак не поддается разгадке». Дорогая моя Лизетта, а разве загадки разгадываются? Никогда. Покров темного, невыясненного все равно остается, и нам не дано заглянуть в последние тайные побуждения к тому или иному образу действий других или даже самих себя. Люди утверждают, что Шах был красавцем, я же, мягко выражаясь, была дурнушкой. Виктуар, это вызывало насмешки, которым он не имел сил противостоять. И вот из страха перед жизнью ушел в смерть.

Так говорят в свете, и, пожалуй, правильно. Но свет отнесся к нему строже, чем было необходимо, да он и сам так отнесся к себе. Я все вижу по-другому. Он отлично знал, что насмешки рано или поздно утихнут, погаснут, и был достаточно мужествен, чтобы вступить с ними в единоборство, в случае если они не утихнут и не погаснут. Нет, этой борьбы он не страшился или не в той мере, как это предполагают; но умный голос, голос его собственной, внутренней природы, день и ночь твердил ему, что эту борьбу он будет вести напрасно: если он и победит мнogie света, то самого себя ему не победить. Так это было. Из всех знакомых мне мужчин он менее других был создан для брака. В свое время я рассказала тебе о поездке в Темпельгоф, которая во многих отношениях явилась поворотным пунктом для нас обоих. Возвращаясь из церкви, мы говорили о тамплиерах, о статуте ордена, и по непритворно серьезному тону Шаха (вопреки моим подшучиваньям) я поняла, какие идеалы его воодушевляют. В число этих идеалов — несмотря на его многочисленные liaisons¹, а может быть, именно из-за них — брак безусловно не входил. Еще и сейчас, несмотря на всю боль моего сердца, я могу тебя уверить, что мне было трудно, почти невозможно вообразить его в кругу семьи. Кардинала (здесь я вижу их ежедневно) немислимо представить себе супругом. Так же и Шаха.

Вот тебе моя исповедь. Нечто подобное он и сам думал, хотя в своем прощальном письме, разумеется, ни

¹ Связи (франц.).

словом об этом не обмолвился. В силу самой своей сути он стремился к представительности, к высокому положению, к известной grandezza, — короче, к чисто внешнему. Из этих моих слов ты видишь, что я его не переоцениваю. Когда в его спорах с Бюловом он неизменно оказывался побежденным, я, увы, слишком ясно чувствовала, что Шах человек не очень значительного ума и не слишком сильного характера. Пусть так. И все же он умел быть блестящим в узком кругу, умел царить в нем. Созданный быть полубогом при дворе какого-нибудь принца, он выполнял бы свое предназначение — не смеяся, прошу тебя — не только себе на радость, но и других делал бы довольными и счастливыми. Ибо он был добрый человек и вдобавок достаточно умный, чтобы хотеть делать добро. Я бы помешала его карьере фаворита и полномочного представителя высокой особы, более того, со своими простыми привычками, я бы вырвала его из этого круга, увезла бы в Вутенов — помогать мне сажать спаржу или забирать цыплят от насадки. Вот чего он испугался. Он вдруг увидел перед собой мелкую, ограниченную жизнь, — он, стремившийся к... я не решаюсь сказать: к значительному, но к тому, что ему представлялось значительным.

Мою некрасивость он перестал бы замечать. Мне неловко это писать, но я не так уж не нравилась ему, возможно, он даже любил меня. Это явствует из его последних строк, ко мне обращенных. Но я не верю сему сладостному слову. Он был исполнен сочувствия, сожаления и хотел загладить, если можно это сделать, всю боль, которую причинил мне своей жизнью и смертью.

Всю боль! Ах, как отчужденно, как грозно смотрит на меня это слово! Милая моя Лизетта, хватит о боли. Я рано смирилась со своей участью, считая себя не вправе претендовать на то прекраснейшее, что есть в жизни. А вышло, что я ее познала. Любовь: Это сознание проникает все мое существо, возвышает мою душу, всю боль обращает в радость. Рядом лежит мой мальчик, он открывает свои синие глазки. *Его* глаза. Много тяжелого выпало мне на долю, Лизетта, но все тяжелое пушинкой взлетает в воздух, когда я думаю о своем счастье.

Малыш, твой крестник, был смертельно болен, и только чудо сохранило его мне.

Сейчас я все тебе расскажу.

Когда врач не знал больше, чем помочь ребенку, я пошла с нашей хозяйкой (настоящей старой римлян-

кой — гордой и добросердечной) наверх, в церковь Арацёли, круглое здание, расположенное рядом с Капитолием, где они хранят «бамбино», младенца Христа — спеленатую деревянную куклу с большими стеклянными глазами; голова ее украшена диадемой из колец, которыми бесчисленные матери одарили его в благодарность за помощь. Я тоже принесла с собой кольцо, еще не уверенная в его заступничестве, и мое доверие, видно, растрогало бамбино. Кризис наступил тотчас по моем возвращении, и доктор объявил «*va bene*»¹; хозяйка же улыбнулась так, словно сама сотворила это чудо.

Я невольно задаюсь вопросом: что сказала бы тетушка Маргарита об этом «суеверии»? Она предостерегла бы меня против старой «цюрквы», и с большим основанием, чем сама могла бы предположить.

Ибо Арацёли не только старая церковь, она живет и утешает душу, прохлада и красота царят в ней.

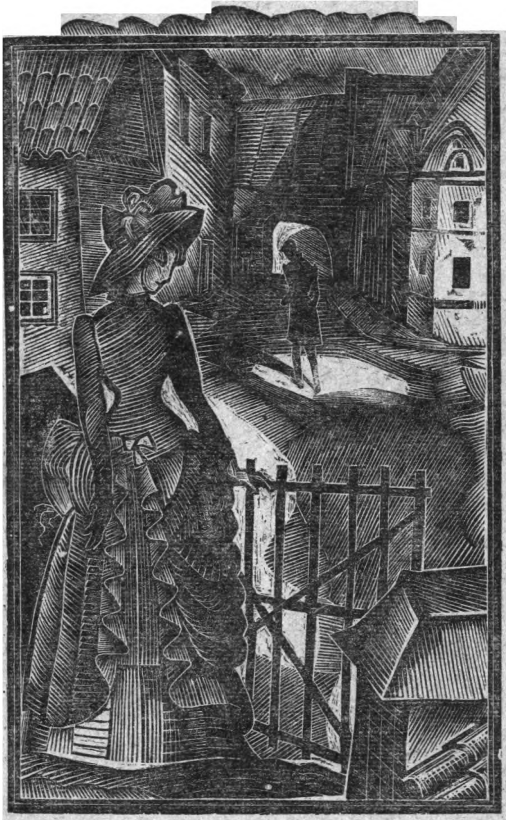
Но самое прекрасное — это ее имя, означающее «небесный алтарь». И к этому алтарю изо дня в день устремляется моя благодарность».

¹ Все хорошо (*итал.*).

Пусты-перепустья

РОМАН

Перевод С. Фридлянд



Глава первая

В том месте, где Курфюрстендам пересекается с Курфюрстенштрассе, наискосок от Зоологического, находилось еще в середине 70-х годов большое садоводство, раскинувшееся до самых полей, и маленький, в три окна, жилой домик, который стоял посреди палисадника, шагов на сто отступя от тротуара, однако, несмотря на такое расположение и малые размеры, хорошо просматривался с улицы. Было в садоводстве еще одно строение, которое, можно сказать, являлось тут самым главным, но его, словно ширма, заслонял упомянутый домик, и лишь деревянная башенка цвета красного с зеленым, увенчанная остатками часового циферблата (самих часов давно уже в помине не было), заставляла предполагать, что за ширмой несомненно кое-что скрывается. Такое предположение время от времени подтверждалось то стаяй голубей, круживших над башенкой, то — еще более убедительно — собачьим лаем. Где, собственно, сидит эта собака, оставалось загадкой, хотя находящаяся в левом углу и целый день открытая настежь калитка позволяла увидеть небольшую часть двора. Словом, утверждать, будто здесь с умыслом что-то скрывают, было бы ошибкой, и однако ж все, кто ни проходил мимо садоводства к началу нашей истории, довольствовались лишь видом маленького домика с трех окнами да фруктовых деревьев в палисаднике.

С троицы миновала неделя, настала пора ослепительно светлых, нескончаемо долгих дней. Но вот уже солнце спряталось за вильмерсдорфскую колокольню, и взамен лучей, целый день щедро заливавших землю, длинные

вечерние тени легли на палисадник, чья сказочная тишина могла бы поспорить единственно с тишиной трехоконного домика, снятого под жильё фрау Нимпч и ее приемной дочерью Леной. Сама фрау Нимпч сидела, как обычно, перед большим низким очагом в первой комнате — длиной во весь фасад домика — и, сгорбившись, глядела на старый закопченный чайник, крышка у которого так и прыгала, хотя пар выбивался через носик. Руки фрау Нимпч протянула к огню и до того углубилась в свои раздумья, что даже не слышала, как распахнулась дверь из сеней и в комнату весьма шумно вошла дородная особа. Лишь когда вошедшая прокашлялась и не без сердечности окликнула свою приятельницу и соседку, другими словами — нашу фрау Нимпч, последняя оглянулась и столь же радушно, но с оттенком лукавства, отвечала:

— Как славно, милая госпожа Дёрр, что вы снова заглянули проведать меня. И не откуда-нибудь, а прямо-хонько из Замка. Иначе его не назовешь, недаром же у него башня есть. А теперь садитесь... Муж ваш ушел недавно, я видела. Да и как не уйти — у него нынче кегли.

Та, кого приветствовали с такой сердечностью, была женщина не просто дородная, но и весьма статная и производила впечатление существа доброго, надежного, хотя на редкость ограниченного.

Впрочем, фрау Нимпч этим явно не смущалась, она лишь повторила:

— Да, кегли, кегли. Так что я хотела сказать, дорогая госпожа Дёрр, шляпа-то у господина Дёрра — хуже некуда. Залосвилась вся, ну просто стыдобушка. Отберите ее у него, а ему подсуньте другую. Он, может, и не заметит ничего... А теперь возьмите скамеечку, садитесь да придвигайтесь поближе, дорогая госпожа Дёрр. Лена-то опять ушла со двора, сами знаете, и уж так меня подвела...

— Небось он приходил?

— Само собой. Они надумали пройтись до Вильмерсдорфа, тропинка длинная, а прохожих — ни души. Но они могут воротиться с минуты на минуту.

— Тогда я лучше уйду.

— Нет, нет, дорогая госпожа Дёрр, не уходите. Сидеть он не останется. А коли и останется, он не из таких, сами знаете.

— Еще бы не знать! Ну, а как оно все идет-то у них?

— А как оно может идти? Боюсь, она что-то забрала

себе в голову, хоть и не признается в этом, или занеслась слишком высоко.

— Ах ты, господи Иисусе! — воскликнула фрау Дёрр и вместо скамеечки придвинула к себе несколько более высокую табуретку. — Ах ты, господи, тогда плохо дело. Уж коли человек занесся, тогда дело кончено. Вроде как аминь в церкви. Понимаете, дорогая госпожа Нимпч, у меня ведь тоже все так было, только заноситься я ни капельки не заносилась, Вот у меня все и вышло по-другому.

Фрау Нимпч не совсем поняла, куда клонит фрау Дёрр, и та продолжала развивать свою мысль:

— Я себе ничего такого в голову не забирала, вот у меня и шло все гладко, а теперь у меня есть мой Дёрр. Не бог вещь что, но зато прилично и от людей не надобно прятаться. Ради того я и в церковь с ним пошла, а не просто в магистрат. В магистрате они ведь только разговоры разговаривают.

Фрау Нимпч кивнула.

Фрау Дёрр повторила с нажимом:

— Да, да, в церковь, в Матвееву церковь, к пастору Бюксею. Только я про другое хотела сказать, понимаете, дорогая госпожа Нимпч, я была и ростом повыше, и из себя повидней, чем Лена, не сказать, что лицом красивей (поди знай, красивая ты или нет, да и вкусы у людей бывают разные), но телом дороднее, а это многим нравится. Что правда, то правда. Была я и повидней, и подородней, и мяса на мне было побольше, и вообще всем взяла, — да, взяла, ничего не скажешь, — только проста я была прямо до святости, а он-то, граф-то мой, шестой десяток разменял, а сам и того был проще, но зато весельчак и бесстыдник. И раз, и другой, и третий, тут я ему возьми да скажи: «Нет, господин граф, так у нас с вами дело не пойдет, не на таковскую напали...» Старики, они все на одну стать. Вам, дорогая госпожа Нимпч, эдакое и во сне не приснится. Прямо ужаси. А как погляжу я на Лену да на ее барона, меня стыд берет, ежели я про своего вспомню. Взять теперь нашу Лену. Конечно дело, она тоже не ангел, зато она опрятная и прилежная, порядок любит и понимает, что к чему. А как поразмыслишь, в этом-то и есть самая беда. Ежели кто порхает мотылек мотыльком, сегодня здесь, завтра там, тому все непочем, он вроде кошки, упал на четыре лапы и дальше пошел, но такая славная девочка, которая все всерьез

принимает и все из любви делает, вот это худо... а может статься, не так уж и худо, она ведь у вас приемная, не ваша родная плоть, кто знает, вдруг она принцесса или еще кто.

Услышав это предположение, фрау Нимпч покачала головой и хотела что-то возразить. Но фрау Дёрр уже поднялась с табуретки и, глядя на тропинку, доложила:

— Господи, вон они идут. И все-то он в штатском, сюртук да брюки. Да только видно птицу по полету. Ох и покраснела же она... Он уходит, нет... не уходит... обернулся. Нет, просто рукой помахал... а она шлет ему воздушный поцелуй... Вот это хорошо, вот это я люблю... Нет, мой был совсем не таков.

Фрау Дёрр говорила без умолку, покуда Лена не вошла в комнату и не поздоровалась.

Глава вторая

На другой день, поднявшись достаточно высоко, солнце вновь озарило садоводство Дёрров, а в нем — превеликое множество всяких строений, включая и Замок, который не без насмешки и лукавства поминала прошлым вечером фрау Нимпч. Ну и Замок же! В сумерки, будучи изрядных размеров, он и впрямь мог сойти за подобие замка, но нынче, в неумолимом свете дня, любой догадался бы, что все строение, расписанное доверху готическими окнами, — не более как жалкий деревянный сарай, где в верхнюю часть каждого торца вставлен решетчатый каркас с солидной кладкой из глины и соломы, и вставкам этим соответствуют две мансардных комнатки. Все же остальное — просто кирпичные сени, из которых тьматмущая лестниц ведет сперва на чердак, а оттуда — на отведенную под голубей башенку. Раньше, еще до Дёрра, деревянная махина выполняла роль сарая, тут хранились жерди для подпорок, лейки, прочая утварь, возможно, и картофель, но с тех пор как столько-то лет назад садоводство приобрел нынешний его владелец, жилой дом был сдан фрау Нимпч, а расписанный готическими окнами сарай после сооружения двух вышеупомянутых комнаток переоборудован под квартиру для самого недавно овдовевшего тогда Дёрра, — переоборудование, надо сказать, более чем примитивное, и последовавшая вскоре затем вторая женитьба Дёрра не внесла в него никаких це-

ремен. Летом этот сарай, прохладный, выложенный плиткой и почти лишенный окон, был не так уж плох, зато зимой Дёрр, его жена и двадцатилетний слабоумный сын от первого брака попросту замерзли бы, не будь на другом конце двора двух больших теплиц. В этих теплицах семейство Дёрров обитало с ноября по март, но даже и в жаркую пору, когда, казалось бы, следует искать защиты от солнца, оно старалось держаться поближе к теплицам, ибо здесь все было под рукой: здесь стояли стремянки и подставки, на которых каждое утро дышали свежим воздухом цветы, вынесенные из теплиц, здесь был хлев с коровой и козой, собачья будка, здесь же начинались две унавоженные грядки спаржи — шагов в десять длиной, разделенные проходом, который вел до большого огорода, расположенного чуть поодаль. Огород не поражал ухоженностью и порядком, во-первых, потому, что сам Дёрр за порядком не днался, а во-вторых, потому, что он питал великую слабость к курам и, ничуть не считаясь с ущербом, разрешал своим любимицам невозбранно хозяйничать в огороде. Да и то сказать, ущерб был не слишком велик, поскольку, за исключением разве спаржи, Дёрр не выращивал овощей деликатных. Он считал, что выращивать неприхотливые культуры выгодней всего, и потому сеял у себя майоран и прочие приправы, особенно — чеснок, причем насчет последнего пребывал в твердом убеждении, что коренному берлинцу потребны для счастья всего лишь три вещи, а именно: кружка пива, рюмка водки и головка чеснока. «На чесноке, — говаривал Дёрр, — пока еще никто не прогорел». Дёрр и вообще был великий оригинал, имел на все собственные взгляды и отличался завидным равнодушием к тому, что о нем говорят. Это последнее свойство нагляднее всего проявилось во втором браке Дёрра, браке по сердечной склонности, причем немалую роль сыграло убеждение в необычайной красоте избранницы, и бывшая связь с графом не только не повредила ей в глазах Дёрра, но напротив, послужила к вящей ее славе — как лишнее доказательство неотразимости. Быть может, все вышеизложенное и дает нам право говорить об известной переоценке, но только с одной стороны: на Дёрра — если судить по внешности — природа явно поскупилась. Он был тощий, среднего роста, с пятью седыми волосками на голове — словом, один из тех, кого кладут тринадцать на дюжину, не будь у него коричневой оспины между уголком левого глаза и виском.

Оспина эта придавала его облику некоторую изысканность, по поводу чего супруга Дёрра в присущей ей непринужденной манере неоднократно высказывала вполне резонную мысль: «Морщин на нем хватает, это верно, зато с левого боку он у меня пятнистый, как яблочко».

Подмечено было до того точно, что по этому описанию всякий мог бы признать Дёрра, не ходи он с утра до вечера в полотняном картузе с огромным козырьком. Надвинутый глубоко на лоб, этот головной убор надежно скрывал как заурядные, так и неповторимые черты его физиономии.

Вот и сегодня, день спустя после беседы между фрау Дёрр и фрау Нимпч, Дёрр стоял, надвинув картуз глубоко на глаза, перед цветочными подмостями, пристроенными к ближней теплице, и передвигал горшки с геранью и левкоями, которые были предназначены для завтрашнего рынка. Цветы эти не выращивались в горшках, их просто высаживали туда для продажи, и Дёрр с превеликим удовольствием созерцал цветочный парад, заранее торжествуя при мысли о тех «мадамочках», которые завтра явятся на рынок, непременно начнут выторговывать у него свои пять пфеннигов и все же останутся внакладе. Для Дёрра это было любимым развлечением и, по сути дела, составляло основу его духовной жизни. «Хорошая перебранка... Да коли ты и сам можешь вставить словечко...»

Так он стоял и бурчал себе под нос, когда внезапно с огорода донеслось собачье тьяканье и отчаянные вопли петуха, более того — если только ему не изменил слух, — это вопил его собственный петух, его серебристоперый любимец. Устремив взоры на огород, Дёрр убедился, что стая цур разлетелась в разные стороны, что петух взлетел на сливу и оттуда действительно зовет истощенным голосом на помощь, а под деревом тьякает собачонка.

— А, черт подери, — выругался Дёрр. — Это ж опять Болльманов пес... Опять через забор... ну, я ж ему...

И, оставив горшок с геранью, который он перед тем разглядывал, Дёрр помчался к собачьей будке, отстегнул замок, спустил с цепи свою собаку, и та, словно бешеная, ринулась в сад. Однако не успела она подбежать к сливе, как «Болльманов пес» обратился в постыдное бегство — под забор и в поле. Сперва желтая собака Дёрра большими скачками следовала за ним, но дыра под забором,

вполне достаточная для пинчера, оказалась для нее слишком мала и вынудила ее отказаться от дальнейшей погони.

Дёрр, подоспевший с граблями в руках, тоже остался ни с чем и только переглянулся со своей собакой.

— Ну, Султан, на этот раз не вышло.

Затем сконфуженный Султан побрел в свою будку так, словно ему сделали выговор, а Дёрр долго глядел в поле, где мчался по борозде пинчер, после чего сказал:

— Я не я буду, ежели не заведу себе духовое ружье, у Мелеса куплю или еще где. А уж там втихомолку прикончу эту тварь, чтоб ни один петух о том не прокричал, даже мой собственный.

Но вышеупомянутый петух в данную минуту и не подозревал о том, что Дёрр ждет от него молчания, он горланил еще пуще, однако при этом так гордо выпячивал свою серебристую грудь, словно хотел внушить курам, что его пребывание на дереве есть не более как хитрый стратегический маневр или, скажем, мимолетный каприз.

— Вот это петух так петух. Воображает из себя невесть что. А уж напыжился, напыжился-то как, — сказал еще Дёрр, после чего вернулся к цветочным горшкам.

Глава третья

Эту сцену могла наблюдать фрау Дёрр, которая как раз срезала с грядки спаржу, и если она отнеслась к происходящему без должного внимания, то потому лишь, что подобные сцены повторялись каждый третий день. Она ни на минуту не прервала своей работы и успокоилась лишь тогда, когда даже при самом тщательном осмотре грядки нельзя было сыскать ни одной «белой верхушки». Тут она повесила корзину на руку, вложила туда нож и, гоня перед собой несколько отбившихся от наседки цыплят, медленно побрела сперва через огород по тропке между грядками, потом во двор, к подмостям, где Дёрр снова готовил цветы для завтрашнего базара.

— Ну, Зюзюшка, — приветствовал он свою лучшую половину, — вот и ты. Видела, как я? Болльманов-то пес опять к нам припожаловал. Вот повадился! Погоди, ужотко я его зажарю, какой-никакой жир в нем есть. Пусть наш Султан полакомится шкварками... Собачий жир, он, знаешь... — И Дёрр хотел подробно изложить практикуемый им с недавних пор способ лечения подаг-

ры, но заметил корзинку на руке у своей жены и, оборвав изложение, воскликнул: — А ну-ка, покажи-ка! Много собрала?

— Гляди,— ответила фрау Дёрр и протянула ему до половины наполненную корзину. Дёрр только головой покачал, пропуская между пальцами ее содержимое, потому что стебли были сплошь тоненькие, а некоторые даже искрошились.

— Ну, голубушка, ты просто не умеешь собирать спаржу.

— Собрать-то я, положим, умею. Вот колдовать я не умею, это точно.

— Не будем спорить, больше от этого все едино не станет. Только как бы нам с голоду не помереть.

— Еще чего, помереть! Брось ты свою воркотню. Спаржи сколько есть, столько и есть. Не выросла сегодня, вырастет завтра — не все ли равно? Один хороший ливень — вот как в канун троицы,— тогда увидишь. А дождь будет, помани мое слово, от бочки с водой несет, хоть нос зажимай, и паук в угол забился. Только тебе подавай каждый день все сразу, нельзя же так.

Дёрр засмеялся.

— Ну ладно, увяжи пучки. Мелочь тоже. Можешь и сама кое-что продать.

— Да будет тебе,— перебила фрау Дёрр, привычно возмущаясь его скупостью, потом, однако ж, дернула мужа за ухо, что всегда воспринималось им как изъявление нежности, и отправилась в Замок, где, удобно разместясь в сених, хотела вязать пучки, но не успела она придвинуть поближе к порогу свою скамеечку, как услышала, что напротив Замка, в трехконном домике, занимаемом фрау Нимпч, кто-то с грохотом распахнул окно и закрепил обе створки крючками. Затем она увидела Лену в просторном жаке́те с лиловыми разводами, во фризовой юбке и чепчике на пепельных волосах. Лена приветливо ей поклонилась.

Фрау Дёрр не менее приветливо ответила на поклон.

— И все-то у ней окна настежь. Молодец, Ленушка. Оно и жарко становится. Как бы грозы не было.

— Да, у матушки опять от жары голова разболелась. Лучше я здесь сзади с утюгом устроюсь. Здесь даже веселей, чем в той комнате,— там, сколько ни гляди, никого не увидишь.

— Твоя правда,— ответствовала ффрау Дёрр.— Дай-кась и я поближе придвинусь к окошку. За разговорами работа быстрее спорится.

— Какая вы милая, госпожа Дёрр, только у окна ведь самый солнцепек!

— Эка беда! Принесу свой зонтик базарный, староват он, ничего не скажешь, и весь в заплатках, но дело свое делает.

И пяти минут не прошло, как добрая ффрау Дёрр подтащила свою скамеечку к Лениному окну, раскрыла зонтик и уселась, да так уютно и вальяжно, словно и впрямь сидела на Жандармском рынке. Лена тем временем положила гладильную доску на два придвинутых вплотную к окну стула и стояла так близко к ффрау Дёрр, что они вполне могли бы обменяться рукопожатием. Утюг сновал взад и вперед, а ффрау Дёрр усердно выбирала и увязывала стебли; когда же ей случалось оторвать взгляд от работы и заглянуть в окно, она видела, как позади, за спиной Лены, попыхивает маленькая жаровня, в которой калится новая плитка для утюга.

— Лена, Лена, дай-ка мне тарелку либо миску,— сказала вдруг ффрау Дёрр, и когда Лена принесла требуемое, ффрау Дёрр пересыпала туда обломки спаржи, которые за работой сбрасывала в ффартук.— Глядишь, на суп и наберется. Не хуже всякого другого. И кто, право, выдумал, что суп можно варить только из верхушек? Вот вздор. Как все равно с цветной капустой, подавай им цветочки, цветочки им подавай — смех, да и только. На мой взгляд, лучше кочерыжки и нет ничего, в ней вся сила. А уж сила — первое дело.

— Ах, какая вы добрая, госпожа Дёрр. А хозяин ваш что на это скажет?

— Хозяин-то? Господи, кому какое дело, что он скажет. Он всегда чего-нибудь говорит. Он хочет, чтоб я и крошку в пучок увязывала, как взаправдашние стебли, а я терпеть не могу обманывать людей, хотя на вкус, что обломок, что целый стебель — одинаковы. Но коли кто заплатил за хороший товар, пусть хороший и получает. Я прямо из себя выхожу, у человека все задаром прет из земли, а он эдакий сквалыга. Правду говорят, садовники — они все на одну статью, гребут деньги лопатой, и все им мало.

— Да,— рассмеялась Лена,— он, верно, скуповат и не без странностей. А вообще-то он человек хороший.

— Точно, Ленушка, он был бы совсем хорош, и даже скупость простить можно, скупость — она не глупость, себе добра желает, не будь он такой ласковый. Ты не поверишь, ну так и льнет ко мне, так и льнет. А взгляни ты на него: страх, да и только, обратно же, годков ему пятьдесят шесть, коли не больше. Он ведь и соврет, недорого возьмет. И ничего я с ним поделать не могу, хоть убей. Я уж и то ему про удары твержу — у того, говорю, удар, у этого удар, и людей показываю — таких, знаешь, кто ногу волочит и рот набок, а он смеется и не верит. С ним тоже может такое приключиться — знаешь, Ленушка, я голову прозакладываю, что ему этого не миновать. Не сегодня-завтра. Он, конечное дело, все мне отказал, грех пожаловаться. Ну, что будет, то и будет. Только что ж это мы все про удары толкуем, да про Дёрра, да про его кривые ноги? На свете есть и другие люди, стройные, что твоя елочка. Правду я говорю?

При этих словах Лена еще больше раскраснелась и сказала:

— А плитка-то в утюге совсем у меня остыла, — и, отойдя от гладильной доски к железной жаровне, вытряхнула в угли холодную плитку, чтобы заменить ее новой. На все это ушло не больше секунды, после чего Лена ловко подцепила крючком новую плитку, сунула ее в утюг, снова закрыла его и лишь тогда увидела, что фрау Дёрр все еще ждет ответа. Впрочем, для верности добрая женщина повторила свой вопрос и даже прибавила: «Сегодня-то он припожалует?»

— Да. Во всяком случае, обещался.

— А скажи-ка мне, Ленушка, — продолжала фрау Дёрр, — как это у вас с ним сладилось? Из матери твоей слова не вытянешь, а коли вытянешь, все равно ничего не поймешь. И все-то она утаивает, все утаивает. Расскажи уж лучше сама. Это правда, что вы познакомились в Штралау?

— Правда, госпожа Дёрр, в Штралау, на второй день пасхи, только теплынь была, прямо как на троицу, а Лине Ганзауге очень захотелось покататься на лодке, и Рудольф, Линин брат, вы его, верно, знаете, сел за руль.

— Рудольф за руль? Да он же совсем ребенок.

— Верно. Но он считал, что умеет править, как большой. Он только твердил нам: «Девочки, не ворошитесь, девочки, перестаньте дурашничать» — такие уж у него

столичные словечки. А мы и не вертелись, мы же видели, что править он не силен. А потом забыли и давай налегать на весла, и дурачились мы тут, и пересмеивались с теми, кто проезжал мимо, и водой друг на друга брызгали. А в одной лодке, что плыла туда же, куда и мы, сидели два очень приличных господина, они всё нам кланялись, а мы кивали в ответ, а Лина так даже платочком им помахала, будто это ее знакомые, но никакие они не знакомые, просто ей хотелось себя показать, она же совсем молоденькая. Вот мы таким манером смеялись и шутили, а веслами только для виду помахивали; вдруг видим, со стороны Трештова прямо на нас идет пароход, понимаете, милая госпожа Дёрр, мы до смерти перепугались и кричим Рудольфу: «Сворачивай в сторону, сворачивай в сторону». А мальчишка-то еще хуже растерялся и правил так, что мы всё по кругу да по кругу. Мы как закричим, и, уж конечно, пароход наскочил бы на нас, но тут нам пришли на помощь те два господина. Взмахнули пару раз веслами и оказались рядом, один подцепил нас багром и рванул прямо на себя, а другой быстро отгреб подальше, нас только чуть накрыло волной от парохода. Капитан даже пальцем погрозил — как я ни перепугалась, а это увидела. Потом все успокоилось, и минуту спустя мы прибыли в Штралау, и оба господина, наши спасители, выпрыгнули из лодки, подали нам руку, как учтивые кавалеры, и помогли выйти на берег. Мы оказались у Тюббека, в кафе на пристани, и очень застеснялись, Лина даже всхлипывала, только один Рудольф — он вообще мальчишка наглый и заносчивый и терпеть не может военных — стоял набычившись, будто хотел сказать: «Вот дуры, я бы и сам вас вывез не хуже ихнего».

— Точно, он и вправду наглый мальчишка, я его знаю. Но ты мне про господ, про господ расскажи. Вот ведь что главное...

— Сперва они устроили нас, потом сели за соседний столик, а сами все на нас поглядывают. Дело шло к вечеру, и часиков около семи, когда мы собрались домой, один подошел к нам и спросил, не позволим ли мы ему и его товарищу проводить нас до дому. Я рассмеялась так заносчиво и говорю: «Вы ведь спасли нас, а спасителям ни в чем не отказывают. Впрочем, советую вам хорошенько подумать, мы живем почти на другом краю земли. Это целое путешествие». А он учтиво так отвечает: «Тем лучше». Тут и второй подошел... Ах, милая госпожа Дёрр,

может, и не следовало мне так вольно себя вести, но один из них очень мне понравился, а кривляться да ломаться я никогда не умела. И вот мы пустились в долгий путь, сперва по берегу Шпрее, потом вдоль канала.

— А Рудольф?

— Рудольф поплелся сзади, как посторонний, но все прекрасно видел и слышал. Впрочем, так и надо: Лине едва восемнадцать минуло, она добрая и чистая, как дитя.

— Уж прямо как дитя?

— Разумеется, госпожа Дёрр. Стоит только взглянуть на нее. Это сразу заметно.

— Чаще заметно. А когда и не заметно. И они проводили вас до дому?

— Да, госпожа Дёрр.

— А потом?

— Потом? Ну, что потом было, вы и сами знаете. На другой день он пришел и спросил, где я. А с тех пор он бывал не раз, и я очень радуюсь, когда он приходит. Да и как не радоваться! У нас здесь порой до того тоскливо. И матушка — вы ведь знаете, госпожа Дёрр, — матушка тоже не против, она мне даже говорит: «Доченька, это тебе не во вред. Не успеешь оглянуться, нагрянет старость».

— Да, да, — закивала фрау Дёрр, — я и сама слышала, как она про это толкует. Ее правда. Конечно, кто как смотрит, и ежели все делать по катехизису, так оно всего лучше. Уж мне можешь поверить. Но я знаю, так не всегда получается, а другие и сами того не желают. А коли кто не желает, ну тогда, стало быть, не желает, и все тут, ничего не напишешь, пусть все идет как есть, только чтоб чинно, благородно и слово держать, это уж беспреречно. А что после будет, это надо перенести и не охать и не ахать. И коли ты все это знаешь и сама себе о том твердишь, тогда и беды большой нет, беда только, когда человек заносится.

— Ах, дорогая госпожа Дёрр, — засмеялась Лена, — и надо же такое придумать. Заноситься! Да я ни чуточки не заношусь. Если я кого люблю, значит, люблю, и все тут. С меня хватит. Больше я ничего от него не хочу, совсем ничего, ну совсем. Если у меня сердце бьется и я минуты считаю до нового свидания и дожидаться не могу, когда он придет, значит, я счастлива, и с меня хватит.

— Да, — заулыбалась фрау Дёрр, — твоя правда, так и след. Только скажи ты мне, Ленушка, неужто его и впрямь зовут Бото? Быть того не может, таких имен и на свете нет, не христианское это имя.

— Зовут, госпожа Дёрр, зовут. — И Лена собралась подробно объяснить, почему бывают на свете такие имена, но не успела — ей помешал лай Султана, и тотчас обе услышали, что в сени кто-то вошел. Действительно, это был почтальон, он принес два заказа Дёрру и письмо Лене.

— Господи Исусе! — воскликнула фрау Дёрр, углядев на лице почтальона крупные капли пота. — Да вы весь взмокли. Неужто на улице такая жара? А и всего-то половина десятого. Видно, письма разносить тоже не сахар.

И добрая женщина хотела принести стакан холодного молока, но почтальон поблагодарил и отказался:

— Часу нет, фрау Дёрр. Лучше в другой раз, — после чего он ушел.

Лена меж тем вскрыла письмо.

— Ну, что он пишет?

— Он придет не сегодня, а завтра. Но до завтра так долго ждать! Счастье еще, что у меня работа есть, — чем больше работы, тем лучше. А сегодня после обеда я помогу вам копать. Только чтоб Дёрра не было.

— Боже избави!

Затем женщины расстались, и Лена пошла в переднюю комнату, чтобы передать старушке спаржу, полученную в подарок от фрау Дёрр.

Глава четвертая

И вот настал другой вечер, когда обещался быть Бото. Лена ходила взад и вперед по палисаднику, а в большой комнате, как обычно, сидела у огня фрау Нимпч, вокруг которой группировалось явившееся в полном составе семейство Дёрров. Фрау Дёрр вязала на больших деревянных спицах шерстяной жакет для своего мужа, но жакет этот еще не обрел законченных форм и лежал у нее на коленях, как диковинное руно. Рядом с фрау Дёрр, положив одну на другую вытянутые ноги, безмятежно курил глиняную трубку ее супруг, а сын Дёрра прикорнул у окна в дедовском кресле, уронив на подлокотник рыжую голову. Как и всегда, он встал нынче с петухами и потом

заснул от усталости. Собравшиеся тоже не разговаривали; слышалось постукивание спиц да хрупанье белочки, которая выбралась из своего домика и с любопытством глядела по сторонам. Только отблеск вечерней зари и всполохи огня в очаге озаряли комнату.

Фрау Дёрр устроилась так, что могла свободно, не смотря даже на сумерки, озирать садовую дорожку и видеть, кто идет по улице вдоль живой изгороди.

— А, вот и он! — воскликнула она. — Ну-ка, Дёрр, загаси живей трубку. Раздымился, что твоя кочегарка, весь день без передыху. Такое адское зелье не всякий вынесет.

Дёрр спокойно выслушал тираду жены, но не успела она добавить еще что-нибудь или повторить прежнее заклинание, как в комнату вошел барон. Он был явно навеселе, ибо присутствовал на распивании майского пунша, которое устраивалось по поводу какого-то клубного пари, и, протягивая руку фрау Нимпч, сказал:

— Приветствую вас, мамаша Нимпч! Рад вас видеть в добром здравии. А, и госпожа Дёрр тоже тут! И господин Дёрр, друг и благодетель! Ну, Дёрр, как вы находите эту погоду? Будто на заказ для вас и для меня тоже. У меня дома луга из каждых пяти лет четыре стоят под водой и не родят ничего, кроме лютиков. Им такая погода тоже не повредит. И нашей Лене не повредит — пусть больше бывает на воздухе, а то она бледновата, на мой взгляд.

Лена тем временем придвинула к стулу фрау Нимпч еще один. Она знала, что барон больше всего любит сидеть именно здесь. Но фрау Дёрр, пребывавшая в твердом убеждении, что барону пристало самое почетное место, поднялась, влача за собой синее руно, и крикнула па-сынку:

— А ну, встань! Расселся, где не просят.

Бедный паренек спросонок испуганно вскочил с кресла и хотел уступить место барону, но тот не принял жертвы.

— Ради бога, дорогая госпожа Дёрр, не трогайте мальчика. Мне лучше сидеть на стуле, как мой друг Дёрр.

С этими словами он взял стул из рук Лены, придвинул его поближе к фрау Нимпч и сказал, усаживаясь:

— Здесь, рядышком с фрау Нимпч, — самое хорошее место. На свете нет очага, возле которого мне было бы так приятно сидеть, вечный огонь и вечное тепло. Да,

матушка Нимпч, ручаюсь вам: для меня здесь самое лучшее место.

— Господи Иисусе! — воскликнула старушка. — Это ж надо так сказать! Самое лучшее место! Здесь, возле старой прачки.

— Воистину так. У каждого сословия есть своя гордость. У прачек тоже. Кстати, матушка, знаете ли вы, что в Берлине жил когда-то известный поэт, который написал стихи в честь своей прачки?

— Неужто вправду?

— Очень даже вправду. Доподлинно. А знаете ли вы, как он закончил свои стихи? Он сказал, что хотел бы так же прожить свою жизнь и так же умереть, как его старая прачка. Именно так.

— Неужто вправду? — еще раз пробормотала старуха себе под нос.

— Между прочим, матушка Нимпч, чтоб не забыть: я совершенно с ним согласен и готов повторить то же самое, слово в слово. Вижу, вижу, вы улыбаетесь. Но поглядите вокруг. Как вы здесь живете? Как у Христа за пазухой. У вас есть этот домик, и этот очаг, и сад, и госпожа Дёрр. И наконец, у вас есть Лена. Верно, я говорю? А кстати, где она?

Барон хотел продолжить свою речь, но в это мгновение вошла Лена, держа в руках поднос, на котором стоял графинчик с водой и яблочное вино, к которому барон питал непонятное пристрастие, объяснимое разве лишь тем, что он приписывал ему целебные свойства.

— Ах, Лена, Лена, как ты балуешь меня! Только не подавай мне это с таким торжественным видом, я же не в клубе. Поднеси мне лучше из собственных ручек, тогда оно будет во сто крат слаще. А теперь дай мне свою лапку, чтоб я мог ее погладить. Нет, нет, левую, левая ближе к сердцу. И садись сюда, между господином и госпожой Дёрр, тогда ты будешь как раз против меня, и я смогу на тебя глядеть. Я весь день с радостью ждал этого часа.

Лена рассмеялась.

— Не веришь? Могу доказать, раз я принес тебе кое-что со вчерашнего бала. А когда человек собирается что-то принести, он, конечно, радуется при мысли о тех, кому это достанется. Как по-вашему, дорогой Дёрр?

Дёрр ухмыльнулся, а фрау Дёрр ответила:

— Нашли кого спрашивать. Чтоб Дёрр принес. Да он только и горазд скряжничать. Садовники, они все такие.

Но мне страх как любопытно узнать, что это принес господин барон.

— Ладно, не буду вас мучить, не то любезная госпожа Дёрр вообразит, будто я принес золотую туфельку или еще что-нибудь из сказки, а принес я всего-навсего вот что.— И с этими словами он протянул Лене фунтик, из которого, если верить глазам, выглядывала резная бахрома хлопущек.

Так и есть, это были хлопущки, и фунтик пошел по рукам.

— А-теперь кто что вытянет. Ну-ка, Лена, закрой глаза.

Фрау Дёрр пришла в неопиcуемый восторг, когда раздался треск, а того пуще, когда на Ленином пальце показалась капелька крови.

— Ленушка, это не больно, я знаю, это все равно как невесте палец наколоть. Знала я одну девушку, так она нарочно себе пальцы колола, наколет и пососет, наколет и пососет, будто это бог весть какая примета.

Лена покраснела, но фрау Дёрр не унималась:

— А стишок-то, господин барон!

И барон послушно зачитал: «Кто себя в любви забудет, тот угоден богу будет».

— Господи! — всплеснула руками фрау Дёрр.— Ни дать ни взять псалом. Неужто эти стишки все такие благочестивые?

— Что вы, дорогая госпожа Дёрр,— возразил Бото.— Отнюдь не все. Давайте посмотрим, что нам с вами выпадет.— Он вытащил билетик из очередной хлопущки и прочел: «Кого стрела Амура поразит, тому, считай, и ад и рай открыт». Ну-с, госпожа Дёрр, что вы на это скажете? Уж это на псалом не похоже?

— Не похоже,— отвечала фрау Дёрр.— Ничуть не похоже. Но мне все равно не нравится... Когда я тащу билетик из хлопущки, тогда...

— Что тогда?

— Тогда незачем поинать мне про ад. Не хочу я это слышать.

— Я тоже,— засмеялась Лена.— Госпожа Дёрр права, она всегда права. Одно только верно: когда прочтешь такой стишок, можно считать, что начало положено, я хочу сказать — начало разговора, потому что начало в разговоре — это же самое трудное, все равно как в письме, а я, по совести, не могу себе представить, как это можно ни

с того ни с сего завести разговор с таким множеством незнакомых дам (ведь не все же там у вас знакомые?).

— Дорогая моя Лена, — сказал Бото, — это вовсе не так трудно, как тебе кажется. Это очень даже просто. Если желаешь, я могу тут же на месте продемонстрировать образчик застольной беседы.

Фрау Дёрр и фрау Нимпч с восторгом приняли его предложение, да и Лена одобрительно кивнула.

— Итак, — продолжал барон, — представь себе, что ты молоденькая графиня. Я только что проводил тебя к столу, сел рядом, и мы успели съесть по ложке супа.

— Представила, представила. А дальше что?

— Дальше я говорю: «Любезная графиня! Если мне не изменяет память, я видел вас третьего дня возле «Флоры», вас и вашу матушку. Впрочем, это не удивительно. Погода такова, что трудно усидеть дома. На мой взгляд, ее можно смело назвать погодой для путешествий. У вас уже есть планы, я имею в виду планы на лето, любезная графиня?» Тут ты говоришь, что вы ничего еще твердо не решились, но папенька непременно хочет в Баварию, хотя ты, со своей стороны, от всей души стремишься в Саксонскую Швейцарию с крепостью Кёнигштейн и скалой Бастай.

— А я и впрямь стремлюсь.

— Вот видишь, какое удачное совпадение! Тем временем я продолжаю: «Да, графиня, наши вкусы сходятся. Я, во всяком случае, предпочитаю Саксонскую Швейцарию любому уголку земли, включая сюда настоящую Швейцарию. Нельзя все время восторгаться грандиозной природой, карабкаться на скалы и задыхаться. Зато возьмите Саксонскую Швейцарию! Божественно! Великолепно! Под боком Дрезден, через четверть, самое большее — через полчаса я там, к моим услугам картины, театр, Большой сад. А Цвингер! А Зеленый свод! Не забудьте попросить, чтобы вам показали кружку с изображением девиц и вишневую косточку, на которой уместился весь «Отче наш». Без лупы, конечно, ничего не увидишь!»

— Так вы разговариваете?

— Именно так, радость моя. А когда я отделаюсь от моей соседки слева, то есть от графини Лены, я обращусь к моей соседке справа, другими словами — к баронессе Дёрр...

Фрау Дёрр от восторга хлопнула себя по коленкам, так что получился очень звучный шлепок.

— К баронессе Дёрр, как я уже сказал. С ней я буду говорить... Пойдите, о чем же я буду с ней говорить? О сморчках, к примеру.

— Боже милостивый! О сморчках? Это ж надо! Воля ваша, господин барон, только о сморчках нельзя.

— Почему ж нельзя, дорогая госпожа Дёрр? Можно — и очень даже можно. Получится серьезный и поучительный разговор, и вдобавок гораздо занимательней для многих, чем вы можете себе представить. Я однажды был в Польше, в гостях у своего полкового товарища, мы с ним воевали вместе. Жил он в огромном замке с двумя толстыми башнями, в красном, ужасно старом замке, каких теперь и не найдешь. Занимал самую последнюю комнату, он был женоненавистник и потому холост...

— Да ну?

— Полы в замке были гнилые, трухлявые, и всюду, где не хватало половиц, были грядки сморчков, и я шел, шел мимо всех грядок, покуда не добрался, наконец, до его комнаты.

— Да ну? — повторила фрау Дёрр и добавила: — Сморчки сморчками, но ведь нельзя же все время толковать про сморчки.

— Все время — нет. Но часто или, по крайней мере, иногда — можно. А кроме того, не все ли равно, о чем говорить, не о сморчках, так о шампиньонах, и если нет под рукой упомянутого замка в Польше, то, на худой конец, есть кое-что помельче — замок Тегель, или поблизости деревушка Затвинкель, или Валентинсвердер. Или Италия. Или Париж. Или конка. Или: не следует ли засыпать реку Панке? Все равно. И на любую из тем можно сказать хоть несколько слов, ну, к примеру, нравится это тебе или не нравится. А уж «да» или «нет» не играет никакой роли.

— Но если приходится говорить подобный вздор, — перебила его Лена, — тогда я просто не пойму, зачем вы ходите на такие приемы?

— Да потому, что там бывают красивые дамы и красивые туалеты, а порой и взгляды, которые о многом говорят, если только умеешь читать их. Времени эти приемы много не отнимают, так что остается возможность наверстать упущенное в клубе. А в клубе — там действительно хорошо, там нет пустых разговоров, а есть практическая жизнь. Вот вчера я отнял у Питта его племенную кобылу.

— Кто это Питт?

— Просто наши прозвища, мы так называем друг

друга, когда остаемся в своем кругу. Ведь и кронпринц называет свою Викторню просто Вики. Какое счастье, что есть на свете такие ласкательные прозвища! Но слушайка, сейчас начнется концерт в Зоологическом. Давай откроем окна, будет лучше слышно. Ага, я вижу, ты уже покачиваешь ножкой. А что, ежели нам изобразить англез или, другими словами, франсез? Нас как раз три пары: папаша Дёрр и наша дорогая госпожа Нимпч, госпожа Дёрр со мной (если меня удостоят этой чести), а Лена — с Гансом.

Фрау Дёрр согласилась без раздумий, сам Дёрр и фрау Нимпч отказались: она — потому, что слишком стара, он — потому, что не знает таких благородных танцев.

— Ладно, папаша Дёрр, но тогда вам придется отбивать такт. А ну, Лена, дай ему свой поднос и ложку. Дамы, приготовиться! Госпожа Дёрр, вашу руку. Ганс, протри же, ну, живо, живо!

Обе пары стали в позицию, и у фрау Дёрр заметно прибавилось статности, когда ее партнер танцмейстерской скороговоркой зачастил:

— En avant deux! Pas de basque! ¹

Правда, веснушчатый сын Дёрра, все еще не до конца проснувшийся, двигался механически, будто заводная кукла, зато трое остальных танцевали, как люди, которые знают и любят это дело, отчего старший Дёрр пришел в такой восторг, что вскочил с табурета и принялся барабанить по подносу вместо ложки кончиками пальцев. Даже старая фрау Нимпч, глядя на них, невольно вспомнила молодость и, не умея иначе выразить свое настроение, начала так яростно помешивать кочергой в очаге, что из углей взметнулись высокие языки пламени.

Они отплясывали, покуда не смолкла музыка. Бото отвел фрау Дёрр на прежнее место, Лена же осталась посреди комнаты, потому что ее неловкий кавалер не знал, как ему надлежит обойтись со своей дамой. Но Бото сумел использовать это обстоятельство — едва музыканты заиграли снова, он подскочил к Лёне и закружился с ней в вальсе, нашептывая, что она сегодня очаровательна, еще очаровательнее, чем обычно.

Все разгорячились, а больше всех фрау Дёрр, подошедшая даже к открытому окну.

— Господи, меня прямо колотит, — вдруг сказала она,

¹ Двое вперед! Быстрый шаг! (франц.)

Галантный Бото хотел тут же захлопнуть окно, но фрау Дёрр его удержала, ибо, по ее словам, если человек из благородных, он непременно любит свежий воздух, бывают даже такие благородные, у которых зимой одеяло возле губ инеем обметывает, потому что дыхание это вроде как пар, к примеру, тот, что сейчас валит из чайника. Стало быть, окна закрывать никак не след, а вот ежели бы Ленушка принесла им что-нибудь, для сугрева души, вот тогда бы...

— Ну, конечно, дорогая госпожа Дёрр. Все, что вам будет угодно. Могу приготовить чай. Могу пунш. Или — того лучше — у меня осталось немного вишневки из той, что вы подарили нам на прошлое рождество, вместе с миндальным рулетом...

Не успела фрау Дёрр решить, чему же отдать предпочтение — пуншу или чаю, как в комнате уже появилась бутылка вишневки и рюмки — большие и малые, и каждый налил себе, сколько пожелал. А Лена сняла с огня закопченный чайник и всех обнесла и долила рюмки кипятком.

— Не лей так много, Ленушка, не лей так много. Пусть неразбавленная. От воды сила убывает.

Комнату наполнил аромат вишневки и миндаля.

— Это ты хорошо придумала, — сказал Бото и пригубил свою рюмку. — Поверь слову, ни вчера на этом балу, ни тем более сегодня в клубе я не пил ничего, что пришлось бы мне так по вкусу. Твое здоровье, Лена. Но главная заслуга принадлежит нашей дорогой госпоже Дёрр. Ведь это ее «так колотило». Поэтому разрешите мне вторую здравицу: «Многая лета госпоже Дёрр!»

— Многая лета, — вразброд подхватили остальные, а Дёрр снова ударил костяшками по подносу.

Напиток, по общему мнению, получился хоть куда, гораздо благородней, чем пуншевый экстракт, который летом всегда разит прогорклым лимоном, и не диво — в продажу-то идут все больше старые бутылки, которые с самой масленицы торчат в витрине на солнцепеке. Зато вишневка — вещь полезная, она никогда не портится, а чтобы отравиться ядом горького миндаля, надо выпить бог весть сколько, уж никак не меньше целой бутылки.

Эту тираду произнесла фрау Дёрр, и старик, хорошо осведомленный о слабостях своей жены и потому опасавшийся развития темы, перебил ее справедливым замечанием, что пора, мол, и честь знать.

Бото и Лена наперебой уговаривали их посидеть еще хоть немного. Но фрау Дёрр хорошо усвоила истину: «Если хочешь верховодить, надо порой уступать в мелочах», и потому отвечала:

— Оставь, Ленушка, я его знаю, он же с курами ложится.

— Ладно, — сказал Бото. — Быть по сему. Но уж тогда мы проводим вас до самого дома.

Тут все — кроме старушки Нимпч — вышли, та лишь приветливо кивнула им вслед, а затем перебралась в кресло.

Глава пятая

Перед Заком с красно-зелёной башенкой Бото и Лена остановились и по всей форме испросили у Дёрра позволения еще с полчаса погулять в его саду, благо вечер так хорош. Дёрр буркнул в ответ, что он, мол, при всем желании, не мог бы оставить свои владения в более надежных руках, после чего молодая пара, учтиво откланявшись, пошла к саду. На дворе все спало, лишь Султан, мимо которого им пришлось идти, вдруг заскулил, и скулил до тех пор, пока Лена его не погладила. Тогда он забрался к себе в конуру.

Сад был напоен прохладой и благоуханием, потому что вдоль всей дороги, меж кустов смородины и крыжовника, цвели резеда и левкой, их нежный аромат мешался с более терпким запахом тмина. Деревья застыли как изваяния, лишь светлячки там и сям мелькали в воздухе.

Лена взяла Бото под руку, и так они дошли до самого забора, где между двух серебристых тополей стояла скамья.

— Хочешь, сядем?

— Нет, — отвечала Лена, — не сейчас, — и свернула на боковую тропку, где чуть не выше забора вымахал малинник. — Я так люблю ходить с тобой под руку. Расскажи мне что-нибудь. Только непременно что-нибудь хорошее. Или сам меня спроси.

— Ладно. Ты не против, когда я болтаю с Дёррами?

— А мне-то что?

— Забавная парочка. И при всем при том, сдается мне, счастливая. Она вертит им, как захочет, а ведь он во сто крат ее умней.

— Правда,— сказала Лена,— умней-то умней, только он еще и жадный и черствый, вот отчего он такой поклядистый,— у него совесть нечиста. А она с него глаз не спускает и терпеть не может, если он захочет кого надуть. Потому он ее побаивается и не перечит.

— И в этом весь секрет?

— Ну, быть может, и любовь тут есть, как ни странно. Я хочу сказать — с его стороны. Хоть ему пятьдесят шесть или даже поболее, он до сих пор без ума от своей жены, оттого что она такая здоровенная. Они оба делали мне престранные признания на этот счет. Скажу тебе честно: будь я мужчиной, я бы на нее не польстилась.

— Ты к ней несправедлива. Госпожа Дёрр — фигура видная.

— Верно,— рассмеялась Лена,— фигура она видная, да только фигура-то у ней незавидная. Разве ты не видишь, что у ней бедра слишком высоко посажены? Впрочем, вы, мужчины, никогда ничего такого не видите; толкуете «фигура», да «статность», да «стать», а сами и ведать не ведаете, в чем эта самая «стать» и где ее искать.

Так она болтала и поддразнивала Бото, потом вдруг остановилась и, склонясь над длинной, узкой грядкой земляники вдоль забора, поискала, нет ли там ранних ягод. Найдя, что искала, Лена прикусила стебелек самой спелой, подошла к Бото и взглянула на него.

Бото не стал мешкать, сорвал ягоду с губ, потом обнял и поцеловал Лену.

— Родная моя, это ты хорошо придумала. А теперь послушай, как скулит Султан. Он просится к тебе. Отвязать его?

— Не надо. Если он прибежит к нам, тогда ты будешь со мной только наполовину, а если ты вдобавок снова заведешь разговор о фигуре госпожи Дёрр, тогда можно считать, что тебя и вовсе со мной нет.

— Хорошо,— рассмеялся Бото.— Пусть Султан остается на привязи. Меня это устраивает. А вот о госпоже Дёрр я хотел бы еще поговорить. Она и вправду очень добрая?

— Представь себе, хотя порой она говорит престранные вещи, которые звучат как двусмысленность, да так оно, наверно, и есть. Но она о том не ведает и вообще ведет себя так, будто у ней нет никакого прошлого.

— А у нее есть прошлое?

— Есть. По крайней мере, у нее была многолетняя связь, она «с ним гуляла», по ее же выражению. Сам понимаешь, что и про эту связь, и про добрую госпожу Дёрр ходило немало кривотолков, ох, как немало, к чему она и сама нередко давала повод, только в простоте душевной никогда об этом не задумывалась и никогда ни в чем себя не укоряла. Она и вспоминает-то про это как про тягостную повинность, которую честно отбыла — из чувства долга. Вот ты смеешься, оно и впрямь звучит странно, но иначе не скажешь. А теперь довольно про госпожу Дёрр, давай-ка лучше сядем да посидим при луне.

Луна стояла как раз над неуклюжим Замок, и в потоках серебристых лучей он выглядел еще диковиннее, чем днем. Лена показала Бото на Замок и, затянув капюшон своей мантильки, прижалась головой к его груди.

Минуты текли для нее в блаженном молчании. Лишь немного спустя, словно очнувшись от прекрасного сна, который все равно не удержать, она спросила:

— О чем ты думал? Только правду.

— О чем я думал? Знаешь, Лена, мне даже стыдно признаться, но у меня были всё такие сентиментальные мысли. Я думал о родном доме, о замке Цеден и об огороде возле замка, огород очень напоминает дёрровский, тот же салат на грядках, между грядками растут вишни, и готов побиться об заклад, там ровно столько же клеток с чижками. И грядки со спаржей так же расположены. А по огороду гулял я с матушкой, и, когда у ней бывало хорошее настроение, она давала мне нож и разрешала помочь ей. Только упаси меня бог срезать стебель длиннее или короче, чем положено. Матушка у меня быстра на расправу.

— Верю. Мне все кажется, я очень бы ее боялась.

— Боялась? Ты ее? Это как понимать?

Лена от души рассмеялась, хотя чуткое ухо могло бы уловить в этом смехе некоторую принужденность.

— Не пугайся, я вовсе не собираюсь являться пред светлые очи ее милости. Ну все равно, как если бы я сказала, что боюсь королевы. Ведь тогда тебе бы и в голову не пришло, что я намерена явиться ко двору. Словом, не пугайся, а я ни в чем тебя не виню.

— Знаю. Для этого ты слишком горда. И вообще ты у меня маленькая демократка. Из тебя каждое ласковое слово вырывать клещами надо. Разве не так? Впрочем,

так или не так, попытайся нарисовать портрет моей матушки. Как она, по-твоему, выглядит?

— Как ты: высокая стройная блондинка, с голубыми глазами.

— Не попала, не попала (теперь пришел его черед смеяться). Бедная моя Ленушка! Матушка у меня маленького роста, с живыми черными глазами и с большим носом.

— Неправда. Быть того не может.

— Не может, а есть. Ты забываешь, что, кроме матери, у меня имеется отец. Но об отцах вы почему-то никогда не думаете. Вам все кажется, что женщина — это самое главное. А теперь попробуй описать мне характер моей матушки. Только точнее, чем внешность.

— Я думаю, она очень печется о счастье своих детей.

— Угадала...

— И о том, чтобы все ее дети сделали удачные, самые удачные партии — в смысле богатства. Я даже знаю, кого она присмотрела для тебя.

— Бедняжка, ты...

— Плохо же ты меня знаешь. Поверь слову, если ты мой и этот час тоже мой, с меня хватит счастья. А чем все кончится — не мое дело. Настанет день, и ты бросишь меня...

Он покачал головой.

— Не качай головой. Как я говорю, так оно и будет. Ты меня любишь, ты мне верен, или, правильнее сказать, я до того наивная и тщеславная, что вообразила, будто так оно и есть. Но однажды ты меня бросишь, это ясно как божий день. Тебе придется меня бросить. Люди говорят, что любовь слепа, но любовь еще и дальновидна и прозорлива.

— Ах, Лена, Лена, ты и не знаешь, как я тебя люблю.

— Знаю. Я знаю даже, что ты считаешь меня какой-то особенной и каждый день твердишь себе: ах, что бы ей родиться графиней! Но родиться я уже не могу, и жалеть об этом поздно. Ты любишь меня, и любовь делает тебя слабым. Тут ничего не поделаешь. Все красивые мужчины слабы, тот, кто сильнее, тот ими и командует... Тот, кто сильнее... Однако кто же здесь сильнее? Либо твоя мать, либо людская молва, либо обстоятельства. Либо и то, и другое, и третье сразу... А теперь взгляни...

И она кивком указала в сторону Зоологического, из густолиственной тьмы которого с шипением взлетела в

воздух ракета и, лопнув, рассыпалась тысячей искр. За первой ракетой последовала вторая, потом третья, и еще, и еще, они словно мчались вдогонку, одна за другой, потом все исчезло, и деревья озарились багряным и зеленым светом. Птицы завозились в клетках, затем после долгого перерыва вновь заиграла музыка.

— Знаешь, Бото, если бы я могла сейчас взять тебя за руку и прогуляться по Лестераллее так же смело, как гуляю здесь, между грядок, и могла бы сказать каждому встречному: «Пожалуйста, смотрите, вот перед вами он, а вот — я, он любит меня, а я люблю его» — угадай, Бото, что бы я за это отдала? Не трудись, все равно не угадаешь. Вы знаете только самих себя, да свой клуб, да свою жизнь. Ох, уж эта мне жизнь...

— Не говори так, Лена.

— Почему не говорить? Надо уметь взглянуть в лицо правде и не обольщаться и не строить воздушных замков. Впрочем, становится свежо, да и гулянье в Зоологическом кончилось. Эту пьесу они всегда играют напоследок. Пошли, посидим у камелька, огонь еще, наверное, не погас, а старушка давно спит.

И они вновь побрели по тропинке, причем Лена чуть прильнула к его плечу. В Замке было темно и тихо, лишь Султан, высунув голову из конуры, поглядел им вслед. Но и он не шелохнулся, хотя мысли у него были самые мрачные.

Глава шестая

С того вечера миновала неделя, и повсюду, а следовательно, и на Бельвюштрассе, уже отцвели каштаны. Здесь барон Бото фон Ринекер занимал в первом этаже квартиру с двумя балконами, один — в сад, другой — на улице. Кабинет, столовая, спальня — все это было убрано с отменным вкусом, весьма и весьма превосходящим средства барона. В столовой, например, висели два Гертелевых натюрмортов, а между ними — «Медвежья охота» — очень удачная копия Рубенса, кабинет же был украшен Ахенбаховой «Бурей на море» в окружении меньших по размеру произведений кисти того же мастера. «Буря на море» досталась барону по случаю — в лотерее. Выигрыш этот, столь же ценный, сколь и красивый, сделал барона знатоком живописи, и прежде всего — рьяным поклонником

Ахенбаха. Барон любил пошутить на эту тему и частенько говаривал, что лотерейное счастье, побуждавшее его ко все новым и новым приобретениям, обошлось ему в результате очень недешево, не забывая, однако, добавить, что со счастьем оно всегда так.

Перед кушеткой, скрывавшей свой плюш под персидским ковром, стоял на малахитовом столике кофейный прибор, а на самой кушетке лежали вперемежку всевозможные политические газеты, но среди них и такие, наличие которых в этом доме могло бы показаться более чем странным и находило свое объяснение разве в излюбленной поговорке барона: «Сперва шутка, потом политика». Сам барон всему на свете предпочитал так называемые перлы, то есть истории, отмеченные печатью истинной игры ума. Канарейка, чью клетку всякий раз открывали на время господского завтрака, и сегодня, как обычно, прогуливалась по руке и плечу вконец разбаловавшего ее барона а тот не только не сердился, но даже, напротив, откладывал газету в сторону, чтобы погладить свою маленькую любимицу. Если он забывал это сделать, птичка забиралась к нему на шею или в бороду и попискивала долго и надсадно, пока хозяин не заметит свою оплошность.

— Все любимицы одним миром мазаны, — говаривал барон Ринекер, — все требуют покорности и послушания.

Тут в коридоре звякнул колокольчик, и вошел слуга, неся свежую почту. Одно письмо в сером квадратном конверте с трехпфенниговой маркой было не заклеено.

— Гамбургская лотерея или новый сорт сигар, — промолвил Ринекер и отбросил в сторону конверт вместе с содержимым. — Зато это... Ага, это от Лены. Его я оставлю на закуску, если только третье, с сургучной печатью, не вправе оспаривать эту честь. Остеновский герб. Стало быть, от дядюшки Курта Антона. Что говорит нам берлинский штемпель? Что дядюшка уже здесь. Чего же дядюшка от меня хочет? Ставлю десять против одного — он хочет, чтобы я с ним пообедал, либо помог купить седло, либо сопровождал его в цирк, либо провел с ним вечер у Кролля, а всего верней, «сие надлежит сделать и того не оставлять».

Тут он взял с подоконника ножик, вскрыл конверт, надписанный рукой дядюшки Остена, и достал оттуда письмо. В письме говорилось:

«Отель «Бранденбург». Пятнадцатый номер. Дорогой Бото! Уже более часа назад, памятуя старый берлинский девиз «остерегайтесь карманных воров», я благополучно прибыл на Восточный вокзал, откуда проследовал в отель «Бранденбург», то есть на старое место, ибо настоящий консерватор консервативен даже в мелочах. Я намерен пробыть здесь всего два дня, ибо не могу дышать вашим воздухом. Да его и нет у вас. Об остальном — при встрече. Жду тебя ровно в час у Гиллера. Потом купим седло, а вечером — в цирк к Ренцу. Будь точен.

Твой старый дядя Курт Антон».

Ринекер рассмеялся.

— Так я и знал. Хотя нет, перемены есть. Раньше он любил обедать у Борхарда, теперь у Гиллера. Что ж это вы, дядюшка? Ведь настоящий консерватор консервативен даже в мелочах... А теперь твоя очередь, милая Лена... Интересно, что сказал бы дядюшка, доведись ему узнать, в каком обществе явились ко мне его распоряжения?

С этими словами он вскрыл письмо Лены и прочел:

«Вот уже целых пять дней я тебя не видела. Неужели должна пройти целая неделя? А я-то думала, ты придешь на другой день — так счастлива была я в тот вечер. И ты был такой добрый и ласковый. Мама и то меня дразнит. Она говорит: «Он больше не придет». Скажет — и как в сердце кольнет, ведь я чувствую, что рано или поздно это случится, и знаю, это может произойти в любой день. Вот и вчера мне снова об этом напомнили. Признаюсь, я несколько покривила душой, когда написала, что не видела тебя целых пять дней. Я *видела* тебя, видела вчера, но тайком, украдкой, на корсо. Представь себе, что и я там была, разумеется, не в первых рядах, а в боковой алее, и целый час наблюдала, как ты ездил верхом. Бог мой, до чего ж я радовалась: ведь ты был самый статный (почти такой же статный, как фрау Дёрр, которая, кстати сказать, тебе кланяется), и я так гордилась, глядя на тебя, что даже не испытывала ревности. Впрочем, нет, один раз испытала. Кто была эта хорошенькая блондинка, у ней еще были впряжены в коляску два арабских коня, покрытые цветочной гирляндой? И всё цветы, сплошь цветы, так что ни чиренков, ни листьев не видать. Что за стилль! В жизни не видывала такой красоты. Будь я ребенком, я непременно подумала бы, что это какая-нибудь принцесса, но теперь я знаю, что не всегда принцес-

сы бывают самые красивые. Да, она была очень хорошенькая, и тебе она нравилась, я сразу это увидела, и ты ей тоже. А мамаша, которая сидела рядом с хорошенькой блондинкой, мамаше ты нравился и того больше. Вот это меня рассердило. Молодой я еще готова тебя уступить, если уж иначе никак нельзя, но уступать тебя старухе! И вообще чьей-то мамаше! Нет, ни за что, хватит с нее и того, что у ней есть. Теперь ты видишь, мой дорогой, что ты должен меня утешить и успокоить. Жду тебя завтра или послезавтра. Если не можешь вечером, приходи днем — хоть на одну минутку. Я так за тебя боюсь, точнее сказать, за себя. Ты и сам понимаешь.

Твоя Лена».

— Твоя Лена, — повторил он еще раз, и беспокойство завладело его сердцем, потому что письмо пробудило в нем самые противоречивые чувства: любовь, тревогу, страх. Потом он перечитал письмо. В двух-трех местах, не удержавшись, подчеркнул что-то серебряным карандашиком. Не из педантизма, нет, скорее с удовольствием: «Как она хорошо пишет! Превосходный почерк и почти безупречная грамотность... Ну, подумаешь, стилиль вместо стиль... Что с того? А хоть бы и Штиль. Помнится, это был грозный деятель на ниве просвещения, да я-то, слава богу, не таков. Или, скажем, «она кланяется». Стоит ли сердиться из-за одной буквы! Бог ты мой, кто нынче смог бы написать это правильно? Из молодых графинь далеко не каждая, а про старых и говорить нечего. Да и какая в том беда? Право же, письмо это под стать самой Лене: такое же доброе, верное, надежное, а от ошибок оно, конечно, еще прелестней.

Он откинулся на стуле и закрыл ладонью глаза и лоб. «Бедная Лена, чем это кончится? Для нас обоих было бы куда лучше, не будь в этом году пасхального понедельника. К чему два праздничных дня подряд? К чему Трентов, и Штралау, и прогулки на лодках? А тут еще дядя. Одно из двух: либо он снова прибыл послом от моей матушки, либо питает касательно меня какие-то собственные, вполне самостоятельные замыслы. Посмотрим, посмотрим. Дипломатическому притворству он не обучен, и если он даже стократно поклялся матушке молчать, рано или поздно он проговорится. Так что мы все узнаем, хотя в искусстве интриги я от него недалеко ушел».

С этими словами он выдвинул ящик письменного стола, где, перевязанные красной ленточкой, уже лежали остальные письма Лены. После чего позвонил слуге, чтоб тот помог ему одеться.

— Так, так, Йоганн, с этим мы покончили... Не забудь только опустить жалюзи. Если кто придет и будет меня спрашивать, скажешь, что до полудня я в казармах, после часу — у Гиллера, а вечером — у Ренца. Смотри во время подними жалюзи, не то приходишь вечером как в парник. Свет пусть горит, только не у меня в спальне — комары в этом году будто сбесились. Все понял?

— Слушаюсь, господин барон.

Разговор этот Ринекер вел уже в коридоре, после чего без задержки проследовал в вестибюль и оттуда — в палисадник, пересекая который он мимоходом дернул за косичку тринадцатилетнюю дочь привратника, склонившуюся над коляской своего маленького братца, за что и был награжден яростным взглядом, сменившимся в минуту узнавания на самый, самый нежный.

Лишь после всего вышесказанного он отворил чугунную калитку и вышел на улицу. Здесь он попеременно взглянул из-под зеленой шапки каштана сперва на Бранденбургские ворота, потом на Зоологический, где бесшумно, словно в волшебном фонаре, двигались люди и экипажи. «Какая красота! Поистине, мы живем в самом лучшем из миров».

Глава седьмая

Разделавшись к двенадцати со служебными обязанностями по казарме, Бото направился по Унтер-ден-Линден в сторону Бранденбургских ворот с единственной целью хоть как-то занять тот час, что оставался до встречи у Гиллера. Две-три лавки, торгующие картинами, оказались как нельзя более кстати. У Лепке в витрине было выставлено несколько вещей Освальда Ахенбаха, и среди прочих — солнечная и грязная улица в Палермо, почти обескураживающая правдивостью деталей и колорита.

«Есть такие вещи, которые ум человеческий постигнуть не в состоянии. Взять хотя бы тех же Ахенбахов. До недавнего времени я, кроме Андреаса, и признавать никого не желал, но поглядишь на такую картину и призадуматься — а точно ли Освальд ему уступает? Как бы

не наоборот. Пишет он красочнее и разнообразнее. Но такие мысли надо держать в тайне. Если я заявлю об этом во всеуслышание, я только без нужды собою цену своей «Буря на море».

В подобных размышлениях Бото провел несколько минут перед витриной Лепке, затем пересек Парижскую площадь и углубился в Тиргартеналлее, отходящую наискось влево от Бранденбургских ворот. Здесь он задержался перед Вольфовой «Умирающей львицей» и взглянул на часы. «Половина первого. Значит, пора», — и, повернувшись, зашагал назад той же дорогой. Перед Редерновым дворцом он встретил лейтенанта фон Веделя из гвардейских драгун.

— Вы куда?

— В клуб. А вы?

— К Гиллеру.

— В такую рань?

— Да. Ничего не поделаешь. Я должен отзавтракать со своим старым дядюшкой, он коренной неймаркец, как раз оттуда, где расположены Бенч, Ренч и Стенч, — все сплошь рифмуется со словом ленч, хотя связи нет ни малейшей. Вообще-то он — я говорю про дядюшку — служил когда-то в вашем полку. Давно, правда, в начале сороковых годов. Барон Остен.

— Витцендорфский?

— Да, он.

— Тогда он мне знаком, не лично, правда, а по имени. Мы даже в родстве. Моя бабка — урожденная Остен. Это ведь тот, что не поладил с Бисмарком?

— Он самый. Послушайте, Ведель, идемте со мной. Клуб от вас не убежит, Питт и Серж тоже, все равно, в час вы придете или в три. Старик до сих пор помешан на голубых драгунах, а как неймаркец он будет рад любому Веделю.

— Ладно, Ринекер. Но на вашу ответственность.

— На мою, на мою.

Меж тем они подошли к Гиллеру, где старый барон нетерпеливо выглядывал из-за стеклянной двери, ибо часы уже показывали одну минуту после часу. Однако он воздержался от попреков и заметно обрадовался, когда Бото представил: «Лейтенант фон Ведель».

— Ваш племянник, господин барон...

— Никаких извинений, господин фон Ведель, никаких. Я от души рад всякому, кто носит имя Ведель, а

когда на нем такая форма — я рад вдвойне и втройне. Входите же, господа, входите же, нам надо прорваться сквозь дефиле столов и стульев и по возможности сосредоточить свои силы в тылу. Не наше это дело — тыл, но здесь, пожалуй, кстати.

Тут дядюшка прошел вперед, чтобы найти хорошие места, и, заглянув в несколько маленьких кабинетов, выбрал наконец один, побольше других, со штофными обоями под кожу, и не слишком светлый, несмотря на большое трехстворчатое окно, ибо оно выходило в узкий и тесный двор. Со стола, накрытого на четыре персоны, поспешно убрали четвертый прибор, и, покуда офицеры ставили в угол у окна саблю и палаш, дядюшка обратился к кельнеру, следовавшему в почтительном отдалении, и заказал омаров и белое бургундское. «Но какой марки, а, Бото?»

— Скажем, сабли.

— Сабли так сабли. И воды, только холоденькой, чтобы графин запотел. А теперь, господа, прошу садиться. Вы, господин Ведель, — сюда, а ты, Бото, — сюда. Ох, если б не эта проклятая жара. Воздух, друзья мои, воздух! В вашем прекрасном Берлине, который с каждым днем становится все краше (так по меньшей мере утверждают те, кто не видел ничего лучшего), итак, господа, в вашем прекрасном Берлине есть решительно все, кроме воздуха. — С этими словами дядюшка распахнул среднюю створку окна и сел как раз против нее.

Омаров еще не подали, но сабли было уже на столе. Томимый внутренним беспокойством, старый Остен взял из корзинки хлебец, быстро, но от того не менее ловко, разрезал его на косые ломтики, лишь бы чем-то занять руки. Потом он положил нож и протянул руку Веделю.

— Бесконечно обязан вам, господин фон Ведель, великолепная мысль пришла в голову Бото на несколько часов лишить клуб вашего присутствия. Встречу с носителем фамилии Ведель сразу по приезде в Берлин я позволю себе считать добрым предзнаменованием.

Тут он начал разливать вино и, все еще будучи не в силах совладать с внутренним беспокойством, велел поставить на лед бутылочку клико, затем продолжал:

— Собственно говоря, дорогой Ведель, мы с вами в родстве, на свете нет таких Веделей, с которыми мы не были бы в родстве, пусть даже самом отдаленном; как говорится, седьмая вода на киселе. Недаром у нас у всех

— в жилах течет неймаркская кровь. А уж когда я вижу издавна мне любезный голубой драгунский мундир, сердце у меня начинает биться вдвое быстрее. Да, господин Ведель, старая любовь не ржавеет... Однако вот и омар... Возьмите большую клешню, клешня — самое вкусное... что бишь я хотел сказать, да... старая любовь не ржавеет, и клинок тоже. Благодарение богу, добавлю я. Мы еще сподобились служить при старом Добенеке. Вот это был человек! Совершеннейшее дитя! Но, государи мои, покажите мне хоть одного, который выдержал бы взгляд старика, когда он, бывало, посмотрит в упор, ежели что не так. О, Добенек был восточный пруссак до мозга костей, выпечки тринадцатого и четырнадцатого годов. Мы боялись его, но и любили. Он был нам всем как отец. А известно ли вам, господин фон Ведель, кто у меня был ротмистром?..

Тут подали шампанское.

— Ротмистром у меня был Мантейфель, тот самый, которому мы всем обязаны, который создал нашу армию и, следовательно, нашу победу.

Фон Ведель поклонился, а Бото заметил небрежно:

— Можно сказать и так.

Это было более чем опрометчиво со стороны Бото, что и не замедлило обнаружиться, ибо старый барон, и без того подверженный приливам, побагровел вплоть до лысой макушки, а остатки кудрявых волос на его висках закрутились штопором.

— Я тебя не понимаю, Бото! Твое «можно сказать» звучит почти как «а можно и не сказать». Я даже догадываюсь, к чему ты клонишь! К тому, что некий кирасирский офицер из резерва — кстати сказать, он и в резерве-то не блистал, и меньше всего — способностью к решительным действиям, — что некий офицер Хальберштадтского полка лично штурмовал Сен-Прив и взял в окружение Седанскую группировку. Нет, Бото, расскажи это кому-нибудь другому. Твой кирасир с желтыми отворотами был просто-напросто рядовой докладчик при Потсдамском кабинете, он служил еще у старого Мединга, и старик не имел причин его хвалить, я точно знаю. За всю свою службу он только и выучился, что сочинять депеши; воздадим ему должное, депеши сочинять он умеет, писака, одним словом. Но не писакам обязана Пруссия своим величием, не писакой был герой Фербеллина, не писакой был и герой Лейтена. Может, по-твоему, Блюхер

был писакой или Йорк? Вот кто сотворил Пруссию. И меня бесит этот нелепый культ...

— Но, дорогой дядюшка...

— Никаких «но», Бото! Поверь мне, такие вещи начинаешь постигать лишь с годами, и я разбираюсь в этом лучше, чем ты. Ведь как складывались обстоятельства? Он отшвырнул ногой лестницу, по которой сам же забрался наверх, он даже закрыл «Крейццейтунг», рано или поздно он нас всех погубит, он судит о нас со своей колокольни, он поливает нас грязью, а когда ему заблагорассудится, он обвиняет нас в хищениях и растратах и заточает в крепость. Да нет, какая там крепость, крепость. — это для порядочных людей, а нас он заточает в рабочий дом, чтоб мы там щипали кудель... Воздуху, господа, побольше воздуху. Здесь у вас его совсем нет. Проклятый город!

Барон вскочил и распахнул в добавление к средней створке, уже открытой, обе боковые, отчего возникший сквозняк всколыхнул не только занавески, но и скатерть на столе. Затем он снова сел, достал кубик льда из ведерка с шампанским и провел кубиком по своему лбу.

— Ах,— продолжал он,— этот кусочек льда — самое лучшее во всем завтраке... А теперь вы, господин фон Ведель, скажите, прав я или нет? Бото,— положи руку на сердце — прав я или нет? Признаете ли вы, что, будучи представителем неймаркской знати, можно из одного только естественного возмущения накликать на себя процесс по обвинению в государственной измене! Взять такого человека... одна из лучших наших фамилий... не чета вашим Бисмаркам... их столько пало за трон и за Гогенцоллернов, что из одних погибших можно бы сформировать целую лейб-кампанию в касках, да, да, лейб-кампанию, и Бойценбургер возглавил бы ее. Вот как, государи мои! И такой фамилии нанести такое оскорбление! Вы спросите, за что? Хищение документов, выбалтывание секретов, неумение хранить служебную тайну! Вы когда-нибудь слышали подобное? Недостает лишь детоубийства и кровосмесительства, право, можно только удивляться, что не были предъявлены еще и эти обвинения. Однако вы молчите, господа! Прошу вас высказаться. Верьте слову, я могу и выслушать и понять инакомыслящих; я не похож на него, ну, господин фон Ведель, прошу, ваше мнение...

Веделъ, чье смущение росло с каждой минутой, попытался найти слова успокоительные и примиряющие.

— Разумеется, господин барон, вы точно все изложили. Но — прошу прощения — когда слушалось дело, о котором вы говорите, у всех на устах была одна фраза, врезавшаяся мне в память: чтобы слабейший зарекся становиться поперек дороги сильнейшему, ибо — будь то в жизни или в политике — сила всегда возобладает над правом.

— И это не вызвало у вас возмущения?

— Отчего ж, господин барон? Отчего ж и не возмутиться, если позволяют обстоятельства? Чтобы быть откровенным до конца: я знаю единственный случай, когда противоборство оправдано. Что не дозволено слабости, то дозволено чистоте — чистоте убеждений, незапятнанности помыслов. Чистота имеет право протестовать, она даже обязана протестовать. Но кто обладает подобной чистотой? Обладали ли ею... Впрочем, мне лучше умолкнуть, господин барон, чтобы не оскорбить ни вас, ни то семейство, о котором шла речь. Вы ведь и без меня прекрасно знаете, что он, тот, кто рискнул тягаться с сильным, не обладал чистотой помыслов. Только слабейшему не дозволено ничего, только чистому дозволено все.

— Только чистому дозволено все, — повторил барон, и лицо у него сделалось до того непроницаемо хитрое, что решительно нельзя было понять, в чем его убедили — в истинности ли этого постулата или, напротив, в его уязвимости. — Только чистому дозволено все. Глубокая мысль, я увезу ее домой. Мой пастор будет от нее в восторге, он как раз прошлой осенью затеял со мной тяжбу и потребовал у меня кусок моей земли, не ради себя, боже упаси, исключительно ради принципа и своего преемника, чьи права он не смеет ущемлять. Эдакий проныра! Хотя чистому дозволено все.

— Ты еще пойдешь ему на уступки. Я этого Шёнемана хорошо знаю по дому Селлентинов.

— Да, да, он был у них домашним учителем, часы занятий укорачивал, часы игры удлинял, на большее его тогда не хватало. А в серсо он играл, как молодой маркиз, — бывало, нехотя залюбуешься. Но вот уже семь лет он рукоположен в священнослужители и ничем не напоминает того Шёнемана, который приударял за самой госпожой Селлентин. Впрочем, надо отдать ему должное: он отменно воспитал обеих барышень, особенно — твою Кете...

Бото смущенно глянул на дядюшку, словно взывая к его скромности. Но старый барон был рад-радехонек, что так ловко подошел к щекотливой теме, и потому продолжал, все более оживляясь:

— Оставь, Бото. К чему таиться? Глупости. Ведель — наш земляк, он узнает обо всем раньше других. Да и оснований нет скрытничать. Ты, можно сказать, помолвлен, мой мальчик. И видит бог — как погляжу я на нынешних барышень, — лучшую тебе не найти. Зубы — жемчуга, смеется непрестанно, вся нить видна. Волосы — лен, создана для поцелуев! Будь я лет на тридцать моложе, уж я бы...

Ведель, заметив смущение Бото, решил протянуть ему руку помощи:

— Да, у Селлентинов все дамы отменно хороши, и матушка и дочери. Мы прошлым летом встречались в Нордернее, очаровательные девицы, но что до меня, я предпочел бы вторую...

— Вот и отлично. Не будет соперничества, и можно разом сыграть две свадьбы. Шёнеман вас и обвенчает, если только их Клукхун — он обидчив, как все старики, — не воспротивится. А уж я не только пожалую ему экипаж, я уступлю ему спорную землю, ежели мне, не далее как через год, доведется быть гостем на этой свадьбе. Вы богаты, дорогой Ведель, вас, коли можно так выразиться, не подпирает. А теперь взгляните на нашего друга Бото. Вид у него, конечно, цветущий, но вовсе не благодаря этой куче песка, на которой — за вычетом двух-трех лугов — не растет ничего, кроме сосен, и уж никак не благодаря его Озеру мурен. Озеро мурен — звучит прекрасно, я бы даже сказал — поэтически. А дальше что? Одними муренами сыт не будешь. Я знаю, ты не любишь об этом разговаривать, но уж коли мы все равно заговорили, что толку скрытничать? Итак, чем мы располагаем? Твой дедушка спустил за бесценок пастбища, а твой покойный отец — величайшего ума человек, но я не встречал никого, кто бы так скверно и — добавлю — так крупно играл в ломбер, — твой покойный отец по кусочкам распродал пятьсот моргенов пашни езерикким крестьянам, так что из хорошей земли осталась самая малость, да и тридцать тысяч талеров давно разошлись. Будь ты один, еще бы можно жить, но тебе придется делить состояние с братом, а покамест всем заправляет твоя матушка, а моя высокородная сестра. Превосходная женщина, умная, рас-

торопная, но тоже не из бережливых. Чего ради, скажи, Бото, ты служишь в кирасирском полку и чего ради у тебя есть богатая кухня, которая только и ждет, когда ты явишься к ней и скрепишь формальной пропозицией то, о чем давным-давно, когда вы были еще детьми, сталкивались ваши родители? К чему долгие размышления? Ах, Бото, как бы порадовался твой старый дядюшка, который искренне желает тебе добра, если бы завтра, на обратном пути, он мог захватить к твоей матушке и сообщить ей: «Милая Жозефина, все в порядке, Бото согласен». Ну помогите же мне, Ведель. Ему пора уже расстаться с холостяцкой жизнью, не то он проживет остатки состояния или — того хуже — свяжется с какой-нибудь буржуазкой. Прав я? Разумеется. Итак, решено. Выпьем по этому поводу... Нет, нет, не надо остатков... — И он нажал кнопку звонка. — Шампанского. Лучшей марки.

Глава восьмая

В клубе об эту пору сидело два молодых офицера, из которых один, лейб-гвардейского полка, был высок ростом, строен и гладко выбрит, другой же, прибывший от пазевальских кирасир, был несколько поменьше ростом и носил бороду, но, согласно уставу, оставлял часть подбородка чистым. Белая камчатная скатерть, на которой оба только что отзавтракали, была отогнута, и на освобожденной половине стола офицеры играли в пикет.

— Шесть козырей и кварта.

— Идет.

— А ты?

— Четырнадцать в тузах, три — в королях, три — в дамах. И ты же берешь взятки.

Он положил карты на стол и смешал их, второй начал тасовать.

— Ты слышал, что Элла выходит замуж?

— Жаль.

— Это почему же?

— Значит, она больше не сможет прыгать через обруч.

— Пустое. Чем усердней они выходят замуж, тем стройней становятся.

— Не все, не все. Много славных имен из цирковой аристократии цветут уже три-четыре поколения подряд,

а это некоторым образом зависит от чередования периодов стройности и нестройности, или, если тебе угодно, назовем это чередованием фаз луны: молодой месяц, полная луна и так далее.

— Заблуждение. *Error in calculo* — иными словами, ошибка в расчетах. Ты упускаешь из виду усыновление. Все эти циркачи — тайные последователи Гихтеля. Они завещают, по уговору, не только состояние, но и репутацию, и самое имя. Ты думаешь, это одни и те же, а на самом деле это совсем другие. Приток свежей крови. Сними-ка... Впрочем, у меня есть еще новость. Афцелиуса берут в генштаб.

— Это какого же?

— Из улан.

— Быть не может.

— Мольтке от него без ума, к тому же, говорят, он блестяще завершил какие-то изыскания.

— Я таких не жалую. Все сплошь сиденье в библиотеках да списыванье. Кого бог не обидел разумом, тот пишет книги, как Ранке или Гумбольдт.

— Кварта. За тузы четырнадцать.

— Квинта с короля.

Покуда здесь брались взятки, из бильярдной, что по соседству, доносился стук шаров и пощелкивание легких мячиков.

Всего в двух задних комнатах клуба, выходявших тордовой стеной в солнечный и скучноватый садик, можно было насчитать человек шесть — восемь, сплошь люди молчаливые, погруженные кто больше, кто меньше в домино или в вист, среди них и два упоминавшихся ранее господина, которые за пикетом беседовали об Элле и Афцелиусе. Игра шла по крупной, и поэтому оба подняли глаза, лишь когда через арочный проем увидели в соседней комнате нового посетителя. То был Ведель.

— Ну, Ведель, если вы не принесли с собой ворох свежих новостей, мы отлучим вас от нашего общества.

— Прошу прощения, Серж, у нас ведь не было точного уговора.

— Был почти точный. Впрочем, лично я настроен сговорчиво. А уж как вы поладите с человеком, который только что проиграл сто пятьдесят очков, — дело ваше.

Говоря так, они отложили карты, и тот, кого Ведель назвал Сержем, достал свои часы новейшей марки.

— Три часа пятнадцать минут. Следовательно, кофе. Какой-то философ, а на мой взгляд это был один из самых выдающихся, сказал: в кофе лучше всего то, что его можно пить, когда угодно и где угодно. Поистине мудрые слова. Остается только выяснить, где мы будем его пить. Я предлагаю террасу — на самом солнцепеке. Чем меньше обращаешь внимания на погоду, тем лучше себя чувствуешь. Так, Пелеке, три чашки кофе. Я больше не могу слушать, как щелкают шары, это действует мне на нервы, правда, на террасе тоже шумно, но там другой шум, там вместо дурацкого щелканья мы будем наслаждаться гулом и стуком нашего подземного кегельбана и воображать, будто сидим на Этне или на Везувии. В конце концов — все наслаждения порождены исключительно нашей фантазией, у кого богаче воображение, тот больше наслаждается. Лишь воображаемое имеет цену, оно то и есть единственная реальность.

— Серж, — перебил его другой, тот, кого ранее называли Питтом. — Если ты примешься за свои знаменитые периоды, ты накажешь беднягу Веделя строже, чем он того заслуживает. Да и меня не грех пощадить — я как-никак в проигрыше. Ну вот, здесь мы и расположимся. За спиной — газон, сбоку — плющ, перед глазами — голая стена. Божественный приют для гвардии его величества! Так мог бы сказать старый князь Пюклер, если б увидел наш сад. Эй, Пелеке, этот стол сюда... вот и отлично. И в завершение гавану из ваших сокровеннейших закровов. Ну, Ведель, если вы хотите заслужить наше прощенье, перетряхните хорошенько свои одежды, пока оттуда не вывалится война или другая новость того же калибра. Вы ведь через Путткамеров в родстве с господом богом. С каким именно — уточнять не буду. Итак, какую кашу он заварил на сей раз?

— Питт, — сказал Ведель, — заклинаю, не спрашивайте меня о Бисмарке. Во-первых, вы знаете, что я ничего не знаю, ибо семнадцатикоронные братья отнюдь не являются самыми близкими и интимными друзьями великого человека, во-вторых же, я пришел к вам не из княжеского дворца, а со стрельбища, где с переменным успехом было выпущено множество стрел по одной мишени, и мишенью этой был не кто иной, как его светлость.

— А кто был отважный стрелок?

— Старый барон Остен, дядя Ринекера. Достоянейший человек и вообще премилый старик, хотя и хитрец.

— Неймаркцы, они все такие.

— Я тоже неймаркец.

— Тем лучше. Следовательно, вы знаете это по себе. А теперь выкладывайте, что говорил старый барон?

— Много чего. Политические его речи едва ли достойны упоминания, но тем важней другие новости: наш Ринекер зашел в тупик.

— Это в какой же?

— Он должен жениться.

— И это вы называете тупиком? Да если хотите знать, Ринекер уже давно пребывает в тупике: он получает в год девять тысяч, а проживает двенадцать, — вот безвыходнейший из всех тупиков, во всяком случае, значительно безвыходнее, чем женитьба. Жениться для Ринекера не угроза, а спасение. К тому и шло. А кто она?

— Кузина.

— Тоже вполне естественно. Нынче слова «спасительница» и «кузина» почти однозначны. Бьюсь об заклад, ее зовут Паулой. Всех кузин зовут так.

— Кроме этой.

— А эту?

— Кете.

— Кете? А-а, тогда я знаю, о ком речь. Кете Селлентин. Гм, гм, совсем недурно. Блестящая партия. У старого Селлентина — это ведь тот, с черным пластырем на глазу — шесть имений, а если присчитать хутора, то получится целых тринадцать. Все будет разделено поровну, а тринадцатое получит Кете — дополнительно. Могу только поздравить.

— Вы ее знаете?

— Еще бы не знать. Очаровательная блондинка, волосы — лен, глаза — незабудки, но отнюдь не сентиментальная особа, скорее под знаком солнца, чем луны. Она обучалась в пансионе у мадам Цюлов, и уже с четырнадцати лет имела множество поклонников.

— Прямо в пансионе?

— Не прямо и не ежедневно, но по воскресеньям, когда она обедала у старого Остена, у того самого, с которым вы только что беседовали. Значит, Кете, Кете Селлентин... помнится, она была похожа на трясогузку. Мы так ее и называли. Трудно представить себе более очаровательного подростка. До сих пор вижу, как у ней подпрыгивает пучок волос, — мы называли его куделькой, Зна-

чит, Ринекеру доведется выпрясть эту кудельку? Почему бы и нет? Задача не из трудных.

— Трудней, чем кажется на первый взгляд, — возразил Ведель. — Как ни очевидна для Ринекера необходимость поправить свои дела, я не убежден, что ему легко просить руки своей белокурой землячки. Ибо с некоторых пор Ринекер отдает предпочтение другому цвету волос, а именно пепельному, и если верить тому, что давеча рассказывал мне Балафре, наш Ринекер всерьез подумывает сделать свою белошвеечку Белой дамой. Замок Авенель или замок Цеден — для него не составит разницы. Замок всегда замок, вам известно, что Ринекер, который во многом живет на свой лад, всегда стоял за естественность.

— Верно, — рассмеялся Питт, — но Балафре распускает небылицы. Вы ведь трезвы, Ведель, неужели вы поверите этой выдумке!

— Выдумке не поверю, — отвечал Ведель. — Но поверю тому, что знаю. Ринекер хоть и шести футов ростом, а может, именно поэтому, слаб, легко поддается влияниям и вдобавок отличается редкостной мягкостью и добротой.

— Все верно. Но обстоятельства вынудят его, он сорвет цепи и высвободится, в крайности — как лиса из капкана. Будет больно, и в капкане останется кусок жизни, но главное — вырваться, обрести свободу. Итак, да здравствует Кете! И да здравствует Ринекер! Как говорится в пословице: «Бог умных любит».

Глава девятая

В тот же вечер Бото написал Лене и обещался, что будет завтра, и, может, даже раньше обычного. Он сдержал слово и пришел за час до заката. У Лены он, разумеется, застал фрау Дёрр. Погода была превосходная, не слишком жарко, и, поболтав немного о том о сем, он предложил:

- Не выйти ли нам в сад?
- Пусть в сад. А может, и еще куда?
- Что ты имеешь в виду?

Лена улыбнулась.

— Не тревожься, Бото. Никто тебя не поджидает в засаде. Даже та дама на паре белых коней с цветочной гирляндой.

— Ну так куда же?

— Всего-навсего в поле, на травку, туда, где нет ничего, кроме маргариток. И кроме меня. Да еще кроме госпожи Дёрр, если она будет так мила и пойдет с нами.

— Еще бы не будет! — воскликнула фрау Дёрр. — Непременно будет. Это для меня честь. Только мне надо сперва привести себя в порядок. Я скоро вернусь.

— Нет нужды, госпожа Дёрр. Мы найдем за вами.

Все вышло по-уговоренному, и когда минут пятнадцать спустя молодая чета подошла к саду, фрау Дёрр уже поджидала их у дверей с перекинутой через руку мантилькой и в роскошной шляпе, подаренной старым Дёрром, который, как и все скряги, способен был ни с того ни с сего выкинуть бешеные деньги неизвестно на что.

Бото не преминул отпустить разряженной даме комплимент, после чего все трое прошли по саду к скрытой в кустах калитке и через нее — в поле, где дорожка, прежде чем затеряться среди луговой травы, долгое время тянулась вдоль садового забора, густо поросшего с внешней стороны крапивой.

— Вот по ней и пойдем, — предложила Лена. — Эта самая красивая дорога и самая пустынная. Здесь никто не ходит.

И действительно, эта дорога казалась много пустынней и безлюднее, чем три или даже четыре других, идущих в том же направлении через луг к Вильмерсдорфу. Там во всем ощущалась своеобразная жизнь предместья. Так, вдоль одной из дорог тянулись всевозможные хибарки, а между ними стояли странные сооружения, напоминающие перекладины для гимнастов. Сооружения эти возбудили любопытство Бото, но прежде чем он успел осведомиться, для чего они тут поставлены, ему и без вопросов все стало ясно: на помостах расстелили ковры и одеяла, и камышовые палки заходили по ним так дружно, что вся дорога скрылась в облаке пыли.

Бото обратил внимание своих дам на это обстоятельство и хотел завести с фрау Дёрр беседу о преимуществах и недостатках ковров, которые, как подумаешь, — всего лишь собиратели пыли, и если у кого слабая грудь, можно считать, что чахотка тому обеспечена. Но ему не удалось довести до конца даже первую фразу, ибо дорога, по которой они шли, в этот миг огибала груды строительного мусора, явно вывезенного из мастерской какого-нибудь ваятеля, поскольку здесь в изобилии валялись обломки

всевозможных скульптур, преимущественно головки ангелочков.

— Смотрите, госпожа Дёрр,— сказал ей Бото,— голова ангелочка. А этот так даже с крылышками.

— Верно,— отвечала ффрау Дёрр.— Да какой мордастенький! Только ангелочек ли это? Я думаю, такие махонькие и с крылышками называются амурами.

— Амур или ангел — это одно и то же. Спросите Лену, она меня поддержит. Верно, Лена?

Лена слегка надулась, но он взял ее за руку, и мир был восстановлен.

Сразу за грудой мусора тропинка сворачивала влево и выводила на полевую дорогу, пошире первой. Тополя вдоль дороги стояли в полном цвету, и тополиный пух разлетался по всему лугу, покрыв его, словно комочками ваты.

— Глянь-ка, Лена! — воскликнула ффрау Дёрр.— Знаешь, здешний народ набивает этим пухом перины — вместо перьев. Его называют лесная шерсть.

— Знаю, госпожа Дёрр. Я всегда радуюсь, что люди смогли до этого додуматься и обратить себе на пользу. Но вам такая набивка едва ли годится.

— Еще бы, это не по мне. Ты права. Я люблю что поплотнее, знаешь, конский волос или там пружины, чтобы подбрасывало...

— Конечно, конечно,— перебила Лена, явно опасаясь продолжения.— Как бы дождь не пошел. Слышите лягушек?

— Квакушек-то? Слышу, слышу. Ночью они, бывает, до того разорутся, что спать нельзя. А почему здесь такая прорва лягушек? Потому что здесь болото, с виду-то оно вроде как лужок, а на деле сплошь топь. Ты погляди только, видишь, посереде трясины аист стоит да сюда поглядывает? Уж верно, *не на меня*. На меня гляди, не гляди, не поможет. И слава богу.

— Не повернуть ли? — в смущении предложила Лена, чтобы хоть что-то сказать.

— И не думай,— рассмеялась ффрау Дёрр.— Да теперь я ни в коем разе не поверну. Неужто ты, Ленушка, такой чепухи боишься? «Аист, мой хороший, принеси мне...» А не то по-другому: «Аист, мой желанный, привеси...»

В этом духе разговор продолжался еще немного, ибо ффрау Дёрр не могла так легко расстаться с излюбленной темой,

Наконец она иссякла, и компания медленно побрела дальше, до гряды холмов, разделявшей долину Шпрее и Хавеля. Здесь кончались луга и начинались поля — рожь и рапс, — доходившие до первых домов Вильмерсдорфа.

— Вот поднимемся на взгорок и сядем, — сказала фрау Дёрр. — Нарвем лютиков, сплетем веночек. Уж до чего я люблю, когда стебелек к стебельку, стебелек к стебельку, глядишь — веночек готов, а то и целая цепь.

— Конечно, конечно, — торопливо поддержала Лена. Фрау Дёрр сегодня будто с умыслом каждую минуту вгоняла ее в краску. — Только идем побыстрее. Дорога-то вот где.

Так, за разговорами, поднялись они по пологому склону и сели на самом верху, на куче крапивы и пырея, оставшейся еще с прошлой осени. Трудно было найти лучшее место для отдыха, чем эта куча, которая вдобавок служила превосходным наблюдательным пунктом и позволяла не только видеть северную окраину Вильмерсдорфа, по ту сторону канала, зажатого между лугами и насыпью, но и слышать, как в соседнем трактире падают кегли и как возвращаются обратно шары, со стуком подпрыгивая на расшатавшихся планках. Лена обрадовалась сверх всякой меры, взяла Бото за руку и сказала:

— Знаешь, Бото, я так хорошо разбираюсь в кеглях (я еще девочкой жила возле трактира с кегельбаном), что, когда услышу, как покатился шар, могу заранее угадать, сколько он собьет.

— Давай поспорим, — сказал Бото.

— На что?

— Потом придумаем.

— Ладно, но я буду отгадывать всего три раза, а если я промолчу, это не считается.

— Идет.

Все трое прислушались, и фрау Дёрр, чье возбуждение росло с каждой минутой, поклялась господом богом, что у ней так колотится сердце, будто она сидит в театре и ждет, когда поднимут занавес.

— Нет, Лена, это ты много на себя берешь. Не угадать тебе.

Фрау Дёрр непременно и еще что-нибудь сказала бы, но тут они услышали, как покатился шар, как он глухо ударился о борт, и все стихло.

— Промач! — воскликнула Лена. Так и оказалось.

— Ну, это чересчур легко, — сказал Бото. — Чересчур. Это бы и я угадал. Подождем следующего.

И верно, второй и третий шар проследовали своим чередом, а Лена не сказала ни слова, даже не шелохнулась. Только глаза у фрау Дёрр все больше выкатывались из орбит. Но вот — и Лена тотчас привстала — покотился маленький, уверенный шарик, ударился о доску и отскочил резко, но в то же время плавно.

— Все девять! — воскликнула Лена, и тотчас раздался звук падения, и голос мальчика подтвердил ее правоту, хотя в этом не было уже никакой надобности.

— Будем считать, что ты выиграла. Теперь давай съедем еще на пару двойной орешек, чтоб уже все было одно к одному. Вы согласны со мной, госпожа Дёрр?

— Еще бы не согласна, — подмигнула та. — Еще бы не одно к одному, — и, снявши шляпку, принялась ею размахивать, словно завлекала покупателей.

Солнце тем временем скрылось за вильмерсдорфской колокольной, и Лена предложила отправиться домой, потому что становится свежо, а по дороге можно поиграть в салочки, она, к примеру, убеждена, что Бото ее не поймает.

— Ну, это мы еще посмотрим.

Тут началась возня, беготня, Бото и впрямь не мог поймать Лену, пока сама она, обессилив от смеха и возбуждения, не спряталась за дородную фрау Дёрр.

— Вот и дерево как раз по мне! — воскликнула она. — Теперь-то уж тебе ни за что меня не поймать. — И, держась за края длинного, расклешенного книзу жакета фрау Дёрр, она так ловко и искусно вертела добрую женщину то вправо, то влево, что ей удавалось еще довольно долгое время укрываться за спиной приятельницы. Но вдруг Бото непонятно как очутился рядом, схватил ее в свои объятия и крепко поцеловал.

— Так нечестно, — протестовала Лена. — Мы еще не доиграли.

Тем не менее она с радостью взяла Бото под руку и нарочито отрывистым, как на учении, голосом скомандовала: «К церемониальному маршу... товсь!» — от души радуясь на добрую фрау Дёрр, которая сопровождала всю эту возню восторженными возгласами.

— Я просто глазам не верю, — твердила фрау Дёрр. — Да и как тут поверишь. Все-то у них по-другому. Как

вспомню про своего... Нет, нет, не верю, да и только. А ведь и мой был не хуже других. И все старался...

— О чем это она? — тихо спросил Бото.

— Всё вспоминает... Ты же знаешь... Я тебе рассказывала.

— Ах, об этом. О нем... Надеюсь, он был не так уж плох.

— Как знать. В конце концов все они на одну колодку.

— Все?

— Нет, не все. — Она покачала головой, и во взгляде ее мелькнула нежность. Но она не дала ходу этим чувствам и поторопилась предложить: — Давайте споем, госпожа Дёрр? Согласны? Только какую песню?

— «На заре»?

— Нет, «На заре, на заре мне в могилу сойти...» — это слишком печально. Лучше «Через год, через год...». Или нет, еще лучше: «Ты помнишь ли?..»

— Вот это в самый раз. Это и красиво и приятно. Моя любимая-разлюбимая.

Слаженными голосами все затянули любимую песню фрау Дёрр и подошли уже к садоводству, а над полями все еще отдавалось: «Я помню все, ты спас мне жизнь однажды», да с другой стороны дороги, где стояли сараи, доносилось эхо.

Фрау Дёрр пришла в неопикуемый восторг. А Лена и Бото что-то призадумались.

Глава десятая

Уже смеркалось, когда они подошли к домику фрау Нимч, и Бото, вновь обретший привычно веселое расположение духа, хотел заглянуть на минутку и сразу откланяться. Но тут Лена прямо напомнила Бото все его обещания, а фрау Дёрр — намеками и подмигиваниями — о несъеденном на пару двойном орешке, и потому он сдался и изъявил готовность провести у них весь вечер.

— Вот и хорошо, — сказала фрау Дёрр. — Я тоже тогда останусь. Конечно, ежели мне позволят остаться и ежели я не помешаю, когда вы будете есть двойной орешек. Заранее нельзя знать. Я только шляпу отнесу домой и мантильку. А потом сразу вернусь.

— Непременно возвращайтесь,— сказал Бото, протягивая ей руку.— И не мешкайте, время-то бежит.

— Ваша правда,— рассмеялась толстуха.— Время, оно не стоит на месте. Хоть мы завтра повстречайся, и все уже будет не то. День, он день и есть, день — это тоже срок. Вот и выходит, по-вашему, что к другому разу мы станем старше. Тут уж ничего не попишешь.

Никем не оспариваемый факт, что люди с каждым днем становятся старше, произвел на ффрау Дёрр такое впечатление, что она все не могла расстаться с полюбившейся темой. Лишь высказавшись до конца, она ушла. Лена провожала ее в сени, а Бото подсел к ффрау Нимпч и, поправляя сползшую с плеч старушки шаль, осведомился, не сердится ли она, когда он надолго уводит Лену. Погода до того хороша и так славно было им сидеть и разговаривать на куче пырея, что они совсем забыли про время.

— Да, счастливые часо́в не наблюдают,— сказала старушка.— А молодежь всегда счастливая, так оно есть, так и должно быть. Вот в старости, господин барон, часы становятся долгие, так что уж и не чаешь, когда кончится день,— да и вся жизнь.

— Это только так говорится, госпожа Нимпч. Старый ли, молодой ли, всем хочется жить. Ведь правда, Лена, тебе хочется жить?

Лена только что вернулась из сеней. Пораженная этим вопросом, как стрелой, она вдруг бросилась к нему, обняла его и осыпала поцелуями с несвойственной ей пылкостью.

— Лена, Ленушка, что с тобой?

Но Лена уже пришла в свое обычное состояние и быстрым движением руки отмахнулась от него, словно хотела сказать: «Только не спрашивай». Покуда Бото продолжал свою беседу с ффрау Нимпч, она подошла к шкафчику, порылась там и снова вернулась к присутствующим с какой-то тетрадочкой в синей обертке из сахарной бумаги, по виду вроде тех, куда хозяйки записывают ежедневные расходы. Тетрадочка и была предназначена главным образом для этой цели, но, кроме того, Лена записывала туда вопросы, которые возникали у нее порой из чистого любопытства, порой из более серьезного интереса. Она раскрыла тетрадочку на последней странице, и глаза Бото тотчас заметили жирно подчеркнутые слова: «Что необходимо узнать».

— Бог ты мой! Да это выглядит как заглавие трагедии — или целой комедии!

— Так и есть. Ты читай, читай.

И он прочел:

«Кто были обе дамы на корсо? Которая из них, старшая или младшая? Кто такой Питт? Кто такой Серж? Кто такой Гастон?»

Бото рассмеялся.

— Ну, если отвечать на все твои вопросы, я здесь до утра пробуду.

Счастье еще, что доброй ффрау Дёрр не случилось поблизости, не то бы Лене опять пришлось краснеть. Но ее обычно проворная приятельница — по меньшей мере тогда, когда дело касалось барона — еще не возвращалась, и потому Лена спокойно ответила:

— Ладно, тогда я начну действовать. Дам оставим до другого раза. Но что значат эти чужие имена? Я уже спрашивала прошлый раз, когда ты приносил хлопушки, но ты ответил просто так, чтобы отвязаться. Это тайна?

— Нет.

— Тогда говори.

— Хорошо. Итак, это не имена, а прозвища.

— Знаю. Ты уже говорил.

— Другими словами, это прозвища, которые мы дали друг другу для удобства, иногда — заслуженно, иногда — случайно.

— Что значит Питт?

— Был такой английский министр.

— А твой друг тоже министр?

— никоим образом...

— А Серж?

— Это русское имя, у них есть такой святой, и много русских князей носили это имя...

— Хотя сами они были далеко не святые... Ну, а Гастон?

— Это французское имя.

— Да, помню, помню, я еще девчонкой, до конфирмации, кажется, видела пьесу «Человек под железной маской». И того, который в маске, звали Гастон. Ну и плакала же я на представлении...

— Зато теперь будешь смеяться. Гастон — это я.

— Нет, я не буду смеяться. Ты тоже носишь маску.

Бото хотел полушутя-полусерьезно заверить ее в противном, но тут вошла ффрау Дёрр и прервала разговор,

извинившись за задержку, — были покупатели, и ей пришлось срочно плести венки.

— Большой или маленький? — спросил фрау Нимпч, которая любила поговорить о похоронах, а того больше — порасспрашивать обо всем, что с этим связано.

— Да как сказать, — ответила Дёрр. — Средненький венок. Люди не богатые. Плющ и азалия.

— Господи! — воскликнула фрау Нимпч. — Дался людям этот плющ с азалией, а я так против. Плющ где хорош? На могиле. Обовьет все зеленью, и могиле спокойно, и тому, кто в ней лежит, — тоже. Но для венка плющ не подходит. В мое время на это шли иммортиели, желтые или кремовые, а коли кто хотел поблагородней — брали красные и белые. Из иммортиелей плели венки или, скажем, один венок и вешали его на крест, он и висел всю зиму, бывало, уж весна придет, а он себе висит. Другие и дольше висели. А плющ с азалией — это же курам на смех. Почему? Да потому, что век у него больно короткий. А я так рассуждаю: чем дольше висит на могилке венок, тем дольше и родные покойника помнят. К примеру, вдова, если она сама не молоденькая. Нет, я за иммортиели, пусть желтые, пусть красные, пусть белые, а если кто хочет еще и другой венок повесить — пожалуйста. Для шику пусть висит. Но главное — чтоб были иммортиели.

— Мама, — перебила ее Лена, — ты опять все про венки да про могилы.

— Да, детка, у кого что болит, тот о том и говорит. Кто про свадьбы думает, тот о свадьбах толкует, а кто про похороны — тот о могилках. Да и не я этот разговор завела. А почему я вечно об одном твержу? Потому что тревожусь: а мне-то кто венок принесет?

— Ах, мама...

— Доченька, я знаю, что ты у меня хорошая, добрая девочка. Только человек-то предполагает, а бог располагает, сегодня за столом, завтра — на столе. Ты тоже под богом ходишь и в любой день можешь помереть, хоть и тяжело мне об этом думать. И госпожа Дёрр может помереть или жить будет в другом месте, когда я помру, или я буду жить в другом и помру сразу, как перееду. Ленушка ты моя дорогая, ни за что нельзя поручиться, даже за то, будет ли у тебя венок на могилке.

— Нет, дорогая моя госпожа Нимпч. За это как раз можно. Венок у вас будет.

— Рада бы поверить, господин барон.

— Если я, к примеру, буду в Петербурге или в Париже и услышу, что моя дорогая госпожа Нимпч приказала долго жить, я пришлю венки, а если я буду в Берлине или где неподалеку, я сам его принесу.

Лицо старушки просветлело от радости.

— Вам я верю, господин барон. Значит, венок у меня будет, до чего ж я рада, просто слов нет. Терпеть не могу голой могилки, все равно как сиротское кладбище, или тюремное, или того хуже. А теперь, Ленушка, завари чай, вон чайник-то как расшумелся, и земляника здесь, и молоко. И простокваша тоже. У бедного господина барона, наверное, уж живот подводит. Хуже нет, как глядеть на еду — до смерти проголодаешься, это-то я еще помню. Да, госпожа Дёрр, я ведь тоже когда-то молодая была, хоть и давненько это было. Но люди тогда были такие же, как и нынешние.

Фрау Нимпч, на которую сегодня нашел разговорный стих, еще долго философствовала, пока Лена обносила всех ужином, а Бото, по обыкновению, подшучивал над фрау Дёрр. Хорошо, мол, что она вовремя уложила свою шляпу на покой, такая шляпка для выездов или для театра, а не для Вильмерсдорфа. Откуда только госпожа Дёрр раздобыла такую красоту? Ни у одной принцессы нет ничего подобного. Сказать по совести, он такой роскошной шляпы вообще никогда не видывал, о себе он, конечно, говорить не станет, но будь на его месте принц, тот бы сей же миг потерял голову.

Добрая толстуха смутно догадывалась, что Бото просто шутит. Тем не менее она отвечала:

— Да, уж коли Дёрр чего задумает, он молодец молодцом, просто откуда что берется, не поймешь. По будням-то от него хорошего не жди, и вдруг его словно подменят, совсем другой человек становится, и я не зря говорю: чего-то в нем такое есть, просто он показать это не умеет.

Такие разговоры шли за чаем, пока не пробило десять. Тут Бото стал прощаться, а Лена и фрау Дёрр пошли провожать его. Когда они подошли к калитке, фрау Дёрр спохватилась, что они так и не съели двойной орешек, но Бото пропустил ее слова мимо ушей и намеренно заговорил о том, как они прекрасно провели время.

— Лена, давай почаще так гулять. Вот я приду в другой раз, и мы придумаем куда. Я непременно отыщу

какое-нибудь местечко. Тихое и красивое, и подальше, и чтоб дорога шла не только полем.

— А с собой мы возьмем госпожу Дёрр,— сказала Лена.— Попросим ее идти с нами. Правда, Бото?

— Правда, Лена. Куда мы, туда и госпожа Дёрр. Как же мы без нее?

— Ах, господин барон, это уж вы слишком. Этого я и требовать не могу.

— Полноте, дорогая госпожа Дёрр,— засмеялся Бото.— Такая женщина, как вы, может требовать все, чего пожелает.

С этим они и расстались.

Глава одиннадцатая

Загородная прогулка, о которой было договорено или по меньшей мере шла речь после Вильмерсдорфа, стала на несколько недель излюбленной темой, и каждый раз, когда приходил Бото, вставал вопрос: куда? Обсуждались всяческие варианты: Эркнер и Кранихберге, Швилов и Баумгартенбрюк, но все были отвергнуты, поскольку туда ездит слишком много народу. Наконец Бото предложил «Ханкелев склад» — местечко, о красоте и уединении которого ему прожужжали все уши. Лена не возражала. Ей хотелось лишь одного: уехать на лоно природы, как можно дальше от суеты большого города и погулять там с возлюбленным. А куда именно — не играет роли.

Поездку назначили на ближайшую пятницу.

Вечерним гёрлицким поездом они поехали к «Ханкелеву складу», где собирались переночевать, а затем в тишине и уединении провести субботу. Поезд состоял всего из нескольких вагонов, да и те были полупустые, так что Лена и Бото оказались в купе одни. В соседнем шел оживленный разговор, из которого можно было понять, что пассажиры там сидят дальние, стало быть, не попутчики и в «Складе» не выйдут.

Лена была счастлива, дала Бото руку, а сама молча глядела в окно на проносившиеся мимо леса и поля. Потом она спросила:

— А как отнесется госпожа Дёрр к тому, что мы не взяли ее с собой?

— Она даже и не узнает ничего.

— Мама непременно проговорится.

— Коли так, дело худо, но иначе мы поступить не могли. Видишь ли, на лугу, в тот раз — это еще куда ни шло, поскольку там не было никого, кроме нас. Но в «Складе», как ни безлюдно, но, уж верно, есть хозяин и хозяйка, а может, еще и кельнер-берлинец в придачу. Не выношу таких кельнеров, которые вечно ухмыляются про себя или по меньшей мере прячут улыбку, это портит мне все удовольствие. Госпоже Дёрр цены нет, когда она сидит возле твоей матери или учит старого Дёрра уму-разуму, но только не на людях. На людях она заставит нас краснеть.

Часов около пяти поезд остановился на опушке леса... Действительно, никто, кроме них, из поезда не вышел, и оба, не торопясь, с удовольствием, побрели к маленькой гостинице, расположенной в десяти минутах ходьбы от станции, на самом берегу Шпрее. «Заведение», как оно именовалось на перекошенном указателе, было поначалу заурядным рыбацким домиком, но постепенно, скорее благодаря при-, нежели перестройкам, превратилось в настоящую гостиницу, причем вид на Шпрее с лихвой восполнял все изъяны и недостатки, если даже допустить, что таковые имелись, и служил главной причиной той поистине блестящей репутации, которой пользовалось это место среди немногочисленных посвященных. Лена тотчас почувствовала себя здесь совершенно как дома и уселась на пристроенной деревянной веранде, половина которой была осенена ветвями старого вяза, росшего между домом и берегом.

— Здесь мы и останемся, — сказала она. — Смотри, вон лодки, две... три... а там, повыше, целая флотилия. Хорошо, что мы приехали сюда. Глянь-ка, как они суетятся там на лодке и отталкиваются веслами. Бото, любимый, как здесь чудесно и как я тебе за все благодарна!

Бото от души радовался, видя Лену такой счастливой. Присущая ей резкость, почти суровость, внезапно исчезла, сменяясь непривычной мягкостью, и эта перемена была в первую очередь благотворна для нее самой.

Немного спустя появился хозяин, принявший «заведение» от отца и деда, и осведомился, чего хотят, а главное — намерены ли они остаться в гостинице. Утвердительный ответ на последний вопрос им не мешкать с выбором комнаты, сколько угодно, но, пожалуй, лучше всех

сарде. Она хоть и низковата, но очень просторная и с видом на Шпрее — до самых Мюггельских гор.

Получив согласие гостей, хозяин удалился, чтобы сделать необходимые приготовления, а Бото и Лена снова остались одни и в полной мере наслаждались своим одиночеством. На поникших ветвях вяза покачивался зяблик, обитавший в соседних кустах, носились взад-вперед ласточки, и, наконец, черная наседка в сопровождении длинного ряда утят величественно проследовала мимо веранды и повела их по далеко заходящим в воду мосткам. На середине мостков она остановилась, а утята попрыгали в воду и поплыли.

Лена следила за всем с неослабным вниманием.

— Смотри, Бото, как вода проступает между бревнами.

Но правду сказать, ее занимали не бревна и не вода, а две лодки, причаленные к мосткам. Она и так на них поглядывала и эдак, задавала всевозможные вопросы, делала всевозможные намеки, но, видя, что Бото остается глух ко всем намекам и ничего не желает понимать, заговорила более откровенно и напрямик сказала, что не прочь бы покататься на лодке.

— Нет, вы, женщины, неисправимы. Неисправимо легкомысленны. Припомни второй день пасхи. Ты едва...

— ...едва не утонула? Помню. Но это одна сторона дела. А вот и другая: в тот же день состоялось мое знакомство с очень интересным молодым человеком, которого ты, верно, помнишь. Его звали Бото... Не станешь же ты утверждать, что второй день пасхи был для тебя несчастливый? Если да, значит, я любезнее, чем ты.

— Гм-гм... А грести-то ты умеешь?

— Разумеется. И грести, и править, и поставить парус. Из-за того, что я чуть не утонула, ты уже ни в грош не ставишь меня и мое искусство. А виноват был мальчик, да и утонуть в конце концов может каждый.

Спустясь с веранды, она прошла по тропинке, прямо к тем двум лодкам. Паруса у них были скатаны, но на каждой мачте развевался вымпел с вышитым названием.

— Ну, какую возьмем? — спросил Бото. — «Форель» или «Надежду»?

... Разумеется, форель. Что у нас общего с надеждой?

... понял, что Лена говорит так, чтобы уколоть его всей тонкостью и возвышенности чувств, никогда не отказывало себе в удовольствии пошлостью. Но Бото не стал пенять, он

промолчал и помог Лене сесть в лодку. Потом он и сам прыгнул за ней. Когда он уже отвязывал лодку, пришел хозяин, принес жакетку и плед, потому что после захода солнца станет холодно. Оба поблагодарили и вскоре уже были на середине реки, чье русло, сильно суженное в этом месте островками и песчаными косами, едва ли составляло триста шагов в ширину. Лена изредка взмахивала веслами, но и этих ленивых взмахов было достаточно, чтобы через несколько минут подогнать лодку к поросшему густой травой лужку, который, очевидно, служил верфью — там недалеко мастерили новую лодку, а также конопатили и смолили старые, уже давшие течь.

— Пойдем туда,— ликовала Лена, увлекая Бото за собой, но не успели они дойти до верфи, как стук топора смолк и звон колокола возвестил конец работы. Тогда шаг за сто до верфи они свернули на тропинку, которая наискось пересекала луг и подводила к сосновому леску. Красноватые стволы сосен румяно отсвечивали в лучах заходящего солнца, а над кронами плыл голубоватый туман.

— Я хотел бы преподнести тебе красивый букет,— сказал Бото и взял ее за руку.— Но луг пустой — только трава и ни единого цветочка. Ни единого.

— Ты не прав. Цветов полным-полно. Ты просто их не видишь, потому что ты чересчур разборчив.

— Если я и разборчив, то лишь ради тебя.

— Не оправдывайся, не оправдывайся. Посмотришь, сколько найду я.

Она наклонилась и начала шарить в траве, приговаривая:

— Гляди-ка, вот... и еще... и еще... Да их здесь больше, чем в Дёрровом саду. Надо только глаза открыть пошире.

Тут она принялась проворно рвать цветы, прихватывая попутно траву и сорняки, и через несколько минут в руках у нее был огромный букет, где хорошие цветы смешались со всякой всячиной. За этим занятием они незаметно вышли к давно уже пустующей рыбацкой хижине, возле которой на усыпанном шишками песке (лес подступал к хижине вплотную) лежала перевернутая лодка.

— Как кстати,— сказал Бото,— на нее мы и сядем. Ты, должно быть, устала. А сейчас давай посмотрим, чего ты там насобирала. Ты, верно, этого и сама толком не знаешь, а потому роль ботаника придется играть мне. А ну, давай сюда. Вот это куриная слепота, а это мыш-

ное ушко, его еще называют ложной незабудкой. Ложной, усвоила? А это, с зубчатыми листочками, это Тагахасим, наш старый добрый лютик, французы готовят из него салат. По мне, пожалуйста, пусть готовят. Но то, что годится в салат, не совсем подходит для букета.

— А ну-ка дай сюда,— рассмеялась Лена.— Твои глаза ничего не видят, потому что любви к этому нет. Где есть любовь, там есть и глаз. Сперва ты заявил, что на этом лугу вообще не растут цветы, а теперь, когда цветы перед твоим носом, ты утверждаешь, что они не настоящие. А они вполне настоящие и вдобавок очень хорошие. Иначе, чего ради мы спорили, что я наберу отличный букет?

— Любопытно посмотреть, какие ты будешь отбирать для букета.

— Только те, которые ты одобришь. А теперь за дело. Итак, вот незабудка, никакое не мышинное ушко, не ложная незабудка, а самая что ни на есть настоящая. Берем?

— Да.

— А это — вероника, маленький нежный цветок. Его ведь ты не отвергнешь? Впрочем, не стоит и спрашивать. А этот большой, красно-коричневый, это же чертогрыз, как для тебя вырос, по заказу. Смейся, смейся. А вот, — и она протянула руку к желтым венчикам, что расцвели прямо на песке, — а вот иммортели.

— Иммортели,— повторил Бото,— это ведь слабость госпожи Нимпч. Эти мы возьмем наверняка, без этих букета не будет. А теперь свяжи все вместе.

— Хорошо. Только чем? Погоди, может, найдем камыш.

— Так долго ждать я не желаю. Да и не устроит меня камыш, он слишком толстый и грубый. Я хочу чего-нибудь потоньше. Слушай, Лена, у тебя такие красивые длинные волосы. Вырви-ка один волосок и перевяжи букет.

— Нет,— решительно ответила она.

— Нет? Почему нет?

— Есть поговорка: «Волос вяжет». Если я перевяжу букет волосом, я и тебя свяжу.

— Но это же предрассудок. Уверен, это слова госпожи Дёрр.

— Нет, это слова моей матери. А все, что она ни говорила мне, с самого моего детства, всегда оказывалось правдой, хоть и походило на предрассудок.

— Будь по-твоему. Спорить не стану. Но иной перевязи для букета я не желаю. Неужто ты из чистого упрямства откажешь мне?

Она взглянула на Бото, выдернула у себя волосок и промолвила:

— Ты сам этого хотел. Вот тебе мой волос. Теперь ты связан.

Он попробовал рассмеяться, но ему невольно передалась серьезность, с какой она вела разговор и особенно произнесла последние слова.

— Становится свежо, — сказал он после некоторого молчания. — Хорошо, что хозяин догадался принести нам плед. А теперь пошли.

Они снова вернулись к тому месту, где оставили лодку, и поспешили переправиться через реку.

Лишь с реки они разглядели, как живописно расположена гостиница, к которой их приближал каждый взмах весел. На решетчатом каркасе приземистого дома маскированной шапкой сидела высокая камышовая крыша. По фасаду одно за другим засветились все четыре окна. В это же мгновение на веранду вынесли свечи, и сквозь ветви старого вяза, напоминавшие в темноте диковинную решетку, на воду упали короткие и длинные полосы света.

Оба молчали. Но каждый думал о своем счастье и о том, как долго им еще суждено этим счастьем наслаждаться.

Глава двенадцатая

Пока они пристали к берегу, уже почти стемнело.

— Давай сядем за этот стол, — сказал Бото, когда они поднялись на веранду. — Здесь не дует, я закажу для тебя стакан грога или глинтвейна. Хорошо? Я вижу, ты озябла.

Он еще многое ей предлагал, но Лена просила разрешения удалиться в свою комнату, где немного погодя он застанет ее в добром здравии. Просто она устала, и, чтобы все прошло, ей ничего не нужно, кроме покоя.

Затем Лена поднялась в приготовленную для них мансарду, сопровождаемая хозяйкой, которая терялась в догадках относительно Ленинного самочувствия и потому не преминула спросить, что это с ней такое, но, не дождавшись ответа, продолжала, что, мол, у молодых женщин такое бывает, она знает это из собственного опыта, покуда она не родила своего первенького (теперь-то их у нее четверо, даже можно сказать — пятеро, только средненький-то явился на свет раньше срока, да тут же и помер), у ней тоже бывали такие приступы. Как накатит, как накатит,

хоть ложись да помирай, но ежели выпить чашечку мятного чаю, только чтоб мята была лекарственная, все как рукой снимет, и опять себя чувствуешь, словно рыба в воде, и станешь такая бодрая, и веселая, и даже ласковая. «Да, да, милостивая сударыня, когда у тебя уже четверо по лавкам пицат, а пятого, ангелочка-то, я даже и не считаю...»

Лишь с трудом могла Лена скрыть свое смущение, и чтобы хоть что-то ответить, попросила принести ей чашечку мятного чая, из той самой лекарственной мяты, про которую и она немало наслышана.

Покуда в мансарде происходил такой разговор, Бото выбрал себе место, но не на защищенной от ветра веранде, а за примитивным дощатым столом, стоящим на четырех столбах у самой веранды, откуда открывался широкий вид на реку. Здесь Бото решил поужинать. Заказал он рыбу, и когда ему подали линия с укропом — блюдо, которым гостиница славилась с давних времен, к нему подошел хозяин, чтобы справиться, какого вина господин барон (титул был выбран наугад) пожелает к рыбе.

— Я думаю,— ответил Бото,— что к такому деликатесу больше всего подойдет бранденбургское или рюдесгеймское, а в подтверждение того, что вино не хуже рыбы, вы сядете за мой стол и будете моим гостем при своем собственном вине.

Хозяин поклонился, улыбаясь, и вскоре принес запыленную бутылку, а следом за ним служанка, хорошенькая вендка во фризовой юбке и черном платке, несла поднос со стаканами.

— Посмотрим, посмотрим,— сказал Бото.— Вид у бутылки многообещающий. Обычно, когда пыли и паутины слишком много, это вызывает подозрение, но тут... Какая роскошь! Урожай семидесятого, так ведь?.. А теперь чокнемся и выпьем... За что же мы с вами выпьем?.. За процветание «Ханкелева склада».

Хозяин был явно растроган, и Бото, заметивший, разумеется, какое он произвел впечатление, продолжал в присутствии ему небрежно-доверительной манере:

— Я в совершенном восторге от вашего заведения. Не по душе мне только одно: название.

— Да,— согласился хозяин.— С названием просто беда, оно никуда не годится. Но какой-то смысл в нем есть.

Когда-то здесь и впрямь был склад, с тех пор осталось название.

— Ну хорошо! Но это ничего не меняет. Почему Ханкелев склад? Что за склад?

— Можно и по-другому сказать: место для погрузки и выгрузки. Вся эта земля (он указал на пространство за своей спиной) была государственным имением, и при Старом Фрице, даже раньше еще, при солдатском короле называлась Королевский Вустерхаузен. В него входило десятка три деревень, ну и леса и пастбище. Сами понимаете, тридцать деревень — они кое-что производили, иначе сказать, кое-что ввозили и вывозили, а для ввоза и вывоза им с самого начала нужна была пристань и место для хранения, вот только неясно было, какое же выбрать. Выбрали это, где мы с вами находимся, залив стал пристанью и местом погрузки-выгрузки, иначе сказать — складом для всего, что ни прибывало и ни выбывало отсюда, а рыбак, что тогда здесь жил, кстати сказать, дальний мой предок, звался Ханкель, отсюда и пошло: «Ханкелев склад».

— Одно плохо, — заметил Бото, — нельзя подойти к каждому и объяснить все так же складно и вразумительно. — И хозяин, которого это замечание, судя по всему, воодушевило, хотел продолжать свой рассказ. Но не успел он и рта раскрыть, как высоко над их головами послышался громкий птичий крик, и когда Бото с любопытством поднял голову, он увидел, что две очень крупные птицы, едва различимые в сумерках, пронеслись над водной гладью.

— Это кто, дикие гуси?

— Нет, журавли. Здешний лес так и считается журавлиным. И вообще, тут для охотника раздолье: боровой дичи и черной полным-полно, а в камышах и тростниках — тут и утка, тут и кулики, тут и бекасы.

— Превосходно! — воскликнул Бото, в котором взыграл охотничий дух. — Знаете, я начинаю вам завидовать. Подумаешь, эка важность — название. Утки, кулики, бекасы! Поневоле хочется все это заполучить. Вот только пустынно здесь, очень уж пустынно.

Хозяин улыбнулся про себя, но от Бото не укрылась его улыбка, и он любопытствовал узнать, в чем дело.

— Вот вы улыбаетесь. Но разве я не прав? Мы уже полчаса с вами сидим, и за все это время я ни звука не слышал, только вода под мостками плещется да журавли кричали минуту назад. Это я и называю пустынно —

хорошо, но пустынно. Правда, изредка по Шпрее проходят грузовые баржи, но баржи-то ведь все одинаковы или по меньшей мере с виду напоминают одна другую. Похоже на корабли-призраки. Поистине мертвая тишина.

— Ваша правда,— согласился хозяин.— Только это ведь до поры до времени.

— Это как понимать?

— До поры до времени,— повторил хозяин.— Так и понимать. Вот вы говорите, здесь пустынно, господин барон, не спорю, здесь и впрямь пустынно, изо дня в день — целые недели подряд. Но не успеет вскрыться лед, не успеет прийти весна — жди гостей из Берлина.

— Когда жди?

— До того рано — слов нет. Уже на третье великопостное воскресенье. Видите ли, господин барон, когда я, человек привычный, сижу у себя в четырех стенах, потому что задувает ост, да и мартовское солнце еще покусывает, берлинец уже тут как тут, садится себе под деревом, перекидывает плащ через спинку стула и требует стаканчик очищенной. Едва проглянет первый луч, берлинец уже толкует о прекрасной погоде. Ему и нужды нет, что каждый ветерок несет с собой воспаление легких, а то и вовсе дифтерит. Он себе играет в серсо, некоторые, правда, предпочитают буле, а когда их начнет распирать от весеннего солнышка, они отправляются в обратный путь, а у меня сердце обливается кровью, потому что не сегодня-завтра у всех до единого слезет кожа.

Бото рассмеялся.

— Да, берлинец и есть берлинец. Кстати, мне вот что пришло в голову: по-моему, как раз на этом участке Шпрее устраивают гонки на веслах и под парусами.

— Точно,— отвечал хозяин.— Но это не бог весть что. Когда гонки большие, лодок собирается пятьдесят, порой и все сто. А потом на несколько недель или даже месяцев и в помине нет никакого водного спорта. Нет, покуда сюда ездят только члены всяких клубов, это еще вполне можно выдержать. Но дайте срок, в июне начнут ходить пароходы, тогда жизни не будет. И так все лето подряд, иногда и осень прихватывают.

— Представляю,— сказал Бото.

— Тогда я каждый вечер получаю по телеграмме: «Прибытие завтра девять утра пароходом «Альсен». Пикник без ночевки. Двести сорок персон». И подписи — имена устроителей. Раз-другой — это еще куда ни шло. А если

без передышку? Ведь как выглядит такой пикник? До темноты они бегают по лесу и по лугу, потом ужин, потом чуть не до одиннадцати они отплясывают. Вы, пожалуй, скажете: «Ну и что?» Так я бы вам ответил: «Ну и ничего», если бы на завтра был день отдыха. Но ведь завтра будет как вчера, а послезавтра — как сегодня. Каждый вечер в одиннадцать отваливает пароход, имея на борту двести сорок человек, а каждое утро в десять прибывает новый, имея на борту те же двести сорок. А от парохода до парохода надо все прибрать и все привести в порядок. Стало быть, всю ночь напролет изволь проветривать, убирать да начищать, а не успел ты протереть последнюю дверную ручку, как уже прибыл очередной пароход. Само собой, у каждой медали есть две стороны, и когда в полночь подсчитываешь выручку, сразу видно, что страдаешь не зря. «Из ничего ничего и не сделаешь», — так говорят умные люди и правду говорят, и коли я захотел бы слить вместе все бутылки, что были здесь распиты, мне пришлось бы выписать бочку из Гейдельберга. Доход есть, не скрою, и все вроде бы хорошо и прекрасно, но с каждым шагом вперед делаешь шаг назад и расплачиваешься лучшим, что у тебя есть, — здоровьем и жизнью. Чего и стоит жизнь без сна?

— Да, я вижу, полного счастья на земле нет, — сказал Бото, — но ведь потом придет зима, спи себе, как сурок, и дело с концом.

— Так-то оно так, если не считать Новый год, и сочельник, и масленицу. Вы бы поглядели, что здесь творится, когда из десяти окрестных деревень, кто на санях, кто на коньках, съедется народ и соберется в большой зале, что я пристроил. Уж тогда здесь не встретишь горожан, зимой берлинцы сюда и глаз не кажут, тогда приходит черед работников да служанок. На что только ни наглядишься, шапки из выдры, плисовые пиджаки с серебряными пуговицами, солдаты из всяких частей, у которых отпуск пришелся как раз на эту пору: драгуны из Шведта, уланы из Фюрстенвальда, даже потсдамские гусары и те здесь. И все такие ревнивые и такие задиры, не знаешь даже, для чего они сюда приходят — для танцев или для драки, из-за какой-нибудь ерунды деревня выходит на деревню и давай работать кулаками. Дерутся, горланят ночь напролет, блинов напечешь гору — глядь, все как корова языком слизнула, а на рассвете кто по снежку, кто по льду убираются восвояси.

— Да,— согласился Бото,— одиночества и мертвой тишины здесь даже и в помине нет. Счастье еще, что я всего этого не знал раньше, а то бы побоялся сюда ехать. А было бы жаль не повидать такой красивый уголок.. Но вы давеча очень удачно сказали: «Чего стоит жизнь без сна?» По-моему, вы совершенно правы. Я устал, хотя час еще ранний. Наверное, это от воздуха и от воды... Вдобавок мне надо поглядеть... Ваша любезная супруга так хлопотала... Покойной ночи, господин хозяин. Я вас совсем заговорил.

С этими словами он встал и направился к затихшему дому.

Лена легла, вытянув ноги на придвинутый к постели стул, и выпила чашку чаю, принесенную хозяйкой. Покой и тепло сделали свое дело, приступ миновал, и уже спустя короткое время она могла бы выйти в сад и принять участие в том разговоре, который вели между собой Бото и хозяин, да только настроение у нее было неразговорчивое, и встала она лишь затем, чтобы хорошенько разглядеть комнату, чего до сих пор не сделала.

А разглядеть стоило. Потолочные балки и глиняные стены остались без изменений со старых времен, беленый потолок нависал так низко, что его можно было достать пальцем, но все мало-мальски поддававшееся переделке было переделано. Вместо крохотных, подслеповатых окошек, которые еще сохранились в нижнем этаже, здесь сделали одно большое, почти до самого пола, и из него, как верно заметил хозяин, открывался прекрасный вид на лес и на воду. Однако большое окно с зеркальными стеклами было не единственным признаком комфорта и новшества. На глиняных стенах, пузыристых и неровных, висели довольно приличные картины, приобретенные, верно, на каком-нибудь аукционе, а там, где эркер мансарды смыкался со скатом крыши, точнее сказать — с комнатой, стояли один против другого два элегантных туалетных столика. Словом, все обличало стремление хозяев превратить «Ханкелев склад» в гостиницу, привлекательную для богатых яхтсменов и членов гребного клуба, однако при этом по возможности бережно сохранить черты былого пристанища для рыбаков и матросов.

Лене все увиденное пришлось очень по душе, она начала внимательно рассматривать картины, висевшие в широких рамках над изголовьем и изножьем постели. Это были две гравюры, сюжет которых ее живо заинтересовал,

и ей захотелось узнать, как они называются. Под одной стояло: «Переход Вашингтона через Делавар», под другой «Последний час Трафальгара», обе надписи — на английском языке. Лена могла разобрать только отдельные слоги, и — казалось бы, такой пустяк — это больно ее задело, ибо она вновь почувствовала, какая пропасть отделяет ее от Бото. Правда, Бото любил посмеяться над образованием и ученостью, но Лена была достаточно умна и знала цену этим насмешкам.

Рядом с входной дверью, над столиком в стиле рококо, где стояли красные стаканчики и графин с водой, тоже висела пестрая литография, снабженная надписью на трех языках: «Если бы молодость знала». Лене вспомнилось, что точно такую же картину она видела в комнате у Дёрров. Дёрр любит подобные штучки. Но, увидев эту картину здесь, Лена в досаде отпрянула. Ее тонкая натура восприняла пошло-непристойный сюжет картины как оскорбительную насмешку над собственным чувством. Желая развеять тягостное впечатление, она подошла к окну и распахнула обе его створки, чтобы впустить в комнату почной воздух. Ах, как это ее освежило! Она села на подоконник, приподнятый не более чем на две ладони от пола, обхватила левой рукой торчащий из стены брус, прислушалась, не донесутся ли голоса с веранды, находящейся не так уж далеко от ее окна, но не услышала ни звука. Кругом стояла глубокая тишина, и лишь ветви старого вяза издавали едва слышный шорох. Если и была на душе у Лены какая-то тяжесть, все бесследно исчезло, едва она устремила восторженный и проникновенный взор на открывшуюся перед ней картину. Беззвучно струилась вода, вечерние сумерки одели луга и леса, и едва проглянувший серп молодого месяца залил слабым светом воды Шпрее, высветив мелкую рябь на ее поверхности.

— Какая красота! — вздохнула Лена. — И как я все-таки счастлива, — добавила она.

Ей не хотелось отрываться от этой картины, но под конец она все же встала, придвинула к зеркалу стул и принялась распускать и вновь заплетать свои красивые волосы. За этим занятием ее и застал Бото.

— Ты еще не спишь? А я-то думал, что мне придется будить тебя поцелуем.

— Тогда ты пришел слишком рано, хоть уже поздно. Она встала ему навстречу.

— Мой любимый! Как долго тебя не было.

— А твоя лихорадка? А приступ?

— Все прошло. Я опять здорова и весела — уже целых полчаса. И ровно полчаса я жду тебя.

Она подвела его к открытому окну.

— Только взгляни. Бедное сердце человеческое, может ли оно не тосковать при виде этой красоты?

Она прижалась к нему и, уже закрывая глаза, взглянула на него с выражением беспредельного счастья.

Глава тринадцатая

Оба рано проснулись — не успело еще солнце одолеть утренний туман, а они уже спустились вниз позавтракать. Задувал легкий ветерок, ранний бриз, который не любят упускать моряки, и когда юная чета вышла из дому, целая флотилия бороздила воды Шпрее.

Лена была еще в утреннем туалете. Она взяла Бото под руку и медленно пошла вдоль по берегу, до высоких зарослей тростника. Он с нежностью взглянул на нее:

— Лена, Лена, я никогда еще не видел тебя такой. Даже не знаю, как это выразить. У тебя счастливый вид, иначе не скажешь.

Так оно и было. Она была счастлива, вполне счастлива, и все представлялось ей в розовом свете. Она вела под руку самого хорошего, самого любимого человека и наслаждалась прелестью мгновения. Разве этого не довольно? И если даже это мгновение окажется последним, значит, так тому и быть. Разве мало получить в подарок от судьбы целый день счастья? Пусть даже один, один-единственный день?

Бесследно развеялись мысли о тревогах и заботах, которые обычно, против воли, теснили ее грудь. Не осталось иных чувств, кроме гордости, признательности, счастья. Но Лена не хотела говорить об этом. Она была суеверна, она боялась спугнуть счастье, и лишь по легкому трепету ее руки Бото мог понять, как глубоко-глубоко в Ленино сердце проникли его слова: «Я думаю, ты счастлива».

Пришел хозяин и учтиво, хотя и не без легкого замешательства, осведомился, хорошо ли они почивали.

— Превосходно, — отвечал Бото, — мятный чай, о котором позаботилась ваша милая супруга, сотворил чудо. И серп луны заглядывал к нам в окно, и соловьи щелкали потихоньку, едва слышно, — кто бы не заснул в таком раю?

Будем надеяться, что вы не ожидаете сегодня после обеда пароход из Берлина и двести сорок господ на нем. Тогда произойдет самое настоящее изгнание из рая. Вы улыбаетесь, словно хотите ответить: «Как знать?» Может, я и впрямь уже накликал беду своими словами. По меньшей мере сейчас здесь никого нет, я не вижу ни парохода, ни пароходного дыма, река чиста, и даже если весь Берлин намерен сегодня побывать здесь, мы еще успеем спокойно позавтракать. Не так ли? Вопрос только где.

— Где прикажете...

— Я думаю, под вязом. В помещении очень хорошо, но лишь тогда, когда на дворе припекает солнце. А солнце покамест не припекает, дай ему бог совладать с лесным туманом.

Хозяин ушел распорядиться завтраком, а молодая пара продолжала свою прогулку до песчаной косы, с которой видны были красные крыши соседней деревушки и правее — островерхая колокольня Кенигсвустерхаузена. У края косы лежал прибитый волнами ивовый ствол. Они присели на него и стали наблюдать за рыбаками — мужчиной и женщиной. Те резали камыш, делали из него вязанки и складывали их в плоскодонку. Отрадно было наблюдать за их работой, а когда немного спустя Бото и Лена вернулись домой, им подали завтрак скорее на английский, чем на немецкий лад: кофе и чай, яйца, мясо и даже ломтики поджаренного белого хлеба в серебряной вазочке.

— Лена, ты только посмотри. Вот где надо завтракать. Как по-твоему? Бесподобно. А гляди-ка, на верфи они снова взялись за работу, да как ритмично. Знаешь, этот рабочий ритм — лучшая музыка на свете.

Лена кивнула, но слушала его только в пол-уха, ибо и сегодня все ее внимание было отдано мосткам, только теперь ее занимали не лодки, пробудившие в ней вчера столь бурный интерес, а миловидная девушка, которая стояла на коленях среди кастрюль и прочей кухонной утвари. С радостной охотой, угадываемой в каждом движении рук, она начищала чайники, сковороды, кастрюли и, вычистив очередную посудину, споласкивала в проточной воде. Потом она поднимала ее высоко в воздух, чтобы так как следует блеснула на солнце, и складывала в приготовленную корзину.

Лена сидела словно завороченная.

— Смотри-ка. — И она указала на хорошенькую служанку, которая, казалось, никак не может досыта зарабо-

таться.— Ты знаешь, она неспроста стоит на коленях, она подает мне знак, предостережение.

— Лена, Лена, что с тобой? Ты вдруг так изменилась, так побледнела.

— Ничего.

— Как же ничего? А глаза блестят, словно ты готова залиться слезами. Неужели ты кастрюль никогда не видела? Или кухарку, которая их чистит? Можно подумать, будто ты ей завидуешь, что вот, мол, она стоит на коленях и работает за троих.

Появление хозяина прервало их разговор, а там к Лене мало-помалу вернулось ее спокойствие и живость. Немного спустя она ушла наверх переодеться.

Вернувшись, она узнала, что Бото в ее отсутствие безоговорочно одобрил программу, намеченную хозяином: парусник доставляет их в соседнюю деревню, Нидерлеме — живописнейший уголок на берегу Вендской Шпрее, оттуда они пешком отправляются до Кенигсвустерхаузена, осматривают парк и дворец и тем же путем возвращаются назад. Вся прогулка рассчитана на полдня, а что делать после обеда, они решат потом.

Лене план тоже понравился, вот уже подготовили лодку, снесли туда одеяла, но вдруг из сада послышались голоса и залихватый смех, что свидетельствовало о прибытии гостей и грозило нарушить их одиночество.

— А, яхтсмены явились,— сказал Бото.— Слава богу, мы уезжаем. Поторапливайся, Лена.

И оба поспешили, чтоб как можно скорее забраться в лодку. Но, не успели они дойти до мостков, их перехватили и окружили со всех сторон. Гости оказались из числа друзей, и вдобавок самых близких: Питт, Серж, Балафре. Все трое со своими дамами.

— Ah, les beaux esprits se rencontrent! Великие умы встречаются! — воскликнул Балафре, полный неопишуемого задора, который, однако ж, сменился сдержанностью, едва он заметил, что за ними наблюдают с порога хозяин и хозяйка.— Какая счастливая и какая неожиданная встреча! Позвольте мне, Гастон, представить вам наших дам: королева Изабо, мадемуазель Жанна и мадемуазель Марго.

Бото сразу понял, какой пароль принят на сегодня, и, быстро включаясь в игру, со своей стороны легким движением руки представил:

— Мадемуазель Агнес Сорель.

Все трое мужчин поклонились учтиво, даже почти-тельно с виду, тогда как обе дочери Тибо д'Арка ограничились едва заметным книксеном, предоставив королеве Изабо, бывшей годами пятнадцатью старше остальных дам, приветствовать незнакомую и не очень нужную в данной ситуации особу более дружески.

Разумеется, появление этой компании было помехой, возможно даже не случайной, а подстроенной, но чем реальнее казалось такое предположение, тем скорее надлежало сделать хорошую мину при плохой игре. И Бото бесподобно справился со своей задачей. Он без усталости сыпал вопросами и таким образом узнал, что общество самым ранним пароходом прибыло в Шмёквич, а оттуда на паруснике доехало до Цейтена и уже дальше шло пешком, минут двадцать от силы: восхитительная прогулка, старые деревья, луга и красные деревенские крыши.

Покуда новое пополнение, и в первую голову дородная королева Изабо, которая еще более, нежели округлостью форм, выделялась своими разговорными талантами, выкладывало все эти сведения, компания, непринужденно беседуя, подошла к веранде и заняла место за длинным столом.

— Прелестно,— сказал Серж.— Просторно, чисто, на воздухе и к тому же тихо. А луг — луг просто создан для прогулок при луне.

— Да,— подхватил Балафре.— Прогулки при луне. Лучше не придумаешь. Но сейчас десять часов утра, следовательно, до прогулок при луне осталось не менее двенадцати часов, которые необходимо как-то занять. Вношу предложение — прокатиться по реке.

— Нет,— отвечала Изабо.— Никаких рек, я по горло сыта водой. Сперва пароход, потом лодка, а теперь, извольте радоваться,— опять лодка. Лично я против. И вообще, не понимаю, кому нужно это вечное шлепанье веслами. Не хватало только, чтоб мы засели с удочками или принялись рукой ловить уклеек и визжать от радости, когда поймаем какую-нибудь махонькую козьявку. Нет — на сегодня никакой воды. Прошу вас самым убедительным образом.

Мужчины, которым все это адресовалось, с видимым удовольствием внимали повелительному тону матери-королевы и попутно выдвигали новые предложения, но их постигла та же участь. Изабо все отвергла и под конец, когда присутствующие начали полусушутя-полусерьезно осуждать ее поведение, потребовала тишины.

— Господа,— сказала она.— Терпение. Дайте мне хоть одно слово сказать.

Насмешливые аплодисменты были ей ответом, ибо до сих пор она еще не дала никому и рта раскрыть. Не смущаясь насмешкой, Изабо продолжала:

— Господа, убедительнейше прошу вас, растолкуйте мне: что означает загородная прогулка? На мой взгляд, загородная прогулка означает позавтракать, во-первых, и перекинуться в картишки — во-вторых. Права я или нет?

— Изабо всегда права,— рассмеялся Балафре и хлопнул ее по плечу.— Картишки так картишки. Место редкостное, уж здесь всякому повезет. Дамы тем временем пойдут прогуляться или вздремнут перед обедом, это всего полезнее, а нам полутора часов за глаза довольно. В двенадцать мы воссоединяемся. Выбор блюд передоверим нашей королеве. «Жизнь прекрасна, не правда ли, ваше величество?» Это, конечно, из «Дон Карлоса», но ведь можно раз в жизни обойтись и без «Девы», не так ли?

Острота возымела надлежащее действие, и обе девицы захихикали, хотя и не поняли ничего, кроме последнего слова. Изабо же, можно сказать, выросшая в атмосфере намеков и двусмысленностей, сохранила невозмутимое достоинство и, обращаясь ко всем трем, сказала:

— Медам, если позволите, нам предоставлен двухчасовой отдых. Совсем не дурно, как вы считаете?

Затем они встали из-за стола и проследовали на кухню, где королева, поздоровавшись приветливо, хотя и надменно, попросила хозяина. Хозяина на месте не оказалось, и молоденькая служанка вызвалась привести его с огорода. Но Изабо пожелала сама к нему пойти и, действительно, в сопровождении свиты из трех остальных дам (наседка с цыплятами, как выразился Балафре), направилась в огород, где и застала хозяина, закладывавшего новую грядку под спаржу.

Рядом была ветхая и низкая тепличка, со скошенными рамами; Лена и обе дочери Тибо д'Арка присели на ее искрошившуюся стену, покуда Изабо вела переговоры.

— Господин хозяин, мы пришли условиться насчет обеда. Что вы можете нам предложить?

— Все, что господа пожелают.

— Все? Ну, этого много, даже слишком много. Коли так, приготовьте нам угря. Но не такого, а вот такого.—

И с этими словами она указала сперва на свое кольцо, а потом на широкий, плотно обхватывающий руку браслет.

— Очень жаль, почтенные дамы, но угря я вам предложить не могу. И вообще никакой рыбы: чего нет, того нет. Правда, вчера у нас был линь под укропным соусом, но его привозили из Берлина. Если мне нужна рыба, мне придется покупать ее на Кёльнском рыбном базаре.

— Жаль. Мы могли прихватить угря с собой. Но если не угорь, то что же?

— Седло косули.

— Гм, звучит неплохо. Но сперва каких-нибудь овощей. Для спаржи уже слишком поздно, точнее сказать — поздневато. Впрочем, я вижу тут зеленые бобы. Да и в парничке, глядишь, что-нибудь да сыщется — огурчик или немного салатцу. Потом сладкое. Но чтобы со взбитыми сливками. Лично я за этим не гонюсь, но вот мужчины, которые вечно делают вид, что им сладкое ни к чему, сами жить без него не могут. Итого три-четыре перемены. Да, еще бутерброды с сыром.

— А когда прикажете подать?

— Поскорее или, другими словами: как управитесь, так и подавайте. Верно я говорю? Мы все проголодались, а если седло косули полчаса продержат на огне, с него и довольно. Скажем, ровно в полдень. Да, с вашего разрешения, еще крушону: бутылку рейнского, три мозельского и три шампанского. Только чтоб хорошей марки. Не думайте, что в смеси это незаметно. Я знаю толк в шампанском и сразу распробую, чего вы налили — мумм или моз. Впрочем, вы все сделаете как надо; скажу вам откровенно, вы внушаете мне доверие. Кстати, из вашего огорода можно выйти прямо в лес? Для меня каждый лишний шаг — пытка. А в лесу, может, и шампиньоны сыщутся. Вот бы славно. Шампиньоны — отличная приправа к седлу косули, да и к любому блюду.

Хозяин не только ответил утвердительно на вопрос о кратчайшем пути, но и самолично подвел дам к калитке, откуда до леса было рукой подать. Забор и опушку разделяла только проезжая дорога, и, едва пересекши ее, дамы очутились в лесной тени. Здесь Изабо, томимая усиливающейся жарой, выразила свое полное удовлетворение по поводу того, что им не пришлось идти более длинной дорогой, да еще по солнцепеку. Она закрыла свою эlegantную, хотя и с жирным пятном, парасольку, прицепила ее

к поясу и, взяв Лену под руку, прошла вперед, а две другие дамы шли следом. Изабо, судя по всему, находилась в отменном расположении духа и, обратившись к Марго и Жанне, сказала:

— Надо выбрать себе цель. Все лес да лес — так и с ума можно сойти. Как по-вашему, Жанна?

Жанна, более рослая из дочерей Тибо, была очень не дурна собой, слегка бледновата и одета с изысканной простотой. Серж придавал этому большое значение. Перчатки на ней сидели безупречно, и ее вполне можно было принять за даму из общества, ежели бы она не вздумала, куда Изабо беседовала с хозяином, застегнуть зубами расстегнувшуюся перчатку.

— Жанна, я спрашиваю, как по-вашему? — повторила королева свой вопрос.

— Я предлагаю вернуться в деревню, из которой мы пришли. Цейтен, так, кажется? У нее был очень меланхолический и романтический вид, и дорога сюда была красивая. Стало быть, и в ту сторону она не хуже, а может, еще и лучше. А по правую руку — значит, если идти отсюда, то по левую — было кладбище, все в крестах. Один такой большой, мраморный...

— Да, милая Жанна, все это прекрасно, но нам ни к чему. Дорогу мы уже один раз видели. Не на кладбище же вы собрались?

— Разумеется, на кладбище. Моих чувств у меня никто не отнимет, особенно в такой день, как сегодня. И вообще невредно время от времени вспоминать, что от смерти никуда не уйдешь. Да если вдобавок еще цветет сирень...

— Сирень уже давно не цветет, разве что золотой дождь, да и на том-то стручки. Господи Иисусе, если уж вы такая охотница до кладбищ, можете каждый день ходить любоваться на Ораниенштрассе. Впрочем, я знаю, с вами не сговоришься. Цейтен да кладбище, кладбище да Цейтен. Тогда мы лучше здесь останемся и вообще ничего не увидим. А ну, малютка, дайте мне вашу руку.

Слова эти относились к Лене, которая отнюдь не была малюткой, и та послушно подставила свою руку. А королева, идя вперед, продолжала доверительным тоном:

— Ох уж эта Жанна, с ней просто нельзя ни о чем говорить! О ней идет худая слава, и вообще она дура душой. Ах, детка моя, с кем только нынче не приходится иметь дело! Не спорю, фигура у ней хорошая и за перчатками своими она очень следит. Только лучше бы она за чем дру-

гим следила. И заметьте, все особы такого сорта любят толковать про смерть да про кладбища. Вы лучше потом на нее поглядите. Покамест вроде все ничего. Но когда подадут пунш и выпьют по первому разу, а потом и по второму, тут она себя покажет. Начнет верещать и хихикать. Никакого понятия о приличиях. Впрочем, откуда им взяться? Она все время жила среди всякой мелкой сошки, на дороге в Тегель, там же за целый день человека не увидишь, только артиллерия мимо проезжает... А уж артиллерия... Да, вы себе и не представляете, как это все по-разному бывает. А теперь Серж подобрал ее и хочет сделать из нее что-то путное. Господи Иисусе, разве из нее можно сделать что-нибудь путное, а если и можно, то не вдруг, для всего хорошего потребно время. Гляньте-ка, земляника, вот это здорово. Пошли, малютка, наберем ягод (ох, если бы еще и гнуться не надо), а уж коли нам попадетсЯ ягодка покрупней, мы ее с собой прихватим. Я тогда положу ее прямо ему в рот, то-то он обрадуется. Чтоб вы знали, он совсем как ребенок и вообще лучше всех прочих.

Лена поняла, что Изабо говорит про Балафре, и зада-ла ей несколько вопросов, в том числе: почему у всех муж-чин такие странные прозвища? Она уже об этом спраши-вала, но вразумительного ответа так и не получила.

— Иисусе,— сказала королева,— обычное дело, чтоб никто ни о чем не проведал, а вообще-то пустая блажь и боле ничего. Потому как, во-первых, всем на это напле-вать, а если кому не наплевать, так и черт с ним. Почему черт с ним? Да потому, что это никому не мешает, никто никого не может укорить, все на одну стать, и один не лучше другого.

Лена глядела прямо перед собой и молчала.

— По правде сказать — да вы и сами увидите,— все это одна скукота. Поначалу-то вроде как в охотку, грех по-жаловаться, а потом ох как все осточертеет. Годков с пят-надцати — до конфирмации, стало быть,— самая пора. И чем раньше из этого дела вылезешь, тем лучше. Денеж-ки свои я получу, куплю себе тогда погребок, а какой — я уже знаю, и выйду я за одного вдовца — а за кого, я тоже знаю. Он согласен. Скажу вам прямо, я всегда уважала порядок и приличия, и детей я воспитаю как следует, своих ли, его ли — все едино... А вы как об этом пони-маете?

Лена молчала.

— Доченька, да ты вся побледнела, неужто же ты из-за этого с ним связалась (она указала на сердце) и делаешь все из чистой любви? Ну, тогда худо, тогда пиши пропало.

Жанна шла вместе с Марго. Они нарочно пропустили первую пару вперед. Теперь они ломали березовые ветки, словно хотели сплести венок.

— Как она тебе понравилась? — спросила вдруг Марго. — Гастонова дама?

— Понравилась? Ни капельки она мне не понравилась. Только этого не хватало, чтобы такие вошли в моду! Ты погляди, как на ней сидят перчатки! И шляпка подгуляла! Как он позволяет ей ходить в таком виде? Да и дурища, должно быть, ходит и молчит.

— Нет, — сказала Марго, — она совсем не глупая, просто еще не освоилась. Смотри, как она сразу прилипла к нашей доброй толстухе, это ведь тоже не от глупости.

— Толстуха, толстуха! Про нее можешь мне не рассказывать. Она из себя бог весть что корчит, а сама никуда не годится. Не хочу ее хаять, только она вся фальшивая, фальшивая насквозь.

— Нет, Жанна, что другое, а фальшивой ее не назывешь. Кстати сказать, она тебя не раз из ямы вытаскивала. Ты знаешь, про что я.

— Ну да, вытаскивала. А почему? Потому, что сама в этой яме сидела, и еще потому, что любит изображать из себя невесту кого. Такие толстухи, они всегда злющие.

— Жанна, да ты совсем зарапортовалась. Толстые, наоборот, всегда добрые.

— Ну и пускай добрые. Но не станешь же ты спорить, что на нее и посмотреть-то — смех берет. Ну погляди, погляди, как она трюхает, ни дать ни взять утка. И застегнута доверху на все пуговицы. Думаешь — почему? Потому, что ей перед приличными людьми и показаться нельзя. Скажу прямо, — а я себя зря нахваливать не стану, — стройная фигура по нынешним временам всего важней. Мы не турки какие, прости господи. И еще одно: думаешь, почему она не захотела идти на кладбище? Скажешь, покойников боится? Как бы не так, чихать ей на покойников, просто она застегнулась на все пуговицы и подыхает от жары. А жары-то, по правде сказать, и нет никакой.

Такие разговоры велись обеими парами порознь, затем они соединились и присели на поросший мхом край канавы.

Изабо то и дело поглядывала на часы, но стрелки словно застыли.

Когда наконец часы показали половину двенадцатого, она сказала:

— Итак, мои дамы, нам пора. На мой взгляд, мы довольны насладились природой и можем с полным правом перейти к какому-нибудь другому занятию. С самого утра, с семи часов, у меня маковой росинки во рту не было. Эта несчастная тартинка с ветчиной в Грюнау — она в счет не идет... Еще слава богу, что воздержание, как говорит Балафре, несет свою награду в себе самом, а голод — лучший повар. Давайте прибавим шагу, сейчас седло косули важнее всех прочих благ. Как вы думаете, Жанна?

Жанна пожатием плеч дала понять, сколь нелепо само предположение, будто такие предметы, как седло косули и крышон, могут иметь для нее хоть какую-то ценность.

Изабо расхохоталась.

— Посмотрим, посмотрим. Конечно, на кладбище в Цейтене куда веселее, но надо уметь довольствоваться тем, что есть.

После этих слов все встали, чтобы через лес вернуться к огороду, а из огорода, где как раз порхали лимонные яблочки, войти в палисад перед домом, поскольку именно там они собирались обедать.

Проходя мимо ресторана, Изабо увидела, как хозяин опрокинул бутылку мозеля.

— Какая жалость! — воскликнула она. — Это ж надо такое увидеть! Господь мог бы подарить мне более приятное зрелище. И почему именно мозель?

Глава четырнадцатая

Невзирая на все усилия Изабо, ей не удалось после прогулки создать за столом атмосферу непринужденного веселья, куда печальнее, однако, — по меньшей мере для Бото и Лены — было то обстоятельство, что веселье не вернулось к ним и тогда, когда, расставшись с друзьями и их дамами, они снова вошли в пустое купе и поехали домой. Час спустя, в самом мрачном расположении духа, они прибыли под скудно освещенные своды Гёрлицкого вокзала, и

здесь, выходя из поезда, Лена тотчас и с непривычной настойчивостью просила Бото не провожать ее: они-де оба устали, и так будет лучше. Но из Бото никакими силами нельзя было выбить то, что он считал долгом мужской вежливости, и потому они сели в дребезжащие от старости дрожки и совместно совершили нескончаемо длинную поездку вдоль канала, тщетно пытаясь по дороге вести беседу о «на редкость удачной прогулке» — мучительные и бесплодные попытки, которые многократно заставляли Бото почувствовать, как правильно рассудила Лена, когда чуть ли не умоляющим голосом просила не провожать ее до дому. Да, поездка в «Ханкелев склад», от которой оба так много ожидали и которая в самом деле началась так хорошо и счастливо, оставила по себе смешанное чувство разочарования, усталости и досады, и лишь в последнюю минуту, когда Бото ласково, дружелюбно и чуть виновато сказал ей: «Доброй ночи, Лена», она еще раз подбежала к нему и, схватив его за руки, поцеловала с непривычной страстностью.

— Ах, Бото, Бото, все получилось не так, как должно было быть, но никто в этом не виноват... Твои друзья тоже не виноваты...

— Не надо, Лена.

— Нет, нет, уверяю тебя, в этом никто не виноват, так оно и есть. В том-то и беда, что никто не виноват. Когда кто-то виноват, он может попросить прощения, и все снова станет хорошо. Нам же это не поможет. И прощать друг другу нам нечего.

— Лена...

— Дай мне договорить. Ах, Бото, мой любимый, мой единственный, ты хочешь скрыть от меня, но дело близится к развязке. И к скорой развязке, я знаю.

— Ах, что ты говоришь...

— Конечно, все это была одна мечта, — продолжала Лена, — но почему я позволила себе мечтать? Да потому, что эта мечта не оставляла меня ни днем, ни ночью. Только ею одной и жило мое сердце. И вот еще что я хотела сказать, вот почему я сейчас подбежала к тебе: все останется так, как я говорила вчера. Это лето было для меня счастьем и останется счастьем, даже если я с завтрашнего дня буду несчастна...

— Лена, Лена, зачем ты так говоришь...

— Ты ведь и сам понимаешь, что я права, просто твое доброе сердце отказывается это понять, не хочет с этим

мириться. Но я-то знаю: вчера, когда мы гуляли с тобой по лугу и болтали о всякой всячине и я собирала для тебя букет, вчера мы в последний раз были счастливы вместе, вчера был последний час нашей радости.

Таким разговором завершился день, и вот настало другое утро, и яркое летнее солнце заглянуло в комнату к Бото. Оба окна были распахнуты, на ветках каштана чирикали воробьи. Бото полулежал в качалке, курил пенковую трубку и время от времени пытался отогнать лежащим подле него платком большого шмеля, который, будучи изгнан через одно окно, немедленно возвращался в другое, чтобы упорно и неумолимо жужжать над головой Бото.

— Как мне избавиться от этой гнусной твари? Будь моя воля, я бы его замучил до смерти! Шмели приносят несчастье да вдобавок ведут себя так навязчиво и гнусно, будто их радует беда, которую они предвещают.— И Бото снова взмахнул платком.— Опять улетел. Нет, ничего не поможет. Итак, смирение. Безропотность и впрямь — лучшее средство, а турки — первейшие мудрецы на земле.

Скрип калитки заставил его прервать этот монолог и выглянуть в палисадник, где он увидел только что вошедшего почтальона, который, по-военному козырнув и отчеканив: «Доброго утра, господин барон», — подал прямо в окно, расположенное невысоко над землей, сперва газету, затем письмо. Газету Бото, не читая, отложил в сторону и все внимание отдал письму, ибо тотчас узнал мелкий, убористый, но на редкость разборчивый почерк своей матушки. «Так я и думал... Все понятно и без чтения. Бедная Лена...»

Затем он вскрыл конверт и прочел следующее:

«Замок Цеден, 29 июня 1875 г.

Дорогой мой Бото!

То, что в последнем письме я высказывала лишь как опасение, теперь стало явью. Ротмюллер из Арнсвальда потребовал уплаты долга до 1 октября и лишь «по старой дружбе» изъявил готовность ждать до Нового года, если я сейчас в стесненных обстоятельствах. Ибо «отлично понимает, сколь многим он обязан покойному господину барону». Эта приписка, хотя и сделанная с лучшими намерениями, вдвойне для меня оскорбительна, столько в ней напускного участия, которое ни при каких условиях не

может быть приятно, особенно — со стороны подобного человека. Надеюсь, ты и сам понимаешь, в какое огорчение и тревогу повергло меня письмо Роткюллера. Дядюшка Курт Антон мог бы тут помочь, как уже неоднократно помогал ранее, он любит меня, а главное — *тебя*, но непрерывно злоупотреблять его любовью мне не хочется, тем более что, по его глубокому убеждению, наша семья, и прежде всего мы с тобой, сами повинны во всех своих затруднениях. Я, на его взгляд, несмотря на искреннее попечение о нашем хозяйстве, все же недостаточно хозяйственна и чересчур притязательна, с чем трудно не согласиться, а ты недостаточно практичен и умудрен жизнью, с чем еще трудней не согласиться. Да, Бото, таковы обстоятельства. Мой брат — человек, наделенный обостренным чувством справедливости и вдобавок столь редкостной широтой натуры в денежных вопросах, какую не часто встретишь среди наших дворян. Ибо добрая наша провинция Бранденбург издавна славится своей бережливостью и даже — когда речь заходит о том, чтобы помочь ближнему — трусостью. Однако как дядюшка ни великодушен, а и у него тоже есть свои причуды и прихоти, и с некоторых пор он всерьез огорчен нашим упорным нежеланием считаться с этими свойствами его натуры. Когда я недавно сочла необходимым заговорить о том, что нам грозит предъявление ко взысканию, он ответил: «Ты знаешь, сестра, я всегда готов помочь, но скажу тебе откровенно: обязанность вечно выручать тех, кто и сам себя без труда мог бы выручить, прояви он чуть больше благоразумия и чуть меньше своеволия, предъявляет требования к той стороне моего характера, коей я никогда не мог похвастаться, а именно — к моей уступчивости...» Ты, конечно, понял, на что намекает дядюшка, и я хочу, чтобы эти слова проникли в твое сердце, как проникли они в мое, когда я услышала их из уст Курта Антона. Если судить по твоим словам и твоим письмам, для тебя всего ненавистней сентиментальные чувствования, и однако ж, боюсь, ты увяз в этих чувствованиях куда глубже, чем готов признать или даже чем сам о том догадываешься. Больше я не прибавлю ни слова».

Ривекер отложил письмо и принялся ходить по комнате, почти машинально сменив пенковую трубку на сигарету. Потом он дочитал до конца: «Да, Бото. Наше будущее — в твоих руках, тебе и решать, будем ли мы до конца своих дней пребывать в вечной зависимости или на-

конец избавимся от нее. Повторяю: решать тебе, от себя добавлю только, что срок отпущен короткий. Дядя Курт Антон и об этом со мной переговорил, имея в виду госпожу Селлентин, которая при последнем его визите к ним в Ротенмор высказывалась по одному, весьма занимающему ее вопросу не только крайне решительно, но и с некоторым раздражением. Уж не полагает ли семейство Ринекер, что стоимость его владений возрастает по мере их уменьшения, как то было с книгами Сивиллы (бог весть, откуда она выкопала эту параллель)? Кете скоро минет двадцать два года, она получила самое блестящее воспитание, а от тетушки своей Кильманнсегге унаследовала имение, одни проценты с коего почти равны основному капиталу Ринекеров, вкладывающемуся из стоимости всех пастбищ вместе с пресловутым Озером мурен. Такую невесту вообще не заставляют ждать и, уж давным, не проявляют при этом столь невозмутимого спокойствия. Ежели барону фон Ринекеру заблагорассудится похоронить давние планы обоих семейств и обратить бывшие договоренности в детскую забаву, она возражать не станет. Господин фон Ринекер может считать себя свободным с той самой минуты, когда он пожелает. Если же он питает обратные намерения, иными словами — не желает воспользоваться предоставленной ему свободой, настало время заявить об этом во всеулышание. Ибо она не желает, чтобы ее дочь становилась предметом пересудов.

Уже по самому тону госпожи Селлентин ты легко поймешь, что тебе необходимо принять решение и начать действовать. Мои пожелания тебе известны. Но я не хочу тебе ничего навязывать. Действуй, сообразуясь с собственным разумом, решай так или иначе, только — решай. Даже отказ будет приличнее, нежели дальнейшие проволочки. Если ты и впредь намерен мешкать, мы потеряем не только невесту, но и знакомство Селлентинов, и — что еще хуже, я бы даже сказала, что хуже всего — дружеское расположение всегда готового помочь нам дядюшки. Мысли мои всегда с тобой; если они способны тебя направить, я буду очень рада. Повторяю, только так ты очастливишь и самого себя, и нас всех.

Любящая тебя

твоя мать Жозефина фон Р.н.

Чем дальше читал Бото, тем сильнее становилось его волнение. Да, письмо говорило правду, дальше отклады-

вать невозможно. Дела Ринекеров пришли в расстройство, и затруднения эти такого рода, что выпутаться из них своим умом и своими силами он был решительно не в состоянии. «Кто я такой? Самый заурядный представитель так называемых высших слоев общества. Что я умею? Я умею выездить лошадь, разделать каплуна и поддержать игру. Вот и все, значит, выбирать мне придется между амплуа циркового наездника, старшего кельнера и крупье. В лучшем случае сделаюсь почтенным ветераном — если надумаю вступить в Иностраннный легион. А Лена будет ездить за мной как дочь полка. Я уже представляю ее себе в короткой юбочке, высоких сапожках и с бочонком за спиной».

В этом духе Бото продолжал монолог, причем не без самолюбования наговорил себе множество горьких истил. Наконец он позвонил и велел седлать ему лошадь. Немного спустя великолепная рыжая кобыла, подарок дяди и предмет зависти товарищей, остановилась перед крыльцом, Бото вскочил в седло, дал слуге кой-какие распоряжения и поскакал к Моабитскому мосту, миновав который выехал на дорогу, ведущую через поля и болота к плацу на Юнгфернхейде. Здесь он перевел коня с рыси на шаг и, отвлекшись от мыслей, расплывчатых и туманных, учинил себе допрос с пристрастием: «В чем же беда? Что мешает мне сделать тот шаг, которого все от меня ждут? Могу ли я жениться на Лене? Нет. Обещал ли я ей жениться? Нет. Ожидает ли она, что я женюсь на ней? Нет. Станет ли разлука для нас легче, если я буду ее откладывать? Нет. Нет, и еще раз нет. И все же я мешкаю, никак не решусь сделать то единственное, что необходимо сделать. Почему же я мешкаю? Из-за чего эта нерешительность, эти колебания? Дурацкий вопрос. Да из-за того, что я люблю ее».

Орудийные залпы, донесшиеся с Теглерского стрельбища, прервали его монолог, и, лишь уgomонив забеспокоившуюся лошадь, он возобновил ход своих рассуждений: «Да, да, из-за того, что я люблю ее. Почему я должен стыдиться этой любви? Чувство неподвластно никаким законам, и самый факт, что человек любит, несет в себе свое оправдание, сколько бы мир ни качал головой, сколько бы ни твердил о загадочности происходящего. На деле никакой загадки нет, а если и есть, я могу ее решить. Каждый человек по натуре питает склонность к тем или иным качествам, порой очень и очень незначительным, которые, однако, при всей своей незначительности, и со-

ставляют для него жизнь или по меньшей мере лучшее в жизни. Для меня лучшее в жизни — простота, правдивость, естественность. Всеми этими качествами обладает Лена, вот чем она меня приворожила, вот где чары, от которых мне так трудно освободиться».

В это мгновение лошадь прынула, и Бото увидел спугнутого зайца, который прямо перед ним улепетывал к Юнгфернхейде. Бото с любопытством поглядел ему вслед и вернулся к своим размышлениям лишь тогда, когда беглец затерялся между деревьями. «И разве я, — так продолжал он, — разве я желал чего-то столь невозможного, столь нелепого? Отнюдь. Я не из тех, кто готов бросить вызов и объявить открытую войну свету и его пред-рассудкам, я категорически против подобного донкихотства. Я только и хотел тихого счастья, а уж оно раньше или позже снискало бы молчаливое одобрение общества, хотя бы из-за того, что общество ожидало афронта, от которого я бы его уберег. Вот о чем я мечтал, что думал, на что надеялся. А теперь я должен расстаться со своим счастьем и променять его на другое, совсем не являющееся счастьем для меня. Я испытываю глубокое равнодушие ко всякого рода салонам и отвращение ко всему неискреннему, искусственному, напыщенному. Шик, турнюр, политес — все сплошь чужие и ненавистные для меня слова».

Здесь лошадь, уже более четверти часа предоставленная собственной воле, свернула с дороги на боковую тропинку. Тропинка через участок пашни подводила к лужайке, обрамленной кустарником и старыми дубами. Под сенью одного из самых раскидистых дубов стоял короткий и приземистый каменный крест, и когда Бото подъехал ближе, поглядеть, что это за крест, он прочел: «Людвиг фон Хинкельдей, сконч. 10 марта 1856 года». Как потрясла его эта надпись! Он знал, что крест где-то поблизости, но никогда сюда не заезжал и теперь усмотрел перст судьбы в том, что, когда он отпустил поводья, лошадь привезла его именно сюда.

Хинкельдей! Скоро двадцать лет, как всемогущий некогда полицейпрезидент покоится в земле. Все, что ни говорилось тогда в родительском доме при известии о его смерти, живо припомнилось Бото. А больше других — один разговор. Некто из наиболее доверенных советников Хинкельдея — кстати, человек буржуазного происхождения — предостерегал и отговаривал своего патрона от дуэли, а самую дуэль, особенно такую и при таких обстоятель-

ствах, называл бессмысленной и преступной. Но его начальник, именно при этой okazji вспомнивший о своем дворянском достоинстве, резко и высокомерно отвечал: «Нёрнер, вам этого не понять». И час спустя встретил смерть. А почему? В угоду дворянскому кодексу чести, в угоду сословному предрассудку, оказавшемуся сильнее, чем доводы разума, сильнее даже, чем закон, на страже которого он, казалось бы, призван был стоять. «Очень поучительно. Но какой вывод могу из этого сделать я? О чем говорит этот памятник именно мне? Во всяком случае, о том, что наше происхождение определяет наши поступки. Тот, кто ему повинуется, может погибнуть, но погибнет он с большей честью, чем тот, кто ему не внимает».

Бото еще не оторвался от своих раздумий, а лошадь уже повернула и понесла его через поле к большому зданию — то ли прокатному заводу, то ли машинной мастерской, из многочисленных труб которой валили к небу столбы дыма и огня. Время было обеденное, и много рабочих сидело в холодке и закусывало. Женщины, принесшие еду, стояли рядом, иная с младенцем на руках, болтали и посмеивались, когда кому-либо случалось отпустить удачное и меткое словцо. Ринекер, который с полным правом говорил о своей любви ко всему естественному, был восхищен открывшейся перед ним картиной и не без зависти смотрел на этих довольных людей. «Труд, хлеб насущный, порядок. Когда наш брат бранденбуржец женится, он не рассуждает о любви да о страсти, нет, он просто говорит: «Во всяком деле требуется порядок». Это превосходная особенность нашего народа, и вовсе не прозаическая. От порядка многое зависит, порой даже все. А ежели я задам себе вопрос: есть ли порядок в моей жизни? — придется ответить: нет. Порядок — это жить в браке». Так он еще некоторое время беседовал с собой самим, и снова Лена встала перед его глазами, но ни упрека, ни осуждения не было в ее взгляде, скорее дружеское одобрение.

«Да, милая Лена, ты тоже превыше всего ставишь труд и порядок, ты поймешь меня, ты снимешь с моих плеч эту тяжесть... но все равно будет тяжело... и тебе и мне».

Он снова пустил лошадь рысью и, сколько мог, старался ехать вдоль Шпрее. Затем, мимо затихших под полуденным солнцем балаганов, он свернул на верховую тропку — до Врангелева источника и вскоре очутился перед собственными дверями.

Глава пятнадцатая

Бото хотел тотчас ехать к Лене, но, поняв, что у него нет для этого сил, решил по меньшей мере написать ей. Из письма тоже ничего не вышло. «Не могу сегодня, никак не могу». День миновал, Бото дождался следующего утра и коротенько написал ей.

«Дорогая Лена! Вот и настало то, о чем ты позавчера говорила: разлука. И разлука навечно. Я получил из дому письмо, которое вынуждает меня расстаться с тобой; это неизбежно, а раз неизбежно, то чем скорей, тем лучше... Ах, как я хотел бы, чтобы все это уже осталось позади. Более ничего говорить не стану, не стану и о том, каково у меня на сердце... Это была прекрасная и мимолетная пора, я не забуду о ней. Часов около девяти я буду у тебя, не раньше, потому что надолго не останусь. До свиданья, последний раз до свиданья. Твой Б. ф. Р.»

И он пришел к ней. Лена стояла у калитки и встретила его как обычно. Ни тени упрека, боли, страдания не выражало ее лицо. Она взяла Бото за руку, они пошли по тропинке.

— Хорошо, что ты пришел... Я рада, что ты здесь. И ты радуйся...

Они подошли к дому, вступили в сени, и Бото собрался уже, по обыкновению, войти в комнату. Но Лена потянула его дальше, сказав:

— Не надо, там сидит госпожа Дёрр.

— Она сердится на нас?

— Ни чуточки. Я ее утихомирила. Но сегодня она нам ни к чему. Пойдем, вечер хороший, побудем немного вдвоем.

Бото не возражал, они вышли из сеней, пересекли двор, дошли до садовой калитки. Султан не шелохнулся, он лишь лениво посмотрел им вслед, когда они направились по широкой дорожке, разделявшей сад пополам, к скамье, окруженной густым малинником.

Подойдя к скамье, оба сели. Стояла тишина, лишь с поля доносилось пиликанье кузнечиков, да месяц висел над их головой.

Она прижалась к нему и сказала спокойно и сердечно:

— Значит, я последний разочек держу твою руку в своей?

— Да, Лена. Можешь ли ты мне простить?

— Нашел о чем спрашивать. За что мне тебя прощать?

— За ту боль, которую я причинил твоему сердцу.

— Про боль ты верно сказал. Сердцу очень больно. И она умолкла, устремив взгляд к звездам, бледно загоравшимся на небе.

— О чем ты думаешь, Лена?

— Как бы хорошо оказаться там.

— Не говори так. Ты не должна желать смерти, от такого желания лишь один шаг...

.. Она рассмеялась:

— Нет, я его не сделаю. Я не похожа на ту девушку, которая бросилась в колодец лишь оттого, что ее возлюбленный пошел танцевать с другой. Помнишь, ты рассказывал мне эту историю?

— Тогда к чему ты помянула небо? Ты не из тех, кто говорит подобные вещи просто так, лишь бы что-нибудь сказать.

— А я сказала это вполне серьезно. Я и впрямь (она подняла взгляд к звездам) была бы рада очутиться там. Там бы я обрела покой. Но мне не к спеху... А теперь пошли в поле. Я платка не взяла, а сидеть на одном месте холодно.

И они пошли той самой дорогой, которая в тот раз довела их до первых домов Вильмерсдорфа. Колокольня отчетливо рисовалась на фоне ясного неба, и лишь над луговиной стлался прозрачный туман.

— А ты помнишь, как мы гуляли здесь с госпожой Дёрр? — спросил Бото.

Она кивнула:

— Затем я и привела тебя сюда. Мне вовсе не было холодно или так, самую малость. Да, это был замечательный день, такой счастливой и довольной я не чувствовала себя никогда, ни до, ни после. У меня даже сейчас сердце радуется, когда я вспомню, как мы возвращались домой и пели: «Я помню все». Да, воспоминания значат много, очень много. А воспоминаний у меня довольно, и они останутся со мной, никто их не может отнять. Когда я об этом думаю, у меня становится легче на сердце.

Он обнял ее.

— Какая ты хорошая!

Но Лена продолжала все так же спокойно:

— И раз у меня легко на сердце, я хочу не упустить случая и все тебе высказать. Собственно, я не скажу ничего нового, только то, что всегда говорила, еще позавчера говорила, во время неудавшегося пикника, и потом, когда мы прощались. Я знала, что так будет, с самого начала,

вот и вышло по-моему — чему быть, того не миновать. Если человек видел прекрасный сон, ему следует возблагодарить господа и не жаловаться, что сон кончился и началась явь. Сейчас очень тяжело, потом все забудется — или стерпится. И настанет день, когда ты вновь почувствуешь себя счастливым. А может, и я.

— Ты думаешь? А если нет? Тогда что?

— Тогда придется жить без счастья.

— Ах, Лена, ты говоришь так, будто счастье — это пустяк. На самом же деле это совсем не пустяк. Вот что меня мучит, и как хочешь, мне все кажется, что я причинил тебе несправедливость.

— Эту вину я тебе отпускаю. Ты не причинил мне никакой несправедливости, не совращал меня с пути истинного, ничего мне не обещал. Я все делала по доброй воле. Я всем сердцем тебя полюбила, такая уж была моя судьба, и коли есть здесь чей-то грех, то это мой. И вдобавок такой грех, которому я рада, и могу повторять тебе это снова и снова — рада от всей души, ибо он был моим счастьем. За счастье надо платить, и я с радостью уплачу. Ты ничего не преступил и не нарушил, никого не оскорбил, — в крайнем случае лишь то, что у людей зовется нравственностью и приличиями. Так мне ли о том горевать? Нет. Все уладится рано или поздно, даже это. А теперь давай-ка повернем обратно. Гляди, какой туман. Госпожа Дёрр, верно, уже ушла, и мы застанем нашу добрую старушку одну. Она все знает и целый день твердила мне одно и то же.

— А что?

— Что так оно лучше.

Когда Бото с Леной вошли в дом, фрау Нимпч и в самом деле была одна. В комнате было тихо и полутемно, лишь пламя очага бросало отблеск на черные тени, исчертившие пол. Щегол уже давно заснул в своей клетке, только бульканье кипящей воды нарушало тишину.

— Добрый вечер, матушка, — сказал Бото.

Старуха ответила на приветствие и хотела подняться со своей скамеечки, чтобы придвинуть кресло. Но Бото удержал ее на месте и сказал:

— Нет, матушка, я сяду на старое место. — С этими словами он придвинул табуретку к огню и уселся.

Наступило недолгое молчание, потом Бото прервал его:

— Я пришел сегодня проститься с вами и поблагодарить вас за все хорошее и доброе, чем так долго наслаждался в вашем доме. Да, госпожа Нимпч, я говорю от чистого сердца. С какой радостью я приходил к вам! Как счастлив был здесь! Но теперь я должен уйти, и мне хотелось бы сказать только одно: наверное, так лучше.

Старушка промолчала и кивнула одобрительно.

— Но я ведь не навек исчезаю, и вас я не забуду. А теперь дайте мне вашу руку. Так. И доброй вам ночи.

Тут он резко встал и направился к двери, а Лена его обняла, и так они вместе дошли до калитки, не проронив по дороге ни слова. Только у самой калитки она сказала:

— А теперь поскорее. Силы у меня на исходе, мне все-таки пришлось пережить два нелегких дня. Прощай, мой любимый, и будь счастлив, как ты того заслуживаешь, и так счастлив, как, благодаря тебе, была счастлива я. Тогда ты будешь истинно счастлив. Больше я ни о чем говорить не буду, не стоит слов. Так-то.

И она поцеловала его один раз и еще раз и закрыла за ним калитку.

На другой стороне улицы Бото оглянулся на Лену и хотел было вернуться к ней, обменяться еще хоть одним словечком, хоть одним поцелуем. Но она отрицательно замаячила рукой. И тогда он продолжил свой путь вниз по улице, а она, положив голову на руку и руку на перекладину калитки, смотрела ему вслед своими огромными глазами.

Она еще долго стояла так, покуда звук его шагов не затерялся в ночной тишине.

Глава шестнадцатая

В середине сентября в Ротенморе — имении Селлентипов — состоялось бракосочетание, и дядюшка Остен, отнюдь не любитель красиво говорить, поздравил молодых, произнеся в их честь самую длинную здравицу из всех, когда-либо им произнесенных. Помимо того, день спустя «Крейццейтунг», среди прочих извещений фамильного характера, опубликовала и следующее: «Барон Бото фон Ринекер, поручик полка кирасир Его Величества, и баронесса Кете фон Ринекер, урожденная Селлентин, настоящим имеют честь известить о том, что вчерашнего дня они сочетались законным браком». Нетрудно понять, что «Крейццейтунг» не имела широкого хождения в квар-

тире Дёрров и в подведомственных им садовых угодьях, но уже на другой день пришло письмо, адресованное фрейлейн Магдалене Нимич, с упомянутым выше извещением. Лена вздрогнула, однако успокоилась быстрее, чем, по всей вероятности, ожидал того отправитель, — судя по всему, какая-нибудь завистливая товарка. О том, что отправителя, точнее — отправительницу, следует искать именно среди последних, свидетельствовала приписка «Высокородной». Но именно эта дополнительная шпилька, долженствовавшая усилить боль, пришлась как нельзя более кстати и смягчила горечь, которую причинило бы это извещение при других обстоятельствах.

Бото и Кете фон Ринкер в день свадьбы отправились в Дрезден, счастливо избегнув соблазна предпринять поездку по неймаркским родственникам. И действительно, у них ни разу не было причины пожалеть о своем решении, особенно у Бото, который с каждым днем находил все больше приятности не только в красотах Дрездена, но и — что гораздо важнее — в обществе своей молодой жены, которая, казалось, даже не ведала, что такое каприз или дурное настроение. Она смеялась с раннего утра до позднего вечера и внутренне была такой же сияющей и светлой, как внешне. Все ее радовало, во всем она умела разглядеть хорошую сторону. Так, к примеру, в отеле, где они остановились, был кельнер с тупеем, напоминавшим гребень волны, когда тот рассыпается брызгами, и этот кельнер — точнее, его прическа — стал для нее источником нескончаемого веселья, настолько, что она, отнюдь не наделенная богатой фантазией, не уставала изощряться в самых неожиданных и красочных сравнениях. Бото радовался и смеялся вместе с ней, пока в один прекрасный день к смеху его не примешалось сомнение и даже неудовольствие. Он понял, что из всего случившегося или увиденного она способна воспринять лишь мелкое и смешное, и когда оба они после счастливого двухнедельного пребывания покинули Дрезден и отправились в обратный путь, один короткий разговор в самом начале поездки развеял его последние сомнения на этот счет. У них было купе на двоих. Миновав мост через Эльбу, они бросили прощальный взгляд на Старый город и на купол Фрауенкирхе, и тогда Бото взял ее за руку и спросил:

— А теперь, Кете, скажи по чести, что тебе больше всего понравилось в Дрездене.

— Угадай.

— Ну, это не так легко, у тебя свои вкусы, и я понимаю, что относительно гольбейновской мадонны и церковных хоров тебя нечего и спрашивать.

— Нечего. Ты прав. Впрочем, я не собираюсь томить ожиданием своего сурового господина и повелителя. Итак, мне больше всего понравились три вещи: во-первых, кондитерская на углу Альтмаркской площади и Шеффельгассе с поистине божественными пирожками и ликером. Сидеть в ней...

— Но, Кете, там же нельзя было сидеть, там и стоять-то можно было с трудом, и каждый кусок приходилось брать с бою.

— В том-то и суть, в том-то и суть, дорогой мой. Все, что приходится брать с бою...

И она, отворотясь, восхитительно надула губки и поддразнивала его до тех пор, покуда он не наградил ее искренним поцелуем.

— Я вижу, — рассмеялась она, — ты признаешь мою правоту. Тогда выслушай в награду второе и третье. Второе — это летний театр, где мы смотрели «Мосье Геркулеса» и где комик Кнаак отбарабанил марш из «Тангейзера» на разохшемся карточном столе. В жизни не видела ничего смешнее, и ты, верно, тоже не видел. Умереть можно, до чего смешно... Ну, а третье... Третье — это «Вакх на козле» в Зеленом свode и «Собака чешется» Петера Вишера.

— Так я и думал, и если дядюшка Остен об этом услышит, он с тобой тотчас согласится, и будет любить тебя еще больше, и будет еще чаще повторять: «Ну, Бото, твоя Кете...»

— А ты против?

— Конечно, нет.

После чего разговор на несколько минут прервался, оставив в душе Бото, при всей его склонности смотреть на молодую жену глазами любви, чувство, похожее на страх. Разумеется, молодая жена и не подозревала, что происходит у него в душе, она сказала только:

— Я устала, Бото... Слишком много впечатлений... Лучше потом... Однако (поезд как раз замедлил ход) что за шум я слышу на перроне?

— Это место загородных прогулок, кажется, Кетченброда...

— Кетченброда? Как смешно.

И покуда поезд набирал скорость, Кете прилегла и сделала вид, что закрывает глаза. Но она не спала, из-под опущенных ресниц она глядела на любимого супруга.

На Ландграфенштрассе, состоявшей тогда из одного ряда домов, матушка Кете за время их отсутствия приготовила квартиру, и когда в начале октября молодые вернулись в Берлин, они, едва переступив порог, застыли в изумлении при виде роскоши и комфорта своего нового жилья. В обеих комнатах, выходящих на фасад, было по камину, сейчас там горел огонь, хотя окна и двери были распахнуты настежь, потому что на дворе стояла теплая осенняя погода, и, стало быть, огонь развели исключительно для красоты и движения воздуха. Но всего красивее показался им большой балкон с раскидистым тентом, из-под которого, если глядеть прямо, можно было увидеть сперва березовую рощицу и Зоологический сад, а дальше — северную оконечность Груневальда.

Кете от восторга захлопала в ладоши, едва взглянув на этот прекрасный вид, обняла маменьку, расцеловала Бото и вдруг, указывая налево, где среди редких тополей и ветел высилась какая-то башенка, сказала:

— Смотри, Бото, как смешно! У нее такой вид, будто она согнулась в три погибели. А деревушка рядом! Как она называется?

— Кажется, Вильмерсдорф, — промямлил Бото.

— Пусть будет Вильмерсдорф. Но твое «кажется» никуда не годится. Должен же ты знать названия окрестных деревень. Мама, погляди, у него такое лицо, будто он только что выболтал нам государственную тайну. Ах, до чего же смешные эти мужчины!

Затем все покинули балкон и перешли в заднюю комнату, где состоялась их первая трапеза в узком семейном кругу, ибо, кроме мадам фон Селлентин, молодых и единственного гостя — Сержа, на ней никто больше не присутствовал.

От квартиры Ринекеров до домика фрау Нимпч не было и тысячи шагов. Но Лена этого не знала и частенько ходила по Ландграфенштрассе, чего наверняка не стала бы делать, догадайся она об этом соседстве.

Но рано или поздно она должна была узнать истину.

Шла уже третья неделя октября, но погода стояла совсем летняя, а солнце пригревало так сильно, что даже не давало почувствовать холодное дыхание осени.

— Мама, мне надо сегодня в город, — сказала Лена. — Я получила письмо от Гольдштейна. Он хочет со мной посоветоваться насчет монограммы, которой я буду метить белье принцессы Вальдекской. А уж коли я выберусь в город, мне хотелось бы заодно побывать у госпожи Демут на Старой Якобштрассе. Не то я совсем одичаю без людей. Но к обеду я вернусь, а госпоже Дёрр я скажу, чтоб она за тобой приглядела.

— Не стоит, доченька. Я люблю сидеть одна. А госпожа Дёрр — она все говорит, говорит, и все про своего мужа. Огонь у меня есть, щегол пискнет, мне больше ничего и не надо. Вот если бы ты мне расстаралась фунтик конфет, у меня все время першит в горле, а от солодовых леденцов легчает.

— Хорошо, мама.

С этими словами Лена покинула тихое свое жилище, пошла сперва по Курфюрстенштрассе, потом по длинной Потсдамштрассе, к Шпиттельмаркту, где братья Гольдштейн держали свое заведение. Как она рассчитывала, так все и получилось, и незадолго до полудня Лена уже на обратном пути вместо Курфюрстенштрассе избрала Лютцовштрассе. Ласково пригревало солнце, а суета на Магдебургской площади, где нынче был базарный день, а теперь вся торговля уже подходила к концу, доставила ей такое удовольствие, что она даже остановилась, разглядывая это пестрое столпотворение. Зрелище совершенно заворожило ее, и очнулась она лишь тогда, когда мимо нее с воем и грохотом пронеслась пожарная команда.

Лена прислушивалась, пока не отгремел вдали шум и звон, потом глянула влево на башенные часы над аптекой Двенадцати Апостолов. «Ровно полдень, — сказала она себе, — надо поторапливаться. Мама всегда тревожится, если я прихожу позже обещанного». И она пошла дальше по Лютцовштрассе к площади того же названия, но вдруг остановилась как вкопанная, не зная, куда ей деться, ибо буквально в нескольких шагах от себя увидела Бото, который, ведя под руку молодую красивую даму, шел ей навстречу. Дама о чем-то говорила с большим оживлением и, должно быть, сплошь смешные вещи, потому что Бото, взглядывая на нее, всякий раз заливался смехом. Только этому обстоятельству Лена была обязана

тем, что Бото не заметил ее раньше, и, твердо решившись во что бы то ни стало избежать встречи, она свернула направо, к самой ближней витрине, перед которой лежал на земле квадратный лист рифленого железа, вероятно, закрывавший вход в подвал. Сама по себе это была самая заурядная витрина бакалейной лавки, с неизменными пирамидами из стеариновых свеч и банками пикулей, — словом, глядеть не на что, но Лена глядела так, словно в жизни не видела ничего подобного. Лавка попалась ей вовремя, потому что именно в это мгновение молодая чета прошла мимо нее и так близко, что Лена могла разобрать каждое слово из их разговора.

— Кете, ради бога, не так громко, — говорил Бото. — На нас люди смотрят.

— Ну и пусть смотрят...

— Они подумают, что мы ссоримся...

— Со смехом? Кто ж это ссорится со смехом?

И она вновь засмеялась.

Лена ощутила дрожь железного листа под своими ногами. Поперечный медный прут ограждал стекло витрины, и какое-то мгновение ей казалось, что за него непременно надо ухватиться для защиты и поддержки. Однако она устояла на ногах, и, когда можно было с уверенностью сказать, что те двое отошли на достаточное расстояние, Лена повернулась спиной к витрине, чтобы продолжать свой путь. Она брела, хватаясь за стены домов, и некоторое время это ей удавалось. Потом вдруг она почувствовала, что сознание оставляет ее, и, достигнув первого же переулка, из тех, что вели к каналу, она в него свернула и вошла в какой-то палисадник, благо калитка была распахнута. С трудом дотавившись до крыльца, через которое можно было попасть на застекленную веранду и оттуда — в бельэтаж, она почти в беспамятстве опустилась на ступеньки.

Придя в себя, она увидела рядом девочку-подростка — та держала в руке небольшой садовый заступ, которым, верно, рыхлила клумбы, и жалостливо на нее смотрела, а из окна веранды с нескрываемым любопытством выглядывала старая нянька. По всей вероятности, кроме няньки и этой девочки, здесь никого не было, и, поблагодарив обеих, Лена встала и пошла к калитке, а девочка смотрела ей вслед с грустным удивлением, словно впервые в ее детское сердце закралась мысль о жизненных горестях.

Лена меж тем пересекла мостовую, вышла к каналу и шла теперь низом, над самой водой, где ей не грозила

опасность кого-либо встретить. С катеров доносилось порой тьяканье собачонки, и из камбузных труб — время было обеденное — поднимался тонкий дымок. Но Лена ничего не видела и не слышала или, точнее сказать, не сознавала, что вокруг нее происходит. Лишь когда по ту сторону Зоологического кончились дома и впереди завиднелся большой шлюз, через который с шумом перекачивались волны, она остановилась и перевела дух. «Ох, если б я умела плакать!» — промолвила она и прижала руку к груди.

Дома она застала мать на обычном месте и села против нее, не обменявшись с ней ни словом, ни взглядом. Но вдруг старушка, против обыкновения, подняла глаза от огня и с ужасом заметила, как изменилось лицо Лены.

— Лена, доченька, что с тобой? Отчего ты такая?

Оставив привычную медлительность, старушка в мгновение ока вскочила со скамеечки и схватила кружку, желая sprыснуть водой помертвевшую дочь.

Но воды в кружке не оказалось, ффрау Нимпч поспешно заковыляла в сени, а из сеней во двор, а со двора в сад — позвать добрую ффрау Дёрр, которая как раз срезала на продажу левкой и жимолость. Тут же стоял и сам Дёрр, приговаривая: «Куда ты изводишь столько бечевки?»

Заслышав еще издали жалобный зов старушки, ффрау Дёрр побледнела и громко ответила:

— Иду, госпожа Нимпч, иду, сей момент! — после чего, побросав все, что было у нее в руках, — и цветы, и бечевку, со всех ног помчалась к домику Нимпчей, ибо сразу заподозрила неладное.

— Чужало мое сердце... Ах, Ленушка... Ленушка... — И при этом трясла и тормошила оцепеневшую Лену, куда старушка еще плелась следом и шаркала в сенцах. — Сейчас мы ее уложим! — воскликнула ффрау Дёрр. Матушка Нимпч кинулась ей помогать. Но добрая ффрау Дёрр, говоря «мы», ничего такого в виду не имела. — Я и сама справлюсь, — отстранила она старушку, потом взяла Лену на руки, отнесла ее в спальню и потеплей укрыла. — Вот так. Теперь мы ее хорошенько прогреем. Мне ли этого не знать, это все кровь виновата. Сперва пусть пропотеет, а потом горячий кирпич к ногам, чтоб к самым ступням, вот где вся сила. А что это ей поpritчилось? Не иначе нервное расстройство.

— Не знаю. Она ничего не сказала. Сдается мне, она его встретила.

— Верно. В самую точку. Мне ли этого не знать... А теперь надо закрыть окна и спустить занавески... Другие любят камфару или там гофманские капли, но от камфары только слабнешь. Камфара против моли хороша. Нет, дорогая госпожа Нимпч, организм, и вдобавок такой молодой, должен сам себе помочь. На мой взгляд, самое полезное — пропотеть. Но хорошенько. Ведь отчего вся напасть? От мужчин. А и без них не обойдешься... Глянь-те-ка, у ней щечки опять порозовели.

— Может, лучше доктора позвать?

— Боже упаси, какого еще доктора! Они все в разезде, покуда хоть одного сыщешь, человек успеет десять раз помереть и десять раз воскреснуть.

Глава семнадцатая

После описанной выше встречи прошло два с половиной года, за это время в судьбе наших друзей и знакомых произошли большие перемены, только на Ландграфенштрассе все оставалось по-прежнему.

Здесь, как и прежде, царила бодрость, здесь сохранилось веселое оживление медового месяца, здесь, как и прежде, смеялась Кете.

Обстоятельство, которое могло бы, пожалуй, огорчать другую молодую женщину, — то, что наша пара так и осталась парой, — нимало не печалило Кете. Она с такой радостью отдавалась жизни, так любила наряды и болтовню, прогулки и выезды, что возможные перемены скорей пугали, нежели привлекали ее. Материнский инстинкт — не говоря уже о радостях материнства — был ей покамест неведом, и когда мадам Селлентин позволила себе однажды высказаться в очередном письме по этому поводу, дочь ответила ей строками почти кощунственными: «Не печалься, мамочка. Брат Бото на днях отпраздновал помолвку, через полгода сыграют свадьбу, и я охотно уступлю моей будущей невестке честь продолжить славный род Ринекеров». Бото придерживался на этот счет несколько иных взглядов, но и он не слишком тяготел к прибавлению семейства, если же порой его счастье омрачало мимолетное недовольство, то это было все то же, что тревожило его во время свадебного путешествия, — мысль о

том, что Кете почти не способна говорить разумно и решительно не способна говорить всерьез. Спору нет, Кете была отличная собеседница, иногда ей приходили в голову счастливые мысли, но даже самые удачные из ее высказываний были поверхностны и игривы, словно у ней полностью отсутствовала способность отличать существенное от несущественного. А всего хуже, что сама Кете считала эту черту своим достоинством, немало собой гордилась и в мыслях не держала отказываться от нее. «Ох, Кете, Кете!» — восклицал Бото, и в его тоне угадывалось неодобрение, но счастливое устройство ума всякий раз помогало Кете обезоруживать мужа, да так, что он и сам себе потом казался нудным педантом.

Лена, простая, правдивая и немногословная, все чаще вставала перед его глазами, но тотчас исчезала, и лишь когда ему по воле случая вспоминался тот или иной эпизод, вместе с яркостью воспоминания оживало и более глубокое чувство, а порой даже смущение.

Один такой случай произошел уже в первое лето, когда молодая чета, вернувшись с обеда у графа Альтена, сидела на балконе, кушая послеобеденный чай. Кете полулежала в креслах, а Бото читал ей газету — нашигованную цифрами статью о церковных сборах. По правде говоря, Кете мало что понимала из читаемого, да и цифры очень ей мешали, но слушала она с превеликим вниманием, потому что все неймаркские барышни по меньшей мере половину своей юности посвящают слушанию проповедей и всю дальнейшую жизнь принимают пасторские интересы близко к сердцу. Так было и сегодня. Наконец наступил вечер, и в ту самую минуту, как сумрак упал на землю, прелестным штраусовским вальсом началась вечерняя музыка в Зоологическом.

— Ты только послушай, Бото,— сказала Кете, поднимаясь с кресел, и добавила задорно: — Давай станцуем.— Не дожидаясь согласия, она сорвала его с места и начала вальсировать — через дверь в прилегающую комнату и еще несколько кругов по ней. Потом она наградила мужа поцелуем, прижалась к нему и сказала: — Знаешь, Бото, я в жизни не танцевала с таким удовольствием, даже на своем первом балу, когда я еще обучалась в пансионе у фрау Цюлов. Признаюсь тебе честно — это было до конфирмации, дядюшка Остен взял меня с собой под свою ответственность, а мама и по сей день ничего не подозревает. Но даже там мне не было так хорошо. А ведь запрет-

ный плод — он всегда самый сладкий. Верно? Но ты молчишь, Бото, ты смущен. Опять я тебя уличила.

Он хотел что-то ответить — как сумеет, — но она не дала ему и рта раскрыть.

— Право же, Бото, в твоём смущении повинна моя сестренка Ине. Не утешай меня, не доказывай, что она еще полуробеночек или едва вышла из детского возраста. Такие девочки всего опасней. Верно? Впрочем, будем считать, что я ничего не видела. Ей-же-ей, я на вас не в претензии. Вот если взять старые, совсем старые истории, то тут я ревную, куда больше ревную, чем к новым.

— Странно, — промолвил Бото, пытаюсь улыбнуться.

— Если вдуматься, не так уж странно, как может показаться с первого взгляда, — продолжала Кете. — Видишь ли, новые истории, они все до известной степени происходят у тебя на глазах, потребно совсем уж несчастное стечение обстоятельств, да к тому ж изменник-виртуоз, чтобы решительно ничего не заметить и быть совсем обманутой. Зато там, где дело касается старых историй, там контроль невозможен, их может быть «тысяча три», а ты и не знаешь...

— А чего не знаешь...

— От того тем не менее очень даже страдаешь. Впрочем, оставим эту тему, лучше дочитай статью. Я слушаю и все думаю о наших К्लукхунах. Добрая госпожа К्लукхун — сама простота, а их старший как раз собирается в университет.

Такие разговоры повторялись все чаще, и вместе с воспоминаниями о былом в душе Бото оживал образ Лены, но самое Лену он не встретил ни разу, чему немало удивлялся, так как знал, что они почти соседи.

Он удивлялся, хотя удивляться было бы решительно нечему, если бы Бото вовремя потрудился узнать, что фрау Нимпч и Лена давно уже не проживают на старом месте. А между тем дело обстояло именно так. После того как Лена встретила молодую чету на Лютцовштрассе, она сказала матушке Нимпч, что не может более оставаться у Дёрров. Старушка, обычно не перечившая Лене, на сей раз замотала головой, начала причитать и указывать на свой очаг, но Лена очень решительно ей отвечала: «Ты меня знаешь, мама. Я не оставлю тебя без очага и без огня, ты все это получишь, я накопила денег, а не будь у меня денег, я бы работала до тех пор, пока не накопила сколь-

ко нужно. Но отсюда мы должны уехать. Мне каждый день надо проходить мимо, я этого не вынесу. Я от всей души желаю ему счастья, мало того — я радуюсь, что он счастлив, видит бог, потому что Бото добрый, хороший человек, он любил меня, и не важничал, и не чванился. Сказать правду, я терпеть не могу всех этих важных господ, но Бото — настоящий дворянин, из тех, у кого есть в груди настоящее сердце. Да, мой любимый, будь счастлив, так счастлив, как ты того заслуживаешь. Но видеть его счастье я не могу, понимаешь, мама, я должна уехать отсюда, а то, едва я пройду десять шагов, мне уже чудится, будто он стоит передо мной. Я живу в вечном страхе. Нет, нет, мне этого не вынести. Но место у камелька тебе будет. Это я тебе обещаю, я, твоя Лена».

После такого разговора старушка оставила всякое сопротивление, и даже сама фрау Дёрр сказала:

— Ясное дело, вам придется выехать. Так ему и надо, старому скряге. Он мне все уши прожужжал, что больно мало с вас положил за квартиру, мол, ремонт и налоги дороже станут. Пусть попрыгает, когда вы уедете. Кто у него снимет такую развалюху, где любой кот в окно заглянуть может, где ни газа, ни водопровода? Само собой, вы обязаны предупредить за три месяца, а придет пасха — и выезжайте себе на здоровье, хоть он лопни от злости. Я, признаться, даже рада: видишь, Ленушка, какая я злая. Но даром мне такое злорадство не пройдет. Как не будет тебя да милой госпожи Нимпч, с ее камельком и с чайником, в котором вечно булькает кипяток, что мне тогда останется? Только он сам, да Султан, да придурковатый парень, который год от году делается все придурковатее. И больше ни живой души. А настанет зима да пойдет снег, так тут впору католичкой заделаться с тоски да с одиночества.

Таковы были предварительные переговоры, после чего в душе у Лены окончательно созрел план переезда, и на пасху к домику Нимпчей действительно подъехал мебельный фургон, в который было погружено все их добро. Господин Дёрр до последней минуты держался на удивление благородно, и после торжественного прощания старую фрау Нимпч усадили в дрожки и доставили совместно со щегленком и белочкой на набережную Луизен-канала, где Лена сняла на четвертом этаже небольшую квартиру, окнами на улицу, и не только частично обставила

ее новой мебелью, но и, памятуя свое обещание, прежде всего позаботилась о том, чтобы пристроить камин к печи в большой комнате. Хозяин сперва было воспротивился, потому что «из-за такой пристройки вся печка прахом может пойти», но Лена настояла, объяснив, зачем ей это нужно. И на хозяина, старого добродушного столяра, ценившего подобную сердечность, ее слова произвели такое впечатление, что он сразу уступил.

Словом, обе женщины устроились примерно так же, как у Дёрров, с той лишь разницей, что теперь они жили на четвертом этаже и, вместо причудливых башенок, могли любоваться живописными куполами церкви св. Михаила. Да, вид, которым они любовались из окна, был поистине великолепен — столько красоты, столько простора, что даже старая фрау Нимпч была поколеблена в своих привычках и порешила отныне не только сидеть на скамеечке у огня, но и подсаживаться в солнечную погоду к открытому окну, для чего Лена нарочно пристроила под окном ступеньку. Все это очень пошло на пользу старушке, у ней даже здоровье стало лучше, так что после перемены квартиры она куда меньше страдала от колотья — и не сравнить с Дёрровым домиком, который, хоть и расположен был в чрезвычайно поэтическом уголке, но, по сути, мало чем отличался от погреба.

Кстати, не проходило и недели, чтобы на набережную не притащилась в такую даль фрау Дёрр, с единственной целью — «посмотреть, как они тут». По обычаю всех берлинских женщин, она говорила во время этих посещений исключительно о своем муже, причем всякий раз таким тоном, будто ее замужество представляет собой самый вопиющий мезальянс и вообще необъяснимо ни с какой точки зрения. На деле же оно ее вполне устраивало, и не только устраивало: фрау Дёрр даже была довольна, что муж именно таков, каков он есть. Его недостатки шли ей на пользу — во-первых, благодаря Дёрру она богатела день ото дня, а во-вторых — что было для нее не менее важно — могла, ничем не рискуя, потешаться над старым скрягой и попрекать его скупостью. Итак, Дёрр служил основной темой разговоров, и если Лена была не у Гольдштейнов или еще где-нибудь, она от всего сердца смеялась, ибо с момента переселения она, как и старая фрау Нимпч, тоже воспрянула духом. Переезд, покупки, устройство на новом месте, как и следовало ожидать, отвлекли ее от прежних мыслей. Еще важнее было для ее спо-

койствия и здоровья, что она не опасалась отныне встречи с Бото. Кто, в самом деле, бывает на этой набережной? Бото — тот наверняка нет. Все это, вместе взятое, помогало ей казаться относительно свежей и бодрой, только одна внешняя примета напоминала теперь о минувших бурях: голову ее пересекала седая прядь. Матушка Нимпч таких вещей не замечала или замечала, но не придавала значения, зато фрау Дёрр, которая по-своему очень даже следила за модой и прежде всего донельзя гордилась своей — настоящей — косой, тотчас углядела седую прядь и сказала:

— Ленушка, Исусе Христе... Да еще где... как на грех, слева... Хотя чего удивляться... Так и есть... слева ей и след быть.

Беседа происходила вскоре после переезда. В остальном же здесь не поминали ни Бото, ни вообще прошлое, чему нетрудно было найти объяснение, ибо Лена, едва разговор обращался к этой теме, тотчас резко прерывала его или попросту выходила из комнаты. Когда это повторилось раз, и другой, и третий, фрау Дёрр смекнула, в чем дело, и впредь уже не заводила речи о предметах, о которых здесь не хотели ни говорить, ни слышать. Так продолжалось целый год, а когда год миновал, прибавилась и еще одна причина, по которой было бы неблагоприятно ворошить старые дела. Дело в том, что рядом с Нимпчами, точнее сказать — через стену, поселился новый жилец, поначалу просто заинтересованный в добрососедских отношениях, но по прошествии некоторого времени обещавший стать больше чем соседом. Он приходил к ним каждый вечер, говорил о том о сем, так что порой невольно вспоминались те времена, когда у Нимпчей сиживал на своем табурете старый Дёрр с трубкой в зубах, разве что новый сосед мало чем походил на Дёрра; он был очень порядочный и образованный человек, с манерами пусть не изысканными, но вполне приличными, превосходный собеседник, и если во время его посещений Лена была дома, он рассказывал о всяких городских новостях, о школах, газовых установках, канализации, а иногда — о своих путешествиях. Если сосед приходил в отсутствие Лены, он и этим не огорчался, играл со старушкой в карты либо в шашки, а то даже помогал раскладывать пасьянс, хотя вообще-то карты презирал. Ибо человек этот был сектантом и, после того как не без успеха подвизался сперва у менонитов и затем у ирвингианцев, просто-напросто основал собственную секту.

Легко можно себе представить, что все эти обстоятельства возбуждали безумное любопытство фрау Дёрр, и та не уставала задавать вопросы и делать намеки, но лишь тогда, когда Лена хозяйничала на кухне или уезжала в город.

— Госпожа Нимпч, дорогушенька, расскажите-ка, что он за человек. Я в адресный календарь заглядывала — его имени там пока нет, да ведь у Дёрра вечно календарь с летошнего года. Его Франке звать; так ведь?

— Франке.

— Франке... Франке жил когда-то на Омгассе, бочар, одноглазый; вернее сказать, другой глаз у него тоже был, да весь белый, не глаз, а рыбий пузырь. Думаете — отчего? Обод сорвался, когда он его гнул, и концом прямо в глаз. Вот отчего. Уж не из тех ли и ваш?

— Нет, госпожа Дёрр, он не из тех, он вообще из Бремена.

— Ах, из Бремена. Ну, тогда мне все понятно.

Фрау Нимпч одобрительно кивнула и, не требуя от приятельницы дальнейших объяснений по поводу того, что именно ей понятно, продолжала:

— Ну, а от Бремена до Америки всего две недели езды. Чего он только не перепробовал — и жестянщиком был, и слесарем или кем-то там по машинной части, потом видит, что проку мало, взял да и заделался лекарем, разъезжал повсюду с уймой маленьких скляночек и проповедовал заодно. Проповеди у него получались очень хорошие, и его пригласили на работу эти, как их... опять забыла. Ну такие, верующие и очень приличные люди.

— Господи Иисусе! — взвилась фрау Дёрр. — А он часом не из тех... Ну, как их называют-то... у них еще по многу жен бывает, у кого шесть, у кого семь, у кого больше... Ума не приложу, на что им такая прорва жен...

Тема была как на заказ для фрау Дёрр, но старушка быстро успокоила приятельницу:

— Нет, нет, дорогая, все не так. Я поначалу и сама так думала, а он засмеялся и говорит: «Боже избави, госпожа Нимпч, боже избави. Я холостяк. А если я надумаю жениться, одной мне за глаза хватит».

— Ну, слава богу, как гора с плеч, — сказала фрау Дёрр. — А потом что было? В Америке-то?

— А потом все было хорошо, через малое время ему помогли. Эти, сектанты, они все такие, они друг друга в беде не оставят. У него и заказчики объявились, и он

снова занялся старым ремеслом. Он и до сих пор тем же занимается и работает на большой фабрике, что по Кёпникерштрассе, они делают трубы, небольшие такие, и горелки, и краны, и все, что нужно для газа. А он у них старшим, ну вроде надсмотрщика или десятника, у него душ сто под началом. И такой приличный человек, носит цилиндр, черные перчатки. Зарабатывает он тоже неплохо.

— Ну, а Лена?

— Лена, Лена! Она вроде не прочь. И то сказать, чем он плох? Одна беда: не умеет она держать язык за зубами, и если он заведет с ней разговор, она сразу ему все и выложит, все старые истории, сперва про Кульвейна (с Кульвейном — это такая давняя история, будто ее и во все не было), а потом про барона. А Франке, надобно вам знать, человек приличный и благородный. Почти что дворянин, если вникнуть.

— Надо ее отговорить. Зачем ему все знать? Ей-богу, незачем. Мы ведь тоже не все знаем.

— Ваша правда. Да ведь поди докажи ей!

Глава восемнадцатая

Шел июнь семьдесят восьмого года. Госпожа фон Ринекер и госпожа фон Селлентин провели май в гостях у молодой четы, в результате чего матушка и свекровь, с каждым днем все больше уговаривавшие себя, что их Кете нынче выглядит много бледней, малокровней и угнетеннее, чем обычно, настояли на консультации врача-специалиста, который после весьма дорогостоящих гинекологических исследований предписал, как нетрудно догадаться, совершенно необходимый для больной четырехнедельный курс лечения на Шлангенбадских водах. В дальнейшем же весьма показано лечение в Швальбахе. Кете поначалу смеялась, не желала и слышать ни о каких курсах лечения, особенно в Шлангенбаде — само-де название внушает ей ужас, ибо происходит от слова «змея», и она уже чувствует жало гадюки у себя на груди, но потом смирилась и отдалась дорожным сборам с искренним удовольствием, во многом превосходившим все те радости, каких она ожидала от пребывания на водах. Она каждодневно ездила в город за покупками и без усталости твердила, что лишь теперь начала понимать увлечение английских дам процедурой «shopping»: бродить из магазина в магазин, находя по-

всюду прелестные вещички и учтивых людей — это поистине наслаждение — и вдобавок весьма поучительное, ибо встречаешь так много незнакомого прежде, незнакомого даже по названию. Бото обычно принимал участие во всех этих выездах и походах, и не успел еще миновать июнь, как половина Ринкеровой квартиры превратилась в миниатюрную выставку путевых принадлежностей: огромный чемодан, окантованный бронзовыми полосками и не без оснований нареченный с легкой руки Бото гробницей ринкеровского состояния, возглавлял этот обширный хоровод, за ним следовали два чемодана свиной кожи, поменьше первого, далее сумки, пледы и подушки, а на софе были разостланы все дорожные туалеты, причем сверху помещался плащ и пара великолепных сапог со шнуровкой и толстыми подметками, словно речь шла по меньшей мере о восхождении на ледник. Был назначен срок отъезда — иванов день, двадцать четвертое июня, а накануне, по желанию Кете, в последний раз собрался ее *cercle intime*¹, для чего на весьма ранний час были приглашены Веделъ, один из молодых Остенов, разумеется, Серж с Питтом и, наконец, любимец Кете, Балафре, который еще в бытность свою хальберштадтским кирасиром принимал участие в знаменитой кавалерийской атаке при Марлятур, где и получил классический удар, раскесший ему лоб и щеку, а впоследствии принесший ему прозвище Балафре — меченый.

Кете сидела между Веделем и Балафре, и по ее виду никак нельзя было сказать, что она нуждается в лечении, все равно каком. На щеках у нее играл румянец, она непрерывно смеялась, задавала сотни вопросов, а когда спрошенный начинал отвечать, довольствовалась первыми двумя словами. Собственно, говорила все время одна Кете, но этим никто не тяготился, ибо она в высшей степени владела искусством вести приятную беседу ни о чем. Балафре спросил ее, как она представляет себе свое пребывание на курорте. Шлангенбад-де славится не только своими целебными источниками, но — в еще большей мере — своей скукой, а четыре недели курортной скуки нелегко вынести даже при самых благоприятных обстоятельствах.

— Ах, дорогой Балафре, — отвечала Кете, — вы уж лучше не запугивайте меня. Впрочем, вы и не станете этого делать, когда узнаете, как много порадел для меня Бото. Он уложил в мой чемодан, правда на самое дно, восемь

¹ Интимный кружок (*франц.*).

томов повестей, а чтобы не возбуждать мое воображение в ущерб предписанному врачом курсу, добавил еще брошюру о разведении рыбы искусственным путем.

Балафре расхохотался.

— Да, дорогой друг, вы уже смеетесь, но вам известна лишь часть дела. Главное же — в мотивировке (ибо Бото ничего не делает без причины). Разумеется, когда я говорила, что мне показано чтение научных брошюр, чтобы успокоить воображение, это было лишь шуткой, истина же заключается в том, что я *обязана* читать подобные вещи и, следовательно, брошюру о рыбоводстве из чувства патриотизма, поскольку Неймарк, наша с ним дорогая родина, уже много лет славится как родоначальник искусственного разведения рыбы, и ежели я не просвещусь относительно столь важного для нас экономического фактора, мне лучше впредь не показываться на том берегу Одера, а пуще того — в Бернойхене, у моего кузена Борне.

Бото пытался что-то вставить, но Кете беспощадно подавила эти попытки:

— Знаю, знаю, ты хочешь сказать, что, по крайней мере, предложил мне на всякий случай восемь томов развлекательного чтения. Как же, как же, ты всегда был очень предусмотрителен. Но я надеюсь, что этот случай так и не представится. Дело в том, что вчера я получила письмо от своей сестренки Ине, и она пишет мне, что в Шлангенбаде вот уже неделю лечится Анна Гревениц. Вы должны ее знать, Ведель, она урожденная Рор, прелестная блондинка, мы вместе с ней были в пансионе у старой Цюлов и даже в одном классе. Помнится, мы с ней вместе обожали Феликса Бахмана и даже стихи сочиняли в его честь, покуда наша добрая старая Цюлов о том не проведала и не приказала выбросить из головы подобные шутки. По словам Ине, туда может приехать еще и Элли Винтерфельд. А теперь я вас спрошу, дорогой Балафре: неужели в обществе двух очаровательных молодых дам, — а я там буду третья, пусть даже не идущая ни в какое сравнение с первыми двумя, — неужели в таком прекрасном обществе нельзя жить? Как вы полагаете, дорогой Балафре?

Балафре отвесил почтительнейший поклон, преувеличенной мимикой подтвердив полное свое согласие со всем вышесказанным, за исключением разве слов Кете о том, что она может хоть кому-то хоть в чем-то уступить, после чего возобновил придиричивый экзамен:

— Божественная, я хотел бы услышать подробности... Ибо мелочи, я бы сказал — минуты, определяют наше счастье и горе. А в сутках так много минут.

— Ну, я представляю это себе так: поутру письма. Затем музыка в курзале, затем прогулка с обеими дамами — желательно в уединенной аллее. Там мы присядем и прочитаем друг другу письма, которые, я надеюсь, мы получим. Если он напишет что-нибудь ласковое, мы будем улыбаться и говорить: «Ах, ах». Потом ванна, после ванны надлежит заняться туалетом, с тщанием и любовью, как вы понимаете, а это занятие в Шлангенбаде едва ли доставляет меньше удовольствия, чем в Берлине. Скорей наоборот. Затем табльдот, где справа от нас будет сидеть седовласый генерал, а слева — богатый фабрикант, к фабрикантам же я с детства питаю слабость. Слабость, которой не стыжусь. Ибо все они либо изобрели какую-нибудь броню, либо проложили подводный кабель под океаном, либо прорыли туннель, либо построили подвесную дорогу. К тому же — и это отнюдь не вызывает у меня презрения — они очень богаты. После обеда — чтение и кофе в комнате со спущенными жалюзи, чтоб на газетном листе отражались тени и свет. Затем прогулка. Если повезет, к нам присоединятся еще два-три кавалера из Майнца или Франкфурта и будут скакать подле нашей кареты, а я должна вам признаться, господа, что с гусарами, все равно — голубыми или красными, вы не идете ни в какое сравнение; на мой просвещенный взгляд, было и будет серьезной ошибкой, что число гвардейских драгун удвоили, а гусар оставили сколько есть. Еще того нелепее, что они до сих пор томятся в провинции. Такой изысканный род войск должен украшать столицу.

Бото, слегка угнетенный необычайным красноречием своей супруги, несколько раз пытался перебить ее. Но гости были настроены далеко не столь критически, напротив, они более чем когда-либо восторгались его «очаровательной женушкой». Балафре, по праву занимавший первое место среди почитателей Кете, сказал:

— Ринекер, если вы еще раз посмеете пререкаться со своей женой, готовьтесь к смерти. Милостивая государыня, чего хочет от вас это чудовище? Почему он брюзжит? Ума не приложу. Невольно напрашивается мысль, что вы задели его за живое как представителя тяжелой кавалерии, и — прошу мне простить неудачную острогу — он становится на дыбы, потому что оскорблена его лошадь. За-

клинаю вас, Ринекер! Будь у меня такая жена, для меня каждая ее прихоть была бы равносильна приказанию, и если бы госпожа баронесса пожелала видеть меня гусаром, я перешел бы в гусары, не мешкая ни секунды. В одном я убежден и готов голову прозакладывать: если бы его величеству довелось услышать столь красноречивый призыв, у гвардейских гусар окончилась бы спокойная жизнь, уже завтра их расквартировали бы на ночлег в Целендорфе, а послезавтра они бы торжественно вошли в город через Бранденбургские ворота. О, этот дом Селлентинов! Пользуясь случаем, я за первым же бокалом трижды провозглашу здравицу в его честь. Ах, баронесса, почему у вас больше нет сестер? Почему фрейлейн Ине уже помолвлена? В таком юном возрасте? Чтобы досадить мне?

Кете упивалась этими славословиями и обещала Балафре, коль скоро Ине безвозвратно для него потеряна, сделать, со своей стороны, все от нее зависящее для его счастья, хотя совершенно ясно, что это говорится для красного словца и что на деле он неисправимый холостяк. Далее она перестала поддразнивать Балафре и возобновила рассказ о предстоящем путешествии, причем всего подробней — о том, как она мыслит себе свою переписку. Итак, она надеется каждый день получать по письму, ибо это священная обязанность заботливого супруга, но и сама она не останется в долгу и в первый же день намерена посылать весточку с каждой остановки. Это предложение вызвало восторг даже у Бото. Окончательно же идея Кете была утверждена в таком виде: она действительно будет писать по открытке на каждой станции, до самого Кельна, через который собирается ехать, хотя это и не совсем по дороге, но затем она сунет все открытки, как бы много — или как бы мало — их ни было, в общий конверт, что даст ей возможность описывать своих спутников, не опасаясь нескромности почтовых чиновников и письмоношцев.

После обеда подали кофе на балконе, причем Кете, поломавшись немного, дала себя уговорить и появилась в дорожном костюме, состоящем из шляпы а-ля Рембрандт и плаща, с сумкой через плечо. Выглядела она в этом наряде очаровательно, Балафре пришел в совершенный восторг и просил ее не слишком удивляться, если завтра утром, открыв дверь своего купе, она увидит робко забившегося в угол кавалера.

— При условии, что он получит увольнительную, — засмеялся Питт.

— Или дезертирует,— добавил Серж,— ибо лишь тогда он докажет свою готовность на любые жертвы.

Еще несколько минут прошло в непринужденной болтовне, затем гости распрощались с любезными хозяевами и ушли, порешив путь до Лютцовплацбрюке проделать совместно. Здесь они разбились на две группы, и в то время как Балафре, Ведель и Остен продолжали свой путь вдоль канала, Питт и Серж, намеревавшиеся зайти к Кроллю, повернули в сторону Тиргартена.

— Что за прелесть эта Кете,— сказал Серж.— Ринекер рядом с ней выглядит донельзя прозаично, а порой таким занудным брюзгой, словно он стыдится перед всем светом за свою маленькую жену, которая, между нами говоря, много его умней.

Питт промолчал.

— И что ей могло понадобиться в Шлангенбаде или Швальбахе? — продолжал Серж.— Шлангенбад никому не помогает, а если и помогает, то помощь эта бывает престранного рода.

Питт искоса поглядел на него.

— По-моему, Серж, ты вконец обрусел или, другими словами, все больше оправдываешь свое имя.

— И однако ж до сих пор не оправдал. Но шутки в сторону, я говорю серьезно: Ринекер меня бесит. Скажи на милость, чем ему не угодила его прелестная маленькая жена? Ты случайно не знаешь?

— Знаю.

— Чем?

— She is rather a little silly, или, если желаешь, могу перевести: она малость глуповата. А на *его* вкус даже слишком.

Глава девятнадцатая

На перегоне между Берлином и Потсдамом Кете задернула желтые занавески для защиты от разгорающихся все ярче лучей солнца, а на набережной Луизен-канала в этот день вообще не закрывали окон, и утреннее солнце заглядывало к фрау Нимпч, озаряя всю комнату. Лишь дальняя ее часть еще пряталась в тени. Здесь стояла старомодная кровать с горой подушек в бело-красных клетчатых наволочках, а на подушки откинулась фрау Нимпч. Она скорей сидела, чем лежала, потому что в груди у ней была водянка и ее жестоко мучили приступы удушья.

Снова и снова поворачивала она голову к распахнутому окну, но того чаще глядела на камин, в котором сегодня не развели огня.

Лена сидела рядом с ней и держала ее за руку. Заметив, что взгляд старушки то и дело обращается к очагу, она спросила:

— Развести огонь? Я думала, раз ты лежишь, и в постели тепло, и на дворе такая жарынь...

Старушка не отвечала, но Лене показалось, что она была бы этому рада. Лена подошла к камину и развела огонь.

Когда она вернулась на прежнее место, старушка встретила ее довольной улыбкой и сказала:

— Да, Ленушка, жара жарой, но ты ведь знаешь, мои глаза привыкли к огню. А когда я его не вижу, мне сразу думается, что всему конец, что нет больше ни жизни, ни света. А страх, он все время сидит вот здесь...

И она указала на свою грудь.

— Ах, мама, чуть что, ты уже думаешь о смерти. Сколько раз так бывало, и все обходилось, слава богу...

— Да, детка, сколько раз обходилось, а один раз не обойдется. Мне уже семьдесят, любой день можно ждать... Ты распахни окно пошире, чтоб воздуху было больше, тогда и огонь будет лучше гореть. Гляди, он и не горит толком, а все падает.

— Это из-за солнца, солнце стоит прямо над трубой.

— И дай-ка мне тех зеленых капель, что Дёрриха принесла. Хоть немножко, да помогут.

Лена послушалась, больная выпила капли, отчего ей и в самом деле будто полегчало. Опершись руками о постель, она села чуть повыше и, когда Лена сунула ей за спину еще одну подушку, спросила:

— Франке уже был сегодня?

— Был, рано утром. Он всегда заходит до работы, спрашивает.

— Очень хороший человек.

— Да, очень.

— А эти секты, они...

— ...Беды большой нет. Мне думается даже, хорошие правила у него как раз от секты. Как по-твоему?

Старушка улыбнулась.

— Нет, Ленушка, хорошие правила — это от господ бога. Одному бог их дает, другому — нет. Я не верю ни в обучение, ни в воспитанье... А тебе он еще ничего не сказал?

— Сказал. Вчера вечером.

— А ты ему что ответила?

— Я согласилась выйти за него, потому что считаю его порядочным и надежным человеком, который будет заботиться не только обо мне, но и о тебе.

Старушка одобритительно кивнула.

— Но тут,— продолжала Лена,— когда я ему это ответила, он взял меня за руку и весело так говорит: значит, дело слажено? А я покачала головой и сказала, что так быстро дело не делается, что мне надо ему кой в чем признаться. Он спросил в чем, и я ему рассказала, что два раза была в связи с мужчинами, первый раз... ну, ты и сама все знаешь... и что первый мне очень нравился, а второго я очень любила и до сих пор его из головы не выкинула. Но только он, второй-то, счастливо женился, и с тех пор я его ни разу не видела, если не считать одного-единственного разочка,— не видела и не хотела видеть. Но ему, Франке, за его хорошее отношение я хотела рассказать всю правду, потому что обманывать не приучена никого — а его и подавно...

— Господи Иисусе,— заохала старушка.

— И тогда он встал и ушел к себе. Но он не рассердился, право слово, я видела, что он не рассердился. Он только не позволил мне провожать его до передней, как обычно.

Фрау Нимпч пришла в тревожное возбуждение, хотя трудно было понять, чем оно вызвано — рассказом Лены или удущьем. Скорее вторым, ибо она вдруг сказала:

— Доченька, что-то я низко лежу. Подложи-ка мне под голову молитвенник.

Лена не перечила, встала и пошла за молитвенником. Но когда она принесла его, старушка сказала:

— Не этот, не этот. Этот новый, а я хочу старый, с двумя застежками, он потолще.— И, лишь когда Лена выполнила ее просьбу, продолжала: — Я этот молитвенник еще матери своей, покойнице, подавала. Я почти девочка была, маме едва пятьдесят сравнялось, а может, и того нет, вот она так же сидела и задыхалась, а глаза — большие от страха, прямо в душу тебе смотрят. Но как я притащила ей молитвенник — он у ней был еще с конфирмации — да подложила под голову, она застыла сразу и спокойненько так уснула. Вот бы и мне так. Ах, Ленушка, Ленушка. Не смерти боюсь, помирать страшно... Так, так... Вроде и лучше.

Лена тихо плакала. Понимая, что пробил последний час доброй старушки, она послала за фрау Дёрр и велела передать, что дело очень плохо, так не придет ли фрау Дёрр к ним. Та немедля ответствовала: «Само собой, приду» — и часу в шестом заявила с шумом и гамом, ибо соблюдать тишину, даже у постели тяжелобольного, было выше ее сил. Она так топала по комнате, что все, лежащее на камине и подле него, запрыгало и задребезжало, попутно она укоряла Дёрра, что вот его где-то черти носят, когда он так нужен, зато когда она охотно послала бы его ко всем чертям, он, как назло, торчит дома. Заодно она пожала руку матушке Нимпч и спросила Лену, давала ли она больной тех капель.

— Давала.

— По сколько?

— По пять, каждые два часа.

— Мало, — сообщила ей Дёрр и, собрав воедино все свои медицинские познания, пояснила, что, мол, две недели настаивала эти капли на солнце, и ежели их принимать сколько положено, воду всю откачает как все равно насосом. Старый Зельке, который возле Зоологического живет, раздулся, помнится, что твоя бочка, и полгода уже простыни не видел, все сидел на стуле, окна настезь, а потом четыре дня попил тех капель — и все равно как на пузырь надавили: никакой воды, огурчик огурчиком.

С этими словами энергичная особа закатила фрау Нимпч двойную порцию наперстянки.

Наблюдая бурную деятельность фрау Дёрр, Лена испытала — и не без оснований — удвоенный прилив страха, а потому накинула платок и собралась бежать за доктором. Фрау Дёрр, в обычное время ярая противница докторов, на сей раз не стала спорить.

— Ступай, — сказала она. — Ей долго не продержаться. Глянь-ка сюда (она указала на крылья носа) — вот она где, смерть-то, притаилась.

Лена ушла, но не достигла еще и площади св. Михаила, как старушка, лежавшая до того в забытии, выпрямилась и окликнула ее: «Лена!»

— Нет Лены.

— Кто здесь?

— Это я, матушка Нимпч, я, госпожа Дёрр.

— Госпожа Дёрр? Вот это хорошо. Поближе. На скамеечку.

Фрау Дёрр, не приученная повиноваться, вся передер-

нулась, но, будучи существом добродушным, выполнила приказание и села на скамеечку.

И смотри-ка — в ту же минуту старушка заговорила:

— Я хочу желтый гроб с голубой обивкой. Но не очень много обивки.

— Ладно, госпожа Нимпч.

— И еще я хочу лежать на новом кладбище святого Иакова, за «Роллькругом», поближе к Бритцу.

— Ладно, госпожа Нимпч.

— Я деньги-то скопила, еще в ту пору, когда могла копить. Они в верхнем ящике. Там и рубашка смертная, и кофта, и пара белых чулок с вышитой меткой. А под ними деньги.

— Ладно, госпожа Нимпч. Все будет, как вы хотите. Еще что попросите?

Но старушка, должно быть, уже не расслышала вопроса ффрау Дёрр, ибо, ничего не ответив, молитвенно сложила руки, возвела глаза к небу с выражением любви и набожности и сказала:

— Боже милостивый, возьми ее под свою опеку и зачти ей все, что она сделала для меня.

— А, вы про Лену, — пробормотала ффрау Дёрр себе под нос. — Бог ее не оставит, госпожа Нимпч, — сказала она старушке. — Я его хорошо знаю, да и не доводилось мне покуда видеть, чтобы такие девушки, как Лена, с таким сердцем и такими руками, пропадали зазря.

Ффрау Нимпч кивнула, и милый облик дочери явственно встал перед ее глазами.

Текли минуты, и когда Лена, воротясь, постучала в дверь коридора, ффрау Дёрр сидела в той же позе, на скамеечке и держала руку старой своей приятельницы. Лишь заслышав стук, она встала и отперла.

Лена все еще не могла отдышаться от быстрого бега.

— Сейчас придет... идет уже.

Но ффрау Дёрр только ответила:

— Уж какие там доктора, — и указала на мертвую.

Глава двадцатая

Свое первое письмо Кете, согласно уговору, отправила из Кельна, а в Берлин оно пришло на другое утро. Адрес был еще написан рукой Бото, и теперь он с довольной улыбкой и в самом радужном настроении взвешивал на руках объемистый конверт. Действительно, внутри ока-

зались три открытки, исписанные бледным карандашом с обеих сторон и очень мало разборчивые, так что Ринкер даже вышел на балкон, чтобы как-нибудь расшифровать эти каракули.

— Ну, Кете, посмотрим, посмотрим...

И он прочел:

«Бранденбург-на-Хавеле. 8 часов утра. Дорогой Бото! Поезд стоит здесь всего три минуты, но не пропадать же им даром, на худой конец продолжу, когда поедем дальше,— что-нибудь да получится. Я еду в одном купе с молодой и очаровательной супругой банкира, мадам Залингер, урожденная Залинг, из Вены. Когда я выразила свое удивление по поводу сходства имен, она, по-австрийски акая, мне объяснила: «Захотелось слегка удлинить фамилию». Она непрерывно изрекает подобные перлы и, несмотря на существование десятилетней дочери (дочь — блондинка, мать — брюнетка), тоже едет в Шлангенбад. И тоже через Кельн, чтобы, как и я, нанести кому-то попутный визит. Девочка неплохо сложена, но плохо воспитана и, прыгая с полки на полку, успела уже сломать мою парасольку, что повергло ее мать в величайшее смущение. Станция, где мы сейчас стоим, точнее — с которой трогаемся, полна военных, среди них бранденбургские кирасиры с желтым вензелем на аксельбанте, вероятно, Николаевский полк. Очень эффектно. Были там и стрелки Тридцать пятого полка, все малорослые, на мой вкус — даже слишком, хотя дядюшка Остен и любит утверждать, что лучший стрелок — это такой, которого нельзя увидеть невооруженным глазом. На этом кончаю. Девочка (увы! увы!) опять шныряет от одного окна к другому и мешает мне писать. К тому же она непрерывно жует пирожные, такие, знаешь, куски торта с вишнями и фисташками. Жевать она начала уже между Потсдамом и Вердером. А мать не умеет с ней сладить. Нет, я была бы строже».

Бото отложил в сторону первую открытку и попытался по возможности быстро пробежать глазами вторую. Вот ее содержание:

«Ганновер. 12 часов 30 минут. В Магдебурге к поезду пришел Гольц и сказал, что ты известил его письмом о моем приезде. Как мило с твоей стороны! Какой ты у меня хороший и внимательный! Гольц сейчас ведет межевые работы на Гарце, точнее — начнет с 1 июля. Поезд стоит в Ганновере пятнадцать минут, чем я и воспользовалась, чтобы осмотреть площадь, примыкающую к вокза-

лу: все сплошь отели и пивные бары, выстроенные уже после присоединения, один — совершенно в готическом стиле. Жители Ганновера — как рассказал мне кто-то из попутчиков — называют его «Прусский пивной храм», из чистой приверженности к Вельфской династии. Как это грустно! Но всемогущее время — оно и здесь многое сглаживает. Все в руке божьей. Девчонка жует без передышки, я даже начинаю тревожиться. К чему это может привести? Зато мать — само очарование и уже успела рассказать мне решительно все. Она была в Вюрцбурге у профессора Сканцони, от которого она без ума. Ее откровенность меня смущает, а порой даже тяготит. В остальном же она, повторяю еще раз, совершенно комильфотна. И, чтобы не быть голословной, — видел бы ты ее несессер. Да, Вена в таких вопросах выше нас на две головы, сразу видно страну древней культуры».

— Потрясающе, — рассмеялся Бото. — Когда Кете пускается в культурно-исторические рассуждения, она поистине неподражаема. Впрочем, бог троицу любит. Посмотрим третью.

И он взялся за третью открытку.

«*Кельн. 8 часов пополудни.* Комендатура. Лучше я еще здесь отнесу письмо на почту, чем ждать до Шлангенбада, где мы с фрау Залингер надеемся быть завтра в полдень. У меня все в порядке. Шроффенштейны очень приветливы, особенно он. Кстати, чтоб не забыть: за фрау Залингер приехала к вокзалу карета от Оппенгеймов. Путешествие наше, поначалу столь приятное, после Гамма стало и утомительным и неприятным. Девочка тяжело расхворалась, и все по вине матери. Мы едва миновали Гамм, как мать спросила ее: «Чего ты хочешь еще?» Девочка ответила: «Леденцов», и вот с этой минуты все стало просто ужасно... Ах, милый мой Бото, независимо от того, молоды мы или стары, наши желания постоянно требуют строгого и добросовестного контроля. Эта мысль преследует меня неотступно, и, может быть, встреча с этой милой женщиной не случайно послана мне богом. Клухун тоже не раз высказывал эту мысль, и он был прав. Завтра напишу подробней.

Твоя Кете».

Бото снова сунул в конверт все три открытки и сказал:

— Кете верна себе! Какой дар говорить ни о чем! Я должен бы, в сущности, радоваться, что она пишет именно так, а не иначе. Но чего-то здесь недостает. Все

так поверхностно, все лишь отголосок светской болтовни. Впрочем, она переменится, когда у нее появятся обязанности. Да, может быть, переменится. Я, во всяком случае, хочу надеяться.

Через день пришло короткое письмо из Шлангенбада, значительно менее подробное, чем предыдущие три открытки, и с этого времени она начала писать по два раза в неделю, рассказывала про Анну Гревениц и в самом деле приехавшую Элли Винтерфельд, но более всего про мадам Залингер и прелестную маленькую Сару. Сперва Кете повторяла уже ранее высказанные мысли, и лишь на исходе третьей недели появились новые нотки: «Сейчас мне девочка кажется куда симпатичнее, чем мать. Последняя кичится немыслимой роскошью туалетов, на мой взгляд даже неуместной, тем более что здесь нет мужчин. Кроме того, я обнаружила, что она подмазывается — подводит брови, а может, и губы — они у нее ярко-пунцовые. Девочка же очень естественна. Завидев меня, всякий раз бросается ко мне, целует мне руку и в сотый раз просит извинить ее из-за пресловутых леденцов, «это все мама виновата», в чем я не могу с ней не согласиться. И однако ж в этом ребенке заложена поистине непостижимая страсть к лакомствам; я бы даже сказала — что-то от первородного греха (ты веришь в первородный грех? Я верю, мой дорогой), ибо она не может равнодушно видеть сладости и вечно покупает себе облатки, не берлинские, те похожи вкусом на крендельки с кремом, а карлсбадские, с сахарной пудрой. Но на сегодня довольно. Когда я снова тебя увижу, чего уже недолго ждать — потому что мне очень хотелось бы уехать вместе с Анной Гревениц, чтобы до конца быть среди своих, — мы поговорим об этом подробнее, да и о многом другом тоже. Ах, как я буду рада снова увидеть тебя и посидеть с тобой на балконе! Что ни говори, а в Берлине лучше всего, да еще когда солнце опускается за Шарлоттенбург и Груневальд, и размечаешься, и такая найдет усталость — ах, как это прекрасно! Ты согласен? Кстати, знаешь, что фрау Залингер сказала мне третьего дня? Что у меня волосы стали еще светлей, вот что она сказала. Впрочем, сам увидишь. Как всегда,

твоя Кете».

Ринекер кивнул и рассмеялся. «Очаровательная женщина. О лечении ни звука. Бьюсь об заклад, она ездит гулять и до сих пор и десяти ванн не приняла».

После этого непродолжительного монолога он дал указания вошедшему лакею и пошел через Тиргартен и Бранденбургские ворота сперва вниз по Линденштрассе, а оттуда к казарме, где дела службы задержали его до полудня.

Когда он, вскоре после двенадцати, снова вернулся домой и, перекусив, вознамерился ненадолго предаться кей-фу, вошел лакей и доложил, что «некий господин... один человек (он явно был в затруднении касательно титула) хотел бы поговорить с господином бароном».

— Какой господин?

— Гидеон Франке... Он так назвался.

— Франке? Странно. Впервые слышу. Ну, проси.

Лакей ушел, а Бото продолжал размышлять:

«Франке?.. Гидеон Франке... Впервые слышу. Не знаю никакого Франке».

Мгновение спустя вошел незнакомый господин и у дверей поклонился несколько принужденно. На нем был темно-коричневый, наглухо застегнутый сюртук, чересчур блестящие сапоги, блестящие же черные волосы плотно закрывали виски. Завершали туалет черные перчатки и высокий стоячий воротничок безукоризненной белизны.

Бото поспешил навстречу гостю и с присущей ему изысканной учтивостью осведомился:

— Господин Франке?

Вошедший кивнул.

— Чем могу служить? Садитесь, прошу вас. Сюда... Или, пожалуй, сюда. Мягкие стулья — не самая удобная мебель.

Франке улыбнулся в знак согласия и сел на плетеный стул, предложенный хозяином.

— Чем могу служить? — повторил Ринекер.

— У меня к вам вопрос, господин барон...

— На который я отвечу с величайшим удовольствием, если это, разумеется, в моих возможностях.

— О, вполне в ваших и только в ваших, господин барон... Я побеспокоил вас ради Лены Нимпч...

Бото вздрогнул.

— ...и хотел бы предварить вас с самого начала, что причина моего визита никак не может смутить вас. Все, что я намерен сказать и — с вашего разрешения — спросить, не доставит вам, господин барон, и вашему дому никакой неприятности. Я наслышан об отъезде госпожи ба-

ронессы, вашей супруги. Я с умыслом ждал, пока вы останетесь в одиночестве или — если мне позволено будет так выразиться — соломенным вдовцом.

Чуткое ухо Бото тотчас распознало в говорившем человека широких взглядов и безупречных убеждений, несмотря на мещанское обличье. Это открытие помогло Бото избавиться от смущения, и, когда он задавал встречный вопрос, к нему уже вернулась обычная выдержка и спокойствие:

— Вы не родственник ли Лены? Извините, господин Франке, что я так запросто называю свою старую приятельницу дорогим для меня именем.

Франке поклонился и отвечал:

— Нет, господин барон. Я ей не родственник. Этого оправдания у меня нет. Но мое оправдание навряд ли хуже. Я знаю Лену более года и собираюсь жениться на ней. Она дала мне согласие, но во время нашего разговора рассказала о своей прошлой жизни, причем с такой любовью говорила о вас, что я тотчас положил непременно повидаться с вами, господин барон, и без околичностей спросить у вас, как было дело. Сама же Лена, когда я сообщил ей о своем намерении, одобрила его с очевидной радостью, однако ж не преминула заметить, что советует мне все-таки воздержаться, ибо вы будете говорить о ней лучше, чем она того заслуживает.

Бото отвел глаза, он с трудом подавлял сердечное волнение. Наконец, овладев собой, он проговорил:

— Господин Франке, вы порядочный человек и, сколько я вижу и слышу, желаете Лене счастья. Это дает вам право на самый честный, прямой ответ. Что именно я должен вам сказать, уже ясно, не ясно только, как это сказать. Пожалуй, лучше всего, я расскажу по порядку, как все началось, как шло и как окончилось.

Франке еще раз поклонился в знак того, что и он, со своей стороны, считает этот способ наилучшим.

— Итак, — начал Ринекер, — скоро минет два года, а может, уже пошел третий с тех пор, как мне, когда я объезжал на лодке трептовский Остров любви, представился случай оказать услугу двум молодым девушкам, чья лодка чуть не опрокинулась. Одна из этих девушек была Лена, и по тому, как она меня поблагодарила, я сразу увидел, что она непохожа на других. Никаких ужимок — ни тогда, ни позже, что я особо желал бы подчеркнуть.

Ибо хотя порой она бывает весела, я бы даже сказал — безудержно весела, по натуре она человек серьезный, думающий и простой.

Бото машинально отодвинул в сторону еще не убранный поднос, разгладил скатерть и продолжал:

— Я просил разрешения проводить ее домой. Она тотчас согласилась, что меня, надобно вам сказать, несколько ошеломило, ибо тогда я еще не знал ее. Однако весьма скоро я понял, в чем секрет: Лена с детства привыкла действовать по своему усмотрению, не заботясь о мнении окружающих или, во всяком случае, не опасаясь их суда.

Франке кивнул.

— Итак, мы вместе отправились в этот долгий путь. Я проводил ее до самого дома, я был восхищен всем, что увидел, — старушка Нимпч, огонь в камельке, перед которым она сидела, домик в глубине сада, уединенность, тишина. Посидев с четверть часа, я ушел и, когда мы прощались у калитки, спросил Лену, нельзя ли мне прийти еще раз, на что Лена сразу ответила: «Можно». Ни тени ложной стыдливости и, однако же, ничего неженственного. Напротив, и голос ее, и вся она показалась мне такой нежной и трогательной...

Взволнованный своим рассказом, Ринекер встал, подошел к балконной двери и распахнул обе створки, словно ему стало жарко. Потом он принялся расхаживать по комнате и так, на ходу, торопливо закончил свое повествование:

— Вот, собственно говоря, и все, что я хотел сказать. Было это на пасху, мы оба провели счастливейшее лето. Стоит ли о нем рассказывать? Думаю, нет. А потом жизнь заявила о себе, житейские требования, житейская проза. Вот что нас разлучило.

Бото снова сел, и тогда Франке, занятый упорным разглаживанием собственной шляпы, спокойно сказал:

— Да, так и она мне говорила.

— Иначе быть не могло, господин Франке. Ибо Лена — я от души рад, что могу это сказать, — Лена никогда не лжет и скорее откусит себе язык, чем покривит душой. У нее двойная гордость — во-первых, она гордится, что может жить трудом своих рук, а во-вторых, что прямо все выкладывает, без обиняков и околичностей, не преувеличивая и не преуменьшая. «Мне это ни к чему, я этого не хочу», — сколько раз она при мне так говорила. Да, у нее есть собственная воля, пожалуй, чуть больше, чем нужно,

и если бы кто вознамерился ее упрекнуть, тот мог бы сказать, что она своевольна. Но она хочет лишь того, за что, как ей кажется, может нести ответственность, — и это не заблуждение, она действительно может, а такая воля, на мой взгляд, больше говорит о наличии характера, нежели чрезмерная рассудочность. Вы кивнули, я вижу, вы разделяете мое мнение, чему я искренне рад. И последнее, господин Франке: что было, то было. И если вы не можете переступить через это, не мне вас судить. Но если можете, тогда позвольте сказать, что вам достанется замечательная жена, у которой сердце там, где надо, которая высоко чтит долг, порядок и право.

— Я и сам того же мнения и — в точности как вы сказали, господин барон, — надеюсь обрести в ней замечательную жену. Соблюдать заповеди надо, их надо соблюдать все до единой, но сами по себе они не одинаковы, и кто нарушил одну из них, может оставаться хорошим человеком, а кто нарушил другую, хотя бы они стояли рядышком в катехизисе, тот человек пропащий, никуда не годится и будет исторгнут из милосердия божьего.

Бото с удивлением поглядел на Франке, будучи в нерешительности, как воспринимать эти торжественные слова. Но Гидеон Франке уже сел на своего конька, а потому не тревожился о том, какое впечатление производят на собеседника его доморощенные взгляды, и продолжал тоном, все более смахивающим на тон проповедника:

— Кто, вняв голосу слабой плоти, нарушит шестую заповедь, того можно простить, ежели он полон раскаяния и вернулся на стезю добродетели, кто же седьмую нарушит, тот не только слабости плотской подвержен, но и низости душевной исполнен, а кто крадет, и клеветает, и лжесвидетельствует, тот испорчен до мозга костей, тот есть исчадие тьмы, и нет ему спасения, ибо он подобен пашне, где семена плевелов на такой глубине залегли, что снова и снова пробьются к свету, как ни засевай пашню добрым зерном. Вот чем я жив, вот с чем встречу смертный час, вот что я постиг за дни жизни своей. Да, господин барон, чистота, порядок, честность — вот без чего нельзя обойтись, и в супружеской жизни тоже. Ибо честность все превозможет, нельзя без доверия, и без правды тоже нельзя. Что было, то было, бог тому судья. А полагай я о том иначе — ведь и такие взгляды достойны уважения, как вы и сами, господин барон, полагаете, — мне надо отойти в сторонку и не мечтать о счастье, о душевной склонности и

любви. Я долго жил в Штатах. Там, как и у нас, не все то золото, что блестит, но зато там приучаешься смотреть на мир другими глазами и не всякий раз через одно стекло. Там учишься, что к спасению ведет много путей и к счастью не меньше. Да, господин барон, к богу не один путь и к счастью не один — вот что я постиг в сердце своем. Один путь хорош, и другой — не хуже. Но всякий хороший путь должен быть прямым путем, открытым солнцу, а не вести через топи и хляби и не уводить в сторону. Истина — вот что главное, и порядочность, и честность.

С этими словами Франке поднялся, и Бото любезно проводил его до дверей и подал ему руку.

— На прощанье позвольте затруднить вас просьбой, господин Франке; передайте от меня привет госпоже Дёрр, если вы с ней встречаетесь и старая дружба не прервана, а главное, мой поклон доброй старой госпоже Нимпч. Как ее подагра и прочие «болести», на которые она так часто жаловалась?

— С этим покончено.

— Как так?

— Мы похоронили ее три недели назад. Да, сегодня будет как раз три недели.

— Похоронили? Где?

— За «Роллькругом», на новом кладбище при церкви святого Иакова... Добрая была старушка. И в Лене души не чаяла. Да, господин барон, матушка Нимпч умерла. Зато госпожа Дёрр (и он рассмеялся) живехонька и, пожалуй, переживет нас всех. Когда она придет, — путь-то неблизкий, — я передам ей ваш привет и заранее представляю себе, как она обрадуется. Вы ведь хорошо ее знаете, господин барон. Да, госпожа Дёрр, госпожа Дёрр...

Гидеон Франке еще раз приподнял шляпу, и дверь за ним захлопнулась.

Глава двадцать первая

Многое перевернулось в душе у Ринекера после этой встречи и услышанных напоследок новостей. За минувшие годы, если ему случалось обратиться мыслями к маленькому домику и его обитателям, он представлял себе все точно в таком же виде, как было при нем, и вот оказалось, что все давно не так, что прежние образы надо заменить новыми. В домике живут чужие, если там вооб-

ще кто-нибудь живет, в очаге не горит огонь, а если и горит, то не целый день подряд, и сама фрау Нимпч, хранительница огня, умерла и покоится на кладбище св. Иакова. Новости так и вертелись в голове, и вдруг ему вспомнился тот день, когда он полуторжественно-полушутливо обещал старой госпоже Нимпч принести на ее могилку венок из иммортелей. В теперешнем состоянии душевной тревоги Ринекер был даже рад, что ему пришло на ум старое обещание, и он решил немедленно его выполнить.

«Роллькруг», да еще в полдень, да еще в солнцепек — ни дать ни взять путешествие в Экваториальную Африку. Но все равно, пусть добрая старушка получит свой венок».

Он взял палаш, фуражку и отправился в путь.

На углу была извозчичья стоянка, но маленькая, и потому, невзирая на табличку: «Для трех дрожек», дрожки большей частью отсутствовали. Не было их и сегодня, каковое обстоятельство — если принять во внимание обеденный час, когда дрожки вообще исчезают с лица земли, — не могло показаться удивительным на этой стоянке, учрежденной лишь в угоду полицейским предписаниям. Бото проследовал дальше, покуда ему вблизи Вандергейдского моста не попался навстречу дребезжащий экипаж, нежно-салатного цвета, с красным плюшем на сиденье и белой лошадей в упряжке. Белая лошадь едва переставляла ноги, и при мысли о дальнем пути, который предстоит бедной животине, Бото не мог сдержать жалостливую усмешку. Но резвых скакунов его глаз нигде не обнаружил, и тогда он подошел к кучеру и сказал:

— Кладбище святого Иакова, за трактиром «Роллькруг».

— Слушаю, господин барон.

— Но по дороге придется сделать остановку. Мне надо купить венок.

— Слушаю, господин барон.

Будучи несколько удивлен этим настойчивым обращением, Бото спросил:

— Вы разве меня знаете?

— А как же, господин барон. Барон Ринекер. Ландграфенштрассе. Насупротив стоянки. Уже не раз возил вашу милость.

За разговором Бото влез в экипаж и хотел поудобнее устроиться в уголку, но тщетно — уголок раскалился, как жаровня.

Ринекер был в высокой степени наделен симпатичным и трогательным сердцем свойством всех неймаркских дворян — охотнее беседовать с простонародьем, нежели с «образованными». Вот и сейчас, едва экипаж выехал под короткую тень растущих вдоль канала деревьев, он сразу завел разговор:

— Ну и жарынь! Навряд ли ваш скакун обрадовался, когда услышал про «Роллькруг».

— Ну, «Роллькруг» еще куда ни шло. Дорога по полю — и то слава богу. Как он выберется в поле да почует сосны, уж до того обрадуется... Он у меня деревенский. А может, ему музыка нравится. Едва слышит, сразу уши торчком.

— Так, так, — сказал Бото. — Но до танцев он, пожалуй, не охотник — если судить по его виду... Да, а где мне купить венки? Не хотелось бы заявиться на кладбище с пустыми руками.

— Успеется, господин барон. Как пойдут кладбища, так и цветочные лавки начнутся, от Галльских ворот и вдоль всей Пиоништрассе.

— Да, да, верно, теперь вспомнил...

— И дальше, до самых кладбищенских ворот, тоже лавок хватает.

Бото улыбнулся.

— Вы часом не силезец?

— Верно, — ответил тот. — Извозчики, они почти все из Силезии. Только я уже давно здесь живу, я уже почти что коренной берлинец.

— А живется вам хорошо?

— Ну, чтобы хорошо, не скажу. Уж больно здесь все дорого, все первого сорта. А про овес и говорить нечего — не подступишься. Все бы еще ладно, жить можно, когда бы ничего не случилось. А ведь то и дело что-нибудь случается, сегодня одно, завтра другое, сегодня, глядишь, ось треснула, завтра, глядишь, лошадь пала. У меня еще гнедой дома стоит, он мне от фюрстенвальдских улан достался. Хорошая коняка, только запал у него, долго он не протянет. Того и гляди, околеет... И на дорожную полицию никак не угодишь — все-то она придирается. Чуть не каждый день коляску подкрашивай. А красный плюш — он нынче тоже кусается.

Так, слово за слово, они достигли Галльских ворот, но здесь навстречу им с Крейцберга спускался батальон инфантерии во всем параде, и Бото, не желая встреч, велел

погонять. Поэтому мост Бель-Альянс они миновали в ускоренном темпе, но, переехав его, остановились, по требованию Бото, ибо уже на одном из первых домов он прочел надпись: «Цветоводство. Букеты и рассада». Крыльцо, в три-четыре ступеньки, вело к цветочной лавке, в витрине которой красовались всевозможные венки.

Бото вылез из экипажа и поднялся по ступенькам. Дверь ответила на его появление пронзительным дребезжанием.

— Будьте так любезны, покажите мне какой-нибудь симпатичный венок.

— Похороны?

— Да.

Девушка в черном, напоминавшая своим видом карикатурную Парку (и даже с ножницами) — вероятно, в угоду тому обстоятельству, что здесь большей частью продавались могильные венки, — вскоре вернулась с венком из плюща, переплетенного белыми розами. Она попросила извинения, что сейчас у них есть только белые розы. Белые камелии ценятся гораздо выше. Бото, однако ж, был вполне удовлетворен, выбирать не пожелал и спросил только, не могут ли они предложить ему вдобавок венок из иммортелей.

Девушка была несколько удивлена такой старомодностью вкусов, но отвечала утвердительно и немедленно предложила ему коробку, где лежало пять-шесть венков, желтых, красных, белых.

— Какой цвет вы бы мне посоветовали?

Девушка улыбнулась.

— Иммортели совершенно вышли из моды. Разве что зимой... Да и то...

— Тогда я лучше всего без долгих раздумий возьму вот этот. — И Бото продел руку в самый ближний, желтый венок, захватив вместе с ним и плющ с белыми розами, и поспешно сел в дрожки.

Венки были изрядных размеров и заняли так много места на красном плюшевом сиденье, что Бото даже подумывал переложить их на козлы к извозчику. Но он сам же отверг эту мысль, промолвив: «Если ты вызвался привезти венок старой госпоже Нимпч, не смей от него отрекаться, а кто стыдится, тот не должен давать такие обещания».

Он оставил венки лежать, где лежали, и вскоре начисто забыл о них, потому что экипаж свернул в улицу,

живописная, а порой и причудливая жизнь которой отвлекла его от прежних мыслей. Направо, шагах эдак в пятистах, тянулась дощатая изгородь, а из-за нее выглядывали всевозможные палатки, балаганы, арки, сверху донизу испещренные надписями. Большинство из них блистало новизной, но некоторые, причем самые крупные и пестрые, имели уже вполне солидный возраст и, несомненно, пережили зиму, хотя и в довольно облезлом виде. Увеселительные балаганы чередовались с мастерскими, где сидели ремесленники, все больше каменотесы и мраморщики. Из расчета на посетителей многочисленных кладбищ они выставляли на всеобщее обозрение преимущественно кресты, могильные камни иobelisks. Это зрелище не могло не поразить идущего мимо, и Ринекер не составил исключения. Высунувшись из дрожек, он со все растущим любопытством изучал бесконечные надписи, решительно не гармонировавшие одна с другой, и разглядывал соответствующие этим надписям картинки: «Фрейлейн Розелла — живое чудо века», «Кресты без запроса», «Американское моментальное фото», «Русский мяч, шесть бросков — десять пфеннигов», «Шведский пунш с вафлями», «Мечта Фигаро, или Лучшая парикмахерская в мире», «Кресты с прификсом», «Швейцарский тир:

Стреляй увереннее в цель
И меток будь, как Вильгельм Телль»,—

а под двустижием Телль с луком, сыном и яблоком.

Наконец изгородь кончилась, и как раз на этом месте дорога делала крутой поворот к Хазенхейде, откуда, нарушая полуденную тишину, доносился треск выстрелов. В остальном же картина вокруг не изменилась: блондинка в трико и при медалях балансировала на канате, окруженная вспышками фейерверка, а всевозможные плакаты меньшего размера сулили всевозможные удовольствия — от полета на воздушном шаре до танцевального вечера. Один из них гласил: «Сицилийская ночь. В два часа пополудни венский вальс бонбоньерок»:

Бото не бывал здесь более года и с неподдельным интересом читал все надписи, до тех пор пока экипаж, миновав Хазенхейде и проведя несколько блаженных минут под сенью его деревьев, не выехал на главную улицу оживленного пригорода, непосредственно примыкавшего к Риксдорфу. Экипажи в два-три ряда бойко неслись перед

ним, потом внезапно остановились, и движение замерло. «В чем дело?» — спросил Бото, но извозчик не успел еще ответить, как Бото и сам услышал брань и божбу и увидел, что впереди столкнулось несколько экипажей. Высунувшись из дрожек и с любопытством глядя по сторонам, Бото, при его тяге ко всему простонародному, склонен был скорей приветствовать, нежели проклинать эту неожиданную помеху, если бы груз и надписи на бортах впереди стоящего фургона не пробудили в нем мрачных мыслей. «Макс Циппель. Скупка и продажа стеклянного боя. Риксдорф» было написано большими буквами на заднем борту, а за бортом высилась целая гора осколков. «Счастье что стекло — раз — и вдребезги...» Против воли Бото загляделся на гору осколков, и ему почудилось, будто стекло впивается в его пальцы.

Наконец все тронулось с места. Мало того — застоявшийся конь проявил чудеса скорости, чтобы наверстать упущенное, и немного спустя экипаж остановился перед угловым домом, прилепившимся к склону холма, с высокой крышей и выступающим фронтоном. Окна первого этажа были сделаны так низко, что лежали вровень с мостовой. Из фронтона торчала железная рука, зажавшая позолоченный ключ.

— Это что за дом? — спросил Бото.

— «Роллькруг» и есть.

— Хорошо. Значит, мы почти на месте. Вот только подняться на этот взгорок. Жалко коня, но ничего не поделаешь.

Извозчик хлестнул своего одра, после чего они въехали на пологую Бергштрассе, на одной стороне которой расположилось старое кладбище св. Иакова, уже переполненное и потому закрытое, а насупротив выстроились высокие доходные дома.

Возле последнего дома стояли бродячие музыканты, муж и жена, судя по виду. Жена даже что-то пела, но порывистый ветер уносил все звуки в гору, и лишь отъехав шагов на десять, а то и больше от бедной певицы, Бото смог разобрать мелодию и текст. Песня была та самая, которую они так весело и беззаботно распевали втроем, когда ходили в Вильмерсдорф. Бото встал на сиденье и оглянулся, словно его кто окликнул. Но музыканты стояли к нему спиной и ничего не видели, зато смазливая горничная, протиравшая окно, без сомнения, отнесла ищущие

взгляды молодого офицера на свой счет: она кокетливо взмахнула тряпкой, перегнулась через подоконник и задорно подхватила:

Я помню все,
Ты спас мне жизнь однажды,
Но ты, солдат,
Ты помнишь ли меня?

Бото закрыл лицо ладонями, упал на сиденье и отдался нахлынувшему чувству, в котором смешалась беспредельная сладость и беспредельная боль. Разумеется, боль пересилила и лишь тогда отпустила сердце, когда город остался позади, а далеко на горизонте, в синей полуденной дымке завиднелись Мюггельские горы.

Наконец они подъехали к новой территории кладбища св. Иакова.

— Прикажете подождать?

— Да. Только не здесь. Внизу, возле «Роллькруга». А если еще застанете там музыкантов... вот, передайте это бедной женщине.

Глава двадцать вторая

Старичок, копавшийся возле кладбищенских ворот, взял на себя обязанности проводника и привел Бото к могиле фрау Нимпч, очень ухоженной: там был высажен плющ, между его побегами стоял горшок с геранькой, а к железной подставке был прикреплен венок из иммортелей. «Ах, Лена, Лена, — вздохнул Бото. — Узнаю тебя... Я запоздал». И, оборотясь к стоящему рядом старичку, он спросил:

— Народу было немного?

— Да, немного.

— Трое-четверо?

— Если точно, так четверо. Ну и, само собой, наш старый пастор. Он прочитал всего одну молитву, была там такая рослая дама средних лет, сорок или около того, она все плакала. И молоденькая была. Она теперь каждую неделю приходит, вот гераньку принесла в прошлое воскресенье. Еще она хочет камень заказать, какие сейчас в моде: полированный, с именем и датой.

Затем, с профессиональной деликатностью могильщика, старик отошел в сторонку, а Бото повесил свой венок из иммортелей поверх Лениного, второй же — плющ и

белые розы — положил как ободок вокруг горшка с геранькой. Он постоял немного еще, разглядывая скромную могилу и вспоминая добрую старушку, и побрел к выходу. Старик, вернувшийся между тем к прерванной работе, снял шапку и долго глядел Ринекеру вслед, недоумевая, с какой стати этот знатный господин, — а в том, что он знатен, у старика после прощального рукопожатия не осталось никаких сомнений, — с какой стати он приходил на могилу к простой старой женщине. «Не иначе, тут что-то есть. И извозчика отпустил, надо же». Но сколько-нибудь разумное объяснение не подвертывалось, и, чтобы как-то выразить свою признательность, старик взял стоящую поблизости лейку, подошел сперва к небольшой водонапорной колонке, а оттуда к могиле фрау Нимпч и полил чуть побуревший на солнцепеке плющ.

Бото же вернулся к экипажу, поджидавшему его перед «Роллькругом», сел и, час спустя, был уже на Ландграфенштрассе. Извозчик проворно спрыгнул с козел и распахнул перед ним дверцу.

— Возьмите, — сказал Бото. — А это — сверх уговора. У нас получилась почти что загородная прогулка.

— Почему же «почти»?

— Понимаю, — рассмеялся Бото. — Вероятно, надо прибавить?

— Да, не мешало бы... Премного благодарен, господин барон.

— Только уж тогда подкормите вашего овра. Прямо душа болит на него глядеть.

Он поклонился и взбежал по лестнице.

Квартира встретила его тишиной, даже из прислуги никого не было: все знали, что он об эту пору всегда сидит в клубе. Точнее, с того дня, как уехала Кете. «Вот ненадежный народ», — пробормотал Бото себе под нос и сделал грозное лицо. Вообще же ему было приятно одному, и никого не хотелось видеть. Он перешел на балкон — посидеть и помолчать в тиши. Но под приспущенной маркизой нечем было дышать, да еще длинные сине-белые фестоны совсем закрывали доступ воздуху, поэтому Бото снова встал и поднял маркизу. Это помогло. Потянуло свежим ветерком, дышать стало легче, и, подойдя к балюстраде, он залюбовался видом лесов и полей и куполами

Шарлоттенбургского замка — изумрудная медь облицовки так и горела под лучами полуденного солнца.

«А ведь за Шарлоттенбургом — Шпандау, — сказал Бото самому себе. — А за Шпандау насыпь, а по насыпи проложена железная дорога до самого Рейна. А по железной дороге идет поезд, в нем много вагонов, и в одном из них сидит Кете. Интересно, как она сейчас выглядит? Должно быть, прекрасно, как же ей еще выглядеть! Интересно, о чем она будет говорить? Должно быть, о всякой всячине, пикантные курортные сплетни, еще, пожалуй, туалеты госпожи Залингер и что Берлин — лучшее место в мире. Неужели же я не должен радоваться ее возвращению? Такая хорошенькая, такая молоденькая, такая счастливая, такая веселая! Да я и радуюсь. Только пусть не приезжает *сегодня*. Ради бога, сегодня не надо. Впрочем, с нее станется, недаром три дня от нее нет ни звука, а она обожает всякие неожиданности».

Мысли его текли еще некоторое время в этом направлении, потом перед внутренним взором Бото встали другие картины, и воспоминания прошлого вытеснили из души образ Кете: сад Дёрров, прогулка в Вильмерсдорф, поездка в «Ханкелев склад». Это был последний удачный день, последний счастливый час... «Она, помнится, говорила, что волос связывает, слишком прочно связывает, вот почему она не хотела и не соглашалась. А я? Я-то почему настоял? Ничего не скажешь, существуют такие непостижимые силы, такие флюиды, рожденные то ли небом, то ли преисподней... И вот я связан и не могу освободиться. Ах, какая она была милая и ласковая в тот день, когда мы были еще одни и не боялись, что нас спугнут! Не могу забыть, как она стояла в высокой траве и, наклоняясь то влево, то вправо, рвала цветы. Цветы и до сих пор у меня. Но с этим пора покончить. К чему мертвые сувениры, они лишь причиняют ненужное беспокойство, а если их когда-нибудь увидит посторонний глаз, они могут спугнуть мое маленькое счастье и нарушить семейный мир».

Он встал с места, пересек всю квартиру и очутился в своем кабинете, выходящем окнами во двор. Солнце заглядывало сюда лишь по утрам, сейчас же комната тонула в глубокой тени и встретила Бото приятной прохладой. Он сразу подошел к изящному бюро, сохранившемуся еще с давних, холостяцких времен. Эбеновые ящички бюро были инкрустированы серебряными гирляндами и прочи-

ми узорами. В центре находился увенчанный двускатной кровлей и украшенный колоннами грот для хранения ценностей, а в заднюю стенку грота был встроена потайная ящичек, запираемый с помощью пружины. После нажатия пружины крышка с шумом откинулась, и Бото извлек перевязанную красной ниткой пачку писем. Поверх писем, как бы в виде приложения, лежали цветы, о которых Бото только что вспомнил. Он взвесил пачку на руке, развязал красную нить: «Много радости, много горя. Пути-перепутья. Старая песня».

Он был один и мог не опасаться неожиданностей, но все же чувствовал себя не совсем уверенно, а потому для верности запер дверь. Лишь после этого он взял из пачки верхнее письмо и начал читать. Оно было написано за день до прогулки в Вильмерсдорф. С глубоким умилением разглядывал Бото места, подчеркнутые карандашом при первом чтении. «Чиренок... аллея». Эти милые ошибки ласкают глаза больше, чем вся орфография мира. А какой разборчивый почерк! И как умно и лукаво она пишет! В ней счастливо сочетались противоречивые свойства — она была и разумной и страстной одновременно. Все, что она ни говорила, свидетельствовало о силе характера и глубине чувства. Бедная образованность, далеко тебе до Лены!

Тут Бото взял из пачки второе письмо, надумав перечитать все — с первого до последнего. Но от чтения больно заняло сердце. «К чему? К чему воскрешать и пробуждать то, что мертво и должно оставаться мертвым. Это следует уничтожить, быть может, вместе с предметами воспоминаний исчезнут и сами воспоминания».

Приняв твердое решение, Бото встал из-за стола, отодвинул в сторону каминный экран и склонился к очагу, чтобы сжечь там письма. Медленно-медленно, словно желая надолго растянуть чувство сладкой боли, он начал бросать письма в камин, предавая огню листок за листком. Напоследок в руках у него остался только букет. Задумчиво разглядывая его, Бото думал сперва по отдельности сжигать каждый цветочек, для чего пришлось бы развязать волосок. Но вдруг, охваченный суеверным страхом, он отправил весь букет следом за письмами.

Пламя ярко вспыхнуло, и все было кончено.

«Свободен ли я теперь?.. И хочу ли я свободы? Не хочу. Все печал. А я связан».

Глава двадцать третья

Бото глядел на горсточку пепла. «Как много — и как мало». Потом он снова задвинул камин экраном, в центре которого была изображена одна из сцен помпейской стеной росписи. Сотни раз взгляд его скользил по этому изображению равнодушно, не задерживаясь, лишь сегодня он взгляделся пристальней. «Минерва со щитом и копьем. Но копье приставлено к ноге. Вероятно, это символ покоя... Ах, если бы так...» Тут он встал, запер потайной ящик, лишенный главного сокровища, и прошел в передние комнаты.

По дороге, в длинном и узком коридоре, он встретил кухарку и горничную, которые как раз вернулись домой после прогулки в Тиргартей. Видя их смущение и испуг, он был несколько тронут, однако сумел это скрыть и набросился на них, правда, не без скрытой насмешки над самим собой, «пора, мол, положить этому конец». Затем он по мере своих сил разыграл Зевса-громовержца. Где они пропадают, черт побери? Разве так ведет себя прислуга в порядочном доме? Не думают ли они, что ему очень хочется сдать на руки госпоже баронессе, когда та вернется (а она может вернуться с минуты на минуту), совершенно развалившееся хозяйство и распустившуюся прислугу? И где, спрашивается, лакей? «Слышать ничего не желаю! Знать ничего не желаю! Не оправдывайтесь!» Он излил свой гнев и пошел дальше, посмеиваясь над собой. «Как легко читать проповеди и как трудно им следовать! Жалкий я проповедник! Разве сам я не позабыл все приличия? Разве сам я веду себя так, как положено в порядочном доме? Раньше — это еще куда ни шло, но что и теперь лучше не стало, — вот это беда».

Он уселся, как прежде, на балконе и позвонил. На сей раз явился и лакей с видом еще более испуганным и смущенным, нежели у девушек, в чем не было теперь ни малейшей надобности: гроза миновала.

— Скажи кухарке, что я проголодался. Ну, чего же ты ждешь? А, мне все ясно (и он рассмеялся): дома у нас хоть шаром покати. Все одно к одному. Ну что ж, пусть будет чай, уж чай-то дома найдется. А к нему парочку бутербродов — хочу есть, ничего не поделаешь. А вечерних газет не приносили?

— Слушаюсь, господин ротмистр.

Чайный столик был сервирован с непостижимой быстротой тут же на балконе, сыскалось и кое-что из съестного. Бото полулежал в качалке, созерцая голубой язычок пламени. Потом он взял из стопки «Фремденблат» — советника и наставника своей женушки, и лишь затем «Крейццейтунг», где сразу же открыл последнюю страницу.

«Господи, до чего обрадуется Кете, когда получит возможность ежевечерне изучать эту страницу сразу по выходе, следовательно, на двенадцать часов раньше, чем в Шлангенбаде. И с ней нельзя не согласиться. «Адельберт фон Лихтерло, правительственный секретарь и лейтенант запаса, и Хильдегард фон Лихтерло, урожденная Хольце, настоящим имеют честь известить о своем бракосочетании, состоявшемся сего дня». Право же, видеть, как жизнь идет своим чередом и что любовь не иссякает в мире, — это лучше всего на свете. Свадьбы, крестины. Между ними для разнообразия несколько извещений о смерти. Но про смерти незачем читать, Кете не читает, я тоже нет, вот разве что гейдельбергские «вандалы» потеряют одного из «старых соратников» и я угляжу среди траурных извещений герб землячества, тогда я читаю, это меня развлекает. Так и кажется, будто старого бурша пригласили в Валгаллу — постучать кружкой о кружку. Хотя там скорей могильными заступами стучат, а не пивными кружками...»

Он отложил газету, потому что услышал звонок... «Вдруг она?..» Оказалось — нет, просто от хозяина принесли лист пожертвований, где покамет было записано лишь пятьдесят пфеннигов. Однако Бото весь вечер сидел как на иголках, ибо был готов к неожиданностям, и всякий раз, когда очередной экипаж с чемоданом впереди и дамской шляпкой позади сворачивал к Ландграфенштрассе, он говорил себе: «Это она, она любит неожиданности; я уже слышу, как она говорит: «По-моему, вышло очень смешно»».

Но Кете не приехала. Вместо Кете на другое утро пришло письмо, где она обещалась быть послезавтра, чтоб уж и обратный путь проделать совместно с госпожой Залингер, которая при всем том очень милая женщина, очень веселая, эlegantная и умеет путешествовать с удобствами.

Бото отложил письмо, искренне радуясь тому, что послезавтра снова увидит свою молодую красивую жену.

«В нашем сердце могут уживаться самые противоречивые чувства... Конечно, она не блещет умом, но глупая молодая жена лучше, чем вовсе никакой».

Затем Бото созвал всю прислугу и сообщил, что госпожа баронесса прибудет послезавтра, надо все привести в порядок и начистить дверные ручки. «Да, и чтоб на трюмо не было мушиных следов».

Отдав эти распоряжения, он отправился в казармы. «Если будут спрашивать, я вернусь к пяти».

Время до пяти он распределил следующим образом: до полудня в казармах, затем два часа верховой езды и, наконец, обед в клубе. Если там даже никого не окажется из знакомых, на Балафре можно рассчитывать твердо, а раз будет Балафре, значит, будет вист вдвоем и уйма придворных историй, как правдивых, так и выдуманных. Ибо Балафре, человек, обычно заслуживающий всяческого доверия, сознательно посвящает один час каждого дня рассказням и небылицам. Причем это занятие, как своего рода умственную гимнастику, он ставит выше всех остальных удовольствий и развлечений.

Все шло как по-писаному. Казарменные часы едва пробили полдень, а Бото уже сидел в седле. Сперва по Унтер-ден-Линден, потом по Луизенштрассе и, наконец, вдоль канала, в сторону Плётценского озера. Вспомнился ему тот день, когда он проезжал по этим улицам, чтобы набраться духу для разлуки с Леной, разлуки такой мучительной и неизбежной. С тех пор минуло три года. Что выпало ему на долю в эти годы? Много радости, бесспорно. Только вот радость была какая-то ненастоящая. Конфетка, не более того. А ведь одними сладостями не проживешь.

Бото был еще погружен в свои размышления, когда на верховой дорожке, ведущей от Юнгфернхейде к каналу, увидел верхами двух всадников, улан, что еще издали можно было угадать по их конфедераткам. Уланы-то уланы, но кто именно? Впрочем, неясность разрешилась очень скоро, и не успели обе стороны съехаться шагов на сто, как Бото увидел, что это Рексины, двоюродные братья, из одного полка.

— А, Ринекер,— воскликнул старший,— куда путь держим?

— Куда глаза глядят.

— Далековато, на мой взгляд.

— Коли так, то до Затвинкеля.

— Вот это уже другой разговор. Тогда и я с вами, если не помешаю. Курт,— обратился он к младшему брату,— извини, но мне надо серьезно поговорить с Ринекером. А в таких делах...

— ...третий лишний. Как прикажешь, Богислав, как прикажешь.— Курт приложил руку к шапке и поехал своей дорогой. А брат его, тот, кого называли Богиславом, повернул лошадь, пристроился слева к Ринекеру, далеко опередившему его в табеле о рангах, и сказал:

— Ну, Затвинкель так Затвинкель. Надеюсь, мы не угодим на Теглицкое стрельбище, прямо под пули.

— Постараюсь не угодить,— отвечал Бото,— во-первых, ради себя самого, во-вторых — ради вас. И, наконец, в-третьих, ради Генриетты. Ибо что скажет Черная Генриетта, если ее дорогой Богислав будет убит, да еще дружественной пулей?

— Я думаю, это очень ее огорчит и вдобавок опрокинет наши с ней расчеты.

— Какие расчеты?

— Вот об этом-то я и хотел с вами поговорить.

— Со мной? О чем об этом?

— Вы могли бы и сами догадаться, дело не трудное. Разумеется, речь пойдет о связи. О моей связи.

— Связи! — рассмеялся Бото.— Я к вашим услугам, Рексин. Но по совести, не могу взять в толк, что заставило вас обратиться именно ко мне? Я и вообще-то не кладезь премудрости, а меньше всего — по этой части. Зато авторитетов я знаю сколько угодно. Один из них и вам знаком. При всех своих прочих достоинствах, он вдобавок друг ваш и вашего брата.

— Балафре?

— Он самый.

Рексин не без основания угадал в этом ответе и уклончивость и сдержанность, он сразу умолк, несколько раздосадованный. Но такой цели Бото отнюдь себе не ставил, а потому он снова подхватил нить разговора:

— Ох, связи, связи. Вы меня извините, Рексин, но связей бывает великое множество.

— Согласен. Однако что ни связь, всё разная.

Бото пожал плечами и улыбнулся. Рексин же явно решил не быть на сей раз таким обидчивым и повторил более спокойным тоном:

— Да, что ни связь, всё разная. Меня удивляет, что именно вы пожимаете плечами. А я-то думал...

— Хорошо, выкладываете.

— Слушаю и повинуюсь.

Помолчав немного, он начал:

— Я уже прошел все университеты, и в уланском полку, и до того (вы знаете, я довольно поздно вступил в военную службу) — в Бонне и Гёттингене, стало быть, мне не нужны ничьи наставления и ничьи советы, когда речь идет о делах обычных. Но у меня, если вдуматься, случай далеко не обычный. У меня исключительный случай.

— Все так говорят.

— Короче, я не считаю себя свободным, более того — я люблю Генриетту, или — чтобы еще точнее выразить мое умонастроение — я люблю Черную Иетту. Да, да, это язвительное прозвище с откровенно вульгарным духом представляется мне вполне подходящим, коль скоро я решил обойтись без торжественных церемоний. При всем том я настроен более чем серьезно, и как раз потому, что я настроен серьезно, мне нужды нет ни в торжественности, ни в красноречии. Все это лишь ослабляет.

Бото одобрительно кивнул, поза насмешливого превосходства, принятая им в начале разговора, с каждой минутой все более покидала его.

— Иетта, — продолжал Рексин, — не насчитывает в своем роду нескольких поколений ангелов, она и сама далеко не ангел. Не скажите на милость, где они, эти ангелы? В нашей среде? Смешно. Все эти различия выдуманы, и различия в добродетели тоже. Не спорю, добродетель и тому подобные прелести существуют, но невинность и добродетель — все равно что Бисмарк и Мольтке, — другими словами, большая редкость. Я сжился с этими взглядами, я считаю их справедливыми и хочу поступать в соответствии с ними, — насколько мне удастся. А теперь послушайте, Ринекер: если бы мы вместо этого канала, скучного и прямолинейного, как все формы и формулы нашего общества, короче, если бы вместо этой поганой канавы мы ехали бы сейчас берегом Сакраменто, а вместо Теглицкого стрельбища перед нами были бы золотые прииски, я бы, не тратя ни минуты на раздумье, женился на Черной Иетте. Я не могу без нее жить — вот что она со мной сделала, а ее естественность, простота и искренняя любовь мне дороже, чем десять княгинь, вместе взятых. Но увы, я не могу причинить такое горе своим родителям и

не желаю двадцати семи лет от роду подавать в отставку, чтобы сделаться ковбоем в Техасе или кельнером на миссисипском пароходе. Остается средний путь.

— То есть?

— Союз без благословения.

— Или брак без бракосочетания?

— Если вас эта формула больше устраивает, пусть так.

Для меня все слова не имеют цены, как не имеет цены узаконение, освящение и прочая чепуха подобного рода. По своим воззрениям я отчасти нигилист и не слишком-то верю в пасторское благословение. Но — чтобы не быть многословным — я стою за моногамию, потому что иначе не могу, и отнюдь не в силу каких-то моральных соображений, а в силу своей, данной мне богом природы. Мне отвратительны связи, где встреча и разлука умещаются в один час, и если я себя только что назвал нигилистом, то с еще большим правом я могу назвать себя филистером. Я тоскую по простым отношениям, по тихому и естественному образу жизни, когда сердца бьются в лад и когда человеку даны величайшие из благ: честность, любовь, свобода...

— Свобода, — повторил Бото.

— Да, Ринекер, свобода. Но, сознавая, что за этим таятся неведомые опасности и что дар свободы, — может быть, всякой свободы вообще, — есть обоюдоострый меч, который способен поранить — так или иначе, я и хотел просить у вас совета.

— А я готов вам его дать, — отвечал внезапно помрачневший Ринекер; слушая признания Рексина, он, верно, обратился мыслями к собственной жизни, прошлой и настоящей. — Да, готов дать, насколько это в моих силах. Полагаю, что вполне в моих. Итак, Рексин, заклинаю вас, оставьте свое намерение. Избранный вами путь представляет лишь две возможности, и я не знаю, какая из них хуже. Если вы намерены разыгрывать верность и благородство или, иначе говоря, отречься от общепринятой морали, от своего места в обществе, от своего происхождения, тогда — даже при условии, что вы не сразу пойдете ко дну, — вы станете скоро себе в тягость и будете страшиться себя самого. Если же дело примет иной оборот и вы, как это обычно случается, через год-другой пожелаете примириться с обществом и семьей, тут-то вы и хлебнете горя, придется расторгать узы, родившиеся из множества счастливых и —

что гораздо важнее — несчастливых часов, родившиеся из пережитой вместе нужды и бедствий. А это очень больно.

Рексин хотел что-то возразить, но Бото не заметил этого и продолжал:

— Дорогой Рексин! Только что вы, являя непревзойденные образцы элоквенции, говорили о связях, «где встреча и прощание умещаются в один час», но эти связи, которые и связями-то не назовешь, отнюдь не самые худшие, хуже всего те, которые — я позволю себе вторично вас процитировать — «избирают средний путь». Я предостерегаю вас, бойтесь середины, бойтесь половинчатости. То, что вы считаете победой, есть проигрыш, то, что вы считаете надежной гаванью, есть крушение. Этот путь никогда не приводит к добру, даже если с виду все идет как по маслу, если вслух не произнесено не только ни одного проклятия, но даже тихого упрека. Иначе и быть не может. Всякий поступок влечет за собой неизбежные последствия, это нельзя забывать. Что было, того не вернуть в небытие, и образ, который однажды был запечатлен в нашей душе, никогда ее не покинет. Остаются воспоминания, напрашиваются сравнения. Итак, я повторяю еще раз, дорогой друг, оставьте свое намерение, не то жизнь ваша будет непоправимо испорчена и вам не знать уже ясности и покоя. Многое дозволено — кроме того, что задевает душу. Никогда не вовлекайте сердце в игру, даже если речь идет о вашем собственном сердце.

Глава двадцать четвертая

На третий день пришла телеграмма, отправленная, должно быть, прямо перед отъездом: «Буду сегодня вечером. К.».

И Кете действительно приехала. Бото встречал ее на Анхальтском вокзале и был представлен госпоже Залингер. Та даже не пожелала выслушать слова благодарности за компанию, а напротив, без умолку твердила, как ей повезло, и главное — как повезло ему, что у него такая прелестная молоденькая жена.

— Видите ли, господин барон, будь я таким счастливым и достанься мне такая жена, я б и на три дня не захотела с ней разлучиться.

Затем следовали упреки всем мужчинам, вместе взятым, и — почти без всякого перехода — настойчивое при-

глашение побывать у них в Вене. «У нас недурненький домик, час езды от Вены, и того меньше, несколько верхних коняшек и еще кухня. В Пруссии — школа, а в Вене — кухня. Лично я не знаю, что важней».

— Зато я знаю,— рассмеялась Кете,— и Бото, по моему, тоже.

С тем они и расстались, и наша пара, после того как были отданы распоряжения касательно багажа, села в открытую коляску.

Кете откинулась на сиденье и уперлась маленькой ножкой в противоположное, на котором лежал огромный букет, последний дар шлангенбадской хозяйки в знак беспредельного восхищения очаровательной гостьей из Берлина. Кете сама взяла Бото за руку и прильнула к нему, правда всего на несколько секунд, потом снова выпрямилась и сказала, придерживая зонтиком все время сползающий с сиденья букет:

— А все же здесь чудесно, столько людей, и лодки на Шпрее, гляди, они из-за тесноты даже разминуться не могут. И совсем мало пыли. На мой взгляд, это очень хорошо, что теперь всё подряд взрывают и заливают водой. Одно скверно — длинных платьев носить нельзя. Гляди, гляди, тележка с хлебом, собака везет! Ах, как смешно! Вот только канал... По-моему, он все такой же...

— Да,— рассмеялся Бото,— он все такой же. Жаркий июль никак на нем не отразился.

Коляска ехала под молодыми деревцами. Кете сорвала листок с липы, положила его на ладонь и шлепнула, так что листок лопнул с громким треском.

— Дома мы всегда так делали. И в Шлангенбаде тоже, когда больше нечем было заняться. Мы и другие игры припомнили из детских времен. Представь себе, я очень люблю дурачиться, а ведь мне уже много лет, пора бы и угомониться.

— Что ты, Кете...

— Да, да, ты увидишь, какая я стала матрона. Ах, Бото, вот он, дощатый забор и старый пивной бар, с таким смешным и немножко неприличным названием. Господи, как мы хохотали над ним у нас в пансионе. Я думала, его уже и в помине нет. Но с эдакими штучками в Берлине не могут расставаться, они живучи. Берлинцам только подавай необычное имя, чтоб посмешней; они и рады.

Приятность встречи уступила место легкому недовольству.

— Ты совсем не изменилась, Кете.

— Разумеется, нет. А с какой стати мне меняться? Меня не затем посылали в Шлангенбад, чтобы я там менялась, во всяком случае — не затем, чтобы у меня там изменился характер и манера разговаривать. А вот изменилась ли я в другом? Поживем — увидим, *cher ami, nous verrons*!

— Станешь матроной?

Она приложила палец к его губам и откинула вуалетку, закрывавшую лицо. Но тут они въехали под Потсдамский виадук, по которому как раз мчался курьерский поезд. Все тряслось и грохотало, и лишь когда мост остался позади, Кете заговорила вновь:

— Мне всегда как-то не по себе, когда я в такие минуты оказываюсь под мостом.

— Ну, наверно тоже не лучше.

— Возможно. Все зависит от воображения. Вообще-то воображение — ужасная вещь. Ты согласен? — И она вздохнула так, будто перед ее мысленным взором внезапно возникло нечто ужасное, до самых основ потрясшее ее жизнь. Вздохнув же, продолжала: — В Англии, как мне рассказывал мистер Армстронг, мой курортный знакомый, о чем я еще доложу тебе во всех подробностях, — кстати, его жена урожденная Альвенслебен, — так к чему это я? — ах да, в Англии, рассказывал мне мистер Армстронг, покойников закапывают на глубину в пятнадцать футов. Пять или пятнадцать — это не составляет разницы, но, честное слово, во время этого рассказа я почувствовала, как *clay*² — настоящее английское слово, верно? — непомерной тяжестью давит мне на грудь. А ведь в Англии у них тяжелые почвы, глинистые...

— Ты говоришь: Армстронг... У баденских драгун был Армстронг.

— Это его двоюродный брат. Они все двоюродные, как и Селлентины. Я заранее радуюсь, что могу описать тебе его во всех мелких подробностях. Совершеннейший кавалер с подкрученными усиками, хотя это, я считаю, он делает зря. У него такой смешной вид, такие два закрученных шнурочка, а он их все подкручивает да подкручивает.

Через десять минут коляска остановилась. Бото подал жене руку и повел ее в дом. Большая дверь в коридор

¹ Дорогой друг, мы увидим (*франц.*).

² Глина (*англ.*).

была обвита зеленью, на зелени красовалась чуть косо привешенная дощечка с надписью: «Добро пожаловать», правда, к сожалению, не «добро», а «дабро». Кете подняла глаза, прочла надпись и рассмеялась:

— Ай-яй-яй! *Дабро!* Ошибиться в таком слове! Тут уж не жди добра.

Из передней она прошла в коридор, где уже ожидали ее кухарка и горничная, обе приложились к ручке.

— Здравствуй, Берта, здравствуй, Минетта. Да, дети мои, вот я и вернулась. Ну, как вы меня находите? Заметно, что я отдыхала? — И прежде чем служанки успели ответить, чего от них, кстати, и не ждали, Кете продолжала: — Зато вы наверняка отдохнули. Особенно ты, Минетта, ты без меня здорово растолстела.

Минетта смущенно потупила взор, после чего Кете добродушно уточнила:

— Только с лица, ну и шея, конечно.

Тем временем подошел лакей.

— А, вот и вы, Орт. Я даже тревожилась, где вы. Слава богу, без оснований. Вид у вас цветущий. Вот только бледноваты вы. Хотя это от жары. А веснушки все на месте.

— Да, госпожа баронесса, веснушки никуда не делись.

— Ну и ладно. Зато цвет лица вполне естественный.

Так, за разговорами, Кете в сопровождении Бото и Минетты добралась до спальни, а двое остальных удалились в свое кухонное царство.

— Ну, Минетта, теперь помоги мне. Сперва плащ. Теперь возьми шляпку. Только осторожно, иначе мы задохнемся от пыли. А теперь вели Орту накрыть стол на балконе. У меня за весь день маковой росинки во рту не было. Я нарочно не ела, чтоб нагулять аппетит. А теперь ступай, голубушка, ступай.

Минетта торопливо вышла из комнаты, а Кете остановилась перед высоким трюмо, приводя в порядок растрепавшуюся прическу. Одновременно она следила в зеркале за Бото — тот стоял рядом и глядел на свою красивую жену.

— Ну-у, Бото, — кокетливо и лукаво протянула она, не отрывая глаз от зеркала.

Это милое кокетство возымело должное действие: Бото прижал ее к себе, и она с радостью отдалась его ласкам. Потом он обнял ее обеими руками за талию и высоко поднял.

— Ах ты, кукла, ах ты, куколка моя ненаглядная.

— Кукла, куколка! Я могла бы на тебя обидеться, потому что с куклами только играют. Но я не обижаюсь. Напротив. Я даже польщена. Кукол больше любят и берегут. А для меня это важней всего.

Глава двадцать пятая

Утро было чудесное, небо слегка прикрито облаками; обвеваемая легкими дуновениями западного ветерка, молодая чета сидела на балконе и, покуда Мицетта убирала стол после кофе, глядела на Зоологический и его слоновник, чьи пестрые купола расплывались в утреннем тумане.

— Собственно, я до сих пор так ничего и не знаю, — сказал Бото, — ты сразу уснула; а сон — для меня святыня. Но я хочу все знать. Рассказывай.

— Рассказывай... Что я должна рассказывать? Я написала тебе так много писем, стало быть, Анну Гревениц и госпожу Залингер ты должен представить себе не хуже, чем я, а то и лучше, ибо порой я писала куда больше, чем мне известно.

— Согласен. Но очень часто мне приходилось читать и такие слова: «Об этом при встрече». Встреча уже состоялась, рассказывай, иначе я подумаю, будто ты что-то от меня скрываешь. Я ничего не знаю о твоих выездах, а ведь ты побывала в Висбадене. Правда, принято говорить, что в Висбадене есть только полковники и старые генералы, но ведь, кроме них, там есть и англичане. А коли уж речь зашла об англичанах, я сразу вспоминаю твоего шотландца, о котором ты собиралась мне рассказать. Как бишь его звали?

— Армстронг. Мистер Армстронг. Милейший человек, и я решительно не понимаю его жену, некую Альвенслебен — как я тебе, помнится, уже говорила, она почему-то вечно смущалась, едва он открывал рот. А ведь он был совершеннейший джентльмен, очень следил за собой, даже когда выходил на прогулку, и считал возможным держаться с известной небрежностью. В таких случаях джентльмены всего лучше. Скажи, ты ведь согласен со мной? У него был синий галстук и желтый летний костюм. Он выглядел так в своем туалете, словно его туда зашили, Анна Гревениц всякий раз про него говорила: «А вот и наш пенал шествует». Да, еще он всегда ходил с открытым зонтиком — от солнца. Он в Индии привык ходить с

зонтиком. Он служил в Шотландском полку, полк стоял не то в Бомбее, не то в Мадрасе, а может, и в Дели. В конце концов это не так уж важно. Чего он только не навиделся! Беседу он вел просто восхитительно, хотя порой я не знала толком, как это все воспринимать.

— Значит, он был развязный? Или наглый?

— Бото, господи, откуда ты взял? Он был совершенный комильфо. Могу привести тебе образец того, как он разговаривал. Напротив нас за табльдотом сидела старая генеральша фон Ведель, и Анна Гревениц спросила у нее (по-моему, это было как раз в годовщину Кёниггреца), правда ли, что в Семилетнюю войну семейство Веделей потеряло тридцать три человека, на что генеральша отвечала утвердительно и добавила, что их было даже больше, чем тридцать три. Все, кто сидел поблизости, были потрясены этой цифрой, все, кроме мистера Армстронга, и когда я шутя упрекнула его в равнодушии, он отвечал, что такие маленькие числа никак не могут вывести его из равновесия. «Это, по-вашему, маленькое число!» — перебила я, по он со смехом растолковал мне: оказывается, в различных войнах и схватках пали сто тридцать один представитель его рода. Старая генеральша ушам своим не поверила и даже спросила с любопытством (поскольку мистер Армстронг на данной цифре настаивал): «Неужели все эти люди именно «пали»?» — «Нет, ваше сиятельство, пали — это не совсем точно, большинство из них было повешено англичанами, нашими тогдашними врагами, за конокрадство». И когда все возмутились этим противозаконным, я бы даже сказала — не совсем пристойным видом смерти, он заявил, что мы не правы в своем возмущении, времена и взгляды меняются, и его семейство, которого это больше всего касается, с гордостью вспоминает своих героических предков. Три столетия подряд военные действия со стороны шотландцев сводились к конокрадству и угону скота — что ни город, то норы, — и он лично не видит большой разницы между захватом чужих земель и угоном скота.

— Тайный приверженец вельфов, — сказал Бото.

— Наверняка. Но я всегда становилась на его сторону, когда он высказывался подобным образом. Умереть можно было, до чего смешно. Он говорил, что ни к чему не надо относиться слишком серьезно — это-де не имеет никакого смысла. Он, со своей стороны, признает только одно серьезное занятие — рыбную ловлю. Вот он порой недели по

две удит рыбу на Лох-Несе или Лох-Лохи — подумать только, какие смешные названия у них в Шотландии, — и ночует прямо в лодке, а на рассвете просыпается, и когда две недели кончатся, у него начинается линька — старая кожа слезает и выглядывает новая, — как у младенца. И все это он делает из чистого тщеславия, ибо гладкий, безупречный цвет лица — самое лучшее, чем может похвалиться человек. При этом он так на меня поглядел, что я не сразу нашлась. Ох уж эти мужчины! Но должна признаться, я с самого начала прониклась к нему симпатией и не смущалась его манерой вести разговор, а манера эта выражалась порой в предлинных рассуждениях, а порой в перескакивании с предмета на предмет. Вот одно из его любимых изречений: «Терпеть не могу, когда передо мной на столе целый час стоит одно-единственное блюдо; не надо, чтоб одно и то же, мне приятнее, когда блюда быстро сменяют друг друга». Вот и в разговоре он вечно перескакивал с пятого на десятое.

— Тогда у вас, конечно, наблюдается родство душ, — рассмеялся Бото.

— Представь себе. Мы даже решили переписываться, совершенно в том же духе, в каком вели беседы. Об этом мы договорились при прощании. Наши мужчины, в том числе и твои друзья, всегда чересчур основательны. А ты основательней их всех, что порой меня сердит и выводит из терпения. Пообещай мне стать таким, как мистер Армстронг, разговаривай чуть проще, и неприятней, и чуть побыстрее и не тверди все время одно и то же!

Бото пообещал исправиться, и пока Кете, обожавшая превосходные степени, вспоминала баснословно богатого американца, шведа с красными глазами — совершеннейшего альбиноса, потрясающе красивую испанку, послеобеденные прогулки в Лимбург, Ораниенштейн и Нассау, а затем последовательно живописала своему супругу кадетский корпус, подземную часовню и водолечебницу, взгляд ее упал на башни Шарлоттенбурга, и она сказала:

— Знаешь, Бото, надо бы сегодня туда съездить, или в Вестенд, или на Халензее. Берлинским воздухом все же трудновато дышать, в нем нет ничего от дуновения божьего, которое веет за городом и которое воспевают поэты. А когда поживешь на лоне природы, вот как я, начинаешь заново любить то, что можно назвать чистотой и невинностью. Бото, Бото, ты и не представляешь себе, какая радость иметь чистое сердце. Я твердо решила сохранить

его чистоту. А ты должен помочь мне в этом. Да, да, должен, обещай мне. Нет, вовсе не так. Ты должен трижды поцеловать меня в лоб, как жених, но чтобы это была не ласка, ты как бы посвящаешь меня своим поцелуем... Если мы ограничимся легким завтраком — только надо непременно одно горячее блюдо, — мы уже в три будем на месте.

Они и в самом деле поехали за город, и, хотя шарлоттенбургский воздух еще меньше походил на дыхание божье, нежели берлинский, Кете твердо решила остаться в дворцовом парке, а прогулку на Халензее отложить до другого раза. В Вестенде скучно, а Халензее не ближний свет, езды туда почти как до Шлангенбада, в дворцовом же парке можно осмотреть мавзолей, где такое трогательное голубое освещение, ну, право, кажется, будто в твою душу заронили клочок голубого неба. Это настраивает на возвышенный и благочестивый лад. Да и, кроме мавзолея, в парке много интересного — Рыбий мостик с колокольчиками, и если из-под мостка выплывает большой карп, ей всегда кажется, будто это крокодил. Глядишь, там будет и торговка с крендельками и лепешками, у нее можно что-нибудь купить и тем сделать доброе дело, пусть небольшое. Она не случайно говорит «доброе дело» и не случайно избегает слова «христианское», потому что фрау Залингер, хоть и не христианка, тоже очень щедро подавала.

Все прошло без сучка-задоринки, точно по программе: после кормления рыб они пошли в парк, до Бельведера, украшенного фигурами в стиле рококо и связанного с таким множеством исторических воспоминаний.

Правда, о воспоминаниях этих Кете ровным счетом ничего не знала, и Бото воспользовался случаем и рассказал ей, как генерал Бишофсвердер именно на этом месте вызывал духов почивших в бозе королей и курфюрстов, чтобы вызволить короля Фридриха-Вильгельма II из состояния летаргии или — что в данном случае равнозначно — из рук многочисленных любовниц и вернуть его на стезю добродетели.

— Ну и как, помогло? — спросила Кете.

— Нет.

— Жаль. Такие вещи глубоко меня огорчают. А как я вспомню, что несчастный король (откуда ж ему быть счастливым?) приходился свекром королеве Луизе, у меня просто сердце кровью обливается. Как она, бедняжка,

должно быть, страдала. Просто не могу себе представить, чтобы эдакое творилось у нас, в нашей Пруссии. А как, ты сказал, звали того генерала, который вызывал духов? Бишофсвердер, да?

— Да. При дворе его называли Древесной лягушкой.

— Неужели он предсказывал погоду?

— Нет, просто он носил зеленый сюртук.

— Сил нет, до чего смешно... лягушка!

Глава двадцать шестая

К вечеру оба вернулись домой, и Кете, сбросив шляпку и пальто на руки Минетте и приказав подавать чай, проследовала за Бото в его кабинет, ибо находила удовольствие в мысли, что первый день своего пребывания дома она целиком провела подле Бото.

Ему это было приятно, и, поскольку Кете зябла, он положил ей под ноги подушечку и накрыл их пледом. Потом его вызвали из комнаты — к нему пришли со служебными делами, требующими незамедлительного разрешения.

Текли минуты, ни подушка, ни плед не помогли, теплей не становилось, поэтому Кете потянула за сонетку и наказала вошедшему лакею принести два-три поленца, а то она совсем замерзла.

Когда лакей вышел, она встала, чтобы отодвинуть каминный экран, а отодвинувши, увидела горстку золы, еще лежащую на железной решетке камина.

Тут вернулся Бото. Он вздрогнул, увидев зрелище, представившееся его глазам, но тотчас успокоился, когда Кете, указывая пальчиком на золу, предельно шутливым тоном спросила:

— Что сей сон означает? Вот я тебя второй раз подловила. Сознавайся, это любовные письма? Ну, быстро, да или нет?

— Тебе ведь все равно ничего не докажешь, что я ни скажу. Ты все равно останешься при своем мнении.

— Да или нет?

— Пусть да.

— Вот и отлично. Теперь я могу успокоиться. Любовные письма — что может быть смешней? Впрочем, для верности сожжем-ка их вторично: была зола, станет дым. Авось получится.

Искусно сложив поленья, принесенные по ее приказу лакеем, она попробовала поджечь их двумя спичками, что ей и удалось. Пламя мгновенно вспыхнуло, а Кете придвинула кресло поближе к огню, удобно вытянула ноги к самой решетке, чтобы скорей согреться, и сказала:

— Вот так, а теперь я еще хочу рассказать тебе про одну русскую, которая, конечно, была никакая не русская. Но чрезвычайно ловкая особа. Глаза у ней были миндалевидные — у этих дам всегда почему-то бывают миндалевидные глаза,— и она утверждала, что приехала в Шлангенбад лечиться. Знаем мы это — лечиться. Врача у ней не было, во всяком случае, постоянного, зато она каждый день каталась то во Франкфурт, то в Висбаден, то в Дармштадт,— и всякий раз с кавалером. Кое-кто даже утверждал, что кавалер не всегда был один и тот же. Но ты бы поглядел, какие туалеты и какая самоуверенность! Она едва-едва достаивала нас кивком, когда выходила к табльдоту со своей придворной дамой. Придворная дама у нее была, для таких особ это первое дело. Мы ее называли «Помпадур», я про русскую, а не про спутницу, и она знала, что мы ее так называем. А старая генеральша Ведель целиком была на нашей стороне, сия особа и ее крайне раздражала (это была самая настоящая особа, можешь не сомневаться). Однажды старая Ведель громко так сказала через стол: «Да, медам, моды меняются на все, даже на сумки и сумочки, на кошельки и кошелечки. В дни моей молодости еще носили сумочки «помпадур», нынче их и след простыл. Не правда ли, нынче нет помпадуров?» Тут мы все рассмеялись и поглядели на нашу мадам Помпадур. Но эта чудовищная особа сумела все-таки одержать верх. Звонким и громким голосом — старая Ведель была туга на ухо — она отвечала: «Да, госпожа генеральша, вы совершенно правы. Страшно только, что на смену помпадурам пришли ретикюли, позднее поименованные ридикюлями. И вот эти-то ридикюли¹ встречаются по сей день». При этом она в упор взглянула на добрую старуху, а та вышла из-за стола и покинула зал, поскольку не нашлась, что ответить. Теперь я хочу тебя спросить: что ты на это скажешь? Какова наглость! Бото, да ты меня совсем не слушаешь...

— Слушаю, слушаю, Кете.

¹ Ридикюль (ridicule — франц.) — смешной, странный.

Три недели спустя двор церкви св. Иакова, по обыкновению запруженный толпой любопытных — преимущественно жены рабочих с детьми на руках, — стал свидетелем свадебной церемонии. Сбежались сюда и школьники, и уличные мальчишки. Кареты подъезжали одна за другой. Из первой кареты вышла пара, которую до самых дверей сопровождал шепот и хихиканье.

— Ну и талия! — сказала женщина, стоявшая ближе других.

— Талия?

— Ну пусть бока!

— Скажите лучше: окорока!

— Ваша правда.

Нет сомнения, что эта тема получила бы дальнейшее развитие, не будь разговор прерван появлением кареты с женихом и невестой. Лакей, торопливо прыгнувший с козел, хотел распахнуть дверцу, но жених, тощий господин в цилиндре и с острым стоячим воротничком, опередил его и подал руку девушке, которая, разделяя участь всех невест, привлекла внимание собравшихся не столько своей внешностью, сколько белым атласным платьем. Затем оба ступили на невысокое каменное крыльцо, устланное несколько поистертым ковром, миновали переход и скрылись под сводами церкви. Все взоры следовали за ними.

— А где же венок? — спросила та самая женщина, которая минутой раньше раскритиковала талию фрау Дёрр.

— Венок?.. Вы сказали — венок? Вы что ж, не знаете?.. До вас разве слухи не доходили?

— Ах да... Ну, разумеется, доходили. Но, дорогая госпожа Корнацки, если всякий раз верить слухам, венки вообще переведутся, и цветочнику Шмидту с Фридрихштрассе придется закрывать свое дело.

— Ваша правда, — засмеялась и фрау Корнацки, — это вы точно. И вдобавок за такого старика. Небось шестой десяток разменял! Ему бы серебряную справлять, а не жениться!

— Верно, верно. Так он и выглядит. А воротнички-то, воротнички-то каковы! Долго такой не протянет!

— Этим воротничком он в два счета ее заколет, ежели что прослышит.

— Беспременно заколет.

Разговор в этом духе продолжался еще некоторое время, а из церкви меж тем уже неслись первые звуки органа.

На другое утро Ринекер и Кете сидели за завтраком в кабинете у Бото. Сквозь распахнутые окна вливался свежий воздух и солнечный свет. Ласточки, что гнездились вокруг двора, со свистом резали воздух, и Бото, имевший привычку подкармливать их по утрам, потянулся было с этой целью к корзиночке для крошек, но залихватый смех жены, уже более пяти минут погруженной в чтение любимой газеты, заставил его переменить намерение.

— В чем дело, Кете? Ты, видимо, нашла что-то на редкость смешное.

— Да, нашла... До чего же смешные попадаютс я имена! И непременно в извещениях о свадьбах и помолвках. Только послушай...

— Слушаю с величайшим вниманием.

— «...Имеют честь сообщить о состоявшемся сего дня бракосочетании следующие лица: Гидеон Франке, фабричный мастер, Магдалена Франке, урожденная Нимпч...» Нимпч! Ха-ха-ха! Смешнее не придумаешь! И еще этот, Гидеон!

Бото взял газету из ее рук, правда, с единственной целью скрыть за ней свое смущение. Потом он вернул газету жене и сказал со всей доступной ему в данную минуту легкостью:

— А чем тебе не по вкусу Гидеон? Гидеон гораздо лучше, чем Бото.

*Госпожа
Женни
Трайбель*

ИЛИ

«СЕРДЦЕ СЕРДЦУ ВЕСТЬ ПОДАЕТ»

РОМАН

Перевод

Е. Вильмонт и С. Фридлянд



Глава первая

В один из последних дней мая, когда солнце пригревало уже совсем по-летнему, ландо с откинутым верхом проехало через Шпиттельмаркт, далее по Кур-, а оттуда — по Адлерштрассе и остановилось перед домом, который, несмотря на всего лишь пятиконный фасад, выглядел весьма импозантно, но крайне старомодно, и даже свежая золотисто-коричневая окраска стен, сделав его, разумеется, более опрятным, не сделала его более привлекательным, скорее наоборот. В ландо сидели две дамы с болонкой, и болонка явно наслаждалась солнечным теплом и светом. Та дама, что была слева, лет примерно тридцати, по виду бонна или компаньонка, приподнявшись с сиденья, распахнула дверцу, а затем помогла второй, одетой со вкусом и тщанием и выглядевшей превосходно, несмотря на верные пятьдесят лет, выйти из ландо. Затем компаньонка села на прежнее место, а старшая дама ступила на крыльцо и, быстро пройдя оное, вошла в дом. Со всей доступной ее комплекции быстротой дама поднялась по истертым ступеням лестницы, внизу — полутемной, наверху — окутанной облаком спертого воздуха поистине двойной плотности. На площадке, как раз на-супротив лестницы, находилась входная дверь с глазком и зеленой покоробленной жестяной дощечкой, где стояло неразборчиво: «Профессор Вилибальд Шмидт». Дама, по виду несколько наклонная к астме, испытывала потребность для начала перевести дух и при этом внимательно осмотрела издавна знакомое ей помещение — четыре стены, выкрашенные желтой краской, на стенах вешалки и крючки, а среди них деревянный полумесяц для чистки и выколачивания сюртуков. Помимо прочего, из коридора,

уводящего в глубь дома, струился ни с чем не сравнимый кухонный аромат, придавая всему необходимую завершенность и состоящий, если верить обонянию, из запахов жареного мяса, картофельного пюре и мыльной пены. «Все ясно — небольшая постирушка», — сказала себе под нос элегантная дама, странным образом растроганная увиденным, и вспомнила те безвозвратно отлетевшие дни, когда сама она проживала на этой вот Адлерштрассе, подсобляла отцу в находящейся через дорогу лавке бакалейных товаров и на доске, положенной на мешки с кофе, клеила кулечки, каковой труд неизменно бывал вознагражден из расчета «два пфеннига за сотню».

— Оно, пожалуй, и многовато, — говаривал старик, — зато приучишься у меня обращаться с деньгами.

Ах, какие это были времена! Каждый день ровно в двенадцать все садились за стол, она — между приказчиком господином Мильке и учеником Луисом, у обоих, при всем несходстве, одинаково взбитые коки и одинаково замерзшие руки. Луис украдкой бросает на нее восхищенные взгляды, но смущается ужасно, когда кто-нибудь поймает его за этим занятием, ибо птица он невысокого полета, — из какой-то жалкой зеленой лавчонки на Шпреегассе.

Эти сцены живо встали перед ее глазами, покуда она оглядывала переднюю и затем дергала ручку звонка возле двери. Перекрученная проволока с готовностью заскрежетала, но звонка не последовало. Тогда она схватила ручку, дернула еще раз, сильнее, и — глядь! — из кухни донеслось дребезжание колокольчика, а вслед за тем можно было услышать, как кто-то откидывает деревянную шторку глазка. По всей вероятности, это была домоправительница профессора, которая со своего наблюдательного пункта хотела выяснить, кто звонит, друг или враг, и когда стало ясно, что звонит «добрый друг», за дверью с шумом и лязгом сняли цепочку, и перед гостьей явилась пикнического сложения дама, лет эдак под сорок, в хитроумнейшем чепце на волосах и с лицом, раскрасневшимся от кухонного жара.

— Ах, госпожа Трайбель... Госпожа коммерции советница... Ах, какая честь...

— Добрый день, дорогая госпожа Шмольке. Как поживает профессор? А фрейлейн Коринна? Дома ли она?

— Да, госпожа коммерции советница. Она только что вернулась из филармонии. Уж как она обрадуется. — И с

этими словами Шмольке отступила в сторону, открывая проход в тесный, стиснутый двумя комнатами и снабженный одним окном коридор, вдоль которого протянулся узкий холщовый половик. Не успела советница переступить порог, ей навстречу выбежала фрейлейн Коринна и увела свою «мать и подругу», как любила себя величать госпожа советница, направо, в одну из передних комнат.

Комната была высокая и уютная, со спущенными жалюзи, с открытыми внутрь окнами и жардиньеркой перед ними, где стояли лакфиоль и гиацинты. На столике перед диваном красовалась стеклянная ваза с апельсинами, а также портреты родителей профессора: советника счетной палаты при Камере сословий господина Шмидта и его супруги, урожденной Шверин, причем оба они взирали на вазу с апельсинами, старый советник был изображен во фраке и при ордене Красного орла, урожденная Шверин — с выступающими скулами и вздернутым носом, каковые черты, хотя и подходящие буржуазке, все ж таки живей напоминали о померанско-уккермаркских представителях славного рода, нежели о более поздней или, если угодно, более ранней познанской его линии.

— Коринна, душенька, как ты умеешь создавать уют! И вообще как у вас мило — такая свежесть, такая прохлада! И эти дивные гиацинты. Апельсины тут, конечно, не совсем уместны, но уж бог с ними, и так хорошо... А теперь не оставь меня до конца своей заботой и принеси мне подушечку с дивана. Только уж не взыщи — не люблю сидеть на диване, слишком мягко, прямо тонешь. Лучше я в кресло сяду и буду глядеть на эти старые, дорогие мне лица. Ах, какой человек был твой дедушка, совершенно как твой отец. Правда, он был, если это только возможно, еще обязательнее, недаром же некоторые говорили о нем: добр, словно берлинский француз. И это была чистая правда. Ведь его бабка, о чем ты, разумеется, знаешь не хуже моего, — урожденная Шарпентье со Штрауерштрассе.

С этими словами коммерции советница уселась в высокое кресло и поглядела в лорнет на «дорогие ей лица», о которых она столь благосклонно отозвалась, а Коринна меж тем спрашивала, не подать ли мозельвейну с зельтерской, на улице-де так жарко.

— Нет, Коринна, я к тебе сразу после ленча, а зельтерская ударяет мне в голову. Ну не странно ли: шерри

я переносу отлично, портвейн тоже, если он выдержанный, а вот мозельвейн с зельтерской ударяет мне в голову... Ах, дитя мое, эту комнату я знаю уже сорок лет, даже более того, еще с тех времен, когда я сама была ребенком, с такими вот каштановыми локонами, и покойница матушка, как ни занята была, всегда находила время их подкрутить. В те времена, моя дорогая, рыжеватые волосы еще не вошли в моду, а каштановые уже ценились, особенно кудрявые, и люди всегда заглядывались на мои локоны. Вот и отец твой тоже. Он тогда был студентом и сочинял стихи. Ты и представить себе не можешь, как все это было мило и как трогательно, дети не способны понять, что их родители тоже когда-то были молодыми и красивыми и обладали талантами. Несколько стихотворений он посвятил мне, я сохранила их до сего дня; когда у меня тяжело на душе, я достаю маленький томик (раньше он был слоний, потом я отдала переплести его в зеленый сафьян), сажусь к окну, гляжу в наш сад и, бывает, всплакну тихонько, — упаси бог, чтобы Трайбель или дети не увидели. Ах, молодость, молодость! Дорогая Коринна, ты и ведать не ведаешь, какое это счастье, не знаешь, что чистые чувства, не тронутые суровым дыханием жизни, — величайшее наше благо и останутся им навсегда.

— Верно, — рассмеялась Коринна, — молодость — это куда как хорошо. Но быть коммерции советницей тоже неплохо, пожалуй, даже лучше. Я за то, чтобы иметь ландо и виллу, утопающую в зелени. А когда пасха и приходят гости, разумеется, много гостей, в саду можно прятать яички с сюрпризом, либо сладости от Хэвеля и Кранцлера, либо крошечный несессерчик. И когда каждый гость найдет яйцо, пусть кавалеры возьмут своих дам под руку и отведут к столу. Да, я за молодость, но за молодость среди роскоши и избранного общества.

— Такие речи мне приятно слушать, по крайней мере сейчас. Я ведь явилась пригласить тебя к нам, и не далее как на завтра. Все так быстро сделалось. Некий мистер Нельсон, молодой человек, приехал к моему Отто, разумеется, это не значит, что он у Отто и остановился; он наследник фирмы «Нельсон и компания» из Ливерпуля — Отто ведет с ними почти все дела. Елена тоже с ним знакома. Это чисто по-гамбургски: они знают всех англичан, а если нет, все равно делают вид, будто знают. Чудно, на мой взгляд. Итак, речь идет о мистере Нельсоне, который послезавтра отбывает на родину. Милый человек и деловой

знакомый. Отто непременно должен принять его у себя. Но это — увы! — невыполнимо, так как у Елены в доме, по обыкновению, большая стирка, что, на ее взгляд, важнее всех прочих дел. Пришлось нам взять это на себя, скажу по совести, без особой радости, хоть и без особого огорчения. Ведь Отто, когда ездил в Англию, несколько недель прожил у Нельсонов. Теперь ты видишь, как обстоят дела и как я заинтересована в твоём приходе: ты говоришь по-английски, ты все читала, ты прошлой зимой видела Бута в «Гамлете». Я помню, в каком ты была восторге после спектакля. Политику и историю Англии ты, без сомнения, тоже знаешь, недаром же ты дочь своего отца.

— Не так уж и знаю, самую малость. Самую малость всегда можно узнать.

— *Теперь*, дорогая. Тебе было легко, всем вам, нынешним, легко. Вот в мое время дело обстояло иначе; и если бы небеса, за что я не устаю возносить благодарность, не одарили меня вкусом к поэзии, а вкус к поэзии, раз он есть у человека, никогда ему не изменит — ничего бы я не знала и ничего бы не стоила. Но слава богу, из стихов я почерпнула все, что мне надо, когда человек знает много стихов наизусть, он уже кое-что знает. И за это, помимо бога, наделившего меня такой душой, я благодарю твоего отца. Он выпестовал цветок, который иначе захирел бы во тьме лавки, среди ужасных прозаических людей, — ты себе и представить не можешь, какие бывают на свете прозаические люди... Кстати, как поживает твой отец? Я его уже месяца три не видела, а то и больше, — ну да, четырнадцатого февраля, на дне рождения у Отто. И то он рано ушел, потому что там много пели.

— Да, он не любит, когда поют. Во всяком случае, не переносит, когда начинают петь неожиданно для него. Есть у него такая слабость, некоторые даже называют это безтактностью.

— Нет, нет, Коринна, как можно, ты не должна так говорить. Просто твой отец оригинальный человек. И я в отчаянии, что мне редко выпадает счастье наслаждаться его обществом. Я охотно пригласила бы на завтра и его тоже, но сомневаюсь, чтобы мистер Нельсон представлял для него интерес, не говоря уже обо всех прочих; наш друг, Адолар Крола, вероятно, опять будет петь, ассессор Гольдаммер рассказывать свои «полицейские» истории и показывать фокус с цилиндром и двумя талерами.

— О, я заранее радуюсь. Но папá и впрямь не любит себя неволить, его покой и его трубка для него дороже, чем молодой англичанин, пусть он хоть трижды объехал вокруг света. Папá у меня добрый человек, но односторонний и своенравный.

— Не могу с тобой согласиться, Коринна, твой папá — брильянт чистой воды, кому уж это знать, как не мне.

— Он недооценивает все внешнее: деньги, собственность, вообще все, что нас украшает и делает привлекательными.

— Нет, Коринна, не говори этого. Твой отец смотрит на жизнь как должно; он знает, что богатство — обуза, что не в деньгах счастье. — Тут советница смолкла, меланхолически вздохнула, после чего продолжала: — Ах, дорогая Коринна, счастье возможно лишь при ограниченных средствах.

Коринна улыбнулась:

— Так говорят все, кто и знать не знает об ограниченных средствах.

— Я-то знаю.

— Ну да, в былые годы. Но все осталось далеко позади, давно забыто или выглядит издали лучше, чем было. А по сути, дело обстоит так: каждый стремится к богатству, и ничего дурного в этом нет. Правда, папá знай себе твердит о верблюде и об игольном ушке. Но те, кто помоложе...

— ...к сожалению, рассуждают иначе. Увы, ты права. Но хоть и права, дело обстоит не столь уж плохо, как тебе кажется. Было бы слишком печально, если бы люди — и прежде всего молодежь — начисто лишились идеалов. Нет, еще жива среди молодежи тяга к возвышенному. Взять хотя бы твоего кузена Марселя, которого ты, кстати, встретишь завтра среди наших гостей (он уже дал согласие). Его поистине не в чем упрекнуть, если, конечно, отвлечься от фамилии. Это же надо — Ведеркоп! Чтобы у такого утонченного человека была такая дурацкая фамилия. Впрочем, дурацкая она или нет, а я всякий раз охотно с ним беседую, когда встречаю его у Отто. А почему? Да потому, что у него есть жизненные правила, те самые, которые должно иметь. Даже наш добрый Крола давеча сказал мне: Марсель этичен до мозга костей, а этичность он, Крола, ценит превыше всего, даже превыше морали, с чем я, после некоторых разъяснений с его стороны, не могла не согласиться. Нет, Коринна, не теряй высоких

чувств, они несут награду в себе самих. У меня только два сына, оба коммерсанты, которые идут путем своего отца, — тут уж ничего не поделаешь, но если бы господь благословил меня дочерью, она была бы моя душой и телом, и если бы в ее сердце закралась склонность к бедному, но благородному юноше, такому, например, как Марсель Ведеркоп...

— ...быть бы им мужем и женой, — рассмеялась Коринна. — Бедняжка Марсель, мог бы составить свое счастье, а дочери-то, как на грех, бог не дал.

Коммерции советница кивнула.

— Ну как тут не пожалеть, что в жизни столь редко все сходится, — продолжала Коринна, — хотя у вас, милостивая государыня, благодарение богу, есть еще сын Леопольд, он молод и не женат, и раз вы имеете на него влияние, — по меньшей мере он так утверждает, и его брат Отто тоже, и весь свет вслед за ними, — он мог бы, поскольку об идеальном зяте мечтать не приходится, привести в ваш дом идеальную невестку, очаровательную молодую особу, скажем, актрису...

— Не люблю актрис...

— Или художницу, или пасторскую дочку, или профессорскую...

От последних слов коммерции советница передернулась и поглядела на Коринну бегло, но выразительно, однако тотчас убедилась, что Коринна по-прежнему весела и безмятежна, и страх отлетел от нее так же внезапно, как и появился.

— Да, Леопольд, Леопольд, — сказала она. — Покамест он со мной. Но Леопольд еще дитя. И его свадьба дело далекого будущего. Когда же придет срок... — Тут советница собиралась всерьез — поскольку, должно быть, речь шла о деле неблизком — предаться рассмотрению образа идеальной невестки, но в этом ей помешал профессор, вернувшийся из гимназии и с великой учтивостью приветствовавший старую приятельницу.

— Я не помешаю?

— В собственном-то доме? Нет, милый профессор, вы нигде не можете помешать. Вы делаете жизнь светлее. Вы совершенно такой, как были прежде! А вот Коринной я не совсем довольна. Она слишком современно обо всем судит и не признает авторитета отца, который всегда жил в мире прекрасного.

— Да, да,— согласился профессор.— Можно и так сказать. Но, я надеюсь, она еще образумится. Правда, известную тягу к современности она сохранит. А жаль... Когда мы были молоды, все выглядело иначе. Мы умели жить поэзией и воображением.

Профессор сказал это не без пафоса, словно стоял перед своими гимназистами, коим надлежало открыть непревзойденную красоту отрывка из Горация или «Парсифаля» (профессор, надобно заметить, был классик и романтик в одном лице). Однако пафос его отдавал некоторой театральностью и содержал к тому же добрую толику иронии, что коммерции советница, как дама неглупая, тотчас и уловила. Впрочем, она сочла за благо принять все за чистую монету, кивнула одобрительно и промолвила:

— Ах, прекрасные дни, прекрасные дни, они никогда не воротятся!

— Никогда,— поддержал и профессор, продолжающий играть свою роль с серьезностью Великого Инквизитора.— Эти дни миновали, но ведь надобно жить дальше.

Ответом была неловкая тишина, затем ее нарушило щелканье кнута.

— Это сигнал,— объявила коммерции советница, явно обрадовавшись.— У Иоганна лопнуло терпение. А кто посмел бы испортить отношения с таким неумолимым повелителем?

— Никто,— поддержал Вилибальд Шмидт.— Наше житейское счастье зависит от доброго расположения наших близких; министр для меня мало что значит, зато наша Шмольке...

— Вы правы, как всегда, дорогой друг.

С этими словами госпожа советница встала, поцеловала Коринну в лоб, а Вилибальду протянула руку.

— Что до нас, дорогой профессор, здесь все остается как прежде, *неуклонно*.— После чего она покинула комнату и, сопровождаемая Коринной, вышла на улицу.

— *Неуклонно*,— повторил Вилибальд, оставшись один.— Модное словцо, проникшее даже в трайбелевскую виллу... Впрочем, моя приятельница Женни, надо отдать ей должное, точно такова, какою была сорок лет назад, когда потряхивала своими каштановыми кудерьками. Она уже в ту пору питала склонность к сентиментальному, но предпочтение все же отдавала флирту и взбитым сливкам. Теперь она, правда, раздалась в ширину да понабралась

образованности, вернее сказать, того, что у людей принято называть образованностью, да еще Адолар Крола исполняет для нее арии из «Лоэнгрина» и «Тангейзера». Кажется, это ее любимые оперы. Поистине, ее матушка, добрая фрау Бюрстенбиндер, сидючи в бакалейной лавке, знала, что делает, когда с извечной женской мудростью наряжала свою дочь, как куколку. Нынче куколка стала коммерции советницей и может себе позволить решительно все, даже словцо «неуклонно». Идеальный образец буржуазки.

Тут профессор подошел к окну, приподнял жалюзи и поглядел, как Коринна, усадив советницу, захлопывает дверцу кареты. Еще один, последний обмен приветствиями, в котором с кисло-сладкой миной принимает участие и компаньонка, и лошади берут с места и медленной рысцей трусят в сторону Шпрее, потому что на узкой Адлерштрассе трудно развернуться.

Поднявшись наверх, Коринна сказала:

— Папа, ты не будешь возражать? Я на завтра звана к Трайбелям. Там будет Марсель и какой-то англичанин, которого зовут Нельсон, ни больше, ни меньше.

— Я? Боже сохрани! Как я могу возражать против того, чтобы человек развлекался? Я ведь надеюсь, ты там развлекаешься?

— Конечно, развлекаюсь. Какая-никакая, а перемена. Все, что может сказать Дистелькамп, и Риндфлейш, и маленький Фридеберг, я уже наизусть знаю. Но что может сказать Нельсон, — ты только подумай, Нельсон! — я покамест не знаю.

— Едва ли что-нибудь умное.

— Не беда. Я порой так скучаю по глупостям!

— Это бывает, Коринна.

Глава вторая

Трайбелевская вилла была расположена на большом участке земли, протянувшемся от Кёпникерштрассе до берега Шпрее. Раньше у самой реки стояли только фабричные здания, в которых ежегодно производилось великое множество центнеров железисто-кровоной соли, а позднее, после расширения фабрики — едва ли меньшее количество берлинской лазури. Но после войны семидесятого года, когда в страну потоком хлынули француз-

ские миллиарды и грюндерские идеи вскружили даже самые трезвые головы, коммерции советник Трайбель нашел, что его дом на Старой Якобштрассе, хотя и построенный не то Контардом, не то — по другой версии — самим Кнобельсдорфом, не соответствует более ни его положению в обществе, ни духу времени, а потому и выстроил себе на фабричной территории модную виллу с небольшим палисадником впереди и большим садом, почти парком, позади дома. Вилла имела два этажа, первый — несколько приподнятый над землей и второй — долженствующий изображать бельэтаж, но из-за низких окон скорей походивший на мезонин. Здесь Трайбель жил вот уже шестнадцать лет, и все шестнадцать лет не переставал удивляться, как это он раньше мог жить на Якобштрассе, захудалой, начисто лишенной воздуха улице, и все из-за «общего с Фридрихом» архитектора (да и то по непроверенным слухам); его супруга Женни в известной мере разделяла эти чувства. Конечно, близкое соседство фабрики при неблагоприятном направлении ветра давало о себе знать, но северный ветер, нагонявший облака дыма, случался нечасто, и от хозяев требовалось лишь одно — не устраивать в такие дни приемы. Помимо того, Трайбель с каждым годом заставлял выводить фабричные трубы все выше и выше и тем немало способствовал устранению первоначального недостатка.

Обед был назначен на шесть, однако уже за час до срока фургон от Хустера, с круглыми и четырехугольными корзинами остановился перед чугунной решеткой ворот. Госпожа советница в полном параде наблюдала из окна своего будуара за этой сценой и, как всегда, была не без оснований ею шокирована. «Как мог Трайбель упустить из виду, что нам нужен еще один вход! Стоило ему тогда прикупить хоть четыре фута земли от соседнего участка, и у нас был бы специальный вход для поставщиков. А теперь любой кухонный мальчишка топает прямо через палисадник, будто и его тоже пригласили. Смешно и претенциозно, мы словно хотим показать всей Кёпникерштрассе, что устраиваем нынче обед. Кроме прочего, глупо без нужды давать пищу людской зависти и социал-демократическим чувствам».

Все это госпожа советница сказала вполне серьезно, но она принадлежала к числу тех счастливых, которые не могут долго сосредоточиться на одной мысли, и потому немного спустя вернулась к туалетному столику, чтобы

навести на себя окончательный лоск и спросить у зеркала, удастся ли ей нынче превзойти свою гамбургскую невестку. Правда, свекровь была по меньшей мере в два раза старше своей невестки, но Женни прекрасно знала, что возраст не играет роли, что решает дело умение вести беседу, живость взгляда, словом, «сочетание форм» — как в одном, так и в другом, и даже скорее в другом смысле. А уж по части *форм* советница, достигшая пределов упитанности, бесспорно превосходила невестку.

В комнате, расположенной симметрично будуару по другую сторону передней залы, сидел коммерции советник Трайбель и читал «Берлинер тагеблатт». Как раз сегодня газета вышла с юмористическим приложением, «Проказы», и Трайбель смаковал карикатуру и философические соображения Нунне. «Здорово!.. Превосходно!!! Но надо все-таки отложить ее в сторонку или, на худой конец, положить сверху «Дейчес тагеблатт». Не то Фогельзанг отречется от меня. А я при нынешнем положении дел не могу без него обойтись, не могу настолько, что вынужден пригласить его на обед. Занятное соберется сегодня общество! Взять хотя бы этого Нельсона, которого нам спихнула Елена, потому, видите ли, что ее горничные, как обычно, заняты утюжкой. Потом Фогельзанг, этот отставной лейтенант и *agent-provocateur*¹ в предвыборных компаниях. Дело он понимает, так все говорят, а мне приходится верить на слово. В одном я не сомневаюсь: если он проведет мою кандидатуру в Тейпиц-Цоссене и на берегах Вендской Шпрее, значит, проведет и здесь. А это главное. В конце концов все делается для того, чтобы мне одержать победу в самом Берлине и чтобы, когда настанет время, оттеснить Зингера или кого-нибудь другого из той же братии. После недавней пробы красноречия у Буггенхагена я считаю победу более чем вероятной, значит, надо держать Фогельзанга в боевой готовности. Язык у него подвешен дай бог каждому, можно только позавидовать. Хоть я и сам не из секты молчальников, но рядом с Фогельзангом я нуль. Иначе и быть не может: ведь если говорить откровенно, его шарманка умеет играть всего три песни, он их крутит одну за другой, прокрутит все три и начнет снова. Так обстоит дело, и в этом-то его сила, *gutta cavat lapidem*². Старый Вилибальд Шмидт от души

¹ Наемный подстрекатель (*франц.*).

² Капля точит камень (*лат.*).

бы порадовался, если б услышал, как я изъясняюсь полатыни, разумеется, при условии, что я не наврал. Хотя нет, скорее наоборот; если я допустил две-три ошибки, ему было бы даже приятнее, ученые — они все такие... А Фогельзанг, этого у него не отнимешь, обладает еще одним достоинством, которое даже важнее умения твердить одно и то же: он наделен верой и вообще настоящий фанатик. Интересно: не так ли обстоит дело и с прочими видами фанатизма? Пожалуй, именно так. Человек разумный не может быть фанатиком. Кто верит лишь в один какой-то путь, в одно какое-то дело, тот *roveretto*¹, а если вдобавок это дело есть он сам, он опасен для общества и созрел для сумасшедшего дома. Вот каков тот господин, в честь которого, если, конечно, не считать мистера Нельсона, я сегодня даю обед и даже пригласил двух высокородных фрейлин, голубую кровь, которую не сыщешь на Кёпникерштрассе, а посему ее приходится приглашать из западной части города, а вторую половину — даже из Шарлоттенбурга. О, Фогельзанг, Фогельзанг! Вообще-то говоря, я его не выношу, но чего не стерпишь, будучи патриотом и гражданином!» Здесь Трайбель опустил взгляд на протянутую между петлями сюртука цепочку, к которой были подвешены три миниатюрных ордена, — из них румынский — самый высокий, — вздохнул и рассмеялся. «Да, всего лишь Румыния, а ранее Молдавия и Валахия. Для меня маловато».

Первым подъехал экипаж его старшего сына Отто, который жил своим домом и в самом конце Кёпникерштрассе, между Силезскими воротами и понтонным складом саперных казарм, держал лесоторговый склад, правда, не простой, а рангом повыше, ибо торговал он исключительно ценными породами — фернамбуком и синим сандалом. Отто был женат уже восемь лет. Едва экипаж остановился, он помог выйти своей жене, с учтивой поспешностью предложил ей руку и, миновав палисадник и парадное крыльцо, очутился в передней части отцовской виллы, напоминающей застекленную веранду. Старый советник уже стоял в открытых дверях и принял детей с присущим ему грубоватым радушием. Затем из смежной комнаты, которую лишь портье отделяла от большой

¹ Бедняга (*итал.*).

залы, явилась госпожа советница и подставила невестке щеку, покуда сын целовал ей руку.

— Хорошо, что ты пришла, — сказала советница невестке, удачно сочетая в приветствии насмешку и радость. (Надобно сказать, что она была — когда захочет — великая мастерица по части таких сочетаний.) — Я, уж признаться, боялась, что тебе недосуг.

— Извини, мамá... Дело не в одной утюжке; кухарка первого июня уходит, а когда прислуга не дорожит местом, она совсем не старается. На Элизабет и вовсе надежда плоха, она неловка до неприличия, и когда обносит гостей, так наклоняется, словно хочет навалиться на плечо гостя, особенно если это мужчина...

Коммерции советница рассмеялась, наполовину умиrotворенная, ибо находила вкус в подобных историях.

— А откладывать нельзя, — продолжала Елена. — Ты ведь знаешь, мистер Нельсон завтра вечером уезжает. Кстати, прелестный молодой человек, вам он понравится. Правда, несколько односложен и неразговорчив, должно быть, потому что не знает толком, как ему изъясняться, по-немецки или по-английски. Но уж если что скажет, все очень умно, с той корректностью и основательностью, которая отличает всех почти англичан. И всегда-то он одет с иголки. В жизни не видывала подобных манжет, меня прямо совесть мучит, когда подумаю, в чем ходит мой бедный Отто, но ведь даже при самых добрых намерениях порой не хватает сил... И все у него такой же ослепительной чистоты, как манжеты, — я говорю про мистера Нельсона, — и голова и волосы. То ли он их расчесывает с медовой водой, то ли выбрал удачный шампунь.

Человек, удостоившийся столь лестной рекомендации, вторым, вслед за Отто, предстал перед чугунными воротами трайбелевской виллы и видом своим поверг советницу в немалое изумление. По описанию невестки, она ожидала увидеть воплощение элeгантности, но вместо этого увидела существо, в котором решительно все, если не считать манжет, воспетых госпожой Трайбель-младшей, подверглось ее критике. Нечищенный цилиндр сдвинут на затылок, костюм дорожный, в желтую и коричневую клетку. Раскачиваясь из стороны в сторону, мистер Нельсон ступил на крыльцо и приветствовал собравшихся в истинно английской манере, где поровну смешались самоуверенность и смущение. Отто пошел ему навстречу, чтобы представить его своим родителям.

— Мистер Нельсон из Ливерпуля. Тот самый, дорогой папа, с которым...

— А-а, мистер Нельсон. Очень рад. Сын мой часто вспоминает те счастливые дни, которые он провел в Ливерпуле, и вашу с ним совместную поездку в Дублин, а также, если не ошибаюсь, в Глазго. Тому уже девятый год пошел, вы, видно, были тогда совсем молоды...

— Нет, мистер Трайбель, не совсем... about sixteen¹.

— Так я и думал, шестнадцать...

— Да, шестнадцать, не так уж и молод... по-нашему.

Заверения в противном выглядели тем комичнее, что мистер Нельсон и сейчас смахивал на мальчишку. Впрочем, для долгих словопрений не осталось времени, поскольку к дому подкатили дрожки, явно второго разбора, откуда выскочил тощий господин в мундире. У господина, судя по всему, было какое-то недоразумение с извозчиком, что не мешало ему сохранять завидную невозмутимость. Затем господин приосанился и хлопнул калиткой. Был он в каске и при палаше, но, прежде чем присутствующие успели разглядеть знаки на его эполетах, всякому, кто был хоть мало-мальски сведущ в военном деле, стало ясно, что человек этот вышел со службы по меньшей мере лет тридцать назад. В нем ощущались скорее чопорность престарелого инспектора каких-нибудь торфоразработок или соляных копей, нежели безупречная выправка строевого офицера. Всякое движение он совершал словно бы автоматически, а черные закрученные усики казались не только подкрашенными — это бы еще полбеды, — но и подклеенными. То же впечатление производила и бородака à la Генрих IV. При этом нижняя часть его лица была затенена выступающими скулами. С невозмутимым спокойствием, которое казалось определяющей его чертой, он поднялся на крыльцо и прошествовал к хозяйке дома:

— По вашему приказанию, милостивая государыня...

— Очень приятно, господин лейтенант...

Тут подошел и сам Трайбель:

— Любезный Фогельзанг, позвольте, я вам представлю... Моего сына Отто вы знаете, его супругу и мою дорогую невестку покамест нет... Родом из Гамбурга, как вы и сами легко догадаетесь... А это, — и он приблизился к мистеру Нельсону, который, забыв про остальных гостей,

¹ Примерно шестнадцать (англ.).

вел самую безмятежную беседу с подоспевшим Леопольдом Трайбелем, — а это молодой друг нашего дома, мистер Нельсон из Ливерпуля.

При слове «Нельсон» Фогельзанг вздрогнул, он явно считал это шуткой, ибо никогда не мог избавиться от подозрения, что его разыгрывают. Впрочем, невозмутимые физиономии остальных гостей успокоили его, и тогда он учтиво поклонился и сказал молодому англичанину:

— Нельсон. Великое имя. Очень рад, мистер Нельсон.

Последний расхохотался чуть не в лицо стоящему перед ним чопорному лейтенанту, потому что таких забавных стариков ему еще встречать не доводилось. Мысль, что и сам он производит не менее комичное впечатление, ему, по счастью, не приходила в голову. Фогельзанг прикусил губу и под впечатлением нового знакомства окончательно утвердился в давнем предположении, что вся английская нация состоит сплошь из наглецов. А впрочем, настал тот момент, когда прибытие все новых и новых гостей отвлекало от дальнейших наблюдений и заставляло позабыть о странностях англичанина.

Приятель-фабриканты с Кёпникерштрассе в колясках с опущенным верхом быстро и почти насильственно вытеснили как бы замешкавшиеся в нерешительности дрожки Фогельзанга; потом явилась Коринна вместе со своим кузеном Марселем Ведеркопом (оба пешком), наконец подъехал Иоганн, трайбелевский кучер, и из подбитого синим атласом ландо, в котором вчера коммерции советница ездил к Шмидтам, вышли две немолодые дамы, к которым Иоганн выказал особое, можно сказать, невиданное почтение. Это невиданное почтение объяснялось, впрочем, весьма просто. В самом начале очень для него важного и происшедшего года два с половиной назад знакомства Трайбель сказал кучеру: «Иоганн, запомни раз и навсегда: перед этими дамами всегда стой навтыяжку. Ну, а остальное, ты понимаешь, о чем я говорю, это уж мое дело». После такого разговора хорошие манеры Иоганна были обеспечены. Трайбель поспешил встретить вновь прибывших дам на середине палисадника, и после оживленного обмена взаимными комплиментами, в чем приняла участие госпожа советница, все поднялись на крыльцо, оттуда на веранду, а с веранды перешли в залу, где по-камест было очень немногочленно, так как превосходная погода располагала к пребыванию на воздухе. Почти все гости знали друг друга по трайбелевским обедам, исклю-

чение составляли лишь Нельсон и Фогельзанг, ради которых пришлось возобновить церемонию представления. «Разрешите мне,— обратился Трайбель к почтенным дамам, ибо те приехали последними,— представить вам двух господ, которые впервые оказали мне честь своим присутствием: лейтенанта Фогельзанга, председателя нашего избирательного комитета, и мистера Нельсона из Ливерпуля». Стороны обменялись поклонами. Потом Трайбель взял Фогельзанга под руку и шепнул, желая хотя бы бегло проинформировать его:

— Две придворных дамы, полная — майорша фон Цапель, а не полная (в чем вы, конечно, со мной согласитесь) — фрейлейн Эдвина фон Пышке.

— Странно,— заметил Фогельзанг.— Я бы, сказать по правде...

— ...посоветовал им поменяться именами. В самую точку, Фогельзанг. Я рад, что вы замечаете такие детали. Сказывается офицерская кровь. Итак, вышеупомянутая фон Цапель, объем груди метр, никак не меньше, что может, разумеется, навести на некоторые мысли и, вероятно, наводило в свое время. В целом же одно из тех забавных несоответствий между именем и носителем, которые скрашивают нашу жизнь. Человек по фамилии Клопшток был поэтом, а другой, я еще знал его лично — звался Грипенкерль... Верно только, что обе дамы могут оказать нам важные услуги.

— Каким образом?

— Цапель — двоюродная сестра цоссенского предводителя дворянства, а один из братьев фрейлейн Пышке женат на пасторской дочке из Шторковского прихода. Мезальянс, конечно, но мы должны этим пренебречь, ибо нам это будет только на пользу. Надо, как Бисмарк, всегда иметь про запас несколько планов... А, слава богу, Иоганн переменял ливрею и подает знак... Давно пора. Ждать четверть часика — это еще куда ни шло, но десять минут сверх того — это уж слишком. Даже не прислушиваясь особенно, я слышу, «как лань желает к потокам воды...». Прошу вас, Фогельзанг, ведите к столу мою жену... Дорогая Коринна, возьмитесь-ка за Нельсона... Подумать только, корабль «Виктори», Вестминстерское аббатство! Ну, а брать на бордаж в данном случае надлежит вам. Теперь, мои дамы... разрешите предложить вам руку, госпожа майорша?.. и вам, милостивейшая государыня?

Имея фон Цапель справа, фон Пышке слева от себя, Трайбель проследовал к двустворчатой двери, и, покуда он договаривал последнюю фразу, дверь с медлительной торжественностью перед ним распахнулась.

Глава третья

Обеденная зала была выстроена в полном соответствии с приемной, из нее открывался вид на большой сад, подобие французского парка, с фонтаном перед самыми окнами; маленький шарик плясал, подскакивая в струе фонтана, а на перекладине стоящего поблизости шеста восседал какаду и глубокомысленным, как у всякого попугая, взором разглядывал попеременно то струю с пляшущим шариком, то столовую, где, ради вентиляции, были слегка приоткрыты фрамуги. Уже зажгли люстры, но прикрученные языки пламени были почти не видны в лучах послеполуденного солнца и влачили какое-то подобие существования, лишь потому что коммерции советник, если предоставить ему слово, не любил, «чтобы возня с зажиганием ламп нарушала обеденное настроение и отбивала аппетит». И даже раздававшееся время от времени тихое пыханье, которое, по словам советника, следовало расценивать, как «приглушенный салют», не могло кардинальным образом изменить его точку зрения. Обеденная зала была отделана с благородной престотой: желтые стены, кое-где украшенные прелестными рельефами работы профессора Франца. Когда обсуждался вопрос об украшении обеденной залы, госпожа коммерции советница выдвинула, со своей стороны, кандидатуру Рейнхольда Бегаса, но она была отклонена Трайбелем, как слишком высокая для их общественного положения.

— Вот когда я стану генеральным консулом, тогда пожалуйста...

— Никогда не станешь, — ответствовала Женни.

— Почему же не стану? Тейпиц-Цоссен — первая к тому ступень. — Трайбель знал, с каким недоверием относится супруга к его предвыборной кампании и ко всем связанным с этим надеждам, а потому не упускал случая подчеркнуть, что на древе своей политики он мечтает, помимо прочего, взрастить золотые плоды в угоду ее женскому тщеславию.

За окном продолжалась игра струй, а в зале, на главном месте, перед которым, вместо обычной вазы с сиренью и золотым дождем, высилась целая клумба, сидел старый Трайбель, по обе стороны — высокородные дамы, визави — его супруга, между лейтенантом Фогельзангом и бывшим оперным певцом Адоларом Кролой. Крола вот уже пятнадцать лет числился другом дома, что в равной мере объяснялось тремя его достоинствами: хорошей внешностью, хорошим голосом и хорошим состоянием. Незадолго перед тем как покинуть сцену, Крола женился на дочери миллионера. По общему признанию, Крола был обаятельнейший человек, что, вкупе с более чем благополучным финансовым положением, выгодно отличало его от прежних коллег.

Госпожа Женни явилась в полном блеске, ничто в ней уже не напоминало о скромной лавке на Адлерштрассе, напротив, все обличало богатство, все дышало эlegantностью; впрочем, надо сразу оговориться, что ни кружева на парчовом фиолетовом платье, ни маленькие брильянтовые серьги, которые вспыхивали при каждом повороте головы, неспособны были сами по себе уничтожить память о прошлом, нет, основным признаком благородства была спокойная уверенность, с какой Женни восседала среди своих гостей. Никто не заметил бы в ней ни тени волнения, впрочем, и причин к тому не было ни малейших. Женни понимала, какое значение имеет вышколенная прислуга для богатого представительного дома, и стремилась удержать всякого, кто зарекомендовал себя с нужной стороны, высоким жалованьем и хорошим обращением. Вот почему и сегодня все шло как по маслу, а Женни взглядом осуществляла верховное руководство, тому немало способствовала надувная подушка, позволявшая ей занимать доминирующее положение. Исполненная невозмутимого спокойствия, Женни была сама любезность. Не опасаясь хозяйственных недоразумений, она могла всецело отдаться любезной застольной беседе, и поскольку ее несколько смущало, что, за вычетом первых минут знакомства, ей не удалось перекинуться двумя-тремя доверительными фразами ни с одной из высокородных дам, она через стол обратилась к своей визави — фрейлейн фон Пышке и спросила голосом, полным напускного (а может быть, даже искреннего) интереса:

— Скажите, милостивая государыня, не доводилось ли вам в последнее время слышать о принцессе Анизетте?

Судьба юной принцессы живо меня интересует, да и не только ее, а всей этой ветви королевского дома. Сколько мне известно, она счастлива в замужестве. Я люблю слушать о счастливых браках в высших сферах общества, мне хотелось бы заметить при этом, что существует глупейшее, на мой взгляд, заблуждение, будто на высотах общества супружеское счастье невозможно.

— Верно,— неосмотрительно перебил ее Трайбель,— подобный отказ от самого высокого...

— Милый Трайбель,— продолжала советница,— хоть я и питаю величайшее уважение к твоим разносторонним познаниям, в данном случае я обращалась к фрейлейн фон Пышке, которая, как мне кажется, значительно более компетентна во всем, что связано со двором.

— Без сомнения,— подтвердил и Трайбель.

После чего фрейлейн фон Пышке, с видимым удовольствием внимавшая супружеской перепалке, взяла слово и поведала о принцессе: «Вылитая бабушка, тот же дивный цвет лица, а главное — тот же дивный характер». Навряд ли кому другому это известно так хорошо, как ей, ибо ей выпало на долю великое счастье начать свою карьеру при дворе под благосклонным покровительством той, что ныне почила в бозе, но уже при жизни была ангелом, благодаря чему она, Пышке, сердцем постигла истину: «Естественность не только самое прекрасное, но и самое благородное в этом мире».

— Да,— сказал и Трайбель,— самое прекрасное и самое благородное. Видишь, Женни, это говорит тебе дама, которую ты (прошу прощения, милостивая государыня) только что сама назвала «более компетентной стороной».

Тут к разговору присоединилась госпожа фон Цапель, и внимание Женни, помешанной, как и всякая коренная берлинка, на жизни двора и принцессах, все более поглощалось обеими визави, пока едва заметное движение глаз Трайбеля не дало ей понять, что за столом сидят и другие гости и что «в стране обычай есть такой»: за обедом более заниматься соседями слева и справа, нежели своими визави. Коммерция советница порядком встревожилась, когда поняла, насколько прав Трайбель, делая ей это безмолвное и как бы шутивное замечание. Она решила поскорее наверстать упущенное и своим усердием только испортила дело. Ее соседом слева был Крола. Ну это еще куда ни шло! Крола — друг дома и вообще человек добродушный и снисходительный. Но зато Фогельзанг! Женни

вдруг припомнила, что во время разговора о принцессах у нее было такое чувство, будто справа ее сверлит чей-то неотступный взгляд. Так и есть, на нее смотрел Фогельзанг, этот ужасный человек, этот Мефистофель с петушьим пером и хромою ногой, пусть даже ни того, ни другого не увидишь простым глазом. Он внушал ей глубокое отвращение, но заговорить с ним было необходимо и вдобавок — не мешкая.

— Я наслышана, господин лейтенант, что вы собираетесь посетить наш дорогой Бранденбург, что вы хотите достичь берегов Вендской Шпрее и даже пересечь ее. Чрезвычайно любопытная местность, как мне рассказывал Трайбель, со всякими вендскими пдолами, которым и по сей день поклоняются непросвещенные венды.

— Впервые об этом слышу, милостивая государыня.

— Так, например, обстоит дело в городке Шторков, бургомистром которого был, если мне не изменяет память, Чех, этот политический фанатик, который стрелял во Фридриха-Вильгельма Четвертого, нимало не заботясь о том, что рядом стоит королева. Тому уже немало лет, но я до сих пор так живо помню все подробности, словно это случилось вчера, я даже помню странную песню, которая была сложена по этому поводу.

— Да,— сказал Фогельзанг,— мерзкая уличная песенка, насквозь пропитанная фривольным духом, который вообще отличал лирику тех дней. Сплошные фальшь и обман — вот вам и вся тогдашняя лирика, включая и упомянутые вирши. «Чуть не лишилась живота — ах! — королевская чета!» Какая гадость?! Должно было звучать вполне лояльно и в сложившихся обстоятельствах даже как-то прикрывать отступление, а что вышло? Самое гнусное, самое постыдное порождение того изолгавшегося времени, даже учитывая творения главного грешника по этой части. Я говорю, разумеется, о Гервеге, о Георге Гервеге.

— Ах, господин лейтенант, вы чувствительно меня задели, хотя и без умысла. Надобно вам признаться, к середине сороковых годов, когда я конфирмовалась, Гервег был моим любимым поэтом. Я всегда была страстной протестанткой и потому приходила в неопишуемый восторг, когда он провозглашал свое «Против Рима», в чем, быть может, вы со мной согласитесь. И еще одно стихотворение я читала с неменьшим удовольствием, помните, где он призывает: «Все кресты с могил снимайте!» Естествен-

но, я сознаю, что это не совсем подходящее чтение для девицы конфирмационного возраста. Но матушка моя говорила: «Читай, Женни, читай, Гервега и король читал, Гервег в Шарлоттенбург к нему ездил, его даже сливки общества читают». Матушка моя, за что я буду ей вечно признательна, конечно, всегда горой стояла за высшие классы. Так должна вести себя каждая мать, ибо это определяет наш жизненный путь. Низкое тогда не может коснуться нас и остается где-то позади.

Фогельзанг сдвинул брови, и всякий, у кого покамест лишь смутно мелькала мысль о сходстве его с Мефистофелем, увидя такую игру лица, невольно поискал глазами хромую ногу. Однако коммерции советница продолжала:

— Впрочем, я охотно допускала, что патриотические принципы, которые провозглашал великий поэт, очень и очень уязвимы. Равно как не всегда бывают правильными и проторенные пути...

Фогельзанг, гордый тем, что идет непроторенными путями, кивнул — на сей раз одобрительно.

— Впрочем, оставим политику, господин лейтенант. Я отдаю вам Гервега, как политического поэта, ибо политика была лишь каплей чужеродной крови в его жилах, а велик он там, где он поэт и только поэт. Вы помните? «Хотел бы я угаснуть, как закат, как день в последнем розовом сиянье...»

— «О, этот смерти мимолетный взгляд, о, эта тишь и с вечностью слиянье!» Да, милостивая государыня, эти стихи я знаю, и я твердил их в свое время, но если есть на свете человек, который отнюдь не желает героически слиться с вечностью, когда дойдет до дела, то это не кто иной, как сам господин Гервег. Так было, так будет. Прямое следствие пустых, высокопарных слов и рифмоплетства. Поверьте слову, госпожа советница, это уже пройденный этап. Будущее за прозой.

— Как на чей вкус, господин лейтенант, как на чей, — сказала Женни, оскорбленная в своих лучших чувствах. — Если вы предпочитаете прозу, я не стану противоречить, но мне дорог мир поэзии, а всего дороже те формы, в которых поэзия издавна находит свое выражение. Лишь ради этого стоит жить. Суэта сует и всяческая суета, самое же суетное — то, чего алчет мир, — богатство внешнее, золото. «Золото — это только химера», — вот вам, пожалуйста, изречение великого человека и великого художника — я говорю о Мейербере, который, будучи баловнем судьбы,

более других имеет возможность постичь разницу между вечным и преходящим. Что до меня, я навсегда сохраню верность идеалу и никогда не отрекусь от него. А наиболее возвышенное воплощение идеала я нахожу в песне, и прежде всего в песне, которую поют. Ибо музыка возносит поэзию в сферу еще более высокую. Дорогой Крола, скажите, права я или нет.

Крола улынулся про себя, смущенно и добродушно, ибо, будучи миллионером, с одной стороны, и тенором — с другой, он поневоле сидел между двух стульев. Потом он все-таки взял руку своей приятельницы и сказал:

— Ах, Женни, Женни, разве вы когда-нибудь бываете неправы?

Тем временем коммерции советник всецело занялся майоршей Цапель, чьи дни при дворе протекали во времена еще более отдаленные, нежели дни фрейлейн фон Пышке. Трайбель в такие тонкости не вдавался, ибо, при всей потребности в том блеске, какой сообщало его дому присутствие двух придворных, хотя и расставшихся ныне со двором, особ, он был выше этих соображений, подобное отношение отнюдь не роняло, а скорее возвышало его в глазах обеих дам. Особенно благосклонна к своему приятелю-негоцианту была майорша, высоко ценившая радости хорошего стола, и всего благосклоннее в тех случаях, когда он, помимо вопросов аристократизма и генеалогии, рассматривал всевозможные моральные проблемы, к решению которых, как всякий берлинец, чувствовал истинное призвание. Майорша в таких случаях грозила ему пальчиком и шептала на ухо кое-какие секреты, что лет сорок тому назад могло бы навести на некоторые мысли, теперь же — оба без устали поминали свои преклонные годы — возбуждало лишь всеобщее веселье. Чаще всего это были безобидные сентенции из Бюхмана или другие общие места, которым лишь интонация — порой очень недвусмысленная — придавала фривольный характер.

— Скажите, mon cher¹ Трайбель, — так начала фон Цапель, — где вы откопали это привидение? Он, должно быть, служил еще до сорок восьмого, тогда была эпоха странных лейтенантов, но этот поистине довел свою странность до абсурда. Ходячая карикатура! Вы случайно не помните, была в то время картина, изображавшая Дон-

¹ Мой дорогой (франц.).

Кихота с длинным копьём, а вокруг него толстые книги. Вылитый ваш лейтенант.

Трайбель провел указательным пальцем левой руки по внутренней стороне галстука и ответил:

— Да, где же я его откопал, милостивая государыня? Разумеется, «послушный долгу, не порыву чувства». Его общественные заслуги, собственно говоря, ничтожны, человеческие — едва ли выше. Но он политик.

— Какой он политик? Он может разве только пугающим призраком встать перед принципами, которые имели несчастье заслужить его одобрение. Скажите на милость, советник, зачем вам вообще понадобилась политика? К чему это приведет? Вы только утратите свой прекрасный нрав, прекрасные правила и прекрасное общество. Я уже слышала, что вы хотите баллотироваться в Тейпиц-Цоссене. Воля ваша. Но зачем? Бросьте вы это. У вас милая жена, чувствительная и поэтичная, у вас дивная вилла, где мы в данный момент вкушаем рагу с зеленью, какого больше нигде не подадут, у вас парк с фонтаном и какаду, который лично у меня вызывает зависть, потому что мой, зеленый, линяет и страшен как смертный грех. Ну, зачем, зачем вам понадобилась политика? Зачем вам Тейпиц-Цоссен? И более того, чтобы окончательно убедить вас в своей беспристрастности: зачем вам понадобился консерватизм? Вы промышленник, вы живете на Кёпникерштрассе. Уступите же эту местность Людвигу Лёве, или Зингеру, или кто там еще у них есть. Каждому сословию приличествуют определенные политические убеждения. Юнкеры должны быть аграриями, профессора — национал-либералами, а промышленники должны быть прогрессивны. Вот и станьте прогрессистом. Зачем вам понадобился орден Короны? Будь я на вашем месте, я подвизалась бы на муниципальном поприще и стремилась к «Дубовому венку».

Трайбель, обычно проявлявший беспокойство, если кто-нибудь говорил слишком долго, — это право он оставлял исключительно за собой, — на сей раз слушал с неослабным вниманием и даже подозвал лакея, чтобы тот подал им еще по бокалу шабли; майорша охотно взяла второй бокал, Трайбель сделал то же и, чокнувшись с ней, сказал:

— За добрую дружбу, и дай нам бог еще десять лет не хуже, чем сегодня! А что касается прогрессизма и «Дубового венка», то что тут скажешь? Вы ведь знаете, наш брат вечно прикидывает да подсчитывает и не может вы-

браться за пределы тройного правила, старого постулата: «Если то-то и то-то дает столько-то и столько-то, сколько даст то-то и то-то?» Понимаете ли, дорогой друг и благодетельница, на основе этого правила я скалькулировал прогресс и консерватизм и пришел к выводу, что мне консерватизм, — не смею сказать — выгоден, это не совсем точно, — но более подобает, ибо он более в моем духе. Особенно с тех пор, как я стал коммерции советником, ибо титул этот переходный, он еще ждет своего завершения.

— Понимаю.

— Видите ли, *l'appétit vient en mangeant*¹, сказавши «а», надо сказать и «бэ». А кроме того, основная жизненная цель мудреца — это, на мой взгляд, достичь гармонии, а гармония при данном состоянии дел или, другими словами, при данном расположении звезд на моем небосклоне начисто исключает «Дубовый венок» прогрессивного буржуа.

— Вы это всерьез?

— Да, милостивая государыня, всерьез. Вообще-то собственная фабрика побуждает к обладанию знаком гражданской доблести, но в частности — а мою фабрику можно, без сомнения, причислить к этим частностям — бывают исключения. Вижу по вашим глазам, что вы ждете доказательств. Что ж, попытаемся. Для начала я задам такой вопрос: способны ли вы представить себе, чтобы садовник, который не важно где, скажем в Лихтенберге или Руммельсбурге, выращивает на продажу васильки — этот символ верности прусской короне, одновременно являлся подржигателем и террористом? Вы отрицательно качаете головой, следовательно, вы согласны с моим «нет». А теперь я задам второй вопрос: чего стоят все васильки, вместе взятые, по сравнению с фабрикой берлинской лазури? Берлинская лазурь есть, так сказать, наивысшая форма выражения прусского духа, и чем надежней и несокрушимей этот дух, тем тверже я стою и буду стоять на почве консерватизма. Завершающий аккорд моей карьеры в данном конкретном случае предопределен естественными предпосылками и означает... во всяком случае, нечто большее, чем «Дубовый венок» гражданской короны.

Госпожу фон Цапель, казалось, убедили эти доводы, а Крола, слушавший всю беседу в пол-уха, одобрительно кивнул.

¹ Аппетит приходит во время еды (франц.).

Такие разговоры шли во главе стола, но еще веселей текли они в дальнем его конце, где сидели молодая госпожа Трайбель и Коринна, госпожа Трайбель — между Марселем Ведеркопом и референдарием Энгхаузом, Коринна — между мистером Нельсоном и Леопольдом Трайбелем, младшим братом Отто. В самом дальнем углу, спиной к широкому окну в сад, сидела компаньонка, фрейлейн Патоке, чьи резкие черты никак не соответствовали ее имени. Чем более она силилась изобразить улыбку, тем явственней проступала сокрушительная, распространявшаяся в обе стороны зависть: к хорошенькой уроженке Гамбурга слева и еще откровенней к Коринне, поскольку последняя, почти ровня по положению, держалась тем не менее с завидной уверенностью, впору самой госпоже фон Цапель или по меньшей мере фрейлейн фон Пышке.

Молодая госпожа Трайбель была очаровательна: белокурая, спокойная, ясная. Оба соседа по столу наперебой ухаживали за ней. Марсель, правда, с напускным увлечением, потому что все внимание его было поглощено Коринной, а та, бог весть по какой причине, задалась целью покорить молодого англичанина. В пылу кокетства она говорила с ним так оживленно, словно желала, чтобы каждое ее слово достигло ушей окружающих и прежде всего ушей Марселя.

— У вас такое громкое имя, — обратилась Коринна к мистеру Нельсону, — такое громкое и красивое, что меня просто подмывает спросить, а не возникало ли у вас когда-нибудь желание...

— Oh, yes, yes...¹

— ...забыть про сандал и красное дерево, чем вы тоже, сколько мне известно, занимаетесь? Убеждена, что, доведись мне носить такое имя, я не знавала бы ни минуты покоя, куда мне не удалось бы выиграть свою битву на Ниле. Вы знаете, разумеется, подробности этой битвы?..

— Oh, to be sure...²

— Ну, тогда я нашла достоверный источник, потому что у нас никто ничего толком не знает. Расскажите мне, мистер Нельсон, каков, собственно, был замысел и диспозиция этой битвы. Недавно я нашла подробное описание у Вальтера Скотта и с тех пор никак не могу понять, что

¹ О да, да (англ.).

² О, разумеется... (англ.)

же сыграло решающую роль, гениальная диспозиция или геройский дух...

— I should rather think a heroical courage... British oaks and British hearts ¹.

— Я очень рада, что могу наконец с вашей помощью получить ответ на этот вопрос, причем ответ весьма мне приятный: Я питаю слабость к героическому, потому что оно так редко встречается в жизни. Но, с другой стороны, я полагаю, что гениальное командование...

— Certainly, miss Corinna. No doubt... England expects that every man will do his duty... ²

— Да, это прекрасные слова, но до сегодняшнего дня я полагала, что они были сказаны при Трафальгаре. Впрочем, а почему бы не сказать их также и при Абукире? Хорошие слова можно произносить многократно... К тому же... к тому же одна битва ничем, по сути, не отличается от другой, особенно морская — залп, столб огня, и все взлетает на воздух. Разумеется, для тех, кто может наблюдать со стороны, это великолепное, захватывающее зрелище.

— Oh, splendid... ³

— Леопольд, — сказала Коринна, внезапно адресуясь ко второму своему соседу, — я вижу, вы улыбаетесь. А почему, позвольте вас спросить? Едва ли вы обладаете тем heroical courage, героическим духом, коего безоговорочно требует наш дорогой мистер Нельсон. Скорее наоборот. Вы отреклись от фабрики своего отца, которая, пусть в чисто деловом смысле, воплощает теорию «железа и крови», — мне даже слышалось, будто ваш батюшка минуту назад беседовал с госпожой фон Цапель именно об этом, — повторяю, вы променяли фабрику железисто-кряной соли, где вам и надлежало оставаться, на лесоторговый склад своего брата Отто. Это не хорошо, даже если речь идет о голубом сандале. Вот перед вами Марсель Ведеркоп, мой кузен, который каждый день, потрясая гантелями, твердит, что все спасение в перекладине и гимнастических упражнениях. По его понятиям, это и есть героизм, а папаша Ян в конце концов не уступает Нельсону.

¹ Я думаю, в первую очередь — героический дух... Британские дубы и британские сердца (англ.).

² Разумеется, мисс Коринна. Несомненно... Англия ожидает, что каждый выполнит свой долг... (англ.)

³ О, великолепно... (англ.)

Марсель, полушутя-полусерьезно, погрозил Коринне пальцем.

— Дорогая кузина! Не забывай, что рядом с тобой сидит представитель другой нации и что долг призывает тебя показать образец немецкой женственности.

— Oh, no, no, — запротестовал мистер Нельсон, — никакая женственность, *always quick and clever...*¹ вот что мы ценить в немецких женщинах. Никакая женственность. Фрейлейн Коринна *is quite in the right way...*²

— Так тебе и надо, Марсель. Мистер Нельсон, о котором ты так заботишься, чтобы он, упаси бог, не увез в свой туманный Альбион ложные представления, твой мистер Нельсон против тебя, думаю, что и госпожа Трайбель будет против, и мой друг Леопольд тоже. Поэтому я не падаю духом. Остается, правда, фрейлейн Патоке.

Последняя с поклоном ответила:

— Я уж привыкла присоединяться к большинству. — И все ее горькое озлобление прорвалось в этом ответе.

— Впрочем, я отнюдь не склонна пропускать мимо ушей слова кузена Марселя, — продолжала Коринна. — Я и впрямь не отличаюсь смирением и вдобавок происхожу из болтливой семьи.

— *Just what I like, miss Corinna*³. «Кто много болтает, тот добрый человек», — так говорят у нас в Англии.

— И я так говорю. Скажите, мистер Нельсон, вы себе можете представить болтливого преступника?

— *Oh, no, certainly not...*⁴

— А чтобы доказать мистеру Нельсону, что, невзирая на болтливость, я все же наделена хоть какой-то женственностью и вдобавок настоящая немка, могу сообщить, что умею стряпать, шить и гладить и даже изучила в Леттевском союзе художественную штопку. Вот, мистер Нельсон, как обстоят дела. Я вполне немка и вполне женщина, следовательно, неразрешенным остается только один вопрос: известно ли вам, что такое Леттевский союз и что такое художественная штопка?

— Нет, фрейлейн Коринна, *neither the one nor the other*⁵.

¹ О нет, нет... всегда умна и находчива... (англ.)

² Как раз на правильном пути... (англ.)

³ Как раз то, что мне нравится, мисс Коринна (англ.).

⁴ Конечно, нет... (англ.)

⁵ Ни то, ни другое (англ.).

— Так вот, dear мистер Нельсон, Леттевский союз — это кружок, или институт, или школа женских ремесел. Создана чуть ли не по английскому образцу, что было бы лишним доводом в ее пользу.

— Not at all, German schools are always to be preferred¹.

— Как знать, я не хотела бы так заострять вопрос. Впрочем, оставим это, чтобы перейти к вопросу более важному — к художественной штопке. Дело того стоит. Для начала повторите за мной: художественная штопка.

Мистер Нельсон добродушно улыбнулся.

— Вижу, вижу, вам трудно. Но эта трудность не идет ни в какое сравнение с трудностями самой штопки. Взгляните, перед вами мой друг Леопольд Трайбель, на нем безупречный двубортный сюртук, застегнутый на все пуговицы, как и подобает джентльмену и сыну берлинского советника. Я бы за этот сюртук дала не меньше ста марок.

— Переплатишь.

— Как знать. Ты забываешь, Марсель, что и в этой области существуют разные цены: для профессоров одна, для коммерции советников другая. Впрочем, довольно о ценах, так или иначе, сюртук превосходный, прима. И вот когда мы встанем из-за стола и гостей будут обносить сигарами, — надеюсь, вы курите, мистер Нельсон? — я возьму у вас сигару и прожгу моему другу Леопольду Трайбелю дыру в сюртуке, как раз там, где у него помещается сердце. Затем я возьму сюртук, сяду в дрожки и отвезу его домой, а завтра в это же время давайте соберемся здесь в саду и расставим стулья вокруг бассейна, как на представлении. Какаду тоже пусть присутствует. А я буду держать себя как артистка — потому что я и в самом деле такова — и пушу сюртук по рукам; если вы, dear мистер Нельсон, сумеете отыскать то место, где была дыра, я награжу вас поцелуем и как рабыня последую за вами в Ливерпуль. Но до этого не дойдет. Следует ли сказать: «К сожалению, не дойдет»? Я получила две медали за художественную штопку, и вы, дорогой мистер Нельсон, никогда не отыщете то место.

— Нет, нет, отыщу, no doubt, I will find it!² — вскричал мистер Нельсон со сверкающим взором, и поскольку

¹ Вовсе нет, немецкие школы всегда заслуживают предпочтения (англ.).

² Без сомнения, я его найду! (англ.)

ему очень хотелось — кстати или некстати — выразить свой восторг; он произнес состоящее из отрывочных восклицаний похвальное слово берлинским женщинам и завершил его многократными уверениями в том, что они *decidedly clever*¹.

Леопольд и референдарий присоединились к этой похвале, даже фрейлейн Патоке улыбнулась, ибо, будучи жительницей Берлина, могла бы принять комплименты и на свой счет. Лишь в глазах молодой госпожи Трайбель мелькнула тень неудовольствия, оттого что при ней так превозносили берлинок вообще и профессорскую дочку в частности. Да и Марсель, выказывая видимое одобрение, был в глубине души не совсем доволен, ибо полагал, что его кухне ни к чему так суетиться и вылезать на передний план; на его взгляд, она была слишком хороша для той роли, которую играла. Коринна, со своей стороны, тоже прекрасно видела, что творилось в душе ее кузена, и не упустила бы приятной возможности поддразнить его, если бы в эту самую минуту — уже подали мороженое — коммерции советник не постучал по своему бокалу и не поднялся с места, чтобы произнести тост:

— Дамы и господа, леди и джентльмены!

— Ага, это вас касается, — шепнула Коринна мистеру Нельсону.

— Я безмолвно пропустил баранье седло и выбрал сравнительно поздний час для произнесения причитающегося с меня тоста. Однако эта новация заставляет меня терзаться вопросом: не окажется ли растаявший пломбир еще большим злом, чем застывшее баранье сало...

— Oh, wonderfully good!²

— Как бы то ни было, теперь у меня есть лишь один способ по возможности уменьшить содеянное зло. Способ этот — краткость. Так позвольте же мне поблагодарить всех вас за ваш приход, а также позвольте ради двух дорогих гостей, которые впервые почтили мой дом своим присутствием, облечь этот тост в формулу, почти освященную англичанами: «On our arms and navy!», другими словами — за армию и флот, каковые представлены здесь *с одной стороны* (он поклонился Фогельзангу) — родом службы и жизненной позицией, *с другой* (поклон в сторону Нельсона) — славным на весь мир именем. Итак, еще

¹ На редкость умны (англ.).

² Замечательно! (англ.)

раз: «On our army and navy!» Многая лета лейтенанту Фогельзангу, многая лета мистеру Нельсону!

Тост был встречен единодушным одобрением, и мистер Нельсон, пришедший в крайне возбужденное состояние, хотел немедля ответить на него и поблагодарить хозяина, но Коринна его отговорила: ведь Фогельзанг много старше, может быть, он поблагодарит от лица обоих.

— Oh, no, no, miss Corinna, not he... not such an ugly old fellow... please, look at him¹.— И беспокойный тезка великого адмирала еще и еще раз попытался вскочить с места, чтобы взять слово. Но Фогельзанг его и впрямь опередил. Утерев бороду салфеткой, а затем в нервическом возбуждении расстегнув и снова застегнув на все пуговицы свой мундир, он начал с важностью, почти комической:

— Господа! Наш любезный хозяин провозгласил здравицу в честь армии и помянул при этом мое имя. Верно, господа, я солдат...

— Oh, for shame!² — зарычал мистер Нельсон, искренне возмущенный двукратным обращением «господа» и, стало быть, забвением всех присутствующих дам.— Oh, for shame!

И со всех сторон послышалось хихиканье, которое продолжалось до тех пор, покуда оратор мрачным вращением глаз не восстановил поистине гробовую тишину. Затем он продолжал:

— Итак, господа, я солдат... Более того, я борец за идею. Я служу двум великим силам: народности и монархизму. Все остальное лишь вредит, несет смуту, совлекает с пути истинного. Английская аристократия, которая антипатична мне как человеку, даже если отвлечься от высоких принципов, и олицетворяет в себе такое совлечение с пути истинного, такую смуту. Мне ненавистны промежуточные состояния, мне противна вся феодальная пирамида. Это пережитки средневековья, а мой идеал равнина, среди которой высится один-единственный, но все превосходящий пик.

Цапель и старый Трайбель обменялись взглядами.

— ...Все дается милостью народной, все, кроме того, что доступно лишь милости божьей. И при этом строгое

¹ О нет, мисс Коринна, не он... такой противный старикашка... вы только взгляните на него (англ.).

² О, какой стыд! (англ.)

и четкое разграничение сфер власти. Обычное, массовое определяется массой, необычное, великое — великим. То есть короной и троном. По моим политическим убеждениям, все спасение, все возможности прогресса заложены в процветании монархической демократии, которую, насколько мне известно, исповедует и наш дорогой коммерции советник. И вот, исполненный этого чувства, которое роднит нас обоих, я поднимаю свой бокал и прошу вас выпить вместе со мной здоровье нашего высокочтимого хозяина и одновременно нашего *gonfaloniere*¹, который высоко держит наше знамя. Коммерции советнику Трайбелю виват, виват, виват!

Все повскакали, чтобы чокнуться с Фогельзангом и приветствовать его как изобретателя монархической демократии. Одни, казалось, пришли в неподдельный восторг, особое впечатление произвело на них итальянское слово «*gonfaloniere*», другие посмеивались про себя, и лишь трое были решительно недовольны: Трайбель, которому только что провозглашенные Фогельзангом новые принципы не сулили никакого барыша, госпожа советница, которой речь Фогельзанга показалась недостаточно возвышенной, и, наконец, мистер Нельсон, у которого Фогельзангова хула британской аристократии вызвала еще более острый приступ ненависти.

— *Stuff and nonsense! What does he know of our aristocracy? To be sure, he doesn't belong to it—that is all*².

— Право, не знаю, — рассмеялась Коринна. — Разве он не похож, по-вашему, на английского пэра из палаты лордов?

Этот вопрос заставил Нельсона мигом забыть всю досаду, он даже взял из вазы двойной орешек и предложил Коринне съесть его с ним на пару, но тут госпожа советница, отодвинув свой стул, дала тем самым знак вставать из-за стола. Распахнулись створки дверей, и в том же порядке, в каком садились за стол, гости проследовали в уже проветренную приемную, где мужчины, предводительствуемые Трайбелем, почтительно приложились к ручке пожилых дам и некоторых дам помоложе. Один только мистер Нельсон уклонился от участия в церемо-

¹ Знаменосца (*итал.*).

² Вздор и чепуха! Что он знает о нашей аристократии? Ясно одно — сам он к ней не принадлежит, в этом все дело (*англ.*).

нии, ибо госпожа советница показалась ему «a little pompous»¹, а придворные дамы «a little ridiculous»², и ограничился тем, что, подойдя к Коринне, обменялся с ней энергичным shaking hands³.

Глава четвертая

Большая стеклянная дверь залы была распахнута, но духота от того не стала меньше, и потому решили пить кофе на свежем воздухе, одни на веранде, другие прямо в палисаднике, причем соседи по столу снова объединились и продолжали застольную беседу. Лишь когда обе высокородные дамы покинули общество, разговор, обильно одобренный злословием, на мгновение прервался, и взгляды собравшихся обратились к отъезжающему ландо. Экипаж сначала доставил госпожу фон Цапель на квартиру, расположенную вблизи Маршалсбрюке, после чего поехал в сторону Шарлоттенбурга, где фрейлейн фон Пышке, обитающая уже более четверти века в одном из боковых крыльев дворца, черпала усладу своей жизни и величайшую свою гордость в сознании, что дышала и дышит одним воздухом сперва с ныне почившим в бозе королем, затем с вдовствующей королевой и, наконец, с фамилией Мейнингенов. Этому обстоятельству фрейлейн фон Пышке и была обязана своим просветленным лицом, которое вполне соответствовало ее эфирной комплекции.

Трайбель, проводивший обеих дам до подножки ландо, вернулся на веранду, где восседал Фогельзанг, предоставленный самому себе, но с неизменным выражением достоинства на лице.

— Надо бы потолковать, лейтенант, но не здесь, я думаю, мы выпьем абсенту да выкурим по сигаре из тех листьев, что найдешь не всегда и не везде.— С этими словами Трайбель взял Фогельзанга под руку, тот охотно повиновался, и повел его в свой кабинет, где вышколенный лакей, знавший досконально послеобеденные утехы хозяина, уже приготовил решительно все: ящик с сигарами, погребец с вином и графин с ледяной водой. Но выучка лакея проявилась не только в этих предварительных при-

¹ Несколько помпезной (англ.).

² Несколько комичными (англ.).

³ Рукопожатием (англ.).

готовлениях; едва оба уселись в кресла, он возник перед ними с подносом и начал разливать кофе.

— Молодец, Фридрих, приготовил все, как я люблю, только ящик подай другой, плоский. И скажи моему сыну Отто, что я его звал... Вы ведь не возражаете, Фогельзанг? Да, если не найдешь Отто, попроси ко мне полицейского ассессора, даже лучше его, чем Отто, он больше в курсе дел. Диву даешься, все, что расцвело в атмосфере Молькенмаркта, значительно превосходит остальную часть человечества. А у этого Гольдаммера есть и еще одно достоинство: он настоящий пасторский отпрыск, что всегда придает его рассказам своеобразную пикантность.

Трайбель открыл погребец с бутылками и спросил:

— Коньячку или тминной? А может, сие надлежит делать и того не оставлять?

Фогельзанг улыбнулся, демонстративно отодвинул в сторону машинку для обрезки сигар и зубами отгрыз кончик сигары. Затем он потянулся за спичечным коробком. Судя по всему, он хотел, чтоб Трайбель заговорил первым. И Трайбель не заставил себя долго ждать:

— Ну-с, Фогельзанг, как вам понравились эти две старушки? Вот уж где утонченность. Особенно — Пышке. Моя жена сказала бы: эфирное создание. Пышке и впрямь вся насквозь светится. Но лично мне милей фон Цапель. Капитальная дама, не женщина, а орудийная башня. В свое время ее стоило брать штурмом. Все при ней — и порода и темперамент. Если верить слухам, в прошлом она вращалась при различных мелких дворах, то при одном, то при другом. Словом, леди Мильфорд, только менее сентиментальная. Конечно, это дела давно минувших дней, все грехи замолены, я бы даже сказал, к сожалению. Лето она неизменно проводит у Крачинских, в Цоссенском округе. Черт его знает, откуда последнее время выплыли на поверхность все эти польские имена. Впрочем, сие не так уж важно. Что бы вы сказали, если бы я попытался приспособить эту фон Цапель для наших общих целей, учитывая ее близость с Крачинскими?

— Не имеет смысла.

— Почему не имеет? У нее правильные взгляды.

— Нет, *неправильные*, чтобы не сказать хуже.

— Как так *неправильные*?

— Крайне ограниченная точка зрения, и если я еще выбираю выражения, то лишь из чистой рыцарственности. Между прочим, слово «рыцарственно» у нас *непра-*

вильно толкуют; я отнюдь не думаю, что наши рыцари были рыцарственными, то есть учтивыми и обязательными людьми. Обычное искажение истории. А что до этой Цапель, услугами которой вы хотели воспользоваться, то она, разумеется, стоит на позициях феодализма, феодальной пирамиды. То, что она за монархию — хорошо, это нас с ней объединяет, но нам этого мало. Такие особы, как майорша и, разумеется, ее знатные друзья, независимо от своего польского или немецкого происхождения, живут в мире фантазий, я бы даже сказал — средневековых словесных предрассудков, и это исключает всякую возможность сотрудничества, хоть мы все и выступаем совместно под королевским знаменем. Что проку в такой общности, она лишь приносит вред. Когда мы восклицаем: «Да здравствует король!» — мы делаем это совершенно бескорыстно, во имя великого принципа. За себя я могу поручиться, думаю, что и за вас могу.

— Разумеется, Фогельзанг, разумеется.

— Но госпожа фон Цапель — я, кстати сказать, опасюсь, что ваши намеки касательно нарушения ею законов морали и нравственности не лишены оснований, хотя, по счастью, сие относится к далекому прошлому, — так вот эта фон Цапель и ей подобные, восклицая: «Да здравствует король!» — подразумевают: «Да здравствует тот, кто о нас заботится, да здравствует наш благодетель». Для них нет иных соображений, кроме соображений выгоды. Им не дано жить во имя идеи, а опираться на людей, которые думают только о себе, значит погубить наше дело. Ибо наше дело не сводится к борьбе с драконом прогресса, оно подразумевает и борьбу с вампиром дворянства, который только и умеет, что сосать кровь. Долой корыстную политику! Мы должны одержать победу под знаменем абсолютного бескорыстия, но для этого нам нужна поддержка народа, а не разбойников из клана Квитцовых, которые после представления посвященной им пьесы снова воспрянули духом и хотят, как встарь, владеть и править. Нет, советник, нам ни к чему псевдоконсерватизм, нам ни к чему монархия на ложной основе; если мы намерены сохранить монархию, пусть она покоится на более солидном основании, нежели какая-то фон Цапель или Пышке.

— Постоите-ка, Фогельзанг, ведь Цапель, по крайней мере... — И Трайбель вознамерился было дальше пряхать нужную ему нить, но он не успел осуществить свой замысел: из зала, все еще держа в руках чашку мейсенского

фарфора, явился полицейский асессор и занял место между Трайбелем и Фогельзангс. Вслед за ним пришел и Отто, то ли приглашенный Фридрихом, то ли по собственному почину, ибо он издавна знал, что за вином и сигарами Гольдаммера немедленно потянет к эротическим темам, и мешкать при этих обстоятельствах было бы рискованно.

Знал об этом и старый Трайбель, но сегодня счел необходимым ускорить перемену разговора и потому начал без лишних околичностей:

— Ну, Гольдаммер, что нового на свете? Как обстоят дела с Лютдовплацем? Засыпят ли наконец реку Панке или, выражаясь другими словами, состоится ли моральное очищение Фридрихштрассе? Сказать по совести, я опасюсь, как бы наша пикантная магистраль не проиграла в результате всех этих перемен; она станет немного нравственной и много скучнее. Поскольку моя жена нас не слышит, я смело могу высказать подобное опасение; а впрочем, пусть мои вопросы вас не смущают и не сковывают. Чем непринужденнее, тем лучше. Я достаточно долго живу на свете, чтобы знать: все, исходящее из уст полиции, имеет интерес, все подобно свежему ветру, хотя иногда это не бриз, а сирокко или даже самум. Пусть самум. Ну, так что же новенького?

— Новая субретка.

— Гениально. Понимаете, Гольдаммер, каждое направление искусства по-своему хорошо, ибо каждое стремится к идеалу. Идеал — это главное, во всяком случае, жена моя так считает. Но вершиной идеала всегда были субретки. Имя?

— Грабийон. Изящная фигурка, рот великоват, родимое пятно.

— Гольдаммер, ради бога, у вас получается форменное описание примет. Родинка — это даже пикантно, вот большой рот на любителя. А чья протеже?

Гольдаммер промолчал.

— Понятно. Высшие сферы. Чем выше, тем ближе к идеалу. Кстати, раз уж мы забрались так высоко, что слышно об истории с приветствиями? Это правда, что он не поклонился? И правда ли, что ему, разумеется, тому, кто не пожелал приветствовать, предложили уйти в отпуск? Это было бы лучше всего, это звучало бы одновременно и как отречение от католицизма, так сказать, одним выстрелом двух зайцев.

Гольдаммер, скрытый прогрессист и откровенный противник католицизма, пожал плечами:

— Увы! Дело обстоит далеко не так хорошо, да это и невозможно. Слишком сильно противное течение. Тот, кто отказался приветствовать, — назовем его, если угодно, Вильгельмом Теллем данной ситуации — имеет надежный тыл. Где? Да неизвестно где, о некоторых вещах лучше не говорить вслух, и пока мы не разможили голову всем известной гидре или, другими словами, не помогли восторжествовать Фридрихову призыву «Уничтожьте гадину»...

В эту минуту из зала донеслось пение, исполняли знакомую песню, и Трайбель, только что взявший из ящика сигару, снова бросил ее в ящик со словами:

— «Улетел мой покой, улетел навсегда...» И ваш также, господа. Боюсь, мы должны вернуться к дамам и принять посильное участие в чествовании Адолара Кролы. Ибо сейчас его черед.

Все четверо встали и, предводительствуемые Трайбелем, вернулись в залу, где Крола действительно восседал за роялем и виртуозно, хотя и с некоторой нарочитой небрежностью, исполнял три своих неизменных шедевра, один за другим. Это были: «Лесной царь», «Сэр Генрих на тетеревином току» и «Шпейерские колокола». Последняя песня с таинственно возникающим колокольным звоном всегда производила наибольшее впечатление и даже Трайбеля превращала на время во внимательного слушателя. Он сказал по этому поводу с глубокомысленным видом: «Музыка Лёве, *ex ungue leonem*¹, разумеется, Карла Лёве, Людвиг не пишет музыки».

Некоторые из тех, кто пил кофе на веранде или в саду, при первых звуках, донесшихся из залы, поспешили туда, чтобы послушать пение; другие, знавшие наизусть все три баллады по двадцати предшествующим трайбелевским приемам, напротив, предпочли остаться на свежем воздухе и продолжать свою прогулку по саду. Среди последних был мистер Нельсон, который, как и всякий чистокровный англичанин, к музыке относился более чем равнодушно и громгласно заявил, что лучший, на его взгляд, музыкант — это негр с барабаном, зажатым между коленями.

— I can't see what it means. Music is nonsense².

Он продолжал прогуливаться с Коринной взад и впе-

¹ По когтям (узнаешь) льва (*лат.*).

² Не понимаю, что это значит. Музыка — вздор (*англ.*).

ред по саду, Леопольд был тут же, а Марсель с госпожой Трайбель-младшей следовал чуть поодаль, и оба хоть и потешались, но слегка досадовали на Леопольда и Нельсона, которые, как и давеча за столом, не могли оторваться от Коринны.

Вечер был великолепный, ни следа той духоты, которая царила в комнатах. Над высокими тополями, отделявшими сад от фабричных строений, косо висел молодой месяц; какаду восседал на своей перекладине серьезно и угрюмо, потому что его забыли вовремя посадить в клетку, и лишь струя фонтана так же весело била вверх.

— Давайте отдохнем, — предложила Коринна. — Мы уже бог знает сколько времени на ногах, — и, не договорив, села на край фонтана. — Take a seat, mister Nelson! ¹ Смотрите, какой сердитый взгляд у какаду. Он не доволен, что о нем все позабыли.

— To be sure ², и выглядит как лейтенант Зантфогель, верно?

— Лейтенанта обычно называют Фогельзангом. Впрочем, я не возражаю против переименования. Хотя навряд ли это поможет.

— No, no, there's no help for him ³, Фогельзанг мерзкая птица, не певчая, не зяблик и не дрозд.

— Да, он всего лишь какаду, это вы верно подметили.

Но не успела она договорить, как с перекладины донесся громкий крик, словно какаду хотел опровергнуть нелестное сравнение. И не только какаду, сама Коринна тоже громко вскрикнула, правда, уже через мгновение она залилась хохотом, а Леопольд и мистер Нельсон ей вторили. Внезапный порыв ветра направил струю как раз в ту сторону, где они сидели, и окатил брызгами не только их, но и птицу на перекладине. Тут все начали отряхиваться, какаду занялся тем же, но настроение у него от этого не улучшилось.

В зале между тем Крола завершил свою программу и встал из-за рояля, уступая место новым участникам. Ведь нет ничего гибельнее артистического единовластия, а кроме того, не следует забывать, что мир принадлежит молодости. Поэтому Крола почтительно склонился перед некоторыми молодыми дамами, в чьих домах он был при-

¹ Присядьте, мистер Нельсон! (англ.)

² Здесь: точно (англ.).

³ Нет, нет, ему ничего не поможет (англ.).

нят, как и у Трайбелей. Госпожа советница, со своей стороны, перевела это неконкретное почтение к молодежи на точный и четкий немецкий язык и предложила обеим барышням Фельгентрей пропеть что-нибудь из этих очаровательных вещичек, которые они недавно исполняли с таким успехом, принимая министернальдиректора, господина Штокениуса; общий друг Крола, без сомнения, будет так любезен и согласится аккомпанировать. Крола, явно обрадованный тем, что от него не требуют дополнительных выступлений, как это бывало обычно, тотчас изъявил живейшую готовность и сел на место, с которого только что встал, не дожидаясь согласия обеих Фельгентрей. Вообще Крола являл собой смесь благожелательства и проницания. Дни его собственной славы остались далеко позади, но чем дальше, тем больше становились его претензии, и поскольку на удовлетворение их не приходилось надеяться, Кроле было безразлично, что будут петь и кто *отважится на сей раз*. Наслаждения это ему не доставит никоим образом, разве что развлечет немного, а поскольку Крола от природы был наделен чувством юмора, наибольшее удовольствие он получал тогда, когда его приятельница Женни Трайбель, по заведенному порядку, завершала музыкальное суаре собственным пением. Впрочем, до этого было еще далеко, сейчас на очереди стояли барышни Фельгентрей, из коих старшая, или, как было принято говорить, к полному восторгу того же Крола, «несравненно более талантливая», не мешкая приступила к исполнению «Ручейка». Затем последовало «Я вырезаю на коре» — вещь самая здесь популярная, но, к величайшему, хотя и не выраженному вслух, неудовольствию госпожи советницы, она сопровождалась возмутительными выкриками из сада. И наконец, завершающий аккорд — дуэт из «Свадьбы Фигаро». Все обратились в слух, и Трайбель даже сказал Фогельзангу, что, с тех пор как выступали обе Миланоло, он не припомнит, чтобы какие-нибудь другие сестры так ласкали и слух и взор. В этой связи Трайбель задал Фогельзангу неосторожный вопрос, помнит ли тот сестер Миланоло, на что Фогельзанг резко и безапелляционно ответил: «Нет».

— Ну тогда прошу прощения.

Наступила пауза, за это время подъехало несколько экипажей, в том числе и карета Фельгентреев, но гости не спешили откланяться, ибо праздник еще не получил своего завершения: еще не пела госпожа советница, и

даже более того — еще никто не попросил ее спеть, — положение, из которого следовало выбраться как можно скорее. Ни один человек не сознавал этого лучше, чем Адолар Крола, и потому, отведя в сторону полицейского асессора, он начал ему доказывать, что ситуация сложилась ужасная и надо срочно исправить упущение. «Если ее сегодня не попросят петь, это поставит под угрозу дальнейшие приемы у Трайбелей, во всяком случае, наше с вами в них участие, о чем лично я стал бы сожалеть...»

— И чего при всех обстоятельствах следует избежать. Но вы можете положиться на меня.

И, ухватив под ручки обеих Фельгентрей, Гольдаммер решительно подступил к госпоже советнице, чтобы, будучи, как он выразился, глашатаем общественности, попросить ее спеть. Коммерции советница невольно могла наблюдать за ходом интриги и потому колебалась между желанием петь и обидой, но красноречие просителя сделало свое: Крола сел на прежнее место, несколько мгновений спустя по залу разлился тонкий голос Женни, никак не соответствующий ее внешней полноте, и публика услышала издавна знакомые в этом кругу слова:

Груз богатства, бремя власти
Тяжелее, чем свинец.
Есть одно лишь в мире счастье:
Счастье любящих сердец.

Лес шумит, рокочут струи,
Взгляды нежные ловлю
И ласкаю поцелуем
Ручку милую твою.

Снова мы с тобою вместе,
Ветер к легкой пряди льнет.
Ах, лишь там есть жизнь, где *вести*
Сердце сердцу подает.

Нет нужды говорить, что ответом на вокальный номер были бурные аплодисменты, подкрепленные репликой старого Фельгентрея, что, мол, «песни тех времен (Фельгентрей не стал уточнять, каких именно) были не в пример красивее; иначе сказать, задушевнее», и Крола, чьего мнения тотчас потребовали, подтвердил, иронически улыбаясь, сказанное Фельгентреем.

Мистер Нельсон, со своей стороны, тоже внимал пению, сидя на веранде, и теперь он сказал Коринне:

— Wonderfully good! Oh, these Germans, they know everything... even such an old lady¹.

Коринна приложила палец к губам.

Немного спустя все разъехались, дом и парк опустели, слышно было только, как в обеденной зале прилежные руки собирают раздвижной стол, да в саду с плеском и журчаньем бьет струя фонтана.

Глава пятая

В числе последних покинули трайбелевскую виллу Марсель с Коринной. Коринна все так же без умолку стрекотала, отчего сдержанная досада ее кузена еще усилилась. Под конец замолчала и она.

Вот уже пять минут они молча шли друг подле друга, пока Коринна, отлично понимавшая, что творится у него в душе, не возобновила разговор:

— Ну, мой друг, в чем дело?

— Ни в чем.

— Так-таки ни в чем?

— Не стану скрывать, я недоволен.

— Чем же?

— Тобой. Да, тобой, потому что у тебя нет сердца.

— У меня нет сердца? Как раз есть...

— Повторяю: у тебя нет сердца, нет родственных чувств, нет даже чувства к родному отцу...

— И что хуже всего, к двоюродному брату.

— Нет, уж брата, пожалуйста, оставь в покое. О нем говорить нечего. С братом можешь обходиться, как тебе угодно. Но с отцом! Старик целый вечер сидит дома один-одинешенек, а тебе и горя мало. Я убежден, что ты даже не знаешь, дома он или нет.

— Разумеется, дома. Сегодня его «вечер», и если даже не все придут, кое-кто с высокого Олимпа непременно явится.

— И ты уходишь и оставляешь все на старую Шмольке?

— Потому что на нее можно оставить, и ты это знаешь не хуже, чем я. Все будет сделано превосходно, я даже думаю, что в эту минуту они едят выловленных в

¹ Замечательно! Ох, уж эти немцы, они умеют все... даже такая старушка (англ.).

Одере раков и запивают мозельвейном. Конечно, не трайбелевским мозельвейном, где уж нам, а шмидтовским, благородным мозельвейном из Трарбаха, по поводу которого папа утверждает, что это единственное чистое вино в Берлине. Ну, теперь ты доволен?

— Нет.

— Тогда продолжай.

— Ах, Коринна, ты так легкомысленно ко всему относишься и думаешь, наверно, что раз ты сама не придаешь чему-то значения, то и все так. Но ничего у тебя не выйдет. Обстоятельства не меняются от твоего отношения к ним, а остаются такими, как были. Словом, я наблюдал тебя за столом...

— Быть того не может, ты все время самым усердным образом ухаживал за госпожой Трайбель-младшей, она даже краснела несколько раз...

— Говорю же, я наблюдал за тобой и с неподдельным страхом видел непристойное кокетство, которое тыпустила в ход, пытаясь всеми правдами и неправдами вскружить голову бедному мальчику Леопольду.

Когда Марсель произнес эти слова, они как раз вышли к тому месту, где Кёпникерштрассе расширяется перед Инзелбрюке и образует подобие площади, сейчас пустынной и безлюдной. Коринна выдернула свою руку из руки Марселя и указала на противоположную сторону улицы:

— Слушай, Марсель, если бы на той стороне не стоял полисмен, я остановилась бы перед тобой, скрестив руки, и пять минут хохотала бы во все горло. Как прикажешь понимать твои слова: пыталась всеми правдами и неправдами вскружить голову бедному мальчику? Если бы Елена не затмила тебе весь белый свет, ты бы непременно увидел, что я едва ли обменялась с ним за все время двумя-тремя словами. Я разговаривала только с мистером Нельсоном и несколько раз обращалась к тебе.

— Ах, Коринна, ты это так говоришь, ты и сама понимаешь, что это просто отговорка, но ты совершаешь ошибку, которую часто совершают умные люди: они считают своих собеседников глупее себя. Ты рассчитываешь в разговоре со мной выдать черное за белое и все перевернуть так, как тебе нужно. Но ведь и у меня есть глаза, есть уши, значит, и я, с твоего позволения, способен видеть и слышать.

— Что же господин доктор изволил увидеть и услышать?

— Господин доктор изволили увидеть и услышать, что фрейлейн Коринна обрушила целое словоизвержение на голову несчастного мистера Нельсона.

— Очень любезно...

— И что она — если отказаться от «словоизвержения» и заменить его другим образом, — что она, повторяю, битых два часа подбрасывала то на носу, то на подбородке павлинье перо своего тщеславия и вообще всячески изощрялась в жонглерском искусстве. Перед кем, спрошу я? Неужели перед мистером Нельсоном? Как бы не так. Добрый Нельсон сыграл лишь роль трапеции, на которой куврыкалась моя кузина; тот, ради кого все это делалось, тот, кто должен был глядеть и восхищаться, носит имя Леопольд Трайбель, и я имел возможность убедиться, что моя двоюродная сестричка все точно рассчитала, ибо, сколько мне помнится, я отроду не встречал человека в таком — ты уж извини — невменяемом состоянии, как Леопольд Трайбель нынешним вечером.

— Ты находишь?

— Да, нахожу.

— Ну, об этом еще можно поспорить... Но взгляни-ка! — И Коринна остановилась и указала на пленительную картину, открывшуюся перед ними (они как раз проходили Фишербрюке). Редкие туманы плыли над рекой, однако свет фонарей пробивался сквозь них и падал слева и справа на водную гладь; высоко в густой синеве неба висел лунный серп, не более чем на ширину ладони удаленный от приземистой колокольни приходской церкви, темные контуры которой отчетливо рисовались на том берегу. — Нет, ты только взгляни, — повторила Коринна. — Я ни разу еще не видела башню с музыкальными часами так ясно и четко. Но восхищаться ее красотой, как это с недавних пор вошло в моду, я не стану, в ней есть что-то половинчатое, незаконченное, словно у ней силы иссякли, покуда она тянулась вверх. Я уж скорей за скучные, заостренные башни с гонтовой крышей, за башни, у которых есть только одно назначение: быть высокими и указывать в небо.

Едва Коринна произнесла эти слова, куранты за рекой начали свою игру.

— Ах, — сказал Марсель, — не толкуй мне о башнях и об их красоте. Мне до них дела нет и тебе тоже, об этом пусть беспокоятся специалисты. А ты только потому и говоришь о башнях, что хочешь уйти от настоящего разгово-

ра. Ты лучше послушай, что наигрывают колокола. По-моему, это мелодия «Всегда будь верным, честным будь...».

— Возможно. Жаль только, что они не могут заодно сыграть знаменитые строки о том «канадце, что еще не знал обманчивую вежливость Европы». Но такие хорошие стихи почему-то никогда не кладут на музыку, хотя, может быть, их и нельзя положить на музыку? А теперь скажи, дорогой друг, что это все значит? При чем тут честность и верность? Ты всерьез полагаешь, будто мне недостает этих свойств? Кому же я была неверна? Не тебе ли? Но разве я давала тебе клятвы? Разве я хоть что-нибудь тебе обещала и не выполнила своего обещания?

Марсель молчал.

— Ты молчишь, потому что тебе нечего ответить. Но я продолжу, а уж ты решай сам, какая я, верная ли, честная ли или, по крайней мере, хоть искренняя, что, в общем, одно и то же.

— Коринна...

— Нет уж, теперь говорить буду я, но-дружески, но вполне серьезно. Честность и верность. Общеизвестно, что ты честный и верный, хотя из этого почти ничего не следует; могу повторить, что и я, со своей стороны, такова же.

— И тем не менее вечно играешь комедию.

— Нет, не играю. А если и да, то вполне откровенно, так, что это каждому бросается в глаза. По зрелом размышлении я поставила себе определенную цель, и если я не смею прямо и деловито заявить: «Вот моя цель», то лишь оттого, что не пристало девушке во всеуслышание заявлять о подобных планах. Благодаря полученному мной воспитанию, я пользуюсь известной свободой, иные, может быть, назовут это эмансипацией, но, несмотря на все сказанное, я отнюдь не эмансипированная женщина. Напротив, я не испытываю никакой охоты опрокидывать старые порядки, старые, добрые обычаи, среди которых есть и такой: девушка не делает предложения, предложение делают ей.

— Да, да, ты права.

— Но, с другой стороны, мы как дочери Евы сохраняем первородное право пускать в ход все козыри и прилагать все усилия, покуда не произойдет то, для чего мы существуем, другими словами, покуда нам не сделают предложение. Все для достижения этой цели. Ты в зависимости от настроения называешь это либо пусканием шуток, либо комедией, порой интригой и всегда кокетством.

Марсель замотал головой.

— Ах, Коринна, можешь не читать мне подобные лекции и не обращаться со мной так, будто я вчера родился на свет. Разумеется, я не раз говорил о комедианстве, а того чаще о кокетстве. Что не скажешь в сердцах! Когда говоришь такое, часто сам себе противоречишь и то, что минуту назад хулил, минуту спустя хвалишь. Короче, чтобы не ходить вокруг да около, играй себе комедию, сколько вздумается, кокетничай, сколько вздумается, а я не так глуп, чтобы пытаться изменить мир вообще и женщин в частности. Я и не хочу их менять, и не стал бы, даже если бы смог, я лишь хотел бы попросить тебя об одном: по мне, выкладывай все козыри (как ты выразилась минуту назад), но выкладывай там, где требуется, то есть перед нужными людьми, там, где это уместно, там, где это пристойно, где это имеет смысл. А ты расходуешь свои таланты впустую. Ведь не собираешься же ты в самом деле выйти замуж за Леопольда Трайбеля?

— Это почему же не собираюсь? Он что, слишком молод для меня? Нет. Он родился в январе, а я в сентябре, стало быть, я моложе на восемь месяцев.

— Коринна, ты прекрасно знаешь, как обстоят дела, и знаешь, что тебе Леопольд не подходит, ибо для тебя он слишком ничтожен. Ты личность незаурядная, может быть, даже более чем надо, а он едва достигает среднего уровня. Человек он добрый, не спору, у него доброе, отзывчивое сердце, а не булыжник, который обычно предпочитают иметь богачи в левой стороне груди, и манеры у него вполне светские, он даже способен, пожалуй, отличить дюреровскую гравюру от руппиновской печатной картинки, но ты подле него умрешь со скуки. Ты дочь своего отца, по совести говоря, еще умней, чем старик, не вздумай же ты на всю жизнь отказаться от счастья, лишь ради того чтобы иметь виллу и ландо, которое время от времени посылают за двумя придворными старушонками, или чтобы раз в две недели слушать, как Адолар Крола надтреснутым тенором исполняет «Лесного царя». Нет, Коринна, это немислимо, ты не станешь ради слепого поклонения мамоне вешаться на шею такому ничтожеству.

— Нет, Марсель, последнего я, разумеется, не сделаю, я не люблю навязчивости. Но если Леопольд завтра утром явится к моему отцу — а я опасаясь, что он как раз из числа тех, кто рассыпается в уверениях не перед главным действующим лицом, а перед второстепенным, — итак, если

завтра утром он явится к моему отцу и попросит у него руки, вот этой самой руки твоей сестры, Коринна примет его предложение и будет чувствовать себя как та Коринна на Капитолии.

— Это невозможно, ты заблуждаешься, ты просто играешь. Это фантазия, которую ты вбила себе в голову.

— Нет, Марсель, ты заблуждаешься, а не я, я же серьезна, как никогда, настолько серьезна, что мне даже страшно становится.

— Это угрызения совести.

— Может быть, да. А может быть, и нет. Но в одном я тебе честно признаюсь: *то*, для чего меня, собственно говоря, и сотворил милостивый господь, не имеет никакого отношения ни к трайбелевской фабрике, ни к лесоторговому складу и уж наверняка никакого к золовке из Гамбурга. Но тяга к достатку, охватившая сейчас весь свет, владеет мной, как и остальными, и пусть твоему учительскому уху это покажется смешным и недостойным, но мне милей модные салоны Бонвитта и Литауэра, чем домашняя портниха, которая заявляется уже в восемь утра, принося с собой ароматы задних дворов и чуланов, а на второй завтрак получает булочку с колбасой и, может быть, еще рюмочку тминной настойки. Все это мне внушает самое глубокое отвращение, и чем меньше я сталкиваюсь с этим, тем лучше. На мой взгляд, куда приятнее, когда в ухе поблескивают маленькие бриллианты, как, скажем, у моей предполагаемой свекрови... «Ограничивать себя» — о, я хорошо знаю эту песню; ее вечно поют и проповедают, но когда я стираю пыль с толстых книжек в кабинете у папы, с книжек, в которые никто не заглядывает, даже он сам, и когда вечером Шмольке садится ко мне на кровать, рассказывает о своем покойном муже — полицейском, что, мол, будь он жив, ему бы давно уже дали участок, недаром Мадай так его ценил, а потом вдруг восклицает: «Батюшки, я совсем забыла тебя спросить, что готовить на завтра... Репа нынче уже никуда не годится и вся, как есть, червивая, знаешь бы что я предложила? Отварную свинину с брюквой, мой Шмольке тоже очень любил это кушанье», — да, Марсель, в эти минуты у меня так скверно делается на душе, что Леопольд Трайбель вдруг кажется якорем спасения или, если тебе угодно, большим парусом, предназначенным умчать меня, при попутном ветре, к дальним счастливым берегам.

— Или, если случится буря, разбить твое счастье вдребезги.

— Поживем, увидим.

Тут они свернули со старой Лейпцигерштрассе на Раулев двор, откуда был проход на Адлерштрассе.

Глава шестая

В тот час, когда у Трайбелей встали из-за стола, у профессора Шмидта начался очередной «вечер». «Вечер» этот, именуемый также «кружок», когда являлись все его участники, собирал за круглым столом, под накрытой розовым платком лампой, семь преподавателей гимназии, из коих большая часть носила профессорское звание. Помимо нашего знакомого Шмидта, здесь бывали следующие господа: Фридрих Дистелькамп, отставной директор гимназии и старейшина кружка; далее, профессора Риндфлейш и Ганнибал Быкман, а вместе с ними старший преподаватель Иммануэль Шульце — все трое из гимназии Великого курфюрста. Завершали список участников доктор Шарль Этьен, друг и некогда однокашник Марселя, а ныне преподаватель французского языка в пансионе благородных девиц, и, наконец, учитель рисования Фридеберг, которому несколько лет назад — непонятно за какие заслуги — было присвоено уже носимое многими членами кружка профессорское звание, хотя акции его после этого отнюдь не повысились. Как и раньше, на него продолжали смотреть свысока и одно время даже вполне серьезно подумывали о том, чтобы, по предложению его главного недоброжелателя Иммануэля Шульце, изгнать Фридеберга из кружка, но наш друг Вилибальд Шмидт сумел этому воспрепятствовать, сказав, что Фридеберг, при полной своей непричастности к науке, вносит в их «вечера» своеобразный вклад, который нельзя недооценивать. «Видите ли, дорогие друзья, — такова приблизительно была аргументация Шмидта, — когда мы встречаемся в своем узком кругу, мы слушаем друг друга исключительно из любезности, пребывая в твердом убеждении, будто все, сказанное другими, мы могли бы сказать во сто крат лучше или — если проявить некоторую скромность — ничуть не хуже. И это всегда сковывает говорящего. Признаюсь, когда на очереди мой доклад, я не могу избавиться от неприятного чувства, а порой даже от смущения. И вот в такие тягостные для меня минуты я

вижу, как бочком входит вечно запаздывающий Фридеберг, вижу его смущенную улыбку и чувствую, что в мгновение ока моя душа обретает крылья; я начинаю говорить свободнее, находчивее, яснее, ибо с этого момента у меня есть публика, пусть даже весьма малочисленная. Один почтительно внимающий слушатель такая малость, а ведь кое-что значит, иногда — даже очень много». После столь проникновенной защиты Фридеберг был оставлен в кружке. Шмидт вообще с полным правом мог считать себя душой этого общества, и даже именем своим — «Семеро греческих храбрецов» — оно было обязано ему. Иммануэль Шульце, завзятый оппозиционер и вдобавок страстный поклонник Готфрида Келлера, предложил было «Знамя семи стойких», но успеха не имел, ибо, как заявил Шмидт, название отдает плагиатом. Правда, «Семеро храбрецов» тоже звучит, как заимствование, но это обман чувств — слуха, в частности; изменение одного слога (в чем, собственно, и заложен весь смысл) не только меняет ситуацию, но и помогает достичь вершин духа, именуемых самоиронией.

Разумеется, кружок, о чем едва ли стоит упоминать, как и всякий союз подобного рода, распадался на отдельные партии, почти на столько же, сколько насчитывал членов, и лишь тому обстоятельству, что трое коллег из гимназии Великого курфюрста, помимо совместной службы, состояли еще в родстве и свойстве (Быкман приходился шурином, а Иммануэль Шульце — зятем Риндфлейшу), — лишь вышеупомянутому обстоятельству следовало приписать, что и четверо остальных, побуждаемые инстинктом самосохранения, в свою очередь, образовали группировку и при решении тех или иных вопросов, как правило, действовали заодно. Касательно Шмидта и Дистелькампа удивляться не приходилось, они издавна были друзьями, зато Этьена и Фридеберга разделяла глубокая пропасть, и это находило свое выражение как в несходстве обликов, так и в несходстве житейских привычек. Этьен, мужчина элегантный, никогда не упускал случая во время больших каникул использовать часть отпуска для поездки в Париж, Фридеберг же якобы для занятий живописью выезжал на Вольтерсдорфский шлюз («неповторимые красоты природы»). Разумеется, живопись была лишь предлогом, а истина заключалась в том, что Фридеберг, при своих весьма ограниченных средствах, просто выбирал наиболее доступную цель, да и вообще покидал Берлин лишь затем, чтобы хоть несколько недель отдохнуть от жены, с которой они вот

уже много лет находились на грани развода. У кружковцев, равно критически оценивающих поступки и слова своих коллег, эта уловка могла бы вызвать раздражение, но честность и прямодушие в обращении друг с другом отнюдь не были отличительной чертой «семи храбрецов», скорее наоборот. Так, к примеру, решительно каждый утверждал, что без «вечеров» ему и жизнь не в радость, на деле же являлись лишь те, у кого на данный случай не предвиделось ничего получше. Театру и игре в скат отдавалось предпочтение во все времена, они-то и были причиной, что на «вечера» обычно являлись далеко не все, и это давно уже никому не бросалось в глаза.

Но сегодня дело обстояло хуже, чем всегда. Стенные часы Шмидта, доставшиеся ему от деда, успели пробить уже половину девятого, а никого еще не было, кроме Этьена, но Этьен, как и Марсель, числился близким другом дома и потому едва ли мог считаться гостем.

— Ну, Этьен, — сказал Шмидт, — как ты находишь эту нерадивость? Куда запропастился Дистельками? Если уж и на него нельзя положиться («Все Дугласы верность умеют хранить»), значит, нашим «вечерам» пришел конец, а я сделаюсь пессимистом и до конца своих дней буду таскать под мышкой Шопенгауэра и Эдуарда фон Гартмана.

Не успел он договорить, как в дверь позвонили, и мгновенно спустя в комнату вошел Дистелькамп.

— Извини, Шмидт, я нынче поздно. От подробностей я хотел бы тебя избавить и нашего друга Этьена тоже. Многословные оправдания по поводу слишком позднего прихода, даже когда они правдивы, немногим лучше рассказов о болезнях. Словом, не будем об этом говорить. Но меня, надобно сказать, удивляет, что, несмотря на свое опоздание, я, по сути дела, явился первым. Ведь Этьен почти что член семьи. Но вот деятели курфюрстовой гимназии, где они? Я не спрашиваю ни про Быкмана, ни про нашего друга Иммануэля, они всего лишь свита своего зятя и тестя, но сам Риндфлейш — он-то почему не пришел?

— Риндфлейша не будет, он написал, что пойдет сегодня в «Греческое общество».

— Ну и очень глупо. Зачем ему понадобилось «Греческое общество»? «Семеро храбрецов» важнее «Общества». Здесь он найдет больше пищи для ума и сердца.

— Это ты так думаешь, Дистелькамп. Но причина не в том, у Риндфлейша беспокойная совесть, я мог

бы даже сказать: у Риндфлейша опять неспящая совесть.

— Тем более ему следовало прийти сюда. Здесь он мог бы принести покаяние. А о чем, собственно, речь? В чем дело?

— Он снова допустил ошибку, кого-то с кем-то спутал, вроде бы трагика Фринихоса с комедиографом Фринихосом. Так, кажется, а, Этьен? (Этьен кивнул.) И семиклассники высмеяли его и даже сочинили про него стишок.

— Ну п...?

— Значит, надо было по мере возможности залечить рану, а «Греческое общество» и респект, им внушаемый, лучшее для этого средство.

Дистелькамп, успевший за время разговора раскурить пеньковую трубку и сесть в угол дивана, улыбнулся довольно и сказал:

— Все вздор! Ты этому веришь? Я ни капли. А если даже дело обстоит именно так, это мало что значит, собственно говоря, ничего. Такие обмолвки неизбежны, они случаются у каждого. Я хочу тебе рассказать, Шмидт, о том, что в пору, когда я был молод и читал в четвертом классе историю Бранденбурга, произвело на меня огромное впечатление.

— Ну, рассказывай. Что же это было?

— Да, что это было? Честно говоря, я тогда еще не далеко ушел в познаниях, особенно по части нашей доброй провинции Бранденбург, признаться, я и сейчас продвинулся немногим дальше. И вот когда я сидел у себя дома и с грехом пополам готовился к лекциям, мне, в числе прочего,— мы, помнится, остановились на первом короле — пришлось перечитать всевозможные биографические сведения, и среди них — про старого генерала Барфуса, который, подобно большинству деятелей того времени, пороку не изобрел, но человек был храбрый. Этот самый Барфус во время осады Бонна возглавлял военно-полевой суд, когда судили одного молодого офицера.

— Так, так. А дальше что?

— Подсудимый, мягко выражаясь, не проявил должного героизма, и все члены суда были за то, чтобы признать его виновным и расстрелять. Только старый Барфус и слышать не пожелал о расстреле. Он сказал: «Давайте, господа, проявим снисхождение. Я тридцать раз был в деле и могу вас заверить: один день не похож на другой, и человек не всегда одинаков, и сердце человеческое тоже,

а про храбрость и говорить нечего. Я сам не раз и не два испытывал страх. Надо прощать, пока прощается, любому из нас может понадобиться снисхождение».

— Слушай, Дистелькамп,— начал Шмидт,— ты рассказывал хорошую историю, я очень тебе за нее признателен и, несмотря на свой преклонный возраст, готов намотать ее на ус. Одному богу известно, мне тоже случалось опозориться, и хотя мальчики ничего не заметили — по меньшей мере ничем этого не проявили,— я сам заметил и ужасно стыдился и сокрушался. Не правда ли, Этьен, такие промахи всегда очень огорчают? Или на французских уроках это невозможно, во всяком случае, у тех, кто каждый июль ездит в Париж и возвращается домой с новым томиком Мопассана? Если не ошибаюсь, это теперь высший шик? Ты уж извини мою невольную колкость. А Риндфлейш достойнейший человек, *nomen est omen*¹, он лучший из них, лучше, чем Быкман, и уж наверняка лучше, чем наш друг Иммануэль Шульце. Тот проныра и хитрец, он вечно посмеивается и делает вид, будто бог весть где и бог весть как заглянул под покровы саисского изваяния, до чего ему на деле очень далеко. Ибо он не в состоянии даже решить загадку собственной жены, у которой многое более скрыто или, напротив, более открыто, чем это желательно законному супругу.

— Ну, Шмидт, у тебя нынче очередной день злословия. Не успел я вырвать из твоих когтей беднягу Риндфлейша, не успел ты покаяться, как уже набрасываешься на его несчастного зятя. Между прочим, если бы я и рискнул в чем-нибудь упрекнуть Иммануэля, то нашел бы другой повод.

— Какой, позвольте узнать?

— Он не имеет авторитета. То, что он не имеет его дома, еще полбеда. И вдобавок не наше дело. Но то, что он, как я слышал, и у гимназистов не имеет авторитета, это уж совсем никуда не годится. Понимаешь ли, Шмидт, для меня величайшая трагедия последних лет — постепенное исчезновение категорического императива. Как я вспомню в этой связи про старого Вебера! О нем, помнится, рассказывали, что когда он входит в класс, можно услышать, как сыплется песок в песочных часах, и ни одному ученику выпускного класса даже в голову не приходило при нем шептаться, не говоря уже о подсказке. Кроме

¹ Имя говорит за себя (лат.).

его собственных речей — это я про Вебера, — в классе не было слышно ни звука, если не считать шороха страниц, когда ученики перелистывали Горация. Да, Шмидт, это были времена, тогда имело смысл быть преподавателем или директором. А теперь мальчишки подходят к тебе в кондитерской и говорят: «Господин директор, если вы уже прочитали, я попросил бы...»

Шмидт рассмеялся.

— Да, Дистелькамп, они теперь таковы, и таково новое время, правда твоя. Но я не склонен сокрушаться по этому поводу. Ведь что они представляли собой, эти вельможи с двойным подбородком и красным носом, что они представляли собой, если смотреть истине в глаза? Гуляки, которые лучше разбирались в бургундском, чем в Гомере. У нас любят толковать про старое, доброе время. Вздор! Пить тогда умели, это правда, это видно и по их портретам в актовом зале. Чувство собственного достоинства, окостенелое величие — это все у них было, этого у них не отнимешь. Но каковы они были во всем остальном?

— Лучше, чем сегодня.

— Не нахожу. Еще когда я курировал нашу школьную библиотеку — благодарение богу, я с этим разделался, — мне частенько приходилось заглядывать в наши школьные программы, в диссертации и речи по случаю, весьма тогда принятые. Я понимаю, каждая эпоха считает себя исключительной, и пусть те, кто придет после нас, посмеются над нами, я не против, но поверь, если судить с позиций сегодняшнего знания, даже просто вкуса, следует честно признать, что гелертерство в напудренных париках с его невысказанным высокомерием было поистине ужасно и может нынче вызывать у нас только смех. Не помню точно, при ком, кажется, при Родегасте, вошло в моду — уж не потому ли, что у него самого был сад возле Розентальских ворот? — черпать темы для торжественных речей и тому подобного в садоводстве, и мне доводилось читать диссертации о садовой флоре в раю, о планировке Гефсиманского сада и о плодоношении Иосифова сада в Аримафее. Словом, сады и еще раз сады. Ну-с, что ты скажешь?

— Да, Шмидт, с тобой трудно тягаться. Ты всегда умеешь подметить смешное, ты выхватываешь его, накалываешь на булавку и демонстрируешь человечеству. Но то, что лежало рядом и было много важнее, ты просто упускаешь из виду. Вот ты вполне справедливо сказал, что потомки будут потешаться над нами. Да и кто может

поручиться, что в один прекрасный день мы не займемся исследованиями еще более нелепыми, чем исследование райской флоры? Дорогой Шмидт, главное — это все-таки характер, не тщеславная, а добрая и чистая вера в самих себя. *Vona fide*¹ мы должны идти вперед. Но мы, с нашей вечной критикой, даже если это самокритика, неизменно скатываемся к *mala fides*², мы и сами себе не верим, как не верим тому, что преподаем. А без веры в себя и в свое дело не будет ни охоты, ни радости, ни благодати, и уж наверняка не будет авторитета. Вот о чем я сожалею. Как войско немислимо без дисциплины, так и школа без авторитета. То же и с верой: вовсе не обязательно верить в истинное, но верить хоть во что-нибудь необходимо. Любая вера обладает таинственной силой. А стало быть, и авторитет.

Шмидт улыбнулся.

— Нет, Дистелькамп, тут я не согласен. В теории это еще куда ни шло, но в практике утратило всякий смысл. Разумеется, надо пользоваться уважением гимназистов. Мы не сходимся только в вопросе о том, каковы истоки этого уважения. Ты пытаешься все свести к характеру, а про себя, даже если не говоришь вслух, думаешь так: «В того невольно верят все, кто больше всех самонадеян». Но, дорогой друг, именно этот постулат я оспариваю. На одной только вере в себя или, если позволишь, на одном только важничанье да чванстве в наши дни далеко не уедешь. На место этой устаревшей силы пришла реальная сила знания и умения, ты только открой глаза и сразу увидишь, что профессор Хаммерштейн, участник сражения под Шпихерном, сохранивший с тех пор повадки бравого подпоручика, что Хаммерштейн классом не владеет, тогда как наш Агатон Кнурцель с лицом Панча и двойным горбом — ему, правда, и мозгу отпущена двойная порция, — повторяю, Агатон Кнурцель с лицом хищной птицы держит класс в страхе и трепете божьем. А теперь возьми мальчиков, особенно наших, берлинских, эти живо разнюхают, кому какая цена. Если бы один из старцев, облаченный в собственное достоинство, восстал из гроба и задал бы им агрономическое описание рая, куда бы он делся со всем своим величием? И трех дней бы не прошло, как о нем появились бы стишки в «Кладерадатче», и сочинили бы их его же ученики.

¹ В доброй вере (лат.).

² Неверию (лат.).

— И все-таки я утверждаю, что вместе с традициями старой школы сохраняется или, соответственно, гибнет высокая наука.

— Не думаю. Но если даже так, если высшему мировоззрению — ведь так оно называется — суждено погибнуть, пусть гибнет. Уже Аттингхаузен, который сам был далеко не молод, говаривал: «Уходит старое, не то уж время». Вот и мы подошли вплотную к этому процессу преобразования, вернее сказать, мы уже им захвачены. Нужно ли напоминать тебе, что были времена, когда церковные вопросы считались сферой одних только церковников. Так ли обстоит дело сейчас? Нет. Потерял ли мир от этого? Нет. Время старых форм миновало, и ученое сословие не должно быть исключением. Вот взгляни, — и он взял с соседнего столика роскошный фоллант, — взгляни на это. Мне сегодня его прислали, и я оставляю его, хотя это безумно дорого. Раскопки Генриха Шлимана в Микенах. Какого ты о них мнения?

— Сомнительная история.

— Так я и знал. Потому что тебе трудно расстаться со старыми представлениями. Трудно поверить, что человек, некогда клеивший кулечки и продававший изюм, сумел откопать старого Прнама, а если он вдобавок докопается до Агамемнона и будет искать трещину в черепе — память об ударе Эгисфа, ты и вовсе преисполнишься негодования. Но спорить бесполезно, ты не прав. Разумеется, человек должен что-то совершить, *hic Rhodus, hic salta*¹, но кто умеет прыгать, тот прыгает независимо от того, что у него за плечами — альма-матер в Гёттингене или начальная школа. На этом я, пожалуй, кончу, у меня решительно нет охоты сердить тебя, помнящая Шлимана, которого ты не взлюбил с первых шагов. Книжки же приготовлены здесь ради Фридеберга, которого я хочу расспросить о приложенных иллюстрациях. Не понимаю, почему он не пришел или, точнее, почему его до сих пор нет. Ибо в том, что он придет, я не сомневаюсь, иначе он бы меня известил, он человек обязательный.

— Да, — подтвердил Этьен, — это у него чисто семитское.

— Справедливо, — продолжал Шмидт, — но мне в конце концов безразлично, откуда это у него. Будучи чистокровным германцем, я порой сожалею, что у нас нет свое-

¹ Здесь Родос, здесь и прыгай (*лат.*).

го источника, который хоть отчасти напитал бы нас учтивостью и политесом; пусть это будет другой источник, не обязательно тот же самый. Пугающее родство между Тевтобургским лесом и грубостью меня порой ужасает. Фридеберг здесь уподобляется Максу Пикколомини (в остальном же это отнюдь не его прообраз, особенно в делах любви): он всегда проповедовал великодушие и кроткий нрав, и мы можем только пожалеть, что его ученики не всегда умеют это ценить. Другими словами, сидят у него на голове...

— Извечная судьба учителей чистописания и рисования.

— Разумеется. В конце концов так было, так будет. Оставим эту щекотливую тему. Вернемся лучше в наши Микены, а ты скажи мне свое мнение о золотых масках. Я убежден, что это явление очень необычное и своеобразное. Не могли же всякому делать при погребении такую маску, разве что князьям, значит, вполне вероятно, что это были непосредственные предки Ореста и Ифигении. А когда я подумую, что золотые маски в точности повторяли черты лица, как теперь повторяют их наши гипсовые и восковые слепки, у меня сердце екает при мысли о том, что вот это, — он указал на открытую страницу, — могло быть лицом Атрея, или его отца, или его дяди...

— Будем считать, что дяди...

— Вот ты и опять насмешничаешь, Дистелькамп, хотя мне это запретил. А почему? Да потому, что ты не веришь в микенские раскопки и никак не можешь выкинуть из головы, что он — разумеется, Шлиман — не кончил ничего, кроме начальной школы. Но прочти, что пишет о нем Вирхов. Вирхов-то для тебя достаточно авторитетная личность?

Тут в дверь позвонили.

— А, легок на помине. Вот и он. Я знал, что он нас не подведет.

И не успел Шмидт договорить до конца, как в комнату вошел Фридеберг, а за ним очаровательный черный пудель с высунутым, должно быть от быстрого бега, языком. Пудель бросился к старикам и начал, по очереди, вилять хвостом перед каждым из них. Подойти к Этьену он не рискнул, тот, по его собачьему разумению, был слишком элегантен.

— Господи, Фридеберг, откуда вы так поздно?

— Вы правы, очень поздно, к моему величайшему сожалению. Но Фипс ведет себя безобразно или, точнее сказать, слишком далеко заходит в своей любви ко мне, если только в любви можно зайти слишком далеко. Я вышел из дому вовремя в твердом убеждении, что запер его. Ну хорошо. Попробуйте угадать, что случилось дальше? Кто ждал меня, когда я достиг ваших дверей? Кто же, как не Фипс. Я иду с ним обратно, проделываю весь путь до своего дома и передаю его швейцару, своему доброму другу — в Берлине, пожалуй, следует говорить: благодетелю. Но — и еще раз но — каков результат моих усилий и моего красноречия? Не успеваю я вторично подойти к вашему дому, как Фипс уже снова встречает меня на пороге. Ну что мне оставалось делать? Пришлось взять его с собой, и я прошу у вас всех извинения за себя и за Фипса.

— Пустяки, — сказал Шмидт, глядя собаку. — Отличный пес, такой ласковый и верный. Кстати, он Фипс или Хипс? Хипс звучит более по-английски, а стало быть, благороднее. А впрочем, так или иначе, он может считать себя званым и желанным гостем, если, конечно, он не против того, чтобы ужинать в кухне, так сказать, за музыкантским столом. За нашу добрую Шмольке я ручаюсь. Она обожает пуделей, а если к тому же рассказать ей о его верности...

— Тогда она, — подхватил Дистелькамп, — уж верно, сыщет для него кусок пожирнее.

— Несомненно. В чем я всецело ее одобряю. Ибо верность, о которой нынче говорят все, кому не лень, становится все более редкой добродетелью, и даже пример Фипса, сколько мне известно, никого по соседству не вдохновляет.

Эта небрежная и, казалось бы, шутливая фраза Шмидта была острием своим направлена против обычно покровительствуемого им Фридеберга, чей неудачный брак явно страдал недостатком верности, особенно в периоды отлучек к живописным красотам Вольтерсдорфского шляза. Фридеберг почувствовал шпильку и хотел было выпутаться из затруднительной ситуации, отпустив Шмидту какую-нибудь любезность, но не успел он открыть рот, как вошла Шмольке и, поклонившись гостям, шепнула на ухо профессору, что «кушать подано».

— Тогда, дорогие друзья, прошу. — И, взяв под руку Дистелькампа, хозяин проследовал через прихожую в гостиную, где уже был накрыт стол. Собственно столовой в квартире не было. Фридеберг и Этьен шли следом.

Глава седьмая

Это была та же комната, где Коринна день назад принимала госпожу советницу. Теперь посреди комнаты стоял густо уставленный свечами и бутылками, накрытый на четверых стол. Над ним висела лампа. Шмидт сел спиной к оконному проему, напротив своего друга Фридеберга, тот со своего места мог сколько угодно глядеться в зеркало. Между бронзовыми подсвечниками красовались трофеи с какого-то благотворительного базара: две фарфоровые вазы с краями частью зубчатыми, частью волнистыми, *dentatus et undulatus*¹, как говорил Шмидт; в вазах торчали рыночные букетики незабудок и лакфиолей. Перед строем рюмок лежали продолговатые тминные хлебцы, коим хозяин, как и всему, сдобренному тмином, приписывал несметные целительные свойства.

Главного блюда покамест не подали, и Шмидт, дважды наполнив рюмки трарбахским мозелем и обломав хрустящие горбушки своего хлебца, уже начал выказывать заметные признаки досады и нетерпения, когда наконец отворилась дверь из прихожей и Шмольке, багровая от волнения и кухонного жара, вошла в комнату, неся на вытянутых руках полную миску раков.

— Ну, слава богу! — воскликнул Шмидт. — А то я уж думал, что раки назад попятятся, — замечание крайне неосторожное, ибо, усилив румянец Шмольке, оно в той же мере испортило ее настроение. Шмидт быстро спохватился и, как опытный полководец, попытался исправить дело с помощью нескольких любезностей, но преуспел в своем намерении лишь наполовину.

Едва Шмольке вышла, Шмидт принялся изображать радушного хозяина, конечно, на свой лад.

— Прошу, Дистелькамп, этот прямо создан для тебя. У него одна клешня большая, другая маленькая, такие самые вкусные. Бывает, что игра природы значит больше, чем просто игра, для мудреца это перст указующий; к примеру, я помянул бы еще апельсины корольки и борсдорфские яблоки с пятнышком. Ибо установлено: чем больше пятен, тем вкуснее... Здесь, перед собой, мы видим одерских раков, выловленных, если я верно информирован, в окрестностях Кюстрина. Невольно кажется, что слияние Одера и Варты принесло особенно добрые плоды. Между

¹ Зубчатый и волнистый (лат.).

прочим, Фридеберг, вы не оттуда ли родом? Из Неймарка или из Одербруха? — Фридеберг отвечал утвердительно. — Так я и знал. Память редко меня подводит. А теперь скажите нам, как, по-вашему, надлежит ли считать этих раков сугубо местным продуктом, или одерские раки подобны вердерским вишням, которые растут по всей провинции Бранденбург?

— Я полагаю, — отвечал Фридеберг и движением вилки, обличающим виртуоза, ловко извлек бело-розовую шейку из панциря, — я полагаю, что здесь соблюдается верность флагу и что в этой миске мы имеем подлинных одерских раков, товар без подделки, не только по названию, но и *de facto* ¹.

— *De facto*, — с довольной улыбкой повторил Шмидт, знающий цену Фридеберговой латыни.

Фридеберг же продолжал:

— Вокруг Кюстрина по сей день ловят огромное количество раков, хотя, разумеется, они уже не те, что прежде. Я еще видел потрясающие уловы, но и они не идут ни в какое сравнение с тем, что рассказывают старики. Лет сто назад, а может, и больше, раков было так много, что по всей пойме, когда, бывало, в мае сойдет половодье, их просто стряхивали с деревьев тысячами, сотнями тысяч.

— Сердце радуется такое слушать, — сказал Этьен, бывший великим гурманом.

— Это оно здесь радуется, за столом, но в Одербрухе люди не радовались. Там раки стали божьей карой, там они, разумеется, совершенно утратили цену, а всякого рода прислуге, которую просто закармливали раками, они так опротивели, что существовал даже официальный запрет кормить батраков раками более трех раз в неделю. Пять дюжин раков стоили пфенниг.

— Слава богу, хоть Шмольке этого не слышала, не то бы у нее во второй раз испортилось настроение. Как истинная берлинка, Шмольке помешана на экономии, и, доведись ей узнать, что она окончательно и бесповоротно прозевала эпоху раков «по пфеннигу за пять дюжин», она бы этого не вынесла.

— Зря ты над ней смеешься, — сказал Дистелькамп. — Это добродетель, которая в нынешнем мире встречается все реже и реже.

¹ Фактически, на деле (*лат.*).

— Пожалуй, ты прав. Но моя Шмольке проявляет в данном вопросе *les défauts de ses vertus*¹. Верно ли я сказал, Этьен?

— Верно, — подтвердил Этьен. — Жорж Занд. Так и хочется после «*les défauts de ses vertus*» добавить «*comprendre c'est pardonner*»². Вот, по сути дела, два изречения, ради которых она жила.

— Ну и, наверное, хоть немножко ради Альфреда де Мюссе, — добавил Шмидт, который никогда не упускал случая блеснуть познаниями в новейшей литературе, конечно, не в ущерб своему классицизму.

— Если угодно, то и ради Мюссе. По счастью, это все предметы, коими история литературы не занимается.

— Не говори так, Этьен, не по счастью, а к сожалению. История почти никогда не занимается тем, что более всего следовало бы сохранить для потомков. Если Старый Фриц на закате своих дней запустил клюкой в голову тогдашнему председателю апелляционного суда — уж и не помню, как того звали, — и если он, что еще любопытнее, требовал похоронить его рядом с собаками из королевской псарни, ибо род людской, «гнусная порода», вконец ему опротивел, для меня это по меньшей мере так же важно, как Хоенфридберг или Лейтен. А его общеизвестное обращение в ходе битвы под Торгау: «Канальи, вы что же, хотите жить вечно?» — для меня важнее, чем сама битва.

Дистелькамп улыбнулся.

— Чистейшая шмидтовщина! Ты всегда тяготея к анекдотам и жанровым сценкам. Меня же в истории занимает лишь великое, а отнюдь не малое и второстепенное.

— Как сказать. Второстепенное — и здесь ты прав — ничего не значит, если оно лишь второстепенно, если в нем не заложен какой-то скрытый смысл. Но если заложен, тогда второстепенное становится главным, ибо именно оно может поведать нам об истинно человеческом.

— С точки зрения поэтической ты прав.

— С точки зрения поэтической — при условии, что мы вкладываем в это понятие несколько иной смысл, нежели моя приятельница Женни Трайбель, — поэтическое всегда истинно и всегда превосходит историческое.

Для Шмидта это была одна из любимых тем, развивая ее, старый романтик — а романтизм в нем преобладал над

¹ Здесь: оборотную сторону этой добродетели (*франц.*).

² Понять значит простить (*франц.*).

всем прочим — мог показать себя во всем блеске. Но нынче ему никак не удалось оседлать своего конька, ибо, прежде чем он успел выдвинуть основополагающий тезис, из прихожей донеслись голоса, и в комнату вошли Марсель и Коринна, Марсель — смущенный и словно бы сердитый, Коринна — по-прежнему в отменном настроении. Она подошла к Дистелькампу, тот был ее крестным отцом и всякий раз отпускал ей какой-нибудь комплимент, потом подала руку Этьену и Фридебергу и, наконец, подошла к отцу и от души его расцеловала, после того как он, по ее требованию, вытер рот салфеткой.

— Ну, детки, что скажете? Садитесь к нам. Места для всех хватит. Риндфлейш написал, что не будет... «Греческое общество»... а два его бесплатных приложения отсутствуют без объяснения причин. Но более ни одной шпильки, я обещал исправиться. Итак, ты, Коринна, сядешь рядом с Дистелькампом, а ты, Марсель, между мной и Этьеном. Приборы Шмольке сейчас принесет, я надеюсь... Так, так, вот и хорошо. Совсем другой вид! Когда между гостями зияют пустоты, мне всякий раз мерещится дух Банко. Но ты, Марсель, благодарение богу, ни в чем с Банко не схож, а если и схож, то умеешь прятать свои раны. Теперь рассказывайте! Как поживает Трайбель? И как поживает моя приятельница Женни? Пела ли она нынче? Готов побиться об заклад, что была исполнена традиционная моя песня, где есть знаменитая строка: «Сердце сердцу весть подает», и в сопровождении Адолара Кролы. Ах, если бы я мог читать у него в душе! Впрочем, он, вероятно, воспринимает все это более кротко и терпимо. Кого ежедневно зовут на два обеда и кто принимает по меньшей мере полтора приглашения... но ты позвони, Коринна.

— Нет, уж лучше я сама схожу. Шмольке не любит, когда ей звонят, у нее свои представления о том, какие обязательства налагает на нее собственное достоинство и память мужа. Я даже не знаю, вернусь ли я, боюсь, что нет, вы уж меня извините. Кто провел день у Трайбелей, тому лучше обдумать, как оно все было и что при этом говорилось. А рассказать вам может и Марсель, он вполне меня заменит. Я только одно упомяну: моим соседом по столу был один очень интересный англичанин, а если кто из вас не поверит, что он был такой уж интересный, мне достаточно просто назвать его имя — его звали Нельсон. А теперь да хранит вас господь! — С этими словами она ушла.

Подали прибор для Марсея, и когда последний, чтобы не портить дядюшке настроение, попросил дать ему на пробу самого отборного рака, Шмидт сказал:

— Ну, принимайся за дело. Артишоки и раков можно есть в любое время, даже после обеда у Трайбелей. Можно ли то же сказать об омарах, надо еще выяснить. Я лично всегда их ем с удовольствием. Забавно, что человека всю жизнь сопровождают такого рода вопросы, они только меняются с возрастом. Пока ты молод, вопрос стоит так: «красивая или некрасивая», «блондинка или брюнетка», а когда молодость осталась позади, возникает вопрос, пожалуй, еще более важный: «омары или раки». Кстати, вопрос этот можно решить голосованием. Хотя, с другой стороны, нельзя не признать, что в голосовании есть нечто мертвое, формальное, и вдобавок сегодня оно меня никак не устраивает: я хотел бы втянуть Марсея в разговор, а то он сидит с таким видом, будто у него урожай градом побил. Итак, предпочтительнее диспут. Скажи, Марсель, чему ты отдаешь предпочтение?

— Разумеется, омарам.

— «В дни юности легко понять, что право». С первого же раза почти все, кроме редких исключений, высказываются за омаров, хотя бы потому, что могут сослаться на авторитет кайзера Вильгельма. Но не думай так легко от меня отделаться. Не спорю, когда перед тобой на тарелке лежит омар, и вдобавок дивная красная икра, символ обилия и плодородия, вселяет в тебя уверенность, что «омары вечно не переведутся», до окончания века и после того...

Дистелькамп искоса посмотрел на своего друга.

— ...повторяю, вселяет в тебя уверенность, что до окончания века и после того смертные будут вкушать сей божий дар, да, друзья, когда через омаров проникаешься ощущением бесконечности, тогда гуманистическое начало, во всем этом заложенное, без сомнения, идет на пользу как омару, так и нашему к нему отношению. Ибо всякое человеколюбивое движение сердца — и по этой причине следовало бы культивировать человеколюбие хотя бы из эгоизма — неизбежно влечет за собой усиление здорового и в то же время утонченного аппетита. Добро всегда имеет свою награду в себе самом, что бесспорно...

— Но...

— Но провидение, со своей стороны, печется, чтобы и здесь никто не мог прыгнуть выше головы, чтобы и здесь существование малого наряду с великим было не просто

оправдано, но и обладало известными преимуществами. Разумеется, ракам недостает одного, недостает другого, они не подходят под строевую мерку, что в таком военном государстве, как Пруссия, считается серьезным недостатком, но если отвлечься от всего вышесказанного, рак тоже имеет право сказать: «Я жил не зря». И когда его, рака, макают в петрушечное масло и в столь аппетитном виде подают на стол, у него появляются черты бесспорного превосходства — прежде всего то, что самое лакомое из него не просто едят, а высасывают. Кто будет спорить, что этот способ представляет собой одно из самых изысканных наслаждений. Он нам дан, так сказать, от природы. Возьмем грудного младенца, для него сосать значит жить. Но и на более высоких ступенях...

— Не хватит ли, Шмидт? — перебил его Дистелькамп. — Я всякий раз удивляюсь, как ты можешь после Гомера и даже после Шлимана с таким тщанием и любовью обсуждать поваренную книгу, вопросы меню, словно какой-нибудь банкир или денежный туз; они, по всей вероятности, едят неплохо...

— Несомненно.

— Но знаешь ли, Шмидт, эти финансовые воротилы — тут уж я готов спорить на что угодно — не вкладывают в разговор о черепаховом супе столько души и огня...

— Ты прав, Дистелькамп, и это более чем естественно. Я обладаю свежестью восприятия, дело в свежести, только в ней, о чем бы ни шла речь, от нее и душа, и азарт, и интерес, где нет свежести, там ничего нет. Самая безрадостная жизнь, какая может выпасть на долю человека, — это жизнь *de petit crevé*¹. Пустая суета, а за ней ничего. Верно я говорю, Этьен?

Этьен, неизменно считавшийся высшим авторитетом во всех парижских делах, утвердительно кивнул, и Дистелькамп замял спорный вопрос или, вернее, как искусный собеседник, постарался придать разговору новое направление, переведя его от общекулинарных проблем на отдельных светилах кулинарии, прежде всего на барона фон Румора, затем — на близкого своего друга князя Пюклер-Мускау, ныне покойного. Перед последним Дистелькамп испытывал нечто вроде преклонения. Если будущие исследователи захотят постичь суть современной аристократии на примере какой-нибудь конкретной фигуры, они всегда смогут

¹ Молодого старика (*франц.*).

взять за образец князя Пюклера. Это был человек весьма обходительный, правда, несколько неуравновешенного нрава, тщеславный и надменный, но зато добрейшей души. Как тут не пожалеть, что подобные люди перевелись. После этого вступления Дистелькамп начал уже вполне конкретно повествовать о Мускау и Бранице, где ему случилось проводить целые дни и беседовать там о всякой всячине с легендарной эфиопкой князя, вывезенной последним из «Странствий Семилассо».

Шмидт очень любил слушать о такого рода приключениях, а тем более из уст Дистелькампа, к познаниям и уму которого питал неподдельное уважение.

Марсель вполне разделял дядюшкины чувства к старому директору, вдобавок же — хоть и был коренным берлинцем — отлично умел слушать; но сегодня его не идущие к делу вопросы показывали, что мыслями он блуждает где-то далеко. Он и впрямь был сегодня занят другим.

Пробило одиннадцать; с первым же ударом часов гости встали из-за стола, прервав Шмидта на полуслове, и вышли в переднюю, где стараниями Шмольке уже были приготовлены макинтоши, шляпы и трости. Каждый взял свое, и лишь Марсель, отведя Шмидта в сторонку, шепнул: «Дядя, я хотел поговорить с тобой», на что Шмидт, сердечно и жизнерадостно, как всегда, выразил свое полное согласие. Затем, предводительствуемые Шмольке, которая держала в левой руке бронзовый подсвечник, подняв его высоко над головой, Дистелькамп, Фридеберг и Этьен спустились вниз по лестнице и вышли в неподвижную духоту Адлерштрассе. Шмидт же взял своего племянника под руку и провел его в свой кабинет.

— Ну, Марсель, в чем дело? Курить ты не станешь, твое чело и без того окутано тучами, но мне надобно сперва набить трубку; ты уж не взыщи.— И, выдвинув ящик с табаком, он уселся в угол софы.— Вот так. А ты возьми себе стул, садись и выкладывай. В чем дело?

— Старая история.

— Коринна?

— Она.

— Ты, Марсель, не сердись на меня, но какой из тебя поклонник, если ты без моей помощи шагу ступить не можешь? Ты ведь знаешь, я всей душой за тебя. Вы с Коринной просто созданы друг для друга. Но она смотрит

свысока на тебя, на нас всех; шмидтовское начало не просто стремится в ней к совершенному воплощению, но и — смею утверждать, хоть я и отец ей, — почти уже достигло его. Не каждой семье это по вкусу. Но шмидтовское начало составлено из таких элементов, что совершенство, о коем я говорю, никого не угнетает. А почему? Потому что самоирония, в которой мы, смею думать, достигли вершин, никогда не упустит случая поставить после совершенства большой знак вопроса. Вот это я и называю шмидтовским началом. Ты следишь за ходом моей мысли?

— Разумеется, говори дальше.

— Так вот, Марсель. Вы очень подходите один другому. У ней натура более одаренная, в ней есть необходимая изюминка, но все это отнюдь не дает превосходства в обычной жизни, скорее наоборот. Гениальные люди всю жизнь остаются детьми, они преисполнены тщеславия, полагаются только на свою интуицию, на *sentiment*¹ и на *bon sens*² и как оно там еще говорится по-французски. Или, говоря на родном языке, они полагаются исключительно на озарение. А с озарениями дело обстоит так: иногда они вспыхнут на добрых полчаса, а то и дольше, — что бывает, то бывает, — но внезапно запас электричества как бы иссякает, и тогда не только «обещанных субсидий нет притока», но и обыкновенного здравого смысла не доищешься. Да, это как раз и не доищешься. Такова Коринна. Ей нужно разумное руководство, иначе говоря, ей нужен муж, наделенный образованием и характером. Ты именно таков. И стало быть, ты имеешь мое благословение, а уж о прочем позаботься сам.

— Ох, дядя, ты всегда так говоришь. Но как мне взяться за дело? Возбудить в ней бурную страсть я не могу. Пожалуй, она и не способна к такой страсти, но допустим, что она к ней способна: каким образом может двоюродный брат вызвать страсть в двоюродной сестре? Так не бывает. Страсть — это нечто внезапное, а если двое с пятилетнего возраста играли вместе, прятался то за бочкой с кислой капустой, то в дровяном подвале и просиживали там часами, всегда вместе, всегда счастливые тем, что Рихард или Артур ходит совсем рядом, но не может их найти, тогда, дядюшка, о внезапности — этой предпосылке всякой страсти — не может быть и речи.

¹ Чувство (франц.).

² Здравый ум (франц.).

Шмидт рассмеялся.

— Хорошо сказано, Марсель, я даже не думал, что ты можешь так хорошо сказать. Но это лишь увеличивает мою любовь к тебе. И в тебе есть шмидтовские черты, только они зарыты под ведеркоповским упрямством. Я одно могу тебе сказать: если ты сумеешь выдержать этот тон по отношению к Коринне, тогда твое дело верное, тогда ты ее получишь.

— Нет, дядюшка, не говори так. Ты не до конца знаешь Коринну. Одну ее сторону ты постиг, а другую совсем нет. Все, что в ней есть умного, дельного, а главное, остроумного, ты видишь обоими глазами, но что в ней есть поверхностного и по-современному суетного, ты не видишь совсем. Не могу сказать, будто она одержима неизменным стремлением вскружить голову всем подряд, такого кокетства в ней нет. Но она бестрепетно берет на мушку того, кто ей нужен, и трудно даже представить себе, с какой жестокой последовательностью, с какой дьявольской изощренностью она завлекает в свои сети намеченную жертву.

— Ты полагаешь?

— Да. Вот и нынче у Трайбелей она продемонстрировала нам великолепный образец своего искусства. Она сидела между Леопольдом и молодым англичанином, чье имя она уже помнила, неким мистером Нельсоном, который, как и всякий англичанин из хорошей семьи, наделен известным обаянием наивности, в остальном же ничего собой не представляет. Вот тут тебе следовало бы на нее поглядеть. С виду все ее внимание было отдано сыну Альбиона, и ей даже удалось произвести на него впечатление. Но не подумай, ради бога, что белокурый англичанин хоть сколько-нибудь занимал Коринну, ничуть, занимал ее один только Леопольд Трайбель, с которым она не обменялась ни единым словом или очень немногими и ради которого она тем не менее разыграла своего рода французский водевиль, небольшую комедию, драматическую сценку. И разыграла, надобно сказать, с полным успехом. Этот несчастный Леопольд уже давно не сводит с нее глаз и давно вливает сладкий яд ее речей, но таким, как сегодня, я его ни разу не видел. Он был весь восхищение, каждая черточка его лица, казалось, взывала: «До чего скучна Елена (это жена его брата, если помнишь) и до чего очаровательна Коринна».

— Пусть так, Марсель, но я не вижу в этом ничего страшного. Почему бы ей и не развлекать соседа справа,

для того чтобы обворожить соседа слева? Это бывает чаще, чем ты думаешь. Маленькие уловки, на которые щедра женская натура.

— По-вашему, это маленькие уловки? Ах, если бы так. Но дело обстоит иначе. Все расчет: она хочет выйти за Леопольда.

— Вздор. Леопольд еще мальчик.

— Нет, ему двадцать пять, он ей ровесник. Но будь он даже младенцем, Коринна положила выйти за него и выйдет.

— Невероятно.

— Очень даже вероятно. Более того, совершенно точно. Когда я потребовал у нее объяснений, она сама мне в этом призналась. Она хочет сделаться женой Леопольда Трайбеля, а когда старый Трайбель отойдет к праотцам, что произойдет, по ее же словам, никак не позже, чем через десять лет, а при победе на выборах в Цоссене и того раньше, через пять, она переберется на виллу и, если я по достоинству ее оцениваю, добавит к серому какаду еще и павлина.

— Ах, Марсель, все это лишь игра воображения.

— Не знаю, может, оно у ней и разыгралось, но она сама мне так сказала, слово в слово. Ты бы послушал, дядя, с каким высокомерием она говорила об «ограниченных средствах» и как живописала скудную жизнь, для которой она не создана; шпик, брюква и тому подобное — это, видите ли, не для нее... Ты бы только послушал, как она это говорила, не просто так, вскользь, нет, в ее словах была горечь, и я с болью душевной увидел, как она привержена внешней стороне жизни и какими прочными сетями оплело ее проклятое новое время.

— Гм, гм, — сказал Шмидт. — Это мне не нравится — я про брюкву говорю. Глупое важничанье, да и с кулинарной точки зрения бессмыслица, ибо все блюда, которые любил Фридрих-Вильгельм Первый, к примеру, капуста с бараниной или линь в укропном соусе, не знают себе равных, дорогой Марсель. И отвергать их значит ничего не понимать. Поверь слову, Коринна вовсе не отвергает их, для этого она слишком дочь своего отца, а если ей доставляет удовольствие толковать с тобой о требованиях современности да, может быть, расписывать какую-нибудь парижскую булавку для шляпы или жакет, последний крик моды, пвдобавок делать впд, будто она не знает в целом свете ничего дороже и прекраснее, это всего лишь фейерверк, игра

фантазии, *jeu d'esprit*¹, а завтра, если ей вздумается, она преспокойно распишет тебе какого-нибудь кандидата в сельские пасторы, который, блаженствуя среди жасминов, покоится в объятиях своей Лотхен, и делает это с неменьшим блеском и апломбом. Вот что я называю шмидтовским началом... Нет, Марсель, пусть это тебя не тревожит. Это не всерьез.

— Именно всерьез...

— А если даже всерьез, чему я, кстати, не верю, потому что Коринна — особа со странностями, то и серьез этот ни к чему не приведет, решительно ни к чему. Уж можешь мне поверить. Ибо для свадьбы потребны двое.

— Разумеется. Но Леопольд хочет свадьбы еще больше, чем Коринна.

— Это ничего не значит. Выслушай меня и оцени, «как просто говорю я о великом»: коммерции советница *не* хочет.

— Ты уверен?

— Абсолютно.

— У тебя есть основания?

— Есть у меня и основания, есть и доказательства, ты воочию зришь их перед собой в лице твоего старого дядюшки Вилибальда Шмидта.

— Как так?

— Да, да, друг мой, ты зришь их воочию. Ибо я имел счастье на себе самом в качестве объекта и жертвы изведать нрав моей приятельницы Женни. Женни Бюрстенбиндер — это ее девичье имя, как ты, вероятно, знаешь, — воплощает в себе законченный тип буржуазки. Она была просто создана для этой роли с первого дня существования; уже в те далекие времена, когда она сидела в лавке своего отца и лакомилась изюмом, чуть, бывало, старик отвернется, она была совершенно такой же, как нынче, с чувством декламировала «Кубок», «Хождение на железный завод» и прочие баллады, а коли попадалось что-нибудь трогательное, пускала слезу, и когда я однажды сочинил известные стихи — ты, верно, знаешь это злосчастное творение, она с тех пор неизменно его распевает, да и сегодня, пожалуй, не упустила случая, — Женни бросилась мне на грудь и сказала: «Вилибальд, любимый, это дар божий». Я что-то смущенно лепетал о своих чувствах, о своей любви, а она продолжала твердить: «Это дар божий» — и про-

¹ Игра ума (*франц.*).

ливала такие потоки слез, что я, хоть это и льстило моему тщеславию, испугался, однако ж, подобной силы чувств. Да, Марсель, так состоялась наша негласная помолвка, негласная, но все же помолвка; я, во всяком случае, так считал и лез из кожи, чтобы как можно скорей закончить курс и сдать экзамен. Все шло превосходно. Когда же я вознамерился узаконить нашу помолвку, она принялась водить меня за нос, казалась то нежной, то отчужденной, неизменно исполняла песню, *мою* песню, а сама строила глазки всякому, кто ни приходил в их дом, покуда, наконец, не явился Трайбель и не пал ниц, потрясенный очарованием каштановых кудрей, а того пуще ее чувствительностью. Тогдашний Трайбель был не тот, что нынче, и мне на другой же день прислали извещение о помолвке. Странная история, из-за которой, могу прямо сказать, рухнули и некоторые другие привязанности, но я не какой-нибудь недоброжелатель или мститель, а в песне, где, как тебе известно, «сердце сердцу весть подает», — божественная банальность, кстати сказать, как по заказу для Женни, — в этой песне наша дружба жива по сей день, словно ничего не произошло. Почему бы и нет, в конце концов? Я лично давно уже выбросил это из головы, а у Женни просто талант забывать все, что ей хочется забыть. Она дама опасная, тем опаснее, что сама этого не сознает и искренне убеждена, будто у ней чувствительное сердце, открытое «всему возвышенному». На деле же ее сердце устремлено только к материальному, к тому, что имеет вес, к тому, что приносит проценты, и дешевле, чем за полмиллиона, она своего Леопольда не отдаст, а откуда возьмутся эти полмиллиона, ей безразлично. Теперь вернемся к бедняге Леопольду. Ты ведь знаешь, он человек неспособный к бунту или к побегу в Гретна-Грин. Я тебя уверяю, меньше чем на Брюкнера Трайбели не согласятся, а предпочли бы они Кёгеля. Чем ближе ко двору, тем лучше. Они играют в либерализм и в чувствительность, но все это сплошь притворство: когда понадобится выбрать партию, прозвучит лозунг «Золото — вст козырь» и ничего более.

— Боюсь, что ты недооцениваешь Леопольда.

— Боюсь, что я его переоцениваю. Я ведь помню его по шестому классу. Выше он не поднялся, да и к чему? Добрый малый, но посредственный, а как личность и на «посредственно» не тянет.

— Если бы ты мог поговорить с Коринной...

— Незачем. Разговоры только помешают естественному ходу событий. Пусть все вокруг колеблется, одно останется неизменным: характер моей приятельницы Женни. И вот здесь «мощный корень сил твоих таятся». Пусть Коринна выкидывает одну глупость за другой, не вмешивайся; исход предрешен. Коринна будет твоя, и, может быть, даже раньше, чем ты думаешь.

Глава восьмая

Трайбель был ранней пташкой, во всяком случае, среди коммерции советников, и никогда не переступал порог своего кабинета позднее восьми часов, причем всякий раз уже в сапогах со шпорами и в безупречном туалете. Здесь он просматривал приватную корреспонденцию, заглядывал в газеты и ждал появления супруги, чтобы совместно отзавтракать. Обычно госпожа советница не заставляла себя долго ждать, но сегодня она почему-то замешкалась, и поскольку почта доставила мало писем, а газеты, словно почувяв приближение лета, оказались весьма бессодержательны, Трайбель начал проявлять признаки нетерпения и, резко поднявшись со своей кожаной софы, принялся мерить шагами обе соседние залы, те самые, где вчера собирались гости. Верхняя половина окна в обеденной — она же садовая — зале была опущена до отказа, так что, облокотясь на нее, советник мог с полным удобством выглядывать в сад. Там сохранилась вчерашняя декорация, только вместо какаду взорам являлась фрейлейн Патоке, прогуливающая вокруг фонтана болонку госпожи советницы. Так бывало каждое утро и продолжалось до тех пор, пока в сад не вынесут клетку с какаду, либо он не займет свое место на шесте, поскольку тогда госпожа Патоке спешила покинуть сад, чтобы воспрепятствовать столкновению обоих в равной мере избалованных фаворитов. Но все это нынче только предстояло. Со своего наблюдательного поста Трайбель, по обыкновению, учтиво осведомился сперва о самочувствии фрейлейн — вопрос, который госпожа советница, доведись ей его услышать, нашла бы совершенно излишним, — а затем, получив успокоительный ответ, спросил, как она нашла произношение мистера Нельсона, причем исходил из более или менее искреннего убеждения, что любой компаньонке, окончившей берлинскую школу, не составит никакого труда оценить английское произношение. Фрейлейн

Патоке, озабоченная сохранением этой веры, подвергла сомнению правильность нельсоновского «а», занимающего, на ее взгляд, промежуточную позицию между английским и шотландским выговором. Трайбель принял ее замечание вполне серьезно и готов был к дальнейшему развитию данной темы, но в эту минуту услышал щелканье дверного замка, могущее означать приход госпожи советницы, и счел за благо распрощаться с Патоке и вернуться к себе в кабинет, где действительно застал только что вошедшую Женни. Сервированный на подносе завтрак уже ожидал их.

— Доброе утро, Женни... Как изволила почивать?

— Скверно. Этот ужасный Фогельзанг всю ночь давил меня тяжким кошмаром.

— Я бы воздержался от столь образных выражений. Впрочем, дело твое... Ты не находишь, что завтракать на свежем воздухе приятнее?

Так как Женни отвечала утвердительно и нажала кнопку звонка, снова появился лакей и, взяв поднос, поставил его на маленький столик на веранде.

— Отлично, Фридрих,— сказал Трайбель и уже собственноручно изволил придвинуть скамеечку для ног, чтобы его супруге, а затем уже и ему самому сиделось как можно удобнее. Без таких проявлений заботы хорошего настроения Женни ненадолго хватало.

Услужливость мужа и сегодня возымела обычное действие. Женни улыбнулась, взяла сахарницу и спросила, задержав над ней свою выхоленную белую руку:

— Один или два?

— Два, если позволишь. Не вижу, почему бы мне не использовать в свое удовольствие низкие цены на сахар, раз я не имею никакого отношения к сахарной свекле.

Женни совершенно с ним согласилась, положила сахар в маленькую, налитую как раз до золотой каемки чашку и, придвинув ее супругу, спросила:

— Ты уже просматривал газеты? Что слышно насчет Гладстона?

Трайбель рассмеялся от всей души, что было ему даже несвойственно.

— Я предпочел бы, с твоего разрешения, остаться по эту сторону Ла-Манша — в Гамбурге, например, или хотя бы неподалеку, а в твоём вопросе о самочувствии давай лучше заменим Гладстона нашей невесткой Еленой. Она вчера была явно не в духе, не знаю только, чем мы ей не

угодили, — то ли мы ее неудачно посадили, то ли непочтительно поместили где-то между Патоке и Коринной почетного гостя, мистера Нельсона, которого она любезно нам передоверила или, говоря по-берлински, *спихнула*.

— Ты смеялся, Трайбель, когда я спросила тебя о Гладстоне, а смеяться-то и не следовало: ведь мы, женщины, можем задавать подобные вопросы, подразумевая совершенно другое, но вы, мужчины, не должны нам подражать. Хотя бы потому, что у вас все равно ничего не выйдет или выйдет гораздо хуже. Можно сказать только одно, и ты не мог этого не заметить: я еще не видела, чтобы человек был так доволен, как этот мистер Нельсон, стало быть, Елена не может быть в претензии, что мы посадили ее протееже именно так, а не иначе. И если даже тут примешалась известная ревность к Коринне, которая, на ее взгляд, слишком много о себе понимает...

— ...и недостаточно женственна, и совсем не похожа на уроженку Гамбурга, что, по ее мнению, одно и то же...

— ...то вчера она впервые должна была извинить Коринне эти недостатки, — продолжала Женни, пренебрегая словами мужа, — потому что вчера они пошли на пользу ей или ее гостеприимству, которым она сама, надобно заметить, покамест не отличается. Нет, Трайбель, и еще раз нет; место мистера Нельсона тут ни при чем. Елена дуетя на нас с тобой, потому что мы упорно не желаем понимать ее намеки и до сих пор не пригласили к себе ее сестру Хильдегард. Кстати, какое нелепое имя для уроженки Гамбурга. Такому имени пристал бы родовой замок с галереей предков или с призраком Белой дамы. Елена дуетя на нас, потому что мы так неуступчивы касательно Хильдегард.

— Она права.

— А я считаю, что нет. Ее желание граничит с наглостью. Как это все понимать? Что мне, по-твоему, больше делать нечего, кроме как оказывать всевозможные знаки внимания госпоже Трайбель-младшей и всем ее присным? Что нам, по-твоему, больше делать нечего, кроме как помогать замыслам Елены и ее родителей? Если наша уважаемая невестка желает блеснуть гостеприимством перед сестрой, она в любой день может выписать себе Хильдегард и предоставить этой избалованной кукле решение животрепещущего вопроса: что красивее, Альстер под Уленхорстом или Ширее под Трептовом? При чем тут мы? У Отто есть лесоторговый склад, который ничем не

уступает твоей фабрике, а его вилла, по мнению многих, даже красивее нашей, с чем и я согласна. Наша несколько старомодна и порядком тесновата, так что порой я просто не знаю, как мне все разместить. Мне недостает по меньшей мере двух комнат. Я не хочу тратить много слов, но с какой стати мы должны принимать у себя Хильдегард? Как будто мы стремимся укрепить родственные связи между обоими домами, только и мечтаем подбавить еще больше гамбургской крови в нашу семью...

— Но, Женни...

— Никаких «но». Вы, мужчины, в таких делах ничего не смыслите, тут нужен наметанный глаз. Да, да, ее планы именно таковы, и по этой причине приглашать должны мы. Если ее пригласит Елена, это будет значить самую малость, даже не оправдает расходов на чаевые, не говоря уже о туалетах. Одна сестра приехала к другой, какое это может иметь значение? Никакого. К слову сказать, они не так и дружны и вечно вздорят, но когда приглашаем *мы*, это значит, что Трайбели в безумном восторге от своей первой гамбургской невестки и сочли бы для себя счастьем и великой честью обновить и удвоить прежнее счастье, если фрейлейн Хильдегард сделается госпожой Леопольд Трайбель. Да, мой друг, вот о чем речь, тут все продумано. Леопольд должен жениться на Хильдегард или, точнее, Хильдегард на Леопольде, ибо Леопольд — сторона пассивная и способен только повиноваться. Вот чего желают Мунки, желает Елена, и вынужден будет пожелать наш бедный Отто, который, видит бог, вообще не имеет права голоса. А поскольку мы мешкаем и не посылаем приглашения, Елена изволит гневаться и дуться, изображает обиженную и не перестает играть эту роль даже в тот день, когда я иду на жертву ради нее и приглашаю к нам мистера Нельсона, лишь бы у ней не стыли без толку утюги.

Трайбель откинулся на спинку стула и искусно выпустил в воздух кольцо дыма.

— Не уверен, что ты права. Но если даже так, какая в том беда? Отто уже восемь лет счастлив с Еленой, и я нахожу это вполне естественным, поскольку не могу припомнить случая, чтобы хоть кто-нибудь из моих знакомых, взявших себе жену из Гамбурга, был несчастлив в браке. Все они очень земные, очень зрелые, внутренне и внешне, все, что они делают и чего не делают, только подтверждает справедливость теории о правильном воспита-

нии. За них никогда не приходится краснеть, они очень близки к осуществлению своей заветной, хотя и тщательно скрываемой мечты, — «выглядеть совершенно как англичанки». Впрочем, сейчас речь не о том. Одно можно сказать с полной уверенностью, и я скажу это: Елена Мунк составила счастье нашего Отто, почему бы и ее сестре Хильдегард не составить такое же или еще большее счастье Леопольда? Я бы этому не удивился, ведь на свете нет человека добрее Леопольда, его даже можно было бы назвать размазней.

— Можно? — переспросила Женни. — Он и есть размазня. Ума не приложу, откуда у обоих мальчиков вместо крови простокваша в жилах. Два коренных берлинца, а держатся словно гернгутеры какие-то. Оба сонные, оба вялые, уж и не знаю, в кого они уродились...

— В меня, дорогая, разумеется, в меня...

— И хотя я сознаю, — продолжала Женни, — что ломать голову над такими вопросами бесполезно, и хотя я к тому же с прискорбием сознаю, что подобный характер не переделаешь, я, помимо прочего, сознаю и свой долг помочь там, где еще не поздно. Отто мы упустили, тут одна рыба кровь сочеталась с другой, а к чему это привело, можешь понаблюдать на Лизи. Такой куклы я в жизни не видывала. Боюсь, Елена еще выдрессирует ее под настоящую англичанку, включая манеру выставлять напоказ передние зубы. Дело хозяйское. Но скажу тебе честно, с меня хватит одной такой невестки и одной такой внучки, а для бедняжки Леопольда мне хотелось бы подыскать что-нибудь получше, чем семейство Мунков.

— Ты намерена сделать из него ловкого молодого человека, кавалера, спортсмена...

— Не ловкого человека, но просто человека. А чтоб стать человеком, потребна страсть; вот восплай он страстью, было бы отлично, это бы его взбодрило, и как ни ненавистны мне всякого рода скандалы, я была бы даже рада, ну конечно, если это будет не какая-нибудь низкая интрижка, а нечто изысканное.

— Не искушай бога, Женни! Мне представляется невероятным — уж и не знаю, к счастью или к несчастью, — чтобы Леопольд позволил себя совратить; но мы знаем немало примеров, когда лица, решительно для того не созданные, тем не менее попадали в сети. Есть такие предприимчивые особы, а Леопольд у нас не из сильных, может статься, что в один прекрасный день какая-нибудь

бедная, но благородная и вдобавок эмансипированная дама — не исключено, что ее будут звать Коринной, — перекинет его через седло и умчит за границу.

— Не думаю, — сказала советница, — Леопольд даже для этого слишком апатичен. — Она была до такой степени убеждена в полной безопасности, что даже случайно или намеренно помянутое имя Коринны не заставило ее насто- рожиться. Коринна — это просто так, к слову, — советница до того раззадорилась, почти как молоденькая, что мысленно уже нарисовала такую картину: Леопольд с подкрученными усиками на пути в Италию, а с ним его дама сердца из какой-нибудь померанской или силезской старинной фамилии, шляпка украшена перьями цапли, а шотландское клетчатое пальто накинуто на возлюбленного — тот вечно зябнет. Эта картина так живо встала перед глазами советницы, что она сказала почти с сожалением: «Ах, если бы он был на это способен!»

Такой разговор старшие Трайбели вели в девятом часу утра и даже не подозревали, что в это же самое время, точно так же завтракая у себя на веранде, младшие Трайбели вспоминали вчерашний прием. Елена выглядела сегодня очаровательно, чему способствовал не только изящный утренний туалет, но и оживление, светившееся в ее обычно тусклых, голубых, почти как незабудки, глазах. При взгляде на юную чету становилось ясно, что Елена до последней минуты с непривычным жаром атаковала Отто, у которого был несколько сконфуженный вид, и что она наверняка продолжила бы атаку, не помешай ей появление Лизи с гувернанткой, фрейлейн Вульстен.

Несмотря на ранний час, Лизи явилась в полном параде. Белокурые подвитые волосы девочки свободно ниспадали до бедер, наряд сиял белизной: платье белое, чулки белые, отложной воротничок белый и только вокруг талии, если в данном случае уместно говорить о талии, — вился широкий красный шарф, хотя для Елены это был никакой не красный шарф, а, разумеется, pinkcoloured scarf¹. В этом виде Лизи вполне могла бы, как символическая фигурка, украсить умывальный стол своей матери, настолько в ней воплотилось понятие белизны, лишь усугубленное красным бантом. В обширном кругу знакомых Лизи слыла образ-

¹ Розовый шарф (англ.).

цовым ребенком, что наполняло душу Елены благодарностью, с одной стороны — богу, с другой — городу Гамбургу, ибо к дарам природы, щедро ниспосланным небом, здесь присоединилось еще и образцовое воспитание, а таковое гарантируют лишь гамбургские традиции. Образцовое воспитание девочки началось с момента ее появления на свет. Вскармливать ребенка собственной грудью Елена не пожелала, «это ужасно некрасиво», хотя Крола, бывший тогда семью годами моложе, всячески оспаривал подобную точку зрения. Поскольку шпревальдская кормилица, предложенная старым советником, в ходе переговоров была отвергнута по той причине, что «нельзя предугадать, чего может набраться от нее невинное дитя», пришлось прибегнуть к единственно оставшемуся средству. Одна замужняя дама, всячески рекомендованная священником церкви св. Фомы, взялась за искусственное вскармливание с великой добросовестностью и с часами в руках, и Лизи до того пошла на пользу заботы этой дамы, что у ней перетяжечки появились на ручках. Все шло как должно и даже лучше, чем должно. Только старому советнику новый способ вскармливания не внушал доверия, и уже много лет спустя, когда Лизи порезала себе палец ножом (за что немедленно рассчитали няньку), успокоенный Трайбель воскликнул: «Ну, слава богу, насколько я могу судить, это настоящая кровь!»

Строго по правилам началась жизнь Лизи, строго по правилам она протекала и далее. Запасов белья хватало на целый месяц, и каждая смена была помечена определенным днем, так что по ее чулкам, как выражался дед, можно было сразу узнать, какое нынче число. «Нынче у нас семнадцатое». Полочки кукольного шкафа были у Лизи пронумерованы, и когда ей однажды случилось в своей кукольной кухоньке, оснащенной множеством ящичков, насыпать пшено туда, где было отчетливо написано «чечевица» (это ужасное событие еще не изгладилось из памяти близких), Елена сочла необходимым наглядно растолковать своей любимице, которая обычно была сама аккуратность, все последствия этой ошибки.

— Нет, дорогое дитя, это не пустяк. Кто хочет сберечь большое, не должен пренебрегать малым. Вообрази, вот был бы у тебя братец, и был бы он, допустим, слабенький, и ты захотела бы попрыскать его одеколоном, а вместо того попрыскала бы жавелевой водой. Да, дорогая Лизи, братец твой мог бы лишиться зрения, а если жавель по-

падет в кровь, то и умереть. А ведь такая ошибка была бы извинительней, чем твоя нынешняя: одеколон прозрачный и жавель тоже, оба выглядят, как вода. Но спутать шпено и чечевицу, ах, дорогая Лизи, это ужасная невнимательность или, что еще хуже, равнодушие.

Такова была Лизи, вдобавок у ней и ротик был сердечком, к вящей радости Елены. Только два блестящих передних зубика не выглядывали настолько, чтобы сделать Еленину радость совсем незамутненной, вот почему и в описываемую минуту материнские заботы с новой силой обратились к решению этого неотложного вопроса, ибо Елена считала, что, при богатых природных данных, здесь недостает только усилий со стороны воспитательницы.

— Лизи, ты опять сжимаешь губы. Так нельзя. Гораздо красивее, когда рот полуоткрыт, как для разговора. Фрейлейн Вульстен, я бы попросила вас внимательнее заняться этой мелочью, которая, в сущности, совсем не мелочь... Ну, а как стихи ко дню рождения?

— Лизи очень старается.

— Что ж, тогда и я исполню твое желание. Можешь сегодня пригласить к нам после обеда маленькую Фельгентрей. Разумеется, сначала сделай уроки... А теперь, если фрейлейн Вульстен не возражает (та поклонилась), можешь погулять в саду, где захочешь, только во двор не ходи — туда, где яма с известью и доски на ней. Отто, ты бы, кстати, распорядился, доски совершенно прогнили.

Лизи была счастлива, что ей предоставлен целый час свободы; поцеловав ручку мамы и выслушав еще предостережение касательно бочки с водой, она удалилась вместе с фрейлейн Вульстен; супруги смотрели девочке вслед, а она еще несколько раз оглядывалась и благодарно кивала матери.

— Собственно говоря, — промолвила Елена, — я охотно посидела бы с Лизи и занялась бы английским; у Вульстен так не получится, и произношение у нее прескверное, *so low, so vulgar*¹, но я вынуждена повременить до завтра, ибо наш разговор необходимо довести до конца. Я не хочу порицать твоих родителей, я знаю, что это неприлично, и знаю также, что при твоём упрямом характере (Отто усмехнулся) это только увеличит твоё упрямство; однако вопросы приличия, равно как и ума, нельзя ставить выше

¹ Такое низменное, такое вульгарное (*англ.*).

всего на свете. А я рискую совершить эту ошибку, если и впредь буду хранить молчание. Позиция твоих родителей в данном вопросе оскорбительна для меня, и тем паче для моих родителей. Ты уж не взыщи, но что в конце концов представляют собой Трайбелы? Этого предмета лучше не касаться, и я воздержусь, если, конечно, ты своим поведением не принудишь меня сравнивать оба семейства.

Отто молчал и балансировал на указательном пальце чайной ложечкой. Елена продолжала:

— Мунки датского происхождения, одна их ветвь, как тебе хорошо известно, получила графство при короле Христиане. Будучи уроженкой Гамбурга, дочерью Вольного города, я не придаю большого значения титулам, но кое-что они значат. А возьмем теперь материнскую линию! Томпсоны — патрицианская семья. Ты делаешь вид, будто это пустяки. Ладно, не будем спорить, но я хотела бы добавить только одно: наши корабли уже ходили в Мессину, когда твоя мать резвилась в жалкой лавчонке, откуда ее извлек твой отец. Колониальные товары и пряности! У вас это тоже называется быть купцом... Не будем спорить, но есть купцы и купцы.

Отто сносил все безропотно, а сам поглядывал в сад, где Лизи играла в мячик.

— Отто, ты вообще намерен отвечать или нет?

— Предпочел бы не отвечать, моя дорогая. К чему? Ты ведь не можешь требовать, чтобы я в этом вопросе разделял твои взгляды, а раз так, незачем и отвечать, чтобы еще сильнее тебя не раззадорить. Я считаю, что ты требуешь больше, чем вправе требовать. Моя мать проявляет по отношению к тебе величайшую предупредительность, и не далее как вчера доказала это, ибо я очень и очень сомневаюсь, что ей так уж был нужен этот обед, данный в честь *нашего* гостя. Кроме того, тебе известно, что она бережлива, если речь идет не о расходах на ее собственную персону.

— Ха-ха, бережлива, — расхохоталась Елена.

— Ну, пусть скупа, мне безразлично. И, однако же, она не скупится на знаки внимания и не пропустит без подарков ни одного дня рождения. Но это тебя никак не смягчает, напротив, твоя неприязнь к мамá растет, и все по одной причине: она не скрывает от тебя, что свойство, которое папá называет «гамбургскими штучками», отнюдь не самое прекрасное в мире и что господь сотворил землю не ради одних только Мунков...

— Ты повторяешь ее слова или добавил что-нибудь от себя? Похоже на второе, у тебя даже голос дрожит.

— Елена, если ты хочешь, чтобы мы спокойно обсудили и взвесили все справедливо и осмотрительно, не подливай масла в огонь. Ты настроена против мамá, потому что она не желает понимать твои намеки и не собирается приглашать Хильдегард. Но ты совершенно не права. Если все сводится к отношениям между двумя сестрами, пусть одна сестра приглашает другую, а мамá здесь решительно ни при чем...

— Очень лестно для Хильдегард, а заодно и для меня...

— ...но если здесь преследуются иные цели, а ты призналась мне, что так оно и есть, то как ни желанен и для Трайбелей второй союз между обеими семьями, все должно идти непринужденным, естественным путем. Если ты приглашаешь Хильдегард и если месяц или, скажем, два спустя это приводит к помолвке между Хильдегард и Леопольдом, это будет как раз то, что я называю непринужденным и естественным путем; но если приглашение пошлет *моя мать* и напишет, как счастлива она будет надолго видеть своей гостьей сестру дорогой Елены и радоваться счастью обеих сестер, то такое приглашение прозвучит как весьма откровенное искательство благосклонности, а этого фирма Трайбель предпочла бы избежать.

— И ты с этим согласен?

— Да.

— По крайней мере, все ясно. Но ясно еще не значит правильно. Итак, если я верно тебя поняла, все сводится к вопросу, кто сделает первый шаг.

Отто кивнул.

— Но раз дело обстоит таким образом, почему тогда Трайбели не желают сделать первый шаг? *Почему*, я спрашиваю. Сколько стоит земля, инициатива всегда исходила от жениха, от поклонника.

— Ты права, дорогая Елена, но до жениховства дело пока не дошло. Пока речь идет только о предварительных действиях, о наведении моста, а уж мост должна наводить та сторона, которая больше заинтересована.

— Ах,— рассмеялась Елена,— мы, Мунки... и вдруг больше заинтересованы. Нет, Отто, не тебе бы так говорить, не потому, что это роняет достоинство мое и моей семьи, а потому, что это ставит всех Трайбелей и тебя в первую очередь в нелепое положение и, следовательно, угрожает авторитету, на который вы, мужчины, обычно

претендуете. Ладно, ты меня вынудил, и я буду откровенна: это *ваша* сторона больше заинтересована, *вашей* стороне оказывают честь. И вы должны подтвердить, что сознаете это, подтвердить недвусмысленно, — вот каков первый шаг, о котором я говорила. И раз уж пошло на откровенность, я добавлю, что такие вопросы помимо серьезной, чисто деловой стороны имеют еще и личную. Надеюсь, тебе и в голову не придет равнять своего брата с моей сестрой по внешним данным. Хильдегард — красавица, она вся в бабу, в Елизабет Томпсон (по которой наречена и наша Лиззи), у ней есть шик, как у настоящей леди, с чем ты и сам прежде соглашался. А теперь возьмем твоего брата Леопольда! Он добрый человек, он завел себе верховую лошадь, потому что непременно желает ее выездить, он каждое утро подтягивает стремяна высоко, как англичанин, но ничего ему не поможет. Как он был, так и останется воплощенной посредственностью, если не хуже, во всяком случае, на кавалера он не похож, и если Хильдегард согласится за него выйти (а я боюсь, что она *не* согласится), это будет для него единственная возможность сделаться джентльменом. Так и передай своей матери.

— Я бы предпочел, дорогая, чтобы это сделала ты.

— Кто происходит из хорошей семьи, тот избегает сцен и дразг.

— Но устраивает сцены своему мужу.

— Муж — это другое дело.

— Да, — засмеялся Отто, но смех его звучал невесело.

Леопольд Трайбель, работавший в фирме брата, но проживавший в родительском доме, намеревался отслужить призывной срок у гвардейских драгун, но был забракован по причине впалой груди, что нанесло всему семейству жестокое оскорбление. Трайбель-старший первым оправился от удара, советница страдала дольше, но всего большей отказ ударил самого Леопольда, и в качестве морального реванша он решил, по крайней мере, брать уроки верховой езды, о чем при каждом удобном случае и, в частности, нынешним утром вспоминала Елена. Ежедневно Леопольд проводил в седле два часа и выглядел при этом вполне прилично, потому что старался изо всех сил.

Вот и сегодня, в то время как старые и молодые Трайбели обсуждали одну и ту же рискованную тему, Леопольд отправился на обычную прогулку — от родитель-

ского дома, по пустынной в этот час Кёпникерштрассе, мимо виллы брата и саперных казарм до Трептова, нимало не подозревая, что именно он служит поводом и предметом этих щекотливых разговоров. Когда Леопольд проехал Силезские ворота, часы на казарме пробили семь. Верховая езда всегда доставляла ему удовольствие, а тем более сегодня, поскольку события минувшего вечера и особенно разговоры между мистером Нельсоном и Коринной все еще волновали его, волновали до такой степени, что, даже не состоя в духовном родстве с рыцарем Карлом фон Айхенхорстом, он всей душой разделял желание последнего «в безумной скачке обрести покой».

Правда, для уроков верховой езды в его распоряжение был предоставлен отнюдь не скакун датских кровей, а смиренная градицкая лошадка, уже отслужившая немалый срок в манеже и потому едва ли способная к неожиданным поступкам. Леопольд ехал шагом, хотя предпочел бы мчаться, как вихрь. Лишь постепенно он перешел на легкую рысь и сохранял этот темп, пока не достиг канала Шафграбен и лежащей в некотором отдалении Силезской рощи, где, если верить последнему рассказу Иоганна, не далее как вчера вечером снова ограбили двух женщин и одного часовщика. «Конца нет этим безобразиям! Куда смотрит полиция?» Конечно, при дневном свете роща уже не представляла такой опасности, и Леопольд мог в свое удовольствие наслаждаться гомоном дроздов и зябликов. Однако еще большее удовольствие испытал он, выехав из Силезской рощи на открытую дорогу, где с правой стороны тянулись поля ржи и пшеницы, а с левой — текла Шпрее, обрамленная парками и бульварами. Все это было так красиво, исполнено такой свежести, что Леопольд снова пустил лошадь шагом. Но как он ни медлил, лошадь вскоре доставила его к тому месту, где был перевоз, и пока он придерживал ее, чтобы без помех наблюдать за происходящим, мимо по шоссе промчалось из города несколько всадников да проехала конка в Трептов, хотя, сколько он мог судить со своего места, никаких пассажиров она не везла. Это его обрадовало, ибо завтрак на свежем воздухе — удовольствие, которое он доставлял себе каждое утро, — терял половину своей прелести, если поблизости располагалось с полдюжины разбитных берлинцев, заставляя привезенного с собой пинчера либо прыгать через стулья, либо таскать поноску. Но сегодня этого можно

было не опасаться, если, конечно, перед замеченным им вагоном конки не прошел другой, битком набитый.

Примерно в половине восьмого он достиг Грештова, где, подозвав однорукого подростка, который все время размахивал пустым рукавом, спешился и, передавая ему поводья, сказал:

— Фриц, отведи-ка ее под липу! Очень уж солнце припекает.

Фриц повиновался, а Леопольд направился вдоль заросшего бирючиной штакетника к входу в грештовскую ресторацию. Слава богу, здесь все выглядело наилучшим образом — столы пустые, стулья перевернутые, из кельнеров никого, кроме его друга, Мютцеля, человека лет тридцати пяти, с большим чувством собственного достоинства, так что даже в столь ранний час на нем был почти безупречно чистый фрак. Кроме того, Мютцель отличался удивительным бескорыстием в вопросе о часвых, хотя Леопольд (всегда на редкость щедрый) отнюдь не злоупотреблял этим его свойством.

— Видите ли, господин Трайбель, — так сказал Мютцель, когда разговор зашел однажды на эту тему, — большинство не хочет давать совсем ничего, они даже спорят, когда приносишь счет, особенно дамы, но не мало и добрых людей, даже очень добрых, они понимают, что сигарой и сам сыт не будешь, а уж про жену и троих детишек и говорить нечего. И еще я вам скажу, господин Трайбель, охотнее дают люди бедные. Вот намерен был здесь один, так он мне печально пятьдесят пфеннигов сунул, думал, верно, что это десять, я ему сказал, а он обратно не берет и отвечает: «Так и должно быть, друг любезный, ведь порой и пасха с тронцей на единый день прихотятся».

Этот разговор между Мютцелем и Трайбелем состоялся несколько недель назад. Они и вообще любили болтать друг с другом, но приятней всякой болтовни было для Леопольда то обстоятельство, что о вещах, уже известных Мютцелю, можно было совсем не говорить. Стоило Мютцелю увидеть, как Трайбель входит в заведение и направляется по расчищенной дорожке к своему обычному месту у самой воды, он тотчас издали приветствовал гостя, затем без единого звука исчезал на кухне и через две-три минуты появлялся под деревьями уже с подносом, на котором стояла чашечка кофе, большой стакан молока и лежало несколько английских бисквитов. Главное был этот боль-

шой стакан молока, согласно предписанию советника медицины Ломейера, который после очередного выслушивания сказал госпоже советнице:

— Милостивая государыня! Пока никаких симптомов нет, но болезни следует предупредить, для того мы и существуем; в остальном же наша наука еще очень несовершенна. Итак, если позволите: кофе строго ограничить и каждое утро — литр молока.

Вот и сегодня при появлении Леопольда повторилась обычная сцена. Мютцель исчез в кухне и вынырнул перед домом, держа поднос на кончиках растопыренных пальцев с изяществом поистине акробатическим.

— Доброе утро, господин Трайбель. Хорошее утро выдалось нынче.

— Да, любезнейший Мютцель. Очень хорошее. Но свежо. Особенно здесь, у воды. Меня прямо знобит, я даже походил немножко. Посмотрим, горячий ли кофе?

И прежде чем Мютцель, удостоенный таким дружеским обращением, успел опустить поднос на стол, Леопольд уже снял чашечку и залпом ее выпил.

— Красота. Для человека в годах куда как приятно. Теперь примемся за молоко, но без спешки. А когда я управлюсь с молоком — оно вечно какое-то пресное, это я не в укор, хорошее молоко и должно быть пресным, — итак, когда я управлюсь с молоком, я попросил бы принести мне еще одну...

— Кофе?

— Разумеется, Мютцель.

— Слушаюсь, господин Трайбель...

— Так в чем же дело? У вас такое смущенное лицо, как будто я бог весть чего попросил...

— Слушаюсь, господин Трайбель...

— Так в чем наконец дело, черт побери?

— Слушаюсь, господин Трайбель, только когда госпожа, ваша матушка, здесь были третьего дня, и господин коммерции советник тоже, и госпожа компаньонка, а вы, господин Леопольд, ушли к Шперлю и к карусели, госпожа советница мне сказали: «Послушайте, Мютцель, я ведь знаю, он бывает здесь почти каждое утро, так что на вашу ответственность... только *одну* чашку, не больше... советник медицины Ломейер, который пользовал и вашу жену, сказал мне по-дружески, но вполне серьезно: «*Две* чашки для него яд...»

— Ах, так... А больше моя матушка ничего не сказала?

— Они еще изволили сказать: «Вы, Мютцель, от этого не пострадаете... Я не берусь утверждать, что мой сын наделен обилием страстей, он человек добрый, человек милый,— уж не взывайте, господин Трайбель, что я так попросту передаю слова госпожи, вашей матушки,— но у него есть одна страсть — кофе. В том-то и горе, что у людей обычно бывают как раз те страсти, которые им вредны. Итак, Мютцель, одну чашку, куда ни шло, но две — ни под каким видом».

Леопольд выслушал это признание со смешанным чувством, не зная, смеяться ему или сердиться.

— Ну ладно, Мютцель, на нет и суда нет.— После чего он сел на прежнее место, а Мютцель занял выжидательную позицию на углу.— Такова и вся моя жизнь,— сказал Леопольд, оставшись один.— Слышал я как-то о человеке, который у Йости выпил на пари двенадцать чашечек кофе и упал замертво. Но это ничего не доказывает. Если я съем двенадцать бутербродов с сыром, я тоже упаду замертво. Всякая неумеренность убивает человека. Но какой разумный человек станет есть и пить в двенадцать раз больше, чем нужно? От каждого разумного человека естественно ожидать, что он воздерживается от безрассудств, что он сообразуется со своими возможностями и не станет подрывать собственное здоровье. За себя, во всяком случае, могу поручиться. А дорогой маменьке пора бы знать, что я не нуждаюсь в подобной опеке и что не следовало ей так наивно поручать меня заботам моего друга Мютцеля. Но она хочет непременно держать все нити в руках, она должна все решать и всем распоряжаться, и когда я собираюсь надеть бумажную куртку она непременно настоит на шерстяной.

Леопольд занялся своим молоком и улыбнулся, взяв в руки высокий сосуд, где уже осела пена. «Вот напиток для меня — «молоко благочестивых мыслей» — как сказал бы папá. Возмутительно, попросту возмутительно. Опека, куда ни глянь опека, и такая суровая, словно я только вчера конфирмовался. Елена все знает лучше, Отто все знает лучше, а про мамá и говорить нечего. Она бы с радостью предписывала мне, какой я должен носить галстук, синий или зеленый, и какой пробор, прямой или косой. Но не следует злиться. У голландцев есть поговорка: «Никогда не возмущайся, лучше удивляйся». А то я в конце концов и удивляться разучусь».

Так он рассуждал, попеременно коря то людей, то обстоятельства, потом неожиданно обратил свое недовольство против себя самого: «Вздор! Люди и обстоятельства тут ни при чем, нет, нет! И у других бывают матери, желающие безраздельно властвовать в своем домашнем царстве, другие, однако ж, поступают, как им вздумается. «Pluck, dear Leopold, that's it!»¹ — сказал мне вчера вечером на прощанье наш добрый Нельсон, и он совершенно прав. В этом все дело, больше ни в чем. Мне недостает энергии, недостаёт смелости, а на протест я и вовсе не способен».

Говоря так, Леопольд смотрел прямо перед собой, выковыривая рукояткой хлыста камушки из земли, и рисовал буквы на свежем песке. А когда через некоторое время он поднял глаза, его взорам представились многочисленные лодки, подплывающие со стороны Штралау, а среди них яхта, идущая под большим парусом вниз по реке. С какой жадной тоской проводил он парус глазами!

«Мне надо выбраться из этого унижительного состояния, и если правда, что любовь наполняет человека решимостью и отвагой, все еще уладится. И не просто уладится, мне будет легко, более того, внутренняя сила вынудит меня начать борьбу и доказать всем, а мамá прежде всего, что они меня до сих пор не понимали и недооценивали. А если нерешительность снова овладеет мною, от чего боже меня избави, она даст мне нужную силу. Ибо у нее есть все то, чего недостает мне, она все знает и все умеет. Но могу ли я быть в ней уверен? Вот основной вопрос. Порой мне чудится, что она думает обо мне, что, говоря с другими, она обращается лишь ко мне. Вот и вчера так было, я видел, как побледнел от ревности Марсель. Да, так оно и было, значит...»

Он прервал нить своих рассуждений, потому что столпившиеся вокруг него воробьи с каждой минутой становились все нахальнее. Некоторые вскочили прямо на стол; постукивая клювами и нагло поглядывая на него, они напоминали, что с него причитается завтрак. Леопольд, смеясь, раскрошил бисквит и бросил воробьям крошки, первыми улетели победители, а вслед за ними рассыпались по липам и остальные. Но едва нарушители спокойствия убралась прочь, воротились прежние мысли. «Да, поведение Марселя для меня добрый знак, есть и другие. Но может, все это только каприз, игра. Коринна ничего не при-

¹ Смелость, дорогой Леопольд, вот в чем дело! (англ.)

нимает всерьез, она хочет лишь блистать, вызывать восхищение, хочет поражать своих слушателей. Когда я размышляю над ее характером, мне кажется, что она, скорее всего, даст мне от ворот поворот, да еще и высмеет в придачу. Это ужасно. Но все же я должен рискнуть. Ах, будь у меня кто-нибудь, кому я мог бы довериться, кто дал бы мне добрый совет. Но у меня нет никого, ни одного друга, мамá и об этом позаботилась; придется в одиночку, без совета и поддержки, самолично вырывать двойное согласие. Сначала у Коринны. А когда я получу первое, до второго будет еще ох как далеко. Это ясно. Но второе можно, по крайней мере, вырвать с бою, да, так я и сделаю... Есть не мало людей, для которых все это было бы пустяком, а вот для меня это тяжело; я знаю, я не герой, а героизму нельзя выучиться. «Каждый сообразуясь со своими силами», — говаривал наш директор Хильгенхан. Ах, боюсь, что эта задача не по мне».

Набитый пассажирами, пароход прошел вверх по течению, не причаливая в Трентове, к загородным ресторанам «Нейер круг» и «Садова»; с парохода доносилась музыка и песни. Когда пароход миновал Трентов и остров Любви, Леопольд очнулся от своих мыслей, глянул на часы и увидел, что ему давно уже пора ехать, если он хочет своевременно явиться в контору и избежать выговора или, что еще хуже, какого-нибудь ехидного замечания со стороны Отто. Дружески попрощавшись с Мютцелем, который все так же стоял на своем углу, Леопольд поспешил туда, где однорукий мальчик караулил его лошадь. «Вот тебе, Фриц», — и он вскочил в седло, весь обратный путь проделал крупной рысью, а миновав Силезские ворота и саперные казармы, свернул направо, в узкий проход, протянувшийся вдоль лесоторгового склада, откуда можно было через забор увидеть сад, а дальше за деревьями виллу Отто. Брат и певестка все еще сидели за завтраком. Леопольд поздоровался: «Доброе утро, Отто, доброе утро, Елена!» Оба ответили на поклон, но с усмешкой, потому что находили ежедневные верховые прогулки Леопольда донельзя смешными. Добро бы кто-нибудь, а то Леопольд! Интересно, что он о себе воображает.

Сам Леопольд тем временем спешил, передал поводья слуге, уже дожидавшемуся у заднего крыльца виллы, и тот повел лошадь снова вверх по Кёпникерштрассе, на родительский двор, точнее, в находящуюся там конюшню, или *stableyard*, как ее называла Елена.

Глава десятая

Прошла неделя, а в доме Шмидтов царило подавленное настроение. Коринна гневалась на Марселя за то, что он гневался на нее (во всяком случае, так она объясняла его отсутствие), а добрая Шмольке, в свою очередь, гневалась на Коринну за то, что та гневается на Марселя.

— Нехорошо, Коринна, отталкивать свое счастье. Поверь мне, счастье обидится, если им не дорожить, и больше не вернется. Марсель, что называется, сокровище, золотой человек, ну, совсем как был мой Шмольке.

Каждый вечер одни и те же разговоры. Только Шмидт не замечал тучи, нависшей над его домом; он все более углублялся в изучение золотых масок и в ожесточеннейшем споре с Дистелькампом пришел к выводу, что одна из них изображает Эгисфа. Эгисф как-никак семь лет был мужем Клитемнестры и вдобавок отпрыском того же царского рода, и если он, Шмидт, со своей стороны, должен признать, что убийство Агамемнона в какой-то мере опровергает его «Эгисфову гипотезу», то, с другой стороны, не следует забывать, что вся эта зловещая история была делом внутренним, чисто семейным, и это, по сути, отнюдь не противоречит пышной погребальной церемонии, рассчитанной на народ и государство. Дистелькамп отмалчивался и улыбался, видимо считая за благо прекратить спор.

У старых и молодых Трайбелей настроение тоже было неважное: Елена была недовольна Отто, Отто недоволен Еленой, а советница недовольна обоими. Наиболее недовольным — правда, только самим собой — был Леопольд, и лишь старый Трайбель не замечал или не желал замечать неудовольствия среди своих семейных и пребывал в наилучшем расположении духа. У него, как и у Виллибальда Шмидта, имелись на то достаточные основания: он был всецело поглощен своей страстью и уже мог похвалиться достигнутыми успехами. Фогельзанг сразу же после обеда, данного в его и мистера Нельсона честь, отбыл в избирательный округ, который ему предстояло завоевать для Трайбея, дабы в ходе своего рода предвыборной кампании досконально изучить настроения жителей Тейшиц-Цоссена. Надо сказать, что, выполняя взятую на себя задачу, он не просто развил кипучую деятельность, но почти ежедневно посылал телеграммы, в которых коротко или пространно, в зависимости от значения предприятий

акций, сообщал о результатах своего предвыборного похода. Эти депеши отчаянно смахивали на депеши бернау-ского военного корреспондента, что, конечно, не ускользнуло от Трайбеля, но он не придавал этому особого значения, ибо вычитывал из них лишь то, что было ему по душе. В одной из этих телеграмм говорилось: «Все идет хорошо. Прошу выслать деньги в Тейпиц. Ваш Ф.». В другой: «Деревни на Шермютцельском озере наши. Слава богу! Настроения всюду как в Тейпице. Перевод еще не получен. Настоятельно прошу. Ваш Ф.». «Завтра на Шторков! Там все решится. Перевод получен. Хватило только на покрытие расходов. Слова Монтекукули о ведении войны можно отнести и к предвыборной кампании. Следующий перевод прошу в Гросс-Риц. Ваш Ф.».

Трайбель, поощренный в своем тщеславии, считал, что поддержка избирателей ему гарантирована. В этой бочке меда была лишь одна ложка дегтя: он знал, сколь насмешливо и отрицательно относится ко всему этому Женни, и вынужден был в одиночку наслаждаться своим счастьем. Фридрих, вообще-то его доверенный, теперь снова стал для него «...среди чудиц единственной доброй душой» — цитата, которую Трайбель не уставал повторять. Но какая-то пустота все же оставалась. Кроме того, ему казалось странным, что берлинские газеты хранят молчание, тем более что, судя по сообщениям Фогельзанга, ни о каком сколько-нибудь значительном соперничестве не могло быть и речи. Консерваторы и национал-либералы да еще, пожалуй, несколько «профессиональных» парламентариев, возможно, и были против него, но какое это имело значение? Как сообщалось в заказном письме, адресованном на виллу Трайбеля, в округе — по приблизительным подсчетам Фогельзанга — имеется всего семь национал-либералов: три старших учителя, один окружной судья, один радикальный суперинтендант и два богатых хуторянина с университетским образованием; что же касается правоверных консерваторов, то их и того меньше. «Сколько-нибудь серьезные соперники *«vacat»*¹» — так заканчивалось послание Фогельзанга, а слово *«vacat»* было подчеркнуто. Это звучало достаточно обнадеживающе, но к искренней радости Трайбеля примешивалось некоторое беспокойство, а когда прошла неделя с отъезда Фогельзанга, настал решающий день, и подтвердились все ин-

¹ Отсутствуют (лат.).

стинктивно возникавшие страхи и сомнения — не сразу, не мгновенно, но все же очень скоро, в считанные минуты.

Трайбель сидел у себя в комнате и завтракал. Женни не вышла к столу, сославшись на головную боль и привидевшийся ей тяжелый сон. «Неужели ей опять приснился Фогельзанг?» Трайбель и не подозревал, что эта шутка сей же час обернется против него. Фридрих принес почту, среди которой на этот раз было мало писем и открыток, но зато множество газет в бандеролях, некоторые (насколько можно было разглядеть) со странными эмблемами и городскими гербами.

Все это подтвердилось при ближайшем рассмотрении: Трайбель сорвал бандероли, расстелил на скатерти серый газетный лист и со своего рода насмешливым благоговением прочитал: «Страж Вендской Шпрее», «Вооружение — честь нации», «Всегда вперед» и «Шторковский курьер», две из этих газет издавались по одну сторону Шпрее, две — по другую. Трайбель, обычно враг поспешного чтения — от любой скоропалительности он ждал только беды, — на сей раз с необыкновенной быстротой пробежал глазами страницы, задерживаясь лишь на местах, подчеркнутых синим карандашом. «Лейтенант Фогельзанг (это в одних и тех же выражениях повторялось в каждом листке), человек, который уже анно 48 был врагом революции и растоптал голову гидры, три дня кряду представлял в нашем округе, не ради себя самого, а ради своего политического единомышленника, коммерции советника Трайбеля, который посетит округ позднее, дабы подтвердить основные положения, высказанные лейтенантом Фогельзангом. Все вышесказанное — это ясно уже сегодня — свидетельствует в пользу данного кандидата. Ибо Фогельзангова программа сводится к следующему: у нас слишком много ступеней управления и везде личные интересы играют слишком большую роль, из чего вытекает необходимость ликвидации всех дорогостоящих промежуточных ступеней (что, в свою очередь, означает и снижение налогов); далее в ней говорится, что от нынешней, излишне усложненной системы управления не должно остаться ничего, кроме свободного государя и свободного народа. Таким образом, намечаются два центральных пункта или две точки, вокруг которых происходит вращение, и отнюдь не во вред делу. Ибо тот, кто измерил глубину жизни или хотя бы пытался ее измерить, знает, что разговор о едином средоточии — он нарочито

избегает слова «центр» — несостоятелен и что жизнь вращается не по кругу, а по эллиптической орбите. Отчего два средоточия и являются естественной данностью».

— Недурно, — сказал Трайбель, прочитав это, — очень недурно. Есть тут какая-то логика, немножко сумасшедшая, но все же логика. Удивляет меня лишь одно: все это звучит так, словно написано самим Фогельзангом. Растоптанная гидра, снижение налогов, дурацкий каламбур с «центром» и, наконец, чушь с кругом и эллипсом — это все Фогельзанг. И автор писем в четыре редакции на берегах Шпрее, конечно, тоже Фогельзанг. «Я своих паппенгеймцев знаю».

Тут Трайбель смахнул со стола на диван «Стража Вендской Шпрее» вместе со всей остальной прессой и взялся за «Национальцейтунг», прибывшую одновременно со всеми газетами, но, судя по почерку на бандероли, присланную кем-то другим. Прежде коммерции советник был постоянным подписчиком и усердным читателем «Национальцейтунг» и еще доньше каждый день четверть часа сожалел, что изменил своему обычному чтению.

— Ну-с, посмотрим, — проговорил он наконец и, раскрыв газету, привычным глазом скользнул на три колонки вниз, и верно, вот оно самое: «Парламентские известия. Из округа Тейпиц-Цоссен». Прочитав заголовок, он вслух заметил: — Не знаю, как-то это странно звучит. Впрочем, как оно, собственно, должно звучать? Самый что ни на есть обычный заголовок; итак, что же дальше?

Дальше он прочитал: «Уже три дня в нашем тихом округе, обычно далеком от политических схваток, идет предвыборная кампания, и начала ее партия, видимо поставившая себе целью возместить пронирыльностью недостаток исторических знаний, политического опыта и, можно смело сказать, обычного здравого смысла. Похоже, что данная партия, равно никого и ничего не знающая, в виде исключения знает сказку «Заяц и еж» и, надо думать, намерена в день, когда ей придется вступить в борьбу с настоящими партиями, встретить каждую из них известным восклицанием из этой сказки: «А я уже здесь!» Только так можно объяснить преждевременную активность представителей этой партии. Все места, как на театральной премьере, видно, заранее расписаны лейтенантом Фогельзангом и его клеветами. Но ничего у них не выйдет. Лоб у этой партии медный, а вот то, что должно быть

за ним, начисто отсутствует; коробка на месте, но пустая...»

— Черт подери, — проговорил Трайбель, — этот спуску не дает!.. То, что здесь приходится на мою долю, не слишком приятно, а Фогельзангу поделом. В его программе что-то слепит глаза, вот я и попался. Однако чем больше я в нее вдумываюсь, тем сомнительнее она мне кажется. Среди этих хвастунов, воображающих, что они уже сорок лет назад растоптали гидру, всегда попадаются изобретатели *perpetuum mobile* или квадратуры круга, словом, те, кто стремится сотворить невозможное, само себя опровергающее. Фогельзанг из таких. А может, это просто афера? Как прикину, во что мне стала эта неделя... Но я ведь прочитал только первый абзац корреспонденции; во второй половине они, наверно, еще почище с ним расправятся, а может, и со мной.

Трайбель стал читать дальше: «Господина, вчера и позавчера осчастливившего своим посещением сначала Маркграф-Писке, засим Шторков и Гросс-Риц (не говоря уже о его прежних подвигах в нашем округе), вряд ли можно принимать всерьез, и тем менее, чем более серьезную мину он строит. Это господин из породы Мальволио, напыщенных дураков, которых, увы, гораздо больше, чем мы обычно предполагаем. Поскольку его галиматья еще не имеет имени, мы порешили назвать ее песенкой о трех «К». Кабинет, Курбранденбург и кантональная свобода — вот три «К», с помощью коих этот шарлатан намеревается спасти мир или, по крайней мере, Прусское государство. В его действиях наблюдается некая метода, но, как известно, метода есть и в безумии. Песенки лейтенанта Фогельзанга нам очень и очень не понравились. Он и его программа общественно опасны. Но более всего мы сожалеем о том, что он говорил не за себя и не от своего имени, а от имени одного из наиболее уважаемых берлинских промышленников, коммерции советника Трайбеля (фабрика берлинской лазури, Кёпникерштрассе), о котором мы были лучшего мнения. Новое доказательство, что можно быть хорошим человеком и плохим музыкантом, а также наглядный пример того, куда может завести политический дилетантизм».

Трайбель сложил газету, прихлопнул ее рукой и сказал: «Ясно одно, это написано не в Тейшиц-Цоссене. Это «выстрел Телля», произведенный на расстоянии нескольких шагов. Очевидно, это дело рук старшего учителя из нацио-

нал-либералов, который давеча у Буггенхагена не только полемизировал с нами, но силился нас высмеять. Что ему не удалось. Так или иначе, я на него не сержусь, и, уж во всяком случае, он мне симпатичнее Фогельзанга. Кроме того, редакция «Национальцейтунг» теперь чуть ли не «придворная партия» и действует заодно со свободными консерваторами. Как глупо, вернее, как опрометчиво, что я от них отошел. Если бы я не поторопился, я бы сейчас держал сторону правительства в куда лучшей компании. А я взял да и связался с дураком и доктринером. Но я выберусь из этой истории, и выберусь навсегда; кто обжегся на молоке, дует на воду... Собственно, я бы мог себя поздравить с тем, что отделался тысячью марок или пемногим больше, не будь названо мое имя. Мое имя. Вот что ужасно...» Он вновь развернул газету. «Надо перечитать еще разок то самое место: «...один из наиболее уважаемых берлинских промышленников, коммерции советник Трайбель» — звучит недурно. А нынче, по милости Фогельзанга, я комическая фигура».

С этими словами он поднялся и вышел в сад, чтобы на свежем воздухе немножко развеять свою досаду.

Но не очень-то ему это удалось, ибо, едва обогнув дом по пути в сад, он увидел Патоке, которая сегодня, как и каждое утро, прогуливалась болонку вокруг бассейна. Трайбель отпрянул, ибо беседа с этой чопорной особой отнюдь не входила в его намерения. Но его уже заметили, его приветствовали, а так как одной из добродетелей Трайбеля была редкая учтивость и к тому же на редкость доброе сердце, он круто повернулся и бодро зашагал к фрейлейн Патоке, тем паче что всегда доверял ее знаниям и суждениям.

— Очень, очень рад, сударыня, встретить вас здесь и к тому же совсем одну... У меня много чего накопилось на сердце, и я хотел бы открыться вам...

Фрейлейн Патоке вспыхнула, так как, несмотря на отличную репутацию Трайбеля, у нее мурашки пробежали по спине от боязливо-сладостного предчувствия, вся несостоятельность которого самым жестоким образом выяснилась уже в следующее мгновение.

— Меня очень беспокоит моя маленькая внучка, которую *казнят* гамбургским воспитанием, я нарочно прибегаю к этому жестокому слову. С моей, менее изысканной, берлинской точки зрения, меня это тревожит.

Болонка, по имени Чиска, в эту минуту натянула поводок, видимо намереваясь погнаться за цесаркой, которая

забрела в сад с птичьего двора; но Патоке не одобряла шалостей и дала собачонке шлепка. Чашка тявкнула и замотала головой, отчего бубенчики, густо нашитые на попонку, прикрывавшую ее туловище, зазвенели. Впрочем, она быстро утихомирилась, и прогулка вокруг бассейна продолжалась.

— Видите ли, фрейлейн Патоке, вот так же воспитывают и Лизихен. Ребенок всегда на поводке у матери, а если вдруг появится цесарка и Лизихен захочет ринуться за ней, немедленно воспоследует шлепок, совсем легонький, чуть слышный, разница только в том, что Лизихен не тявкает, не мотает головой и, конечно же, не обвешана бубенчиками.

— Лизихен — ангел, — заметила Патоке, которая шестнадцать лет жила в гувернантках и потому научилась выражаться осторожно.

— Вы вправду так думаете?

— Вправду, господин коммерции советник, если, конечно, мы с вами договоримся относительно понятия «ангел».

— Отлично, фрейлейн Патоке, нисколько не возражаю. Я хотел поговорить с вами о Лизихен, а услышу еще кое-что и об ангелах. Вообще-то человеку редко предоставляется возможность составить себе твердое суждение об ангелах. Ну, а теперь скажите, что вы понимаете под словом «ангел». Только, ради бога, не говорите о крыльях.

Патоке усмехнулась.

— Не беспокойтесь, господин коммерции советник, о крыльях я ни слова не скажу. По-моему, ангел — это значит «ни к чему земному не причастный».

— Превосходно! Ни к чему земному не причастный. Очень мило сказано. Я полностью с вами согласен и отныне все буду находить прекрасным, даже если Отто и моя снوخа Елена пожелают сознательно и целеустремленно взрастить настоящую маленькую Геновеву, или непорочную Сусанну — *parдон*, в настоящую минуту я не могу подобрать лучшего примера, — или, если уж говорить совсем серьезно, копию святой Елизаветы для какого-нибудь ландграфа Тюрингского или другого раба божия, чином поменьше. Я ровно ничего против этого иметь не буду. Решение подобной задачи представляется мне весьма трудным, но все же возможным, и — как было сказано однажды и говорится еще до сих пор — «стремиться к этому — уже немало».

Патоке кивнула, ей вспомнились собственные ее усилия, направленные на ту же цель.

— Вы согласны со мной,— продолжал Трайбель.— Я очень рад. Думается, мы придем к согласию и по второму пункту. Видите ли, милая фрейлейн, я вполне понимаю, хоть мне лично это и не по вкусу, что мать хочет воспитать доподлинного ангела из своего ребенка. Никто ведь точно не знает, как там будет, и когда дойдет до Страшного суда, кто же не захочет, чтобы его дитя в ангельском образе предстало перед всевышним? Должен признаться, я и сам бы этого хотел. Но, дорогая моя, ангел ангелу рознь, и ежели ангел всего только хорошо умыт и незапятнанность его души измеряется количеством изведенного мыла, а вся чистота дитяти, которому еще предстоит сделаться человеком, сводится к белизне его чулок, то меня охватывает ужас. А коли это твоя собственная внучка, чьи льняные кудряшки — вы, вероятно, тоже это заметили — от непрерывного мытья и расчесывания становятся бесцветными, как у альбиноса, то старое сердце деда сжимается страхом и болью. Не согласились ли бы вы повлиять на Вульстен? Вульстен — особа разумная, и внутренне она, как мне кажется, восстает против этих гамбургских штучек. Я был бы очень рад, если бы вы при случае...

В это мгновение Чишка опять встревожилась и залаяла громче прежнего. Трайбель, не любивший, чтобы прерывали его полемические рассуждения, собрался было рассердиться, но не успел, так как со стороны виллы появились три молодые дамы, две из них в одинаковых фуляровых платьях. Это были две барышни Фельгентрей, за ними следовала Елена.

— Слава богу, наконец-то я тебя вижу, Елена! — воскликнул Трайбель, прежде других обращаясь к снохе, возможно, потому, что у него была нечиста совесть. — Слава богу! Мы как раз говорили о тебе, вернее, о нашей милой Лизихен, и фрейлейн Патоке объявила, что Лизихен ангел. Ты, конечно, понимаешь, что я с ней не спорил. Кому же не охота быть дедом ангела? Но, сударыни, чему я обязан этой честью, да еще спозаранку? Или она воздается моей жене? Женни страдает своей обычной мигренью. Должен ли я послать за ней?

— О нет, папá, — дружелюбно сказала Елена, хотя дружелюбие отнюдь не было ее сильной стороной. — Мы пришли к тебе. Семейство Фельгентрей намеревается се-

годня предпринять поездку в Халензее, но лишь при условии, что в пей примут участие все Трайбели, а не только мы с Отто.

Сестры Фельгентрей подтвердили ее слова, покачав своими зонтиками, Елена же продолжала:

— И не позднее, чем в три. Следовательно, нам падо попытаться сделать из ленча нечто вроде обеда или же отложить обед на восемь вечера. Эльфрида и Бланка хотят еще съездить на Адлерштрассе, чтобы пригласить Шмидтов или хотя бы одну Коринну; возможно, что тогда приедет и профессор. Крота уже дал согласие, он привезет квартет, в его составе два референдария потсдамского правительства...

— И еще два офицера запаса, — дополнила эти сведения Бланка, младшая из сестер.

— Офицеры запаса, — с серьезной миной повторил Трайбель. — Да, сударыни, это решает дело. Думается, ни у одного из наших отцов семейства, даже если злой рок не даровал ему дочерей, не хватит духа отказаться от пикника в компании двух лейтенантов запаса. Итак, решено. Ровно в три. Мою супругу, конечно, огорчит, что окончательное решение было принято, так сказать, через ее голову, и я даже опасаясь, как бы у нее тотчас не возобновился *les douleurs*¹. Тем не менее я уверен в ней. Пикник с квартетом да еще в таком обществе. Женни, конечно, обрадуется. Тут уж не до мигрени. Может быть, вы хотите взглянуть на мои грядки с дынями? Или нам лучше слегка перекусить, совсем слегка, чтобы не испортить себе аппетит к ленчу?

Все трое поблагодарили и отказались, девушки Фельгентрей — потому что намеревались заехать к Коринне, Елена — потому что ей надо было спешить домой к Лизихен. Вульстен недостаточно внимательна к девочке и, случается, позволяет ей то, что она, Елена, не может определить иначе как «*shocking*»². К счастью, Лизихен очень хороший ребенок, иначе она, Елена, уж совсем бы погрязла в заботах.

— Лизихен — ангел, вся в мать! — воскликнул Трайбель и обменялся взглядом с Патоке, которая все время скромно стояла поодаль.

¹ Нервный тик (*франц.*).

² Возмутительно, ужасно (*англ.*).

Глава десятая

Шмидты тоже приняли приглашение; особенно радовалась ему Коринна, так как, со дня обеда у Трайбелей сидя дома, нестерпимо скучала в своем уединении; она уж давно знала наизусть и витиеватые фразы отца, и рассказы доброй Шмольке. Поэтому «день в Халензее» звучало для нее почти так же поэтично, как «месяц на Капри», и Коринна решила со всей тщательностью заняться своим туалетом, дабы не ударить лицом в грязь перед девицами Фельгентрей. В душе ее жило неясное предчувствие, что этот пикник будет не совсем обычным, там должно произойти нечто важное и значительное. Марсель не был приглашен на эту прогулку, что отнюдь не огорчило его кузину, за неделю его пристальное внимание уже успело ей надоесть. Все предвещало радостный день, тем более если принять во внимание подбор гостей. После того как отпало выдвинутое Трайбелем предложение всей компании ехать на линейке, «пожалуй, это самое удобное», было решено отказаться от совместного приезда в Халензее, но с условием всем прибыть точно в четыре и уж ни в коем случае не опаздывать больше чем на академические четверть часа.

И правда, в четыре все или почти все были в сборе. Старые и молодые Трайбелли, а также Фельгентрей приехали в собственных экипажах, тогда как Крола, в сопровождении своего квартета, по непонятным причинам прибыл на паровике, а Коринна, одна, как перст, — отец обещал приехать позже — добиралась на конке. Из Трайбелей не было только Леопольда, который заранее предупредил, что опоздает на полчаса, так как ему необходимо написать письмо мистеру Нельсону. На мгновение Коринна огорчилась, но потом подумала, что так оно даже лучше: краткие встречи подчас содержательнее долгих.

— Ну-с, дорогие друзья, — взял слово Трайбель, — все по порядку. Первый вопрос: где мы остановимся? Выбор у нас немалый. Мы можем остаться здесь внизу, между этими длиннейшими рядами столиков, или же подняться на соседнюю веранду, которую, при желании, можно счесть за балкон или галерею. Или вы предпочитаете тишину внутренних покоев, нечто вроде «комнаты с каминном в замке Халензее»? И наконец, четвертое, и последнее: может быть, вам угодно подняться на башню и увидеть этот чудесный мир, в котором человеческому глазу до сих пор не удалось разглядеть ни одной свежей травинки, иными

словами, увидеть простертую у ваших ног панораму пустыни, с вкрапленными в нее грядками спаржи и железно-дорожными насыпями?

— Мне думается, — заметила госпожа Фельгентрей, ей едва перевалило за сорок, но тучность и астма делали ее похожей на шестидесятилетнюю, — мне думается, любезный Трайбель, лучше всего остаться там, где мы стоим. Я не охотница лазить по лестницам и к тому же считаю, что всегда следует довольствоваться тем, что имеешь.

— На редкость скромная дама, — шепнула Коринна господину Крола, который, со своей стороны, тихонько сказал:

— Но как-никак... — И он назвал солидную сумму, прибавив: — В талерах, конечно.

— Отлично, — отвечал Трайбель, — итак, мы остаемся внизу. К чему всегда устремляться ввысь? Не лучше ли довольствоваться тем, что нам дарует судьба, как только что изволила заметить моя добрая приятельница, госпожа Фельгентрей. Другими словами: «Тем наслаждайся, что имеешь!» Но, милые друзья, что мы предпримем, дабы оживить наше веселье или — вернее было бы сказать — дабы продлить его? Говорить об оживлении веселья значило бы усомниться в наличии такового, а это святотатство, в котором я участвовать не намерен. На пикниках всегда весело! Не правда ли, Крола?

Крола кивнул с лукавой улыбкой, понятной для посвященных и обозначающей тихую тоску по «Зихену» или «Тяжелому Вагнеру».

Трайбель так это и понял.

— Значит, на пикниках всегда весело, а у нас в резерве еще квартет, и мы ждем приезда профессора Шмидта и Леопольда. Я нахожу, что уже одно это недурная программа.

После сего вступительного слова он кивком подозвал стоявшего неподалеку средних лет кельнера и, как бы обращаясь к нему, на самом же деле — к друзьям, продолжал:

— Я думаю, кельнер, что следует сдвинуть несколько столиков, вот здесь, между фонтаном и кустами сирени. По крайней мере, у нас будет тень и свежий воздух. А затем, любезный, как только будет урегулирован вопрос диспозиции и определено поле действий, принесите нам несколько чашек кофе, ну, скажем, пять, двойную порцию сахару и каких-нибудь пирожных, все равно каких, только,

ради бога, не традиционный немецкий кекс, он всегда заставляет меня искренне и честно подумывать о создании новой Германии. Вопрос с пивом мы решим позднее, когда прибудет наше пополнение.

Между тем это пополнение было ближе, чем могли предположить собравшиеся. Шмидт, возникший из облака серой дорожной пыли, был похож на мельника, и ему поневоле пришлось примириться с тем, что молодые и изрядно с ним кокетничающие дамы принялись буквально его выколачивать. Едва он был приведен в порядок и занял свое место среди других, как показались медленно тащившиеся дрожки, на которых восседал Леопольд, и обе девицы Фельгентрей (Коринна не двинулась с места) поспешили встретить его на шоссе и приветственно махали теми же батистовыми платочками, с помощью коих только что приводили в божеский вид Шмидта, чтобы сделать его полноправным членом общества.

Трайбель тоже поднялся, наблюдая за прибытием младшего сына.

— Странно,— сказал он сидящим рядом Шмидту и Фельгентрею,— странно, говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Но бывает и по-другому. В наше время все законы природы расшатались. Верно, их наука доконала. Видите ли, Шмидт, будь я Леопольдом Трайбелем (хотя с *моим* отцом все обстояло иначе, он был человеком старого закала), сам черт не удержал бы меня от того, чтобы именно сегодня появиться здесь верхом, во всей красе, и грациозно — ведь было когда-то и наше время, Шмидт,— грациозно спрыгнуть с седла, стеком сбить пыль с сапог и бриджей и предстать здесь по меньшей мере как молодой бог, с алой гвоздикой в петлице, точно это орден Почетного легиона или другая чепуховина. А взгляните на этого юнца. Его как на казнь везут. Это даже не дрожки, просто телега какая-то. Ну да что с него возьмешь...

Пока он это говорил, приблизился Леопольд — его вели под руки обе девицы Фельгентрей, видимо поставившие себе целью а *tout prix*¹ заботиться о «деревенской простоте». Коринна, как и следовало ожидать, неодобрительно отнеслась к такого рода фамильярности и пробормотала себе под нос: «Вот дурехи!», — но все-таки встала, чтобы вместе с другими приветствовать Леопольда.

¹ Любой ценой (*франц.*).

Дрожки все еще стояли у ворот, что в конце концов привлекло к себе внимание старого Трайбеля.

— Скажи-ка, Леопольд, чего он тут стоит? Рассчитывает на обратную поездку?

— Мне кажется, папа, он собирается кормить лошадь.

— Ну, что ж, разумно и похвально. Правда, от одной соломы она быстрее не побежит. Этого одра надо чем-то взбодрить, иначе худо будет. Кельнер, прошу вас, дайте лошади кружку пива. Лучшего сорта. Это ей всего нужнее.

— Держу пари,— сказал Крота,— больной не пожелает принять ваше лекарство.

— Я убежден в обратном. В этой лошади что-то есть, только уж очень ее заездили.

Перебрасываясь словами, они в то же время следили за происходящим у ворот: несчастная, замученная животина с жадностью выпила пиво и слабо, но радостно заржала.

— Вот вам, пожалуйста,— торжествуя, сказал Трайбель.— Я хороший психолог. Она знавала лучшие дни, это пиво напомнило ей былое. А воспоминания — всегда самое приятное. Верно ведь, Женни?

Советница ответила протяжно:

— Да-а, Трайбель,— тоном своим давая понять, что он поступил бы умнее, не вовлекая ее в такого рода разговоры.

Час прошел в непринужденной болтовне, а те, что не принимали в ней участия, наслаждались простиравшейся перед ними картиной. Берег как бы образовывал широкую террасу, полого спускавшуюся к озеру; с противоположной его стороны, где был устроен тир, слабо доносились выстрелы малокалиберных винтовок, а из сравнительно близко расположенного двойного кегельбана слышался стук шаров и возгласы служителей. Самого озера было почти не видно, что в конце концов возмутило девиц Фельгентрей:

— Надо же нам наконец посмотреть на озеро. Подумать только, были на озере, а озера-то и не видели.

С этими словами они сдвинули два стула спинка к спинке и вскарабкались на них, чтобы увидеть озеро.

— А, вот оно! Какое маленькое!

— «Око ландшафта» не должно быть большим,— пропнес Трайбель.— Океан уже не око.

— А лебеди где? — взволнованно спросила старшая Фельгентрей. — Ведь вот же их домики.

— Ну, милая Эльфрида, — сказал Трайбель, — вы слишком много хотите. Так уж водится: где есть лебеди, нет лебединых домиков, где есть домики, нет лебедей. У одного кошелек, у другого деньги, в чем вы, мой юный друг, еще не раз в жизни убедитесь. Попомните мои слова, это вам во вред не пойдет.

Эльфрида изумленно на него взглянула. На что он намекает или на кого? На Леопольда? Или на ее бывшего домашнего учителя, с которым она время от времени еще переписывается, по старой привычке? Или на лейтенанта инженерных войск? А может, на всех троих? У Леопольда есть деньги... гм.

— Вообще, — продолжал Трайбель, обращаясь ко всем собравшимся, — я где-то читал, что желательно, не испив до дна чашу наслаждения, сказать наслаждению «прости». Мне сейчас почему-то вспомнилась эта мысль. Нет сомнения, что этот клочок земли, один из прекраснейших на Северонемецкой низменности, достоин быть воспетым в песнях и запечатленным на полотнах художников, а может быть, он уже воспет и запечатлен, ибо у нас существует Бранденбургская школа, от которой ничто не скроется, непревзойденные мастера светотени, причем слово и цвет в равной мере им подвластны. Но именно потому, что это так восхитительно, вспомним только что процитированную нами фразу о недопитой чаше наслаждения и подумаем-ка об исходе. Я сознательно говорю «исход», а не обратный путь, не преждевременное возвращение в привычную колею — «да не будет этого от меня». Сегодняшний день еще не сказал своего последнего слова. Давайте же распрощаемся с идиллией, покуда она не вовсе обволокла нас! Я предлагаю прогуляться по лесу до Паульсборна или, если мое предложение покажется слишком смелым, до «Песьей глотки». Прозаичность названия искупается поэтичностью более близкого пути. Может быть, это предложение принесет мне особую благодарность моей дорогой приятельницы, госпожи Фельгентрей.

Госпожа Фельгентрей, для которой ничего не было обидней намеков на ее дородность и одышку, ограничилась тем, что повернулась спиной к своему другу Трайбелю.

— «Призвательность династии Австрийской!» Но так уж устроен мир: праведник обречен на страдания. На ти-

хой лесной тропинке я надеюсь умерить благородное негодование госпожи Фельгентрей. Дозвольте мне, мой друг, взять вас под руку.

И все стали группами по двое и по трое спускаться с террасы, чтобы направиться к уже сумеречному Груневальду, лежащему по обоим берегам озера.

Основная колонна держалась левой стороны. Ее возглавляла чета Фельгентреев (Трайбель уже избавился от своей приятельницы). За ними следовал квартет Кролы; в него вклинились Эльфрида и Бланка Фельгентрей и шагали теперь между двумя референдариями и двумя молодыми коммерсантами. Один из них был известным исполнителем тирольских песен и потому носил соответствующую шляпу. За ними шли Отто и Елена, замыкали шествие Трайбель и Крола.

— Примерная супружеская чета, — сказал Крола Трайбелю, показывая глазами на молодую пару, идущую впереди. — Как вам, наверно, отрадно, господин коммерции советник, видеть своего первенца рядом с этой красивой, элегантной, всегда подтянутой женщиной. Они и там, наверху, сидели рядышком, и сейчас идут рука об руку. Мне даже кажется, что они тихонько пожимали друг другу руки.

— Лучшее доказательство, что утром они поссорились. Бедняге Отто теперь приходится платить штраф.

— Ах, Трайбель, вечно вы насмешничаете. Вам никто не может угодить, а уж дети и подавно. К счастью, вы говорите это просто по привычке, сами в свои слова не веря. С дамой, так отлично воспитанной, вообще нельзя поссориться.

В этот момент молодой коммерсант издал несколько до того тирольских трелей, что эхо Пишельберга не сочло нужным их повторять.

Крола рассмеялся.

— Это молодой Метцнер. У него на редкость хороший голос, во всяком случае, для дилетанта. На нем, можно сказать, держится весь квартет. Но стоит ему вдохнуть свежего воздуха, как всему конец. Он становится игрушкой в руках неумолимой судьбы и начинает издавать тирольские трели. Но вернемся к разговору о ваших детях. Не собираетесь же вы внушить мне, — Крола был любопытен и охоч до интимных признаний, — не собираетесь же

вы убедить меня, что эти двое впереди несчастливы в браке. А что касается ссор, то я считаю своим долгом повторить: гамбургские женщины стоят на той ступени развития, которая исключает возможность ссоры.

Трайбель покачал головой.

— Видите ли, Крола, вы человек бывалый и знаете женщин, но, как бы это сказать, знаете их так, как может знать только тенор. А тенор даст сто очков вперед любому лейтенанту. И все же в вопросе брака, области совсем особой, вы весьма мало сведущи. А почему, спрашивается? Потому что в вашем супружестве — уж не знаю, чья это заслуга, ваша или вашей жены, — все на редкость удачно совпало. Ваш случай, разумеется, доказывает, что и *такое* бывает. Но вывод тут напрашивается сам собой: вы — даже самое лучшее имеет обратную сторону, — вы, повторяю, ненастоящий муж и недостаточно компетентны в вопросах брака, ибо ваш брак исключение, а не правило. Рассуждать о семейной жизни может только тот, кто, так сказать, с боем пробился через нее, только ветеран, изувеченный в сражениях. Как это там говорится? «Во Францию два гренадера...» Вот вам и всё.

— Ах, Трайбель, это только слова...

— ...А самые скверные браки те, где ссорятся «интеллигентно», где, если можно так выразиться, военные действия ведутся в бархатных перчатках или, вернее, — как во время римского карнавала — швыряют в лицо друг другу пригоршни конфетти. Красиво выглядит, но больно бьет. И в этом искусстве, с виду приятном, — в бросанье конфетти, — моя невестка великая мастерица. Держу пари, что бедняга Отто уже не раз думал: лучше бы она царапалась, лучше бы хоть раз вышла из себя, хоть раз крикнула «чудовище», или «лжец», или «подлый соблазнитель»...

— Но, Трайбель, не может она сказать такое. Отто ни в коей мере не соблазнитель, а следовательно, не чудовище.

— Не об этом речь, Крола. У нее должны хотя бы возникать такие мысли, муки ревности должны терзать ее и в какие-то мгновения оборачиваться африканскими страстями. Но все, что исходит от Елены, имеет разве что температуру Уленхорста! Ничего нет у нее за душой, кроме непоколебимой веры в добродетель и windsor-soap¹.

— Допустим. Но коли так, с чего же возникают ссоры?

— Возникают тем не менее. Они просто проявляются

¹ Виндзорское мыло (англ.).

иначе, иначе, но не лучше. Никаких скандалов, только комариные укусы с небольшой дозой яда или гробовое молчание, надутая физиономия, словом, «внутренний Дюпелль» брака, тогда как на лице, обращенном к нам, ни морщинки. Вот как выглядят их ссоры. Боюсь, что нежность, которую мы сейчас видим перед собой, — кстати сказать, нежность эта довольно односторонняя, — не что иное, как искупление грехов: Отто Трайбель на снегу перед замком в Каноссе. Взгляните на бедного малого. Он клонит голову вправо, а Елена держится прямо и величественно — чисто гамбургская повадка. А теперь помолчим. Запел ваш квартет. Что это?

— Это знаменитое: «Не знаю, что это значит...»

— А-а, правильно. Всегда уместный вопрос, в особенности на пикниках.

Направо по берегу озера шли две пары: впереди Шмидт с подругой своих юных дней Женни, за ними, несколько поодаль, Леопольд и Коринна.

Шмидт взял свою даму под руку и вдобавок попросил разрешения нести ее мантилью — под деревьями было душно. Женни с благодарностью согласилась, но, заметив, что добрейший профессор волочит по земле кружевную оторочку, которая попеременно запутывается то в можжевельнике, то в вереске, отобрала у него мантилью.

— Вы все такой же, как сорок лет назад, милый Шмидт. Галантны, но не всегда успешно.

— Да, сударыня, от этой беды мне не избавиться, она стала моей судьбой. Если бы мое восторженное преклонение увенчалось успехом, то подумайте сами, как совсем по-иному сложилась бы моя жизнь и ваша тоже...

Женни тихонько вздохнула.

— Да, сударыня, и в таком случае никогда бы не началась «сказка вашей жизни». Ведь большое счастье — это сказка.

— Большое счастье — это сказка, — медленно и прочувствованно повторила Женни. — Как верно, как хорошо сказано! Увы, Вилибальд, в той завидной жизни, которую я сейчас веду, подобные фразы не ласкают мой слух и сердце, и редко, ох как редко выпадают на мою долю слова, исполненные поэтической глубины, отчего я — так уж меня создал господь — испытываю непреходящую мучительную боль. А вы еще говорите о счастье, Вилибальд, и

даже о большом счастье. Поверьте мне, через все это прошедшей: то, чего столь многие вожделеют, не имеет цены для того, кто этим обладает. Часто, когда мне не спится и я размышляю о своей жизни, мне становится ясно, что счастье, на первый взгляд весьма ко мне благосклонное, вело меня не теми путями, которыми я должна была бы идти, и что, живя в меньшем благополучии и будучи женой человека, живущего в мире идей и прежде всего идеалов, я была бы, вероятно, счастливее. Вы знаете, какой добрый человек Трайбель, и знаете, какой благодарностью я плачу ему за его доброту. И все-таки — я, увы, должна сознаться — в отношениях с ним я не испытываю той радости подчинения, которая для нас, женщин, является наивысшим счастьем и, если хотите, равнозначна настоящей любви. Я никому не смею этого сказать, только вам, Вилибальд, я могу излить свою душу, в этом я полагаю свое человеческое право, а может быть, даже и долг...

Шмидт кивнул в знак согласия и произнес только:

— Ах, Женни... — тоном, которым он хотел выразить всю боль незадавшейся жизни, что ему и удалось. Прислушавшись к звучанию собственного голоса, он мысленно поздравил себя с хорошо сыгранной ролью. Женни, несмотря на весь свой ум, была достаточно тщеславна, чтобы поверить в это «ах», сорвавшееся с уст ее давнего поклонника.

Так они шли друг подле друга, молча, казалось, погруженные в свои чувства, покуда Шмидт не ощутил необходимости прервать молчание каким-нибудь вопросом. Он прибег к старому спасительному средству и заговорил о детях.

— Да, Женни, — произнес он все еще приглушенным голосом, — что упущено, то упущено. И кто может чувствовать это глубже меня? Но женщина, подобная вам, как вы понимающая жизнь, находит утешение в самой жизни и прежде всего в радости ежедневного исполнения долга. Во-первых, это дети, а у вас есть еще и внучка, милая Лизихен — девочка кровь с молоком; это, думается мне, лучше, чем что-либо другое, помогает женщине сохранять бодрость духа. И если я, мой милый друг, не хочу толковать вам о супружеском счастье, ибо мы с вами единыдушны в понимании Трайбеля, то все же возьму на себя смелость и скажу: вы счастливая мать. Вы вырастили двух сыновей, более или менее здоровых, образованных и добродетельных. Подумайте сами, как много это значит в

наши дни. Отто женился по любви, отдал свое сердце красивой и богатой девице, пользующейся, насколько мне известно, всеобщим уважением, и, если я правильно осведомлен, в доме Трайбелей вскоре состоится еще одна помолвка: сестра Елены готовится стать невестой Леопольда.

— Кто это сказал? — запальчиво воскликнула Женни. Внезапно тон ее из сентиментально-мечтательного сделался подчеркнуто будничным. — Кто это сказал?

Негодование Женни повергло Шмидта в некоторое смущение. Ему так казалось, а может, он что-то слышал краем уха, во всяком случае, вопрос «Кто это сказал?» застал его врасплох. К счастью, Женни не настаивала и, не дождавшись ответа, с живостью продолжала:

— Вы не можете себе представить, дорогой друг, как меня все это бесит. Елена вечно все проделывает за моей спиной. Вы, милый Шмидт, лишь повторяете то, что слышали, но с теми, кто преднамеренно распространяет подобные слухи, я еще посчитаюсь. Экая наглость! Она еще у меня дождется!

— Но, Женни, милый мой друг, не надо так волноваться. Я начал разговор, так как думал, что все это само собой разумеется.

— Само собой разумеется, — насмешливо повторила Женни; говоря это, она снова сорвала с себя мантилью и бросила на руку профессора. — Само собой разумеется. Видно, они уже постарались, чтобы даже близкие друзья считали эту помолвку само собой разумеющейся. Но это не так: напротив, стоит мне представить себе, что всезнающая супруга Отто окажется всего лишь бледной тенью своей сестры Хильдегард, а это вполне вероятно, та ведь еще подростком была до смешного чванлива, как я должна сказать, что с меня довольно одной гамбургской невестки из дома Мунков.

— Но, дорогой друг, я вас не понимаю. Вы меня изумляете. Не подлежит сомнению, что Елена красивая женщина, к тому же, если мне будет позволено так выразиться, весьма и весьма аппетитная...

Женни рассмеялась.

— ...Ее, простите меня за выражение, так и хочется укусьить, — продолжал Шмидт, — а сколько в ней своеобразного шарма, спокон веков присущего всем находящимся в постоянном общении с морской стихией. Но прежде всего не подлежит сомнению, что Отто любит свою жену, чтобы не сказать — влюблен в нее. А вы, друг мой, родная

мать Отто, вы противитесь их счастью и возмущаетесь при мысли о возможном удвоении этого счастья в вашем доме. Все мужчины подвластны женской красоте, так было и со мной, я едва решаюсь сказать, что и до сих пор ей подвластен, и если эта Хильдегард — а мне это кажется вероятным, младшие дети в семье всегда самые удачные, — если эта Хильдегард превзойдет Елену, то, право же, не знаю, что вы можете иметь против нее. Леопольд славный мальчик, возможно, недостаточно темпераментный, но мне кажется, что он, конечно же, будет не прочь жениться на такой красотке. К тому же еще и богатой.

— Леопольд — ребенок, нельзя ему жениться по собственному выбору, и уж тем паче по выбору его невестки Елены. Недоставало только, чтобы я от всего устранилась и выпустила вожжи из рук. Если б еще речь шла о молодой особе, которая занимала бы более высокое положение, скажем, о баронессе, о дочери тайного советника или старшего придворного проповедника... Но ничем не примечательная девица, которая только и знает, что кататься на пони в Бланкенезе, и воображает, будто вести хозяйство и даже воспитывать детей все равно что вышивать гладью, и вполне серьезно считает, что здесь у нас морскую камбалу не отличают от морского конька, крабов называют омарами, а порошок Кэрри и соя для нас невесть какое таинственное зелье... Эта самоуверенная пустельга не парамоему Леопольду. Леопольд, несмотря на все его недостатки, должен подняться выше. Он простодушен, но добр, а это тоже чего-то стоит. И потому он нуждается в умной жене, по-настоящему умной. Ум, образованность, возвышенные стремления — вот что я имею в виду. Все остальное гроша ломаного не стоит. Дело не во внешнем лоске. Счастье! Счастье! Ах, Вилибальд, подумать, что в такую минуту и именно вам я признаюсь, что счастье только *здесь*.

При этом она положила руку на сердце.

Шагах в пятидесяти за ними следовали Леопольд и Коринна. Разговор у них велся как обычно, то есть говорила Коринна. Леопольд твердо решил, худо ли, хорошо ли, но сказать свое слово. Желание сбросить тяжесть, давившую его в последние дни, придало ему смелости, он уже не так страшился того, что задумал, — ему необходимо было обрести покой. Несколько раз он уже готов был подвести разговор поближе к цели, но, видя перед собою вну-

нительную фигуру матери, падал духом и в конце концов предложил пересечь наискось лесную поляну, дабы из арьергарда перейти в авангард. Правда, он знал, что вследствие такого маневра мамá будет его видеть сзади или сбоку, но, подобно страусу, нашел успокоение в том, что мать, постоянно парализующая его волю, не будет все время маячить у него перед глазами. Он не отдавал себе ясного отчета в своем странно нервном состоянии, а попросту решил из двух зол выбрать меньшее.

Маневр с переходом поляны наискось удался, и теперь они были на столько же шагов впереди, на сколько раньше были сзади, и Леопольд, прекратив безразличный и довольно натянутый разговор, в основном вертевшийся вокруг разведения спаржи в Халензее, способов выращивания этой культуры и ее полезности, внезапно собрался с духом и сказал:

— Вы знаете, Коринна, меня просили передать вам привет.

— Кто?

— Угадайте.

— Ну, скажем, мистер Нельсон.

— Это просто чудо, ясновидение какое-то. Эдак вы скоро начнете читать письма, которых и в глаза не видали.

— Да, Леопольд, я могла бы оставить вас при этом мнении и быть в ваших глазах ясновидящей. Но я не хочу вас морочить. Всякая мистика, гипноз, духовидение здоровым людям внушают только страх. А я не люблю внушать страх. Мне милее привлекать к себе сердца хороших людей.

— Ах, Коринна, вам даже не надо этого хотеть. Я и так не знаю человека, чье сердце не тянулось бы к вам. Если б вы знали, что пишет о вас мистер Нельсон! Начинает с *amusing*¹, затем идут *charming*² и *high-spirited*³, а заканчивает *fascinating*⁴. Далее следуют приветы, которые после всего вышесказанного кажутся будничными и невыразительными. Но откуда вы знали, что привет вам передает именно мистер Нельсон?

— Легче загадки не придумаешь. Ваш папá сообщил мне, что вы явитесь с опозданием, так как должны написать письмо в Ливерпуль. Ну, а Ливерпуль — значит

¹ Занятная (англ.).

² Очаровательная (англ.).

³ Пылкая (англ.).

⁴ Обворожительная (англ.).

мистер Нельсон. А уж коль скоро речь зашла о мистере Нельсоне, все остальное ясно само собой. Я полагаю, что так обстоит дело со всяким ясновидением. И знаете, Леопольд, легкость, с которой я могла бы прочесть письмо мистера Нельсона, равна уверенности, с какой я могу угадать ну, к примеру, ваше будущее.

Глубокий вздох Леопольда был ей ответом, а сердце его, казалось, готово выпрыгнуть из груди от счастья и облегчения. Ведь ежели Коринна верно угадала, а она должна была верно угадать, то, значит, ему не придется задавать ей никаких вопросов и нечего бояться. Она сама скажет то, что у него не хватало мужества сказать. В восторге он взял ее руку и произнес:

— Ничего у вас не выйдет.

— Разве это так трудно?

— Нет, собственно говоря, легко. Но легко или трудно, Коринна, вы должны мне сказать. А я хочу честно ответить, угадали вы или нет. Но только не далекое будущее, а ближайшее, самое ближайшее.

— Ну, что ж, — лукаво начала Коринна, — вот что я вижу: для начала погожий сентябрьский день и перед прекрасным домом множество роскошных экипажей, впереди — свадебная карета, на козлах кучер в парике и два лакея на запятках. Улица полна народу, все хотят видеть невесту, и тут она появляется, рядом с нею шагает жених, и этот жених не кто иной, как мой друг Леопольд Трайбель. И вот свадебная карета, а за нею и все остальные, едет вдоль широкой-широкой реки...

— Но, Коринна, не хотите же вы назвать широкой рекой нашу Шпрее между шлюзом и Юнгферnbrюке?

— ...едет вдоль широкой-широкой реки и наконец останавливается перед готической церковью.

— Двенадцати Апостолов...

— Жених выходит из кареты, подает руку невесте, и молодая пара вступает в церковь, где уже играет орган и горят свечи.

— А дальше?

— А дальше они стоят перед алтарем, и после обмена кольцами и благословения звучит хорал или только его последний стих. Затем вдоль все той же широкой реки они едут обратно, но не в городской дом, откуда выехали, а дальше за город и останавливаются перед коттеджем...

— Да, Коринна, так будет!

— И останавливаются перед коттеджем и триумфаль-

ной аркой, на которой висит огромный венок, и в этом венке сияют две начальные буквы: Л и Х.

— Л и Х?

— Да, Леопольд, Л и Х. Ну а как может быть иначе? Ведь свадебная карета отправилась из Уленхорста, проехала вдоль Альстера, затем вниз по Эльбе и остановилась перед загородной виллой Мунков в Бланкенезе, и Л — значит Леопольд, Х — Хильдегард.

В первую минуту Леопольда охватило смятение. Но он быстро опомнился и, нежно хлопнув по плечу мнимую провидицу, сказал:

— Вы все та же, Коринна. И если бы добрейший Нельсон, лучший на свете человек и мой единственный доверенный, если б он все это слышал, он пришел бы в восторг и заговорил бы о «capital fun»¹, ибо вы так милостиво одарили меня сестрой моей невестки.

— Я всего лишь пророчица, — сказала Коринна.

— Пророчица, — повторил Леопольд. — Но на сей раз лжепророчица. Хильдегард красивая девушка, и сотни людей почли бы за счастье жениться на ней, но вы же знаете, как смотрит на это моя мамá. Она страдает от постоянного чванства тамошней родни и уже сотни раз бóжилась, что с нее вполне хватает одной гамбургской невестки, представительницы торгового дома Томпсон — Мунк. Она прямо-таки ненавидит Мунков, и если бы я предстал перед нею об руку с Хильдегард, то не знаю, что могло бы из этого выйти; наверно, она сказала бы «нет» и устроила бы ужасную сцену.

— Кто знает, — проронила Коринна, чувствуя, что вот-вот будет сказано решающее слово.

— Она сказала бы «нет, и еще раз нет»; это уж как бог свят, — взволнованным голосом продолжал Леопольд. — Но меня это не может беспокоить. Я не предстану перед ней рука об руку с Хильдегард, я сыщу себе невесту и ближе и лучше... Я знаю, да и вы тоже знаете, что картина, вами нарисованная, была всего лишь шуткой, и, кроме того, вам известно, что ежели уж мне, бедняге, соорудят когда-нибудь триумфальную арку, то в венке, висящем на ней, будет красоваться сплетенная из сотен и тысяч цветов совсем другая буква. Надо ли говорить, какая? Коринна, я жить без вас не могу, и сейчас должна решиться моя судьба. Вы только скажите:

¹ Гениальной шутке (англ.).

да или нет? — С этими словами он схватил ее руку и принялся покрывать ее поцелуями. Они шли, скрытые зарослями лесного ореха.

Коринна, после такого объяснения с полным правом считавшая помолвку *fait accompli*¹, благоразумно решила воздержаться от дальнейших споров и только сказала:

— Но, Леопольд, мы не должны обманывать себя: нам предстоит нелегкая борьба. Твоя мамá по горло сыта Мунками, это я понимаю, но как обстоит дело со Шмидтами — это еще вопрос. Правда, иногда она намекала, что я, мол, в ее глазах, идеал, может быть, потому что во мне есть то, чего не хватает тебе, а возможно, даже и Хильдегард. Я говорю «возможно» и не устану подчеркивать это ограничительное слово. Ибо любовь, как я ясно вижу, любовь смиренна, и я чувствую, что мои недостатки словно бы покидают меня. А ведь это верный признак. Ах, Леопольд, у нас впереди жизнь, полная счастья и любви, но все зависит от твоего мужества, от твоей стойкости, и здесь, под этими лесными сводами, где так темно, где таинственно шелестит листва, здесь, Леопольд, ты должен мне поклясться, что не откажешься от своей любви!

Леопольд уверял, что он не только не откажется, но и будет достоин своей любви. Ибо если любовь делает людей скромными и смиренными, то в то же время она несомненно придает людям силы. Если Коринна изменится, тогда и он почувствует себя другим человеком.

— И,— заключил он,— одно могу сказать, я не умею говорить высоких слов, и даже враги мои не обвинят меня в хвастовстве, но мне кажется, что сердце мое бьется так сильно, так счастливо, что хочется поскорее вступить в борьбу со всеми этими трудностями. Мне не терпится доказать, что я достоин тебя...

В это мгновение меж кронами деревьев показался лунный серп и от Груневальдского замка, к которому только что подошел квартет, поплыло над озером:

Если по тебе тоскую
Я в тиши ночной,
Замирают жизни струи
И грустят со мной.

И тут же смолкло, а может, внезапно поднявшийся ветер подхватил звуки песни и унес их в другую сторону.

¹ Свершившимся фактом (франц.).

Спустя четверть часа все собрались у Паульсборна и снова приветствовали друг друга. Покуда разносили шоколадный ликер (Трайбель собственноручно передавал его каждому), все немного отдохнули и собрались в обратный путь. Экипажи прибыли за ними из Халензее. Фельгентрей растроганно прощалась с квартетом, теперь уже весьма сожалея, что отказались ехать на линейке Трайбеля.

Расстались и Леопольд с Коринной, но не прежде, чем в тени высоких камышей крепко и тайно пожали друг другу руки.

Глава одиннадцатая

При разъезде Леопольду пришлось довольствоваться местом на козлах родительского ландо, что вообще-то было ему приятнее, нежели сидеть в кузове под взглядом матери, которая, возможно, что-нибудь и заметила в лесу или во время отдыха в Паульсборне. Шмидт вновь поехал по железной дороге, а Коринна — с Фельгентреями. Ее с грехом пополам усадили между супругами Фельгёнтрей, добросовестно занявшими едва ли не все заднее сиденье, и так как после всего происшедшего Коринна, вопреки обыкновению, не была расположена к болтовне, то ей весьма на руку пришлось, что Эльфрида и Бланка тараторили наперебой, все еще полные восторженных впечатлений от квартета. Тирольский певец — «хорошая партия» — одержал решительную победу над лейтенантами запаса, явившимися в цивильном платье. Фельгентрей не преминули проехать по Адлерштрассе и любезно подвезли Коринну к дому. Она сердечно их поблагодарила и, кивнув еще раз на прощанье, поднялась сначала по трем каменным ступеням, а затем, войдя в дом, взбежала по деревянной лестнице.

Ключа Коринна с собой не взяла, и потому ей ничего не оставалось как позвонить, что она сделала очень неохотно. Тут же появилась Шмольке, которая воспользовалась отсутствием «господ», как она иногда их любила называть, чтобы немного прихорошиться по случаю воскресенья. Особенно примечателен был ее чепец, рюши его, казалось, сию минуту вышли из-под плойльных щипцов.

— Ну, тетушка Шмольке, что это у вас за праздник нынче? — спросила Коринна, запирая за собою дверь.—

День рождения? Хотя нет, ваш день рождения я знаю. Может, это *его* день рождения?

— Нет,— отвечала Шмольке,— да и не стала бы я по такому случаю ленты да банты надевать.

— Но если не день рождения, что же тогда?

— Ничего, детка. Уж коли я немного приоделась, так обязательно и праздник? Тебе хорошо говорить, ты вот каждый божий день по полчаса, а то и больше, сидишь перед зеркалом да щипцами локоны навиваешь.

— Но, милая Шмольке...

— Да, Коринна, ты небось думаешь, я не вижу. А я вижу все и еще кое-что... Впрочем, и Шмольке говорил, что ему нравятся кудрявые волосы...

— А разве Шмольке был *такой*?..

— Нет, девочка, Шмольке не был *таким*. Шмольке был очень порядочный человек, даже слишком порядочный, если можно сказать такую нелепость. Ну, ладно, давай сюда свою шляпу и мантилью. Боже мой, детка, почему вещи в таком виде? Неужели на улице так пыльно? Счастье еще, что дождя не было, а то бы от бархата ничего не осталось. Профессор-то ведь не богат, хоть и не жалуется, а мошна у него не больно тугая.

— Нет-нет,— засмеялась Коринна.

— Ну, что ты, Коринна, все смеешься? Тут уж вовсе не до смеха. Старик бьется как рыба об лед. И когда иной раз он приносит домой такой ворох тетрадок, что на них никакой бечевки не хватает, меня прямо-таки жалость берет. Твой отец очень добрый человек, но его шестьдесят лет подчас дают себя знать. Конечно, ему неохота в этом сознаваться, и он ведет себя как двадцатилетний. Вообрази только, недавно он на ходу соскочил с конки, и надо же мне было оказаться рядом, меня чуть удар не хватил... Ну, детка, что тебе принести, или ты уже поела и глядеть на еду не хочешь?

— Нет, я ничего не ела. Вернее, почти ничего. Печенье, которое там подают, всегда такое черствое. А в Паульсборне я выпила только капельку ликеру. В общем, можно считать, ничего. Но аппетита у меня нет, да и голова что-то побаливает. Кончится тем, что я захвораю.

— Ах, Коринна, глупости какие, вечно ты капризничаешь. В ушах немного звенит, лоб чуть теплый, а ты уж сразу о нервной горячке думаешь. Ей-богу же, это грешно, выдумывать всякие ужасы. Просто выпала роса, стало свежо, туман.

— Да, туман спустился, как раз когда мы стояли у камышей, и озера почти не было видно. Наверно, в этом все дело. Но голова у меня и вправду болит, и мне хочется лечь и укрыться потеплее. Я уже не буду говорить с папá, когда он вернется. И кто знает, может, он придет очень поздно.

— Почему же вы не вместе вернулись?

— Он не захотел, да и потом, он сегодня на «вечере». Кажется, у профессора Быкмана. Там обычно засиживаются допоздна, потому что его «телки» вносят оживление в общество. Но с вами, милая Шмольке, я могу еще полчаса поболтать. В вас столько душевного тепла.

— Ну, полно тебе, Коринна. Откуда бы ему во мне взяться — теплу-то? Хотя почему бы, собственно, и нет? Ведь ты была еще во-от такая, когда я пришла к вам в дом.

— Ну ладно, есть тепло или нет его, а мне все в вас мило. И пожалуйста, голубушка моя, когда я лягу, принесите мне в постель чай в маленьком мейсенском чайничке, а другой чайничек возьмите себе, потом еще несколько тоненьких ломтиков булки и немножко масла. Мне с моим желудком надо беречься, иначе это еще кончится гастритом и придется лежать шесть недель.

— Ладно уж, — засмеялась Шмольке и пошла на кухню снова поставить чайник на плиту.

Вода была горячая, но еще не кипела. Спустя четверть часа она вернулась и нашла свою любимицу уже в постели. Коринна сидела, подложив под спину подушки, и обрадовалась Шмольке сообщением, что ей уже гораздо лучше. Не зря, мол, говорят, что теплая постель — лучшее лекарство, и теперь, надо думать, все скоро пройдет и опасность минует.

— Я тоже так думаю, — отвечала Шмольке, ставя поднос на маленький столик у самого изголовья кровати. — Ну, Коринна, из которого тебе налить? Вот в этом, с отбитым носиком, чай лучше настоялся, а я знаю, ты любишь крепкий и горьковатый, такой, что чернилами отдает.

— Разумеется, я хочу крепкого и сахара побольше, а молока совсем чуточку. От молока у меня обостряется гастрит.

— Боже мой, Коринна, оставь ты свой гастрит в покое. Лежишь тут румяная, как яблочко, а рассуждаешь, будто уже одной ногой в могиле. Нет, деточка моя, так быстро дело не делается. Возьми-ка ломтик булочки. Я уж так тоненько нарезала...

— Да, но вы принесли еще бутерброд с ветчиной?

— Это я себе, детка. Мне тоже хочется что-нибудь съесть.

— Ах, а я хотела попроситься на угощение. Булочки — это все равно что ничего, а бутерброд с ветчиной с виду такой вкусный... Да еще так аппетитно все нарезано. Я только сейчас почувствовала, что проголодалась. Отрежьте и мне кусочек, ежели вам не жалко.

— Что ты такое несешь, Коринна? Как мне может быть жалко? Ведь я же только веду хозяйство, я всего-навсего прислуга...

— Слава богу, хоть папá этого не слышит. Вы же знаете, он терпеть не может, когда вы говорите о себе, как о прислуге, и называет это ложной скромностью.

— Да-да, верно. Но Шмольке, который тоже был неглупым человеком, хоть и не ученым, всегда говорил: «Слушай, Розали, скромность хороша, а ложная скромность (ведь, по совести сказать, скромность всегда ложная) все же лучше, чем нескромность».

— Гм,— произнесла Коринна, чувствуя себя несколько задегой,— пожалуй, с этим можно согласиться. Вообще, милая Шмольке, ваш муж, по-видимому, был отличным человеком. И вы сейчас сказали, что он был порядочным, чуть ли не «слишком порядочным». Видите ли, все это очень приятно слышать, но мне хотелось бы что-нибудь себе при этом представить. В чем, собственно, выражалась эта чрезмерная порядочность? И потом, ведь он же служил в полиции. Откровенно говоря, я рада, что у нас есть полиция, я радуюсь каждому полицейскому, к которому обращаюсь, чтобы узнать дорогу или еще о чем-нибудь справиться; что правда, то правда, все они весьма любезны и вежливы, по крайней мере, таково мое впечатление. Но что касается порядочности или даже чрезмерной порядочности...

— Да, милая Коринна, так оно и есть. Но ведь люди там тоже неодинаковые и отделения разные. Вот и Шмольке состоял при одном таком отделении.

— Ну, конечно, не мог же он быть сразу во всех.

— Конечно, не мог, но он всегда служил в самом трудном, в том, что следит за благоприличием и нравственностью.

— Ах, там и такое имеется?

— Да, детка, имеется и непременно должно иметься. Если вдруг... — а такое случается с женщинами и девушками, как ты, вероятно, слышала и видела, ведь берлин-

ские дети все видят и слышат, — так вот, если такое бедное и несчастное существо (а многие из них действительно только бедные и несчастные) погрешит против благоприличия и нравственности, ее ведут на допрос и наказывают. Там, где их допрашивают, и служил Шмольке.

— Странно. Но вы мне никогда ничего об этом не рассказывали. И Шмольке, говорите вы, при этом присутствовал? Прямо-таки удивительно. И вы считаете, что именно потому он был таким порядочным и солидным?

— Да, девочка, я так считаю.

— Ну, ежели вы так говорите, милая Шмольке, я тоже в это поверю. Но разве это не удивительно? Ведь ваш Шмольке был тогда еще совсем молодым человеком или, так сказать, мужчиной в расцвете лет? А девицы, и как раз *такие*, часто бывают прехорошенькими. И вот сидит мужчина, вроде вашего Шмольке, и должен всегда выглядеть строгим и благопристойным, просто потому что он случайно оказался на этом месте. Нет, как хотите, а это нелегко. Да ведь это же совсем как искушение в пустыне: «Все это дарю тебе!»

Шмольке вздохнула.

— Да, Коринна, я тебе откровенно признаюсь, что не раз лила из-за этого слезы, и эта ужасная ломота здесь, в затылке, с тех пор меня мучит. На второй или третий год после свадьбы я похудела почти на одиннадцать фунтов, а если б весы встречались — как сейчас — на каждом шагу, то, бог весть, может, и того больше, ведь когда мне удалось наконец взвеситься, я уже опять чуть-чуть пополнила.

— Бедняжка, — сказала Коринна. — Должно быть, вам тяжело приходилось. И как же вы с этим справились? Ежели вы опять пополнили, то, значит, что-то все же вас утешило и успокоило?

— Так оно и было, детка. И поскольку уж ты все знаешь, я тебе расскажу, как это произошло и на чем я успокоилась. А было это ох как нелегко! Я долгие месяцы глаз не могла сомкнуть. Ну, в конце концов сон ко мне вернулся, природа взяла свое, природа, она сильнее самой ревности. А ревность сильнее, куда сильнее любви. С любовью все обстоит проще. Так вот: когда мне уж совсем стало не вмоготу и сил моих хватало только на то, чтобы подать ему баранину с цельными бобами, нарезанных он не терпел, мерещилось ему, что они ножом отдают, тут-то он и повял, что ему надо со мной поговорить. Ведь я первая ни за что бы с ним не заговорила, горда была. Значит,

решил он со мной поговорить, улучил момент, взял маленькую скамеечку, обычно стоявшую в кухне,— я как сейчас это вижу,— придвинул ее ко мне и спросил: «Ну скажи же мне, Розали, что такое с тобой творится?»

На лице Коринны не осталось и тени насмешки. Она отодвинула немного поднос, привстала, оперлась правой рукой о стол и сказала:

— А что дальше, милая Шмольке?

— «Ну, так что же с тобой?» — спросил он. У меня слезы так градом и хлынули, и я говорю: «Ах, Шмольке, Шмольке», а сама гляжу на него, как будто хочу в душу ему заглянуть. Смею сказать, это был пронзительный взгляд, хоть и дружелюбный. Ведь я его любила. Смотрю, он совсем спокоен, даже не побледнел. Тут он взял мою руку, нежно погладил ее и сказал: «Все вздор, Розали! Ничегошеньки ты в этом не смыслишь; потому не смыслишь, что в полиции нравов не служила. А я тебе говорю: тем, кто изо дня в день там сидит, совсем не до того, у них волосы встают дыбом от той нищеты и того горя, что им приходится видеть, особенно когда приводят вконец изголодавшихся девчонок, это тоже бывает, и мы знаем, что дома их ждут родители и день и ночь плачут от стыда, поскольку все еще любят свою несчастную дочку, которая неведомо как попала в беду, хотят ей помочь и спасти ее, если помощь и спасение еще в силах человеческих. Вот и выходит, Розали: человеку, который должен каждый день это видеть, и если есть у него сердце в груди, и он к тому же служил в Первом гвардейском полку, и всю жизнь ратовал за порядок, дисциплину и здоровье, ему уже не до шашней и всего такого прочего, ему впору уйти и зареветь, даже такой стреляный воробей, как я, и то не всегда удерживается от слез. О заигрывании с барышнями и думать неохота, не чаешь, как бы поскорее домой прийти, где тебя ждет баранье жаркое и порядочная женщина по имени Розали. Ну теперь ты успокоилась, Розали?» И он меня поцеловал.

Тут Шмольке — покуда она рассказывала, у нее снова заныло сердце — подошла к Кориннинному шкафу и достала носовой платок. Приведя себя немного в порядок, так что слова уже не застревали у нее в горле, Шмольке взяла Коринну за руку и сказала:

— Вот видишь, каков был Шмольке! Что ты на это скажешь?

— В высшей степени порядочный человек!

— Еще бы!

В этот момент раздался звонок.

— Вот и папá! — воскликнула Коринна.

Шмольке поднялась, чтобы открыть господину профессору. Вскоре она вернулась и доложила, что профессор был очень удивлен, не видя Коринны, и спросил, не случилось ли чего, ведь из-за небольшой мигрени вряд ли стоит ложиться в постель. Затем он набил свою трубку, взял газету и сказал:

— Слава богу, Шмольке, что я уже дома. Какая бессмыслица все эти сборища! Очень советую вам запомнить это раз и навсегда.

Но вид у него очень даже веселый, голову можно дать на отсечение, что он недурно провел время. Есть у нашего профессора недостаток, свойственный многим, но Шмидтам прежде всего: все-то они знают и обо всем судят лучше других. «Да, детка, в этом вопросе ты настоящая дочь своего отца».

Коринна протянула доброй старушке руку и заметила:

— Наверно, вы правы. И хорошо, что вы мне это сказали. Если б не *вы*, кто бы мог мне вообще что-нибудь сказать? Никто. Я же росла дикаркой, и надо только удивляться, что я не стала еще хуже, чем я есть. Папá — хороший учитель, но воспитатель никудышный, и потом, он всегда был ко мне пристрастен, твердил: «Шмидты сами себе помогают», или: «Эта еще себя покажет».

— Да, он вечно это повторяет. Но в иных случаях уместнее была бы затрещина.

— Боже милостивый, что вы такое говорите! Мне даже страшно стало.

— Ах, глупышка, чего тебе бояться? Ты теперь уже взрослая, решительная особа, давным-давно выпедшая из пеленок. Ты уже шесть лет могла бы быть замужем.

— Да,— согласилась Коринна,— могла бы. Если бы кто-нибудь пожелал на мне жениться, но ни у кого ума на это не хватило. Вот мне и пришлось самой о себе позаботиться...

Шмольке, решив, что неверно расслышала, переспросила:

— Пришлось самой о себе позаботиться? Что ты имеешь в виду? Что это значит?

— А это значит, милая тетушка Шмольке, что сегодня вечером я обручилась.

— Силы небесные, в самом деле? Но ты не сердись, что я так опешила. Ведь это добрая весть. Ну, а с кем?

— Угадайте.

— С Марселем.

— Нет, не с Марселем.

— Не с Марселем? Ну, тогда уж не знаю с кем, да и знать не хочу! Нет, все-таки я должна узнать! Кто он такой?

— Леопольд Трайбель.

— Господи, твоя святая воля!

— А разве это так плохо? Вы что-нибудь имеете против?

— Боже упаси, с чего бы! Да и не мне об этом судить: Трайбели добрые и простые люди, особенно старый господин коммерции советник, он всегда такой веселый и все приговаривает: «Чем вечер длиннее, тем дружба теснее» и «Еще полсотни лет готов я видеть белый свет». И старший сын у них очень хороший, и Леопольд тоже. Правда, тощий немного, ну да жениться — это не в цирке у Ренца выступать. А мой Шмольке частенько говаривал: «Слушай-ка, Розали, это совсем не так плохо, как кажется, тут недолго и маху дать — худые и с виду слабые на деле бывают хоть куда». Да, детка, Трайбели люди хорошие, но вот мамаша, госпожа советница... не могу смолчать, есть в ней что-то такое, что мне не по душе. И вечно она из себя что-то корчит; если рассказывают какую-нибудь трогательную историю, например, о пуделе, который вытащил ребенка из воды, или профессор пробасит: «Как сказал бессмертный...» — и назовет имя, которого ни один христианин сроду не слыхивал, а госпожа советница и подавно, — так у ней тут же слезы навертываются. И вообще у нее глаза на мокром месте.

— Собственно, дорогая моя Шмольке, то, что она часто плачет, говорит о ее доброте.

— Да, может, у кого другого это и говорит о доброте и мягкосердечии. Но я уж лучше помолчу, я ведь и сама легко плачу... Боже, стоит мне вспомнить время, когда Шмольке был еще жив, да, тогда все было иначе и у него каждый вечер бывали билеты в третий ярус, а то и во второй. Вот тут уж я прихорашивалась, мне ведь, детка, в ту пору и тридцати не было и я еще очень недурно выглядела. Боже мой, Коринна, когда я об этом вспоминаю! Там была одна актриса, Эрхартен, она потом стала графиней. Ах, дитя мое, сколько светлых слез я пролила!

Я говорю «светлые слезы», потому что они облегчали душу. А уж в «Марии Стюарт» больше всего. Там зрители так всхлипывали, что ничего и разобрать нельзя было, особенно в конце, когда она прощается со своими служанками и старой кормилицей, все в черном, сама она держит крест, настоящая католичка! Но Эрхартен не была католичкой. И когда я обо всем этом вспоминаю, вспоминаю, как я лила слезы, то уж ничего не смею сказать против госпожи советницы.

Коринна вздохнула, то ли шутя, то ли всерьез.

— Почему ты вздыхаешь, Коринна?

— Почему я вздыхаю? Я вздыхаю, так как думаю, что вы правы, и против госпожи советницы действительно нечего сказать, разве только что она легко плачет и у нее вечно глаза полны слез. Господи, да ведь не у нее одной! Конечно, госпожа советница — женщина очень своенравная, и я ей не верю, а бедняга Леопольд ужасно ее боится, и неизвестно еще, как он ей во всем признается. О, тут еще предстоят яростные схватки! Но я иду на это, я крепко держу его в руках, и даже если моя свекровь настроена против меня, то в конце концов это не беда. Все свекрови всегда против своих невесток, и каждая считает, что ее сокровище попадет в плохие руки. Ну, да посмотрим. Он дал мне слово, а остальное все устроится.

— Верно, детка, держи его покрепче. Вообще-то я сначала испугалась, думала, что Марсель был бы лучше, очень уж вы друг к другу подходите. Но это я просто так говорю. И коли уж ты изловила трайбелевского сынка, никуда он от тебя не денется и как шелковый будет. А старуха и подавно. Старуха даже в первую очередь. Ну, да бог с ней!

Коринна кивнула.

— Ну, спи, девочка. Выспаться — самое главное. Никогда не знаешь, что будет завтра и сколько сил от тебя потребуется.

Глава двенадцатая

Почти в то же время, как карета Фельгентреев остановилась на Адлерштрассе у дома Шмидтов, карета Трайбелей подъехала к дому коммерции советника, и советница вместе с сыном Леопольдом вышла из нее, тогда как старый Трайбель остался на месте, чтобы проводить мо-

лодную пару — те опять пожалели своих лошадей — вниз по Кёпникерштрассе до самого их дома. Оттуда, после сердечных поцелуев (он с удовольствием играл роль нежного свекра), Трайбель велел свезти себя к Буггенхагену, где должно было состояться собрание его партии. Он хотел сам убедиться, как там обстоят дела, и, если понадобится, показать, что корреспонденция в «Национальцейтунг» отнюдь не выбила почву у него из-под ног.

Советница, обычно смотревшая на политические затеи своего мужа весьма насмешливо, если не подозрительно, что тоже случалось, сегодня благословляла Буггенхагена, радуясь возможности час-другой побыть в одиночестве. Прогулка с Вилибальдом так много в ней растревожила. Уверенность в том, что тебя понимают, — что может быть выше этого? «Многие мне завидуют, а что я в конце концов имею? Лепные потолки, позолоту да кисло-сладкую физиономию Патоке в придачу. Трайбель — добрый человек, в особенности со мной, но проза жизни тяжким бременем лежит на его плечах, он, может, этого и не ощущает, зато я ощущаю... И кроме того — все коммерции советница да коммерции советница. Это тянется уже десятый год, выше он подняться не может, несмотря на все усилия. Если так будет продолжаться, — а так оно и будет! — то, право, не знаю, не благовзвучнее ли был бы титул, свидетельствующий о причастности к наукам и искусству. Очень возможно!.. И вечное это благополучие! Я ведь тоже могу выпить только одну чашку кофе, а когда я ложусь в постель, важно лишь, чтобы я заснула. Березовая мебель или ореховая, не все ли равно, а вот сон или бессонница, тут разница большая, сон нередко бежит меня, а ведь сон лучшее, что есть в жизни, ибо он помогает забыть эту жизнь... И дети могли бы быть другими. Вот я смотрю на Коринну, все вокруг нее так и светится весельем и жизнерадостностью, и ей ничего не стоит заткнуть за пояс обоих моих мальчиков. Отто умом не блещет, а уж Леопольд тем паче».

Погруженная в сладостный самообман, Женни подошла к окну и рассеянно поглядела на палисадник и улицу. В доме напротив, в открытом окне мансарды, точно темный силуэт на светлом фоне, стояла гладильщица и уверенной рукой водила утюгом — советнице на мгновение почудилось, что она слышит, как девушка поет. Не в силах оторваться от прелестной картины, советница даже ощутила нечто вроде зависти.

Она все еще смотрела в окно, когда позади нее открылась дверь. Фридрих принес чай.

— Поставьте чай на стол, Фридрих, и скажите фрейлейн Патоке, что она может быть свободна.

— Хорошо, госпожа советница, вот письмо для вас.

— Письмо? — вырвалось у советницы. — От кого?

— От молодого господина.

— От Леопольда?

— Да, сударыня, и если будет ответ...

— Письмо... Ответ... Рехнулся он, что ли? — С этими словами она вскрыла конверт и пробежала глазами письмо.

«Дорогая мамá! Если это хоть сколько-нибудь возможно, я бы хотел еще сегодня иметь с тобою небольшой разговор. Дай мне знать через Фридриха, согласна ты или нет.

Твой Леопольд».

Женни была до такой степени ошарашена, что всю ее сентиментальность как рукой сняло. Не подлежит сомнению, что за всем этим кроется нечто злое. Но она взяла себя в руки и сказала:

— Передайте Леопольду, что я жду его.

Комната Леопольда находилась над ее комнатой, и она отчетливо слышала, как Леопольд быстро ходит взад-вперед и, что вообще-то ему было несвойственно, с шумом выдвигает и задвигает ящики стола. И вслед за этим, если слух ее не обманывал, на лестнице раздались шаги Леопольда.

Нет, Женни не ошиблась; он вошел и хотел было (она все еще стояла у окна) пройти через всю комнату и поцеловать ей руку. Но взгляд, которым она его встретила, был настолько отстраняющим, что он остановился и ограничился полупоклоном.

— Что это значит, Леопольд? Сейчас десять, время поаднее, пора спать, а ты вдруг вздумал писать мне записку и настаивать на неотложном разговоре. Для меня новость, что у тебя на душе есть такое, что не терпит отлагательства даже до утра. В чем дело? Чего ты хочешь?

— Жениться, мамá. Я обручился.

Советница отшатнулась, и счастье ее, что окно, возле которого она стояла, послужило ей опорой. Ничего доброго она не ждала, но обручение без ее ведома — это превзошло все ее наихудшие опасения. Одна из девиц Фельгентрей? Женни обеих считала дурочками, а всех Фельген-

треев — людьми не своего круга. Старик некогда заведовал складом в большом кожевенном предприятии и в конце концов женился на хорошенькой экономке своего принципала, частенько менявшего женскую прислугу. Вот с чего начался этот брак, по ее мнению, оставлявший желать много лучшего. Но если сравнивать их с Мунками, то это еще не самое худшее; и она только спросила:

— Эльфрида или Бланка?

— Ни та, ни другая.

— Так. А кто же?

— Коринна.

Это было уж слишком. Женни чуть не лишилась чувств, она зашаталась и, наверно, упала бы на пол на глазах у своего сына, если б тот не успел поддержать ее. Держать ее было нелегко, а нести еще труднее, но бедняга Леопольд, который в сложившейся ситуации превзошел самого себя, справился с этой задачей и отнес свою мамá на диван. Затем он хотел нажать на кнопку электрического звонка, но Женни, как большинство женщин, все же не настолько лишилась чувств, чтобы не замечать, что вокруг нее творится, и схватила его за руку в знак того, что звонить не надо.

Она быстро пришла в себя, взяла в руки стоявший перед нею флакон одеколона и, смочив себе лоб, проговорила:

— Итак, Коринна.

— Да, мамá.

— И это серьезно? Вы действительно хотите обвенчаться?

— Да, мамá.

— Здесь, в Берлине, в той самой церкви святой Луизы, где венчались твой достойный добрый отец и я?

— Да, мамá.

— Что ты заладил все «да, мамá» и «да, мамá»? Можно подумать, что Коринна подучила тебя говорить только «да, мамá». Ну, Леопольд, если так, мы быстро выучим свои роли. Ты будешь твердить «да, мамá», а я — «нет, Леопольд». И мы еще посмотрим, что окажется тверже — твое «да» или мое «нет».

— Мне кажется, ты несколько облегчаешь себе задачу.

— Едва ли. Но если даже и так, то это значит только, что я твоя способная ученица. Во всяком случае, это тоже очень уж легко: войти к матери и без обиняков объявить ей «я обручился». В приличных семьях так не принято.

Это возможно в театре или в тех артистических и ученых кругах, где выросла твоя умница Коринна; говорят, она даже правит тетрадки за отца. Но как бы там ни было, если для них это в порядке вещей, мне до этого дела нет. И если она, со своей стороны, заявит отцу, старику профессору (впрочем, вполне почтенному человеку): «Я обручилась», то он, возможно, даже обрадуется. У него есть на то причины, Трайбели на земле не валяются, и не каждому удастся их подобрать. Но я, я не радуюсь и запрещаю тебе этот брак. Ты лишний раз доказал, Леопольд, какой ты еще незрелый юнец, то есть попросту говоря — мальчишка.

— Мама, ты могла бы быть со мною помилосерднее.

— Помилосерднее? А ты был со мною милосерден, когда объявил эту глупость? Ты сказал, что женишься. Кого ты хочешь обмануть? Не ты женишься, а тебя женят. Она тобой играет, а ты, вместо того чтобы воспротивиться, целуешь ей ручку и даешь себя одурачить, как последний простофиля. Этому я воспрепятствовать не могла, но дальнейшему я смогу воспрепятствовать и воспрепятствую. Обручайтесь, сколько вам угодно, но чтоб все было шито-крыто, об оглашении не может быть и речи. Объявления о помолвке не воспоследует, а коли ты сам вздумашь о ней объявить, то можешь принимать поздравления в мебелированных комнатах. В моем доме не будет ни помолвки, ни Коринны. С этим покончено. Старую песню о неблагодарности я испытала на своей шкуре и теперь понимаю, как неразумны мы бываем, балуя людей и возвышая их до себя. С тобой обстоит не лучше. Ты мог бы избавить меня от этого горя и скандала. То, что ты соблазнен, извиняет тебя лишь наполовину. Теперь ты знаешь мою волю и, смело могу сказать, волю твоего отца, он хоть и делает не мало глупостей, но там, где на карту поставлена честь его дома, на него можно положиться. А сейчас иди, Леопольд, и спи, если можешь спать. Кто ничего не стыдится — тому крепко спится.

Леопольд прикусил губу и горько усмехнулся.

— И даже если ты что-то задумал, а ты улыбаешься и стоишь с таким упрямым видом, какого я у тебя еще не видала, в чем тоже чувствуется чуждый дух и чуждое влияние, — и даже если ты что-то задумал, не забывай, что дома детей строятся на родительском благословении. Коль скоро я смею тебе советовать, одумайся и из-за этой негодницы и минутного каприза не разрушай основ, на кото-

рых зиждется жизнь и без которых не может быть истинного счастья.

Леопольд, к собственному своему удивлению, все это время нимало не чувствовал себя уничтоженным, казалось, даже в какой-то момент он хотел что-то ответить ей, но, взглянув на мать, возбуждение которой, по мере того как она говорила, все возрастало, Леопольд понял, что каждое его слово только усугубит тяжесть положения. Он спокойно поклонился и вышел из комнаты.

Едва дверь за ним затворилась, как советница вскочила с дивана и принялась расхаживать взад и вперед по ковру. Каждый раз, подходя к окну, она останавливалась и смотрела на мансарду напротив и на все еще стоявшую в освещенном окне гладильщицу, покуда внимание ее не привлекла уличная суতোлка. Тут же она увидела, что в палисаднике, опершись левой рукой о решетку ограды, стояла ее горничная, хорошенькая блондинка, которую Женни в свое время не хотела брать в дом, радея о «нравственности» Леопольда. Она смеялась и оживленно болтала со стоявшим на тротуаре «кузенком», но, как только подъехал на дрожках вернувшийся от Буггенхагена коммерции советник, мгновенно исчезла. Подойдя к дому и взглянув на длинный ряд окон, Трайбель сразу же отметил, что свет горит лишь в комнате его жены, и решил тотчас пойти к ней, чтобы рассказать о сегодняшнем вечере и о своих разнообразных впечатлениях. У Буггенхагена его встретили довольно прохладно, надо думать, в связи с корреспонденцией в «Национальцейтунг», однако под влиянием его любезного обхождения эта холодность смягчилась, тем более что он, словно бы шутя, всячески открещивался от Фогельзанга, которого здесь терпеть не могли.

Его так и подмывало рассказать об этой победе, хотя он знал, как Женни относится к таким вещам, но когда он вошел к ней и увидел, в каком она волнении, приветливое «Добрый вечер, Женни!» замерло у него на губах, и, протянув ей руку, он только спросил:

— Что случилось? У тебя вид святой великомученицы. Нет, не будем кощунствовать, ты выглядишь так, словно твой урожай побито градом.

— Я полагаю, Трайбель, — отвечала Женни, продолжая нервно шагать по комнате, — ты мог бы подыскать более изящное сравнение. «Побитый урожай» отдает чем-то в высшей степени деревенским, чтобы не сказать мужицким. Я вижу, Тейпиц-Цоссен уже принес свои плоды.

— Милая Женни, мне кажется, в данном случае вина в меньшей степени ложится на меня, нежели на языковые и образные сокровища немецкой нации. Все обороты, имеющиеся у нас для выражения печали и скорби, носят несколько простонародный характер, и здесь, пожалуй, больше всего подойдет сравнение с дубильщиком, у которого уплыли его шкуры.

Она метнула на него столь злобный взгляд, что он загнулся и счел за благо прекратить дальнейшие поиски сравнений. Женни тут же перешла в наступление:

— Твои соображения касательно меня всегда держатся на одном и том же уровне. Ты видишь, что я встревожена, но участие свое выражаешь в безвкусных сравнениях. А что является причиной этой тревоги, кажется, немало не возбуждает твоего любопытства.

— Но, Женни, Женни, ты не должна на это обижаться. Ты же меня знаешь, я ничего дурного при этом не думал. Тревога! Вот слово, которого я не выношу! Наверняка опять что-нибудь с нашей Анной, очередная любовная история, или она снова собралась уходить? Если я не ошибаюсь, она стояла...

— Нет, Трайбель, дело не в ней. Анна может поступать, как ей заблагорассудится, пусть рождает незаконных детей, пусть окончит свои дни кормилицей из Шпревальда. Пусть ее папаша, старый учитель, воспитывает в своем внуке то, что не сумел воспитать в дочери. Если меня и волнуют любовные истории, то совсем другие.

Итак, все-таки любовная история! Кто же ее виновник?

— Леопольд.

— Черт возьми! — И нельзя было разобрать, чего больше было в этом возгласе Трайбеля, испуга или радости. — Леопольд? Возможно ли это?

— Это более чем возможно, это точно. Четверть часа назад он сам был здесь, чтобы поставить меня в известность о своей любовной истории.

— Странный юноша!

— Он обручился с Коринной.

Несомненно, госпожа советница ожидала от своего сообщения большего эффекта, но такового не последовало. Первым чувством Трайбеля было разочарование с легкой примесью веселья. Он ожидал услышать о какой-нибудь маленькой субретке или даже о «девушке из народа», а тут вдруг известие, которое в соответствии с его

широкими взглядами могло вызвать в нем любые другие чувства, но только не испуг и отчаяние.

— Коринна, — произнес он. — Так прямо и обручился, не спросив мамашу. Вот чертенок! Нам свойственно недооценивать близких, и прежде всего своих собственных детей.

— Трайбель, что это значит? Твои буггенхагеновские настроения неуместны в серьезном разговоре. Ты приходишь домой, застаешь меня в страшном волнении, и в момент, когда я сообщаю тебе о его причинах, находишь уместным отпустить весьма сомнительные шутки! Неужели ты не понимаешь, что это равносильно насмешке надо мной и моими чувствами, и если я правильно расцениваю твою позицию, то ты отнюдь не считаешь скандальной эту так называемую помолвку. И в этом я хочу удостовериться, прежде чем мы продолжим наш разговор. Итак, скандал это или нет?

— Нет.

— И ты не собираешься призвать Леопольда к ответу?

— Нет.

— И ты не возмущен этой особой?

— Ни в коей мере.

— ...Этой особой, абсолютно недостойной твоего и моего участия; теперь ей, видите ли, вздумалось перенести в наш дом, дом Трайбелей, свою кровать — вряд ли у нее найдется что-нибудь посущественней.

Трайбель рассмеялся.

— Видишь, Женни, этот речевой оборот тебе явно удался; когда я с моей фантазией — а бурная фантазия — мое несчастье, — представляю себе, как красавица Коринна идет и, так сказать сгибаясь под непосильной тяжестью, перетаскивает свою кровать в дом Трайбелей, то, ей-богу, я мог бы хохотать целый час. Но я предпочитаю не смеяться, а уж коль скоро ты так серьезно ко всему этому относишься, всерьез с тобою объясниться. Все, что ты сейчас наговорила, во-первых, бессмысленно, во-вторых, возмутительно. И вдобавок свидетельствует о слепоте, забывчивости, надменности. Я и говорить об этом не желаю!

Женни была бледна как полотно и вся дрожала, ибо отлично поняла, к чему относится «слепота и забывчивость». Но Трайбель, человек умный, добрый и к тому же искренне ненавидящий всякого рода высокомерие, продолжал:

— Ты вот тут толкуешь о неблагодарности, скандале,

позоре, и тебе, чтобы достичь вершин великолетия, недостает лишь слова «бесчестье». Неблагодарность! Ты что же, этой умной, жизнерадостной и занятой девушке, которая с легкостью заткнет за пояс семерых Фельгентре-ев — о наших ближайших родственниках и говорить не приходится, — хочешь поставить в счет те финики и апельсины, которые она своей изящной ручкой брала из нашей майоликовой вазы с Венерой и Купидоном, кстати сказать, ваза эта безвкусна и смехотворна! А мы с тобою разве не ходили в гости к доброму старому профессору, к Вилибальду, — ведь он так мил твоему сердцу! — и разве мы не пили его вино, которое несколько не уступает моему или только чуть-чуть? И разве ты от избытка чувств не садилась у них в гостиной за разбитый рояль и не пела там песни своей юности? Нет, Женни, избавь меня от подобных историй. Я ведь тоже могу рассердиться.

Чтобы заставить мужа замолчать, Женни взяла его за руку.

— Погоди, Женни, я еще не все сказал. Я еще только начал! Скандал, говоришь ты, позор. Так вот что я тебе скажу: берегись, как бы воображаемый позор не обернулся позором подлинным, или, раз уж ты любишь образные выражения, как бы стрела не вернулась к стрелку. Ты на верном пути, ты и себя и меня втравившь в историю, из-за которой мы сделаемся всеобщим посмешищем. Кто мы такие в конце-то концов? Мы не Монморанси, не Лусиньяны, из коих, замечу кстати, произошла прекрасная Мелузина, если тебя это интересует. Мы также не Бисмарки и не Арнимы или еще какие-нибудь бранденбургские дворяне. Мы Трайбели, «кровавая соль и железный купорос», а ты урожденная Бюрстенбиндер с Адлерштрассе. Бюрстенбиндер — это само по себе неплохо, но вряд ли первый Бюрстенбиндер занимал положение выше, нежели первый Шмидт. И потому прошу тебя, Женни, не преувеличивай, оставь свои военные планы и, если возможно, прими Коринну так же спокойно, как приняла Елену. Нет никакой необходимости, чтобы свекровь и невестка без памяти любили друг друга, не они ведь женятся; все зависит от тех, у кого достало мужества взвалить на себя эту нелегкую ношу.

Во время второй половины трайбелевской филиппики Женни была на удивление спокойна, и причина этого заключалась в отличном знании мужского характера. Она знала, что, когда он сильно взволнован, он обычно испы-

тывает потребность выговориться и что начинать с ним серьезный разговор можно лишь после того, как он выскажет все, что у него накипело. В конце концов ей было даже на руку, что сей акт внутреннего освобождения начался так быстро и так основательно. Все, что говорилось теперь, завтра уже не будет иметь значения, с этим будет покончено, и появится надежда на мирные переговоры. Трайбель был из числа людей, смотрящих на вещи, так сказать, с двух сторон, и потому Женни была вполне убеждена, что к утру он одумается и взглянет на помолвку Леопольда совсем другими глазами. Посему она взяла его за руку и предложила:

— Трайбель, давай продолжим этот разговор завтра с самого утра. Я верю, что твой пыл поостынет и ты должен будешь признать мою правоту. Но не рассчитывай, что я могу изменить свое мнение. Я не хотела опережать тебя в этом деле, тебе, как мужчине, надлежит действовать, однако ты уклоняешься от каких бы то ни было действий, в таком случае действовать буду я. Даже несмотря на твое несогласие.

— Поступай как знаешь. — С этими словами Трайбель захлопнул дверь и пошел в кабинет. Там он бросился в кресло, бормоча себе под нос: — А что, если она все же права...

Да и могло ли быть иначе? Добродушный Трайбель, он был как-никак продуктом трех поколений непрестанно богатевших фабрикантов, и, несмотря на свою доброту и благодушие и вопреки политическим гастролям на сцене Тейпиц-Цоссена, буржуа засел в нем так же глубоко, как и в его сентиментальной супруге.

Глава тринадцатая

На следующее утро советница поднялась раньше обычного и послала сказать Трайбелю, что желает завтракать в одиночестве. Трайбель приписал это вчерашним треволнениям, но ошибся, ибо в освободившиеся таким образом полчаса Женни намеревалась написать письмо Хильдегард. Сегодня ей было не до того, чтобы миролюбиво или, напротив, в прежнем воинственном настроении рассиживаться за чашкой кофе, и правда, она едва допила маленькую чашечку, отставила ее обратно на поднос, поднялась с дивана и перешла к письменному столу, где перо ее с неистовой быстротой заскользило по листкам бумаги,

каждый из которых был не больше ладони, но имел, слава богу, четыре стороны. Письма, если Женни бывала в ударе, всегда давались ей легко, но все же не так, как сегодня, и когда небольшие часы на консоли пробили девять, она уже сложила все листки и, постукав ими по столу, выровняла, точно колоду карт, а затем еще раз вполголоса перечитала написанное:

«Милая Хильдегард! Вот уже сколько времени мы носимся с мыслью как можно скорее исполнить наше давнее желание и вновь увидеть Тебя под нашим кровом. Вплоть до мая погода у нас стояла скверная, а весны, которая представляется мне прекраснейшим временем года, и помину не было. Но вот уже недели две, как все переменялось, в нашем саду поют соловьи, а Ты, насколько мне помнится, очень любишь их трели. И потому мы от всей души просим Тебя оставить на несколько недель любезный Твоему сердцу Гамбург и почтить нас своим присутствием. Трайбель поддерживает мою горячую просьбу, и Леопольд присоединяется к нам. Говорить в этой связи о Твоей сестре Елене я считаю излишним, ибо ее теплое чувство к Тебе известно Тебе не хуже, чем нам,— чувство, которое, если мне не отказывает моя наблюдательность, в последнее время все возрастает. Дела у нас таковы, что я, насколько это возможно в одном письме, хочу Тебе подробнее о них рассказать. Иногда я вижу, что Елена очень бледна, и хотя бледность ей к лицу, у меня сердце обливается кровью, но спросить ее о причинах этой бледности у меня не хватает духу. Дело здесь не в Отто, в нем-то я уверена, ибо он не просто добрый, но и чуткий, внимательный человек, и, перебирая все возможные причины, я чувствую, что здесь не может быть ничего другого, кроме тоски по родине. Ах, мне это так понятно, я могу лишь повторять: «Поезжай, Елена, поезжай сегодня, завтра и можешь быть уверена, что я по мере сил присмотрю за твоим хозяйством вообще и за глаженьем белья в частности, точно так же, нет, даже гораздо лучше, чем если б делала это для Трайбеля, а уж он в этих вещах так педантичен, куда педантичнее многих других берлинцев». Но я ничего этого не скажу, так как знаю, что она с удовольствием откажется от любой радости, кроме радости исполненного долга. И прежде всего в отношении ребенка. Взять Лизи с собой и прервать ее школьные занятия почти так же невысказимо, как и оставить ее здесь. Сладостное дитя! Как Ты порадуешься, глядя на нее, ведь

я рассчитываю, что моя просьба не будет напрасной. Фотографии не дают достаточного представления, особенно о детях, главная прелесть которых в прозрачности и нежности их кожи, цвет лица не только оттеняет выражение, он сам по себе выражение. Крола, Ты его, вероятно, помнишь, еще совсем недавно утверждал, что связь между цветом лица и душою прямо-таки удивительна. Что мы можем предложить Тебе, моя милая Хильдегард? Мало, собственно говоря, ничего. Теснота наших комнат Тебе известна; кроме того, у Трайбеля завелась новая страсть, он пожелал быть избранным, и притом в округе, странное и несколько по-вендски звучащее название коего, по-видимому, не входит в область Твоих географических познаний, несмотря на то что ваши школы, как меня недавно уверял Фельгентрей (конечно, не слишком большой авторитет в этом вопросе), значительно лучше наших. В настоящее время в Берлине нет ничего интересного, кроме юбилейной выставки, ее обслуживание взяла на себя фирма Дрейер из Вены, и теперь она подвергается самым жестоким нападкам. Хотя на что только не нападают берлинцы: пивные кружки им слишком малы — впрочем, для дам это не так уж важно, — и я, право, полагаю, ничто не способно устоять перед нашим сомнением. Даже ваш Гамбург. Стоит мне вспомнить о нем, сердце мое радуется. Этот чудесный Бутен-Альстер! Когда вечером в его водах мерцают фонари и звезды, каждый, кто имеет счастье любоваться этим зрелищем, как бы возносится над земной юдолью. Но Ты постарайся забыть об этом, милая моя Хильдегард, иначе у нас мало шансов видеть Тебя здесь, что вызовет искреннее сожаление у всех Трайбелей, а в особенности у нежно любящей Тебя подруги и тетки

Женни Трайбель.

Р. С. Леопольд теперь каждое утро много ездит верхом, в Трептов или в «Яичную скорлупку». Он жалуется, что ему одному скучно. У Тебя еще не прошла Твоя старая страсть? Я так и вижу Тебя, летящей на коне, сорванец Ты этакий. Если б я была женщиной, я бы жизнь положила на то, чтобы Тебя изловить. Впрочем, я уверена, что другие думают точно так же, в чем мы бы уже давно убедились, не будь Ты такой разборчивой. Постарайся впредь быть более покладистой и не предъявлять столь высоких требований, хоть Ты и имеешь на то полное право.

Твоя Ж. Т.»

Женни сложила листки и сунула их в конверт, на котором, вероятно, в ознаменование ее мирных намерений, красовался белый голубь с оливковой ветвью. Это было тем более уместно, что Хильдегард состояла в оживленной переписке с Еленой и была довольно хорошо осведомлена, во всяком случае, до сего времени, об истинных чувствах Трайбелей, и особенно госпожи советницы.

Едва Женни встала, чтобы позвонить Анне, со вчерашнего вечера вызывавшей у нее некоторые сомнения, как взгляд ее случайно упал на улицу, и она увидела свою невестку, быстро идущую от калитки к дому. За решеткой стояла довольно-таки обшарпанная извозчичья карета с закрытым окном, несмотря на жару.

Спустя минуту Елена вошла к свекрови и порывисто обняла ее. Потом отбросила в сторону летнее пальто и соломенную шляпу, снова обняла ее и проговорила:

— Это правда? Может ли это быть?

Женни молча кивнула и только сейчас заметила, что Елена в утреннем туалете и волосы ее еще заплетены в косу. Значит, как она была в тот момент, когда эта потрясающая новость стала известна у них в доме, так и бросилась сюда, в первом попавшемся экипаже. Это было нечто такое, отчего Женни почувствовала, как лед, на протяжении восьми лет сковывавший ее сердце свекрови, начал таять. На глаза ее тут же навернулись слезы.

— Елена, — сказала она, — забудем все, что было между нами. Ты хорошая девочка, ты сочувствуешь нашему горю. Пусть я подчас бывала чем-нибудь недовольна, не будем теперь спорить, права я была или нет; но в *таких* делах на тебя и Отто можно положиться, вы всегда отличите разумное от неразумного. К сожалению, я не могу того же сказать о твоём свекре. Думаю, однако, что в конце концов он образумится. Но как бы там ни было, нам надо держаться вместе. С Леопольдом нетрудно будет сладить. Но против этой опасной, настырной особы, самонадеянности которой с лихвой хватило бы на трех принцесс, против нее мы все должны восстать. И не думай, что она так легко сдастся. Эта профессорская дочка так спесива, что, чего доброго, воображает, будто она еще оказывает честь дому Трайбелей.

— Ужасная особа, — отвечала Елена, — я вспоминаю день, проведенный с dear mister Nelson¹, мы безумно бо-

¹ Дорогим мистером Нельсоном (англ.).

ялись, что он отложит свой отъезд и посватоется к ней. Одному богу известно, что бы из этого вышло, при отношениях Отто с ливерпульской фирмой такой брак мог бы оказаться для нас роковым.

— Ну, слава богу, это уже прошлое. Может, так оно лучше, все останется en famille¹. Старого профессора мне опасаться не приходится, он с давних пор у меня в руках. Он перейдет на нашу сторону. А сейчас мне надо идти одеваться, детка. Хотя вот еще один важный пункт. Я только что написала твоей сестре Хильдегард и просила ее приехать к нам погостить. Прошу тебя, Елена, черкни несколько слов твоей мамá, вложи оба письма в конверт и напиши адрес.

С этими словами советница вышла, а Елена присела к письменному столу. Она была так увлечена всем происходящим, что даже не ощутила торжества, оттого что ее замыслы касательно Хильдегард близки к осуществлению; нет, ввиду общей опасности в ней жило только сочувствие к свекрови, как к «главе дома», и ненависть к Коринне. Она быстро написала все, что хотела, и прекрасным английским почерком, размашистым, с округлыми линиями, вывела адрес: «Госпоже консульше Торе Мунк, урожд. Томпсон. Гамбург, Уленхорст».

Когда чернила просохли, Елена наклеила на довольно-таки объемистое письмо две марки, затем встала и, тихонько постучав в дверь туалетной комнаты свекрови, крикнула:

— Я ухожу, дорогая мамá, и захвачу с собою письмо.

Елена вышла из дому, прошла через палисадник, разбудила кучера и села в карету.

Между девятью и десятью в дом Шмидта одновременно прибыли два письма, посланные пневматической почтой, — случай, доселе здесь небывалый. Одно из них, весьма краткое, было адресовано профессору Шмидту.

«Любезный друг! Могут ли я быть сегодня у Вас между двенадцатью и часом дня? Ответа не надо, ибо молчание — знак согласия.

Преданная Вам

Женни Трайбель».

Второе письмо, на имя Коринны, было ненамного длиннее и гласило:

¹ В семье (франц.).

«Милая Коринна! Еще вчера вечером я имел разговор с мамá. Не стоит и говорить, что мне было оказано сопротивление, и теперь я яснее, чем когда-либо, понял, что нам предстоят тяжелые бои. Но ничто нас не разлучит. В душе моей живет высокая радость, и она придает мне мужества. В этом тайна и сила любви. Эта сила будет поддерживать меня и вести за собой. Несмотря на все заботы, твой безмерно счастливый

Леопольд».

Коринна отложила письмо.

— Бедный мальчик! Все, что он пишет, от чистого сердца. Даже его слова о мужестве. Но заячья душонка все же сказывается. Ну, да там видно будет. Держи, что имеешь. Я не уступлю.

Все утро Коринна провела в разговорах сама с собою. Изредка заходила Шмольке, но молчала или ограничивалась мелкими хозяйственными вопросами. У профессора сегодня было всего два урока, греческий — Пиндар и немецкий — романтическая школа (Новалис), и вскоре, после двенадцати, он вернулся домой. Он ходил взад и вперед по своей комнате, и мысли его были попеременно заняты то абсолютно ему не понятной заключительной фразой стихотворения Новалиса, то столь торжественно возвещенным визитом его подруги Женни.

Еще не пробило часа, когда под окнами раздался грохот экипажа по разбитой булыжной мостовой. Должно быть, она. И это была она, на сей раз в одиночестве, без фрейлейн Патоке и без болонки. Она сама открыла дверцу экипажа и медленно, степенно, словно еще раз повторяя свою роль, стала подниматься по каменным ступеням. Спустя минуту Шмидт услышал звонок, и тотчас же Шмольке доложила:

— Госпожа коммерции советница Трайбель.

Шмидт пошел ей навстречу, пожалуй, менее непринужденно, чем обычно, поцеловал руку и предложил сесть на диван, глубокая вмятина которого до некоторой степени выравнивалась большой кожаной подушкой. Сам он взял стул и, усевшись напротив нее, спросил:

— Чем я заслужил такую честь, любезный друг? Я чувствую, что случилось нечто из ряда вон выходящее.

— Так оно и есть, дорогой профессор. И ваши слова не оставляют у меня сомнений в том, что фрейлейн Ко-

ринна не сочла нужным уведомить вас о случившемся. Дело в том, что фрейлейн Коринна вчера вечером обручилась с моим сыном Леопольдом.

— А-а,— протянул Шмидт; в тоне его было столько же испуга, сколько и радости.

— Вчера, во время нашей прогулки в Груневальд, лучше б ее вовсе не было, фрейлейн Коринна обручилась с моим сыном Леопольдом, да-да, именно она с ним, а не наоборот. Леопольд шага не сделает без моего ведома, а тем более столь важного шага, как обручение. Так что здесь речь, к моему великому сожалению, идет о какой-то интриге, умело расставленной ловушке или, прошу прощения, дорогой друг, о заранее обдуманном нападении.

От этих сильных слов у старого Шмидта не только полегчало на душе, к нему даже вернулась его обычная веселость. Он увидел, что не ошибся в своей старой подруге и что она нисколько не изменилась, несмотря на весь свой лиризм и возвышенные чувства, осталась все той же Женни Бюрстенбиндер, придающей значение только внешнему, и потому он, со своей стороны, решил в, по-видимому, неизбежных дебатах избрать тон некоторого высокомерного превосходства, разумеется, при полном соблюдении всех форм вежливости и показной предупредительности. Это он был обязан сделать из чувства самоуважения и ради Коринны.

— «Нападение», сударыня. Пожалуй, вы и правы, прибегнув к такому слову. И должно же было это случиться именно в Груневальде. Странно, что подобного рода истории неизбежно происходят в одних и тех же местах. Все попытки переделать эти уголки с помощью лебединых домиков и кегельбанов, придать мирный вид этим разбойничьим местам оказываются тщетными, и прежний характер нашего старого, пользующегося столь дурной славою Груневальда снова и снова дает себя знать. И всякий раз совсем неожиданно. Так разрешите мне, сударыня, позвать сюда этого соблазнителя *generis feminini*¹, чтобы он сознался в своем преступлении.

Женни прикусила губу и пожалела о неосторожно сорвавшемся слове, давшем повод над нею посмеяться, но отступать было поздно, и она ограничилась тем, что сказала:

— Да, дорогой профессор, лучше всего будет выслушать саму Коринну. И я думаю, она не без гордости признается, что ей удалось одурачить бедного малого.

¹ Женского пола (лат.).

— Весьма возможно, — ответил Шмидт, встал, подошел к двери и позвал: — Коринна!

Не успел он снова сесть на свое место, как Коринна явилась на его зов, еще в дверях вежливо поклонилась советнице и спросила:

— Ты звал меня, папá?

— Да, Коринна, звал. Но прежде чем мы продолжим наш разговор, возьми стул и сядь в некотором отдалении от нас. Этим я хочу особо подчеркнуть, что ты пока что являешься подсудимой. Придвинься ближе к окну, тебя будет лучше видно. А теперь отвечай мне, соответствует ли истине, что вчера вечером в Груневальде ты с молодецкой отвагой урожденной Шмидт подчистую ограбила бюргерского сына по имени Леопольд Трайбель, мирно и безоружно шедшего своей дорогой?

Коринна улыбнулась, затем встала, подошла к столу и сказала:

— Нет, папá, нисколько не соответствует. Все произошло согласно принятым у нас обычаям, и обручились мы по всем правилам.

— О! В этом я не сомневаюсь, фрейлейн Коринна, — заметила Женни, — сам Леопольд считает себя вашим женихом. Я только хочу сказать одно: вы ваше чувство превосходства, которое дают вам ваши годы...

— Мои годы? Но я моложе...

— ...которое дают вам ваши ум и характер, использовали, чтобы совсем лишить беднягу воли и всецело завладеть им.

— Нет, сударыня, все обстояло несколько иначе, по крайней мере, на первых порах. Но возможно, что в конце концов вы и правы, к этому, если позволите, мы еще вернемся...

— Хорошо, Коринна, хорошо, — произнес профессор, — продолжай. Итак, на первых порах...

— Итак, начнем с того, что это неверно, сударыня. Вот как было на самом деле. Я говорила с Леопольдом о его ближайшем будущем и описывала ему свадебную церемонию, намеренно не называя никаких имен и лишь в самых общих чертах. А когда наконец я была вынуждена назвать имена, то я назвала Бланкенеце, где собрались гости на свадебный пир, и прекрасную Хильдегард Мунк, одетую как королева и сидящую рядом со своим женихом. А жених этот был ваш Леопольд, сударыня. И вот тут-то Леопольд, ничего не желая об этом слышать, схватил меня

за руку и сделал мне предложение по всей форме. Потом я напомнила ему о его матери, но напоминание не имело успеха, и мы обручились...

— Я верю вам, фрейлейн Коринна, — отвечала советница, — искренне верю. Но ведь это была всего-навсего комедия. Вы отлично знали, что он предпочитает вас Хильдегард, и знали, что чем больше вы выдвинете на передний план бедняжку Хильдегард, тем вернее, — чтобы не сказать, тем страстнее, ибо в страстности его никак не обвинишь, — да, повторяю, тем вернее он склонится в вашу сторону и изберет вас.

— Вы правы, сударыня, я это знала наверняка или почти наверняка. Между нами об этом не было сказано ни единого слова, но тем не менее я верила, и уже давно, что он почтет за счастье назвать меня своей невестой.

— ...и знали, что столь умно и расчетливо состряпанная история с гамбургской свадебной церемонией неизбежно повлечет за собой объяснение в любви...

— Да, сударыня, я на это рассчитывала, и, полагаю, с полным на то правом. А ежели вы, как мне кажется, вполне серьезно хотите этому воспрепятствовать, то неужели же вас не смущает ваша собственная претензия, ваше требование, чтоб я отказалась от какого бы то ни было влияния на вашего сына? Я не красавица, я девушка, каких много. Но представьте себе на минуту, как это вам ни трудно, что я действительно красавица, *beauté*, перед которой не устоял ваш дражайший сын, так что же, вы бы потребовали, чтобы я изуродовала себе лицо кислотой и тем самым избавила вашего сына, а моего жениха, от ловушки, расставленной моею красотой?

— Коринна, — улыбнулся Шмидт, — не так резко. Госпожа советница у нас в доме.

— Нет, *этого* вы от меня не потребуете, во всяком случае, пока мне так кажется, если, конечно, я не переоцениваю ваши дружеские чувства ко мне, и все-таки вы требуете, чтобы я отказалась от того, что мне даровано природой. Я неглупа, откровенна, за словом в карман не лезу, и это действует на мужчин, даже на тех, коим недостает того, что имею я. Так что ж, прикажете мне отказаться от своего ума? Зарыть в землю свой талант? Задуть свой светильник? Прикажете при встречах с вашим сыном вести себя как монахиня, чтобы семейство Трайбелей, боже упаси, со мной не породнилось? Позвольте же мне, сударыня, заметить — вы можете приписать мои слова вами

же вызванному раздражению, — позвольте заметить, что я нахожу ваше поведение не только высокомерным и недостойным, но попросту комичным. Что такое Трайбели в конце-то концов? Фабрика берлинской лазури да титул советника в придачу, а я, я — урожденная Шмидт,

— Она — Шмидт, — радостно повторил старый Вилибальд и немедленно добавил: — Скажите, милый друг мой, не лучше ли было бы нам покончить с этим, предоставить все на усмотрение детей и довериться естественному ходу исторического развития?

— Нет, друг мой, ни в коем случае. Мы не станем доверяться ходу исторического развития и тем более не предоставим все на усмотрение детей, иными словами — на усмотрение фрейлейн Коринны. Я пришла сюда только затем, чтобы этому помешать. Памятуя о прошлом, связующем нас, я надеялась найти у вас одобрение и поддержку, но вижу, что ошиблась, и если здесь я ни на кого повлиять не смогу, то мне остается влиять на моего сына.

— Боюсь, что вам это не удастся, — заметила Коринна.

— Все будет зависеть от того, увидится он с вами или нет.

— Он увидится со мной.

— Может быть. А может быть, и нет.

С этими словами советница поднялась и, не подав руки профессору, направилась к двери. Потом вдруг обернулась и сказала, обращаясь к Коринне:

— Коринна, давайте говорить разумно. Я готова все забыть. Оставьте мальчика в покое. Он вам не пара. А что касается семейства Трайбелей, то вы сейчас так его обрисовали, что с вашей стороны не будет жертвой от него отказаться.

— А мои чувства, сударыня...

— Ба, — рассмеялась Женни, — вы заговорили о чувствах, и это ясно показывает мне, что таковых у вас не имеется. Все это лишь заносчивость, а вернее, упрямство. Я себе и вам желаю, чтобы вы поскорее с этим упрямством покончили. Ибо оно ни к чему не приведет. Мать тоже может повлиять на слабого сына, а я очень сомневаюсь, что Леопольд захочет провести медовый месяц в Альбекском рыбацьем домике. Можете быть уверены: семейство Трайбелей не снимет вам виллу на Капрп.

Женни поклонилась и проследовала в переднюю. Коринна не двинулась с места. Профессор же проводил свою подругу до лестницы.

— Adieu ¹,— сказала советница.— Я сожалею, милый друг мой, что все это стало между нами и бросило тень на наши столь давние добрые отношения. Моей вины тут нет. Вы слишком избаловали Коринну, она держится непозволительно насмешливо и высокомерно, полностью игнорируя разницу в наших годах, не говоря уже об остальном. Неуважение к старшим — отличительная черта нашего времени.

Хитрюга Шмидт не отказал себе в удовольствии при слове «неуважение» соорудить скорбную мину.

— Ах, любезный друг мой,— произнес он,— вы, разумеется, правы, но теперь уже поздно. Мне очень горько сознавать, что нашему дому суждено было причинить вам такую неприятность, более того, нанести оскорбление. Конечно, как вы только что верно заметили, в наше время... Каждый хочет подняться ступенью выше, каждый стремится в высшие сферы, что явно неугодно провидению.

Женни кивнула.

— Да поможет нам бог!

— Будем надеяться.

На этом они расстались.

Вернувшись в комнату, Шмидт обнял свою дочь, поцеловал ее в лоб и сказал:

— Коринна, не будь я профессором, я бы наверняка стал социал-демократом.

В это мгновение появилась Шмольке. Она расслышала только последнее слово и, угадав, о чем шла речь, сказала:

— Да, Шмольке тоже всегда это говорил.

Глава четырнадцатая

Следующий день был воскресным, и настроение, царившее в доме Трайбелей, изрядно способствовало традиционной воскресной тишине и скуке. Все старались избегать друг друга. Советница приводила в порядок письма, открытки и фотографии. Леопольд, сидя у себя в комнате, читал Гете (что именно, нетрудно догадаться), сам Трайбель разгуливал в саду вокруг бассейна и, как почти всегда во время таких прогулок, беседовал с фрейлейн Па-

¹ Прощайте (франц.).

токе. Сегодня он так увлекся, что вполне серьезно стал расспрашивать ее о войне и о мире, правда, в предвидении собственных прелиминарных ответов на им же поставленные вопросы. Прежде всего очевидно, что никто здесь ничего не знает, «даже государственный муж, стоящий у кормила правления» (он привык произносить эту сентенцию во время публичных выступлений); но именно потому, что никто здесь ничего не знает, нам остается предаться чувствам, а в области чувств всего сильнее и надежнее — женщины. Невозможно отрицать, что в женщине есть что-то от пифии, не говоря уж о пророчицах меньшего масштаба, которые встречаются на каждом шагу. Когда фрейлейн Патоке удалось наконец вставить слово, ее политический диагноз был следующим: на западе ей видится чистое небо, тогда как на востоке все снизу доверху затянуто мглой.

— Снизу доверху, — повторил Трайбель, — о, как это верно! И верх определяет то, что внизу, а низ — то, что сверху. Да, фрейлейн Патоке, вы попали в точку.

Чишка, которая, разумеется, тоже была здесь, залаяла после этих слов. Так, во взаимном удовольствии, протекал разговор Трайбеля и фрейлейн Патоке. Однако Трайбель не был расположен долго черпать из сего источника мудрости и вскоре удалился к себе в кабинет, выкурить сигару, кляня пикник в Халензее, приведший к всеобщему расстройству в его доме и усиливший обычную воскресную скуку. Около полудня ему подали телеграмму: «Благодарю за письмо. Буду завтра вечером поездом. *Ваша Хильдегард*».

Он велел отнести жене телеграмму, из коей впервые узнал об этом приглашении, и хотя его несколько удивили независимые действия супруги, в душе он обрадовался, что вот опять нашелся предмет для размышлений. Хильдегард была очень хороша собою, и перспектива на следующей неделе во время прогулок по саду видеть не одну только фрейлейн Патоке благотворно на него действовала. Вдобавок явилась тема для разговора, и если без этой депеши застольная беседа, вероятно, протекала бы достаточно вяло, а не то бы и вовсе не завязалась, то теперь у него, по крайней мере, была возможность задать несколько вопросов. Он и вправду задал эти вопросы, и все прошло вполне сносно: только Леопольд не пророчил ни слова и, по окончании обеда, быстро поднялся из-за стола, чтобы вернуться к своему чтению.

Поведение Леопольда свидетельствовало о том, что впредь он собой распоряжаться не позволит, но в то же время он ясно сознавал, что от представительских обязанностей ему уклониться не удастся и что завтра он будет вынужден встречать Хильдегард на вокзале. Он прибыл туда минута в минуту, низко склонился, приветствуя очаровательную родственницу, и задал ей ряд общепринятых вопросов: все ли здоровы в ее семействе, каковы их летние планы и так далее, покуда нанятый им носильщик не сбегал за извозчиком, а потом не притащил багаж, состоявший, собственно, из одного только сундука, окованного медью, но до того огромного, что, водруженный на пролетку, он сделал ее похожей на двухэтажный дом.

В дороге Леопольд опять-таки старался поддержать разговор, но до того робко и неловко, что вызвал лишь насмешливую веселость Хильдегард. Наконец они подъехали к вилле. Все Трайбели собрались у ворот, и после сердечных приветствий и приведения в порядок туалета «на скорую руку», что, кстати сказать, потребовало немало времени, Хильдегард появилась на веранде, где тем временем уже был накрыт стол для кофе. Она все находила «божественным», что свидетельствовало о внимательно выслушанных инструкциях госпожи консульши Торы Мунк, которая, видимо, настоятельно советовала дочери, памятуя о берлинской обидчивости, отбросить все «гамбургское». Никаких сравнений сегодня не приводилось, и кофейный сервиз, к примеру, вызвал бурное восхищение.

— Ваш берлинский фарфор с его узорами вытеснил даже севр. До чего же очарователен этот греческий орнамент!

Леопольд, прислушиваясь, стоял в некотором отдалении, покуда Хильдегард, прервав свою болтовню, не сказала:

— Не браните меня за то, что я с места в карьер говорю о вещах, о которых вполне можно было бы поговорить и завтра: греческий орнамент, севр, мейсен и так далее. В этом виноват Леопольд: пока мы ехали на извозчике, он вел столь ученый разговор, что я даже была смущена. Мне хотелось поскорее услышать о Лизи, он же, вообразите, рассуждал только о водосбросных каналах и радиальной системе, а я стеснялась спросить, что это, собственно, означает.

Старик Трайбель расхохотался, советница и бровью не повела, а на бледном лице Леопольда проступила краска.

Так прошел первый день, веселая непосредственность Хильдегард сулила и в будущем приятные дни, тем паче что советница оказывала ей всевозможные знаки внимания. Более того, со щедростью, ей отнюдь не свойственной, она осыпала Хильдегард дорогими подарками. Несмотря на все эти усилия, каковые, если не вдумываться поглубже, в известной мере достигали своей цели, хорошее настроение в доме так и не установилось, даже у самого Трайбея, на что, принимая во внимание его счастливый характер, твердо рассчитывали домашние. И для этого имелось достаточно причин, среди них не последней было то обстоятельство, что предвыборная кампания в Тейпиц-Цоссене завершилась окончательным провалом Фогельзанга. В связи с чем участились нападки на Трайбея. Поначалу его старались не затрагивать, ибо он пользовался любовью в округе, покуда бестактное поведение его агента не пресекло возможность и впредь щадить его. «Разумеется, беда быть человеком столь ограниченным, как лейтенант Фогельзанг, — писалось в одном из печатных органов враждебной партии, — но взять к себе на службу человека столь ограниченного — это уже неуважение к здравому смыслу жителей нашего округа. Кандидатура Трайбея провалилась именно по этой причине».

Не очень-то весело было в доме старых Трайбелей, и Хильдегард, мало-помалу это почувствовав, большую часть дня стала проводить у сестры. Там было бесспорно красивее, да и веселее; Лизи выглядела просто душечкой в своих длинных белых чулках. Однажды на нее даже надели красные. Когда она входила в комнату и делала книксен тетушке, та шептала сестре:

— Quite English, Helen¹. — И обе улыбались с довольным видом. Глаза их сияли. Но стоило Лизи уйти, и оживленной беседы между сестрами как не бывало, ибо таковая не могла не коснуться двух важнейших пунктов: помолвки Леопольда и желания деликатно этой помолвки избежать.

Да, скучно было у Трайбелей, но и у Шмидтов не веселее. Старик профессор, собственно, не выглядел ни озабоченным, ни расстроенным, напротив, он пребывал в убеждении, что вскоре все обернется к лучшему, однако считал необходимым предоставить этому процессу совершаться в

¹ Совсем по-английски, Елена (англ.).

тиши, а потому приговорил себя к нерушимому молчанию, что было ему нелегко. Шмольке, разумеется, придерживалась прямо противоположной точки зрения и, как почти все пожилые берлинки, полагала, что самое главное — это «выговориться», и чем больше, тем лучше. Однако все ее попытки в этой области успеха не имели. Коринна упорно отмалчивалась, когда Шмольке заводила свое:

— Что же все-таки будет, Коринна? О чем ты, спрашивается, думаешь?

Прямого ответа на эти вопросы не существовало; Коринна точно стояла у рулетки и, скрестив руки, ждала, где остановится шарик. Несчастной она себя не чувствовала, только очень растревоженной и недовольной, особенно при воспоминании о бурной сцене, когда с ее языка, вероятно, сорвалось много лишнего. Она отчетливо понимала, что все обернулось бы по-другому, если бы советница была менее раздражена, а она, Коринна, менее строптива. Признай она за собой хоть долю вины, и мир был бы заключен без особых усилий, поскольку все было основано лишь на расчете. Досадуя на высокомерное поведение советницы, Коринна прежде всего обвиняла самое себя, но в то же время отчетливо сознавала, что не будь даже всего того, в чем обвиняла ее собственная совесть, в глазах советницы это ничего бы не изменило. Страшная эта женщина, вопреки своим словам и поступкам, была весьма далека от того, чтобы поставить ей в упрек игру чувствами. Это был вопрос второстепенный, и не в нем было дело. Если бы даже Коринна, что было вполне возможно, искренне и от души любила этого добродушного и милого человека, то ее преступление, с точки зрения советницы, меньше бы не стало. «Советница с ее надменным «нет» обвиняет меня не в том, в чем могла бы обвинить, она противится нашей помолвке не потому, что мне недостает любви и доброты, а потому, что я бедна или, во всяком случае, не могу удвоить трайбелевский капитал, да, только по этой, а не по какой-либо другой причине. И если она внушает другим, а может быть, и себе, что я для нее слишком самоуверенна, что я, мол, «профессорская дочка», то лишь потому, что такой вариант ей кажется наиболее подходящим. В других обстоятельствах «профессорская дочка» не только не заслуживала бы порицания, но, напротив, стала бы предметом восхищения».

Вот что думала и говорила себе Коринна, и, желая по мере возможности убежать от этих мыслей, она стала

наносить визиты молодым и старым профессоршам, чего бог знает как давно не делала. Ей снова больше других полюбилась добрая госпожа Риндфлейш, с головой ушедшая в хозяйство; желая получше накормить своих многочисленных пансионеров, она ежедневно отправлялась на большой крытый рынок, всегда зная, у кого самые лучшие товары и самые низкие цены. Вечером об этих ценах сообщалось Шмольке, что вызывало ее гнев, сменявшийся восхищением столь незаурядными хозяйственными талантами. Коринна посетила также госпожу Иммануэль Шульце и нашла, что та необыкновенно мила и разговорчива, возможно, потому, что предстоящий развод супругов Фридеберг явился весьма и весьма благодарной темой, и все же Коринна решила, что не сможет прийти сюда еще раз, слишком уж много громких и циничных слов произносил сам Иммануэль. Но в неделе было много дней, и Коринне в конце концов пришлось довольствоваться посещением музеев и Национальной галереи. Увы, все, что она видела, было ей не по душе. В зале Корнелиуса в большой фреске ее заинтересовала лишь миниатюрная пределла — муж и жена высунули головы из-под одеяла, в Египетском музее поразило сходство Рамзеса с Фогельзангом.

Возвращаясь домой, она всякий раз осведомлялась, не спрашивал ли ее кто-нибудь, что должно было означать, не спрашивал ли ее Леопольд, Шмольке же неизменно отвечала:

— Нет, Коринна, ни души у нас не было.

У Леопольда и вправду не хватало мужества прийти к ней в дом. Он только каждый вечер писал ей письмецо, которое на следующее утро лежало перед ее прибором, когда она садилась завтракать. Шмидт с улыбкой посматривал на конверт, а Коринна спешила покончить с завтраком, чтобы прочесть письмо у себя в комнате.

«Милая Коринна. День прошел, как все дни. Мама́, видимо, все больше утверждает в своей враждебности. Ну, мы еще посмотрим, кто победит. Хильдегард много времени проводит у Елены, потому что никто здесь ею особенно не занимается. Мне даже жаль ее, такую молоденькую и хорошенькую. Вот достойный результат всех этих затей. Душа моя тоскует по тебе, и на следующей неделе мною будут приняты меры, которые наконец внесут полную ясность. То-то удивится мама́. Но я не боюсь ничего, даже самых крайних мер. Четвертая заповедь — это, конечно, хорошо, но все должно иметь границы. У нас есть

обязанности еще и по отношению к самим себе, а также к тем, кто нам дороже всего на свете. Я еще не решил, куда бежать, но думаю, что в Англию; там Ливерпуль и мистер Нельсон, а главное, через два часа мы доберемся до шотландской границы. В конце концов не важно, кто соединит наши руки, поскольку души наши давно соединились. Если бы ты знала, как бьется мое сердце, когда я пишу эти слова. Вечно твой

Леопольд».

Коринна разорвала письмо в клочки и швырнула их в плиту. «Так оно лучше, я забуду, что он писал сегодня, и завтра мне не с чем будет сравнивать его письмо. Кажется, что он каждый день пишет то же самое. Странное обручение. Но могу ли я упрекать его за то, что он не герой? И моя надежда сделать из него героя тоже давно угасла. Теперь начнется пора унижительных поражений. Заслуженных? Боюсь, что да».

Прошло еще полторы недели, а в доме Шмидта все оставалось без перемен; старик был по-прежнему молчалив. Марсель не показывался, Леопольд тем паче, только его утренние письма приходили с неизменной точностью; Коринна давно уже их не читала, разве что пробегала глазами и с улыбкой засовывала в карман своего утреннего платяца, где они мялись и комкались. Одно утешение оставалось ей — Шмольке, чье оздоровляющее присутствие было для нее поистине благотворно, хотя она все еще избегала откровенного разговора с ней.

Но настало время и для него.

Профессор вернулся домой уже в одиннадцать часов, в тот день была среда, и его уроки кончались на час раньше. Коринна и Шмольке слышали его шаги и слышали, как с шумом защелкнулся замок входной двери, но даже не подумали выйти ему навстречу, а остались в освещенной ярким июльским солнцем кухне, где все окна стояли настежь. К одному из них был придвинут кухонный стол. Снаружи на двух крючьях висел ящик с цветами — одно из примечательных творений искусства резьбы по дереву, столь модного в Берлине: мелкие дырки, образовывавшие некое подобие астр. Все было покрашено зеленым. В этом ящике стояли горшки с геранью и желтофиолью, меж которых прыгали воробьи и с дерзостью, свойственной жителям большого города, садились даже на кухонный стол.

Здесь они с восторгом клевали что ни попадя, и никто не отгонял их. Коринна, зажав коленями медную ступку, толкла корицу, а Шмольке разрежала зеленые груши и обе равные половинки бросала в большую коричневую миску; разумеется, совсем равными они не были, да и не могли быть, ибо на одной из них имелся черенок: последний и послужил темой для разговора, которого уже давно жаждала Шмольке.

— Глянь-ка, Коринна, — сказала Шмольке, — вот этот длинный черенок пришелся бы по сердцу твоему папе...

Коринна кивнула.

— ...Такой можно взять в руки, как макаронину, и грушу начать есть снизу... Странный человек...

— Что правда, то правда!

— Вернее, чудак, к которому сначала надо хорошенько привыкнуть. Но самое чудное — это его пристрастие к длинным черенкам; когда мы делаем сахарный пудинг с грушами, он ведь не велит отрывать черенки, вся груша, с косточками и с кожурой, должна оставаться в целости. Конечно, он профессор и очень умный человек, но должна тебе сказать, Коринна, если бы я своему доброму Шмольке, а он ведь был из простых, подала нечищеную грушу с таким длинным черенком, ох, уж и задал бы он мне головоломку. Хоть он и был очень добрый, но стоило ему подумать: «Она, верно, полагает, что и так сойдет», как он начинал злиться, делал «служебное лицо», и казалось, вот-вот меня арестует...

— Да, милая моя Шмольке, — проговорила Коринна, — это старая история и называется она «о вкусах не спорят». К тому же здесь, наверно, дело в привычке, а может быть, так полезнее.

— Полезнее, — рассмеялась Шмольке, — слушай, девочка моя, ежели тебе в гортань попадет волоконец от кожуры, ты поперхнешься и вынуждена будешь просить первого попавшегося человека: «Пожалуйста, похлопайте меня слегка по спине, чуть повыше поясицы». Нет, милая моя, я стою за груши «мальвазия», они без косточек и проходят точно масло. Здоровье!.. Черенки и кожура, не знаю уж чем они могут быть полезны для здоровья...

— Не говорите так, милая Шмольке. Некоторые, например, не переносят фруктов, плохо себя чувствуют от них, особенно если еще выпьют весь сироп, как мой папа. С этим можно бороться только одним способом: фрукты

должны оставаться как есть, с черенком и в кожуре. В том и другом содержатся вяжущие средства...

— Что такое?

— Вяжущее средство стягивает сначала только губы и рот, а дальше этот процесс стягивания распространяется на все внутренности, налаживает работу организма и предохраняет его от вредного воздействия.

Воробей слушал их разговор, и, видимо убедившись в справедливости слов Коринны, схватил один случайно обломившийся черенок, и, держа его в клюве, перелетел на другую крышу. Женщины умолкли и принялись болтать снова лишь через четверть часа.

Общая картина кухни претерпела некоторые изменения, ибо Коринна тем временем расстелила на столе лист синей бумаги из-под сахара, на котором лежало множество кусков сухой булки и большая терка. Она взяла терку, уперла ее в свое левое плечо и начала тереть сухари с таким рвением, что крошки рассыпались по всему листу. Время от времени она прерывала свое занятие, сгребала натертые сухари в кучку на середине листа и тут же начинала тереть снова; скрип при этом стоял такой, что казалось, она, во время работы, вынашивает всевозможные злодейские замыслы.

Шмольке искоса на нее посматривала. И наконец сказала:

— Коринна, что ты, собственно, трешь на своей терке?

— Весь мир.

— Многовато... И себя заодно?

— Себя в первую очередь.

— Правильно делаешь. Наверно только истерев себя в порошок, ты наконец образумишься.

— Никогда.

— Никогда не следует говорить «никогда», Коринна. Это вечно твердил мой Шмольке. И, надо думать, правильно, я заметила, что стоит человеку сказать «никогда», и это значит, что он близок к обратному. Я от души желаю, чтобы так было и с тобой.

Коринна вздохнула.

— Ты же знаешь, Коринна, что я всегда была против. Потому что мне ясно: ты должна выйти за своего кузена Марсея.

— Шмольке, голубушка, ни слова о *нем*.

— Так всегда говорят, когда сознают свою вину. Но я ничего не скажу, скажу только то, что уже сказала: я

всегда была против Леопольда и, конечно, насмерть перепугалась, когда ты мне все рассказала. Но когда ты добавила, что советница гневается, я подумала: «Так ей и надо, почему бы, собственно, не быть этой свадьбе? Пусть Леопольд еще младенец, наша Коринна уж сумеет его выхорить и поставить на ноги». Да, Коринна, вот что я подумала и вот что сказала тебе. Но это была глупая мысль, не следует огорчать другого человека, даже если его терпеть не можешь. Первое мое чувство — страх перед твоей помолвкой — было самое правильное. Тебе нужен умный муж, даже умнее тебя, — ты, ежели присмотреться, не такая уж умная, — и с характером, вроде моего Шмольке, муж, которого ты бы уважала. Леопольда ведь ты уважать не можешь. Неужто ты все еще любишь его?

— Ах, да я об этом совсем не думаю, милая моя Шмольке.

— Ну, Коринна, теперь уж пора с этим кончать. Не можешь же ты весь мир поставить на голову и уничтожить, затоптать свое собственное счастье и счастье других людей, среди которых будет и твой отец, и твоя старая Шмольке, лишь для того, чтобы подложить свинью советнице с ее шиньоном и бриллиантовыми бомбошками в ушах. Эта женщина только и знает, что чваниться своими деньгами, о фруктовой лавке она давно позабыла и невесть что из себя корчит, заигрывает с нашим старым профессором и зовет его «Вилибальд», словно они по-прежнему играют в прятки на чердаке и укрываются за кучами торфа; в те времена ведь торф еще держали на чердаках, и, спускаясь оттуда, все были похожи на трубочистов — да, Коринна, я отчасти тебя понимаю, ее приятно позлить, но она ведь уже свое получила. Недаром пастор Томас, когда венчал нас со Шмольке, сказал: «Любите друг друга, ибо жизнь человеческая должна быть направлена не на ненависть, а на любовь». И мы со Шмольке всегда помнили об этом, а теперь, дорогая моя Коринна, я говорю это тебе: не на ненависть должна быть направлена человеческая жизнь. Неужто ты и впрямь питаешь такую ненависть к советнице, я хочу сказать: настоящую ненависть?

— Ах, я даже не думала об этом, милая Шмольке.

— В таком случае, Коринна, я вижу, что и вправду приспела пора что-то предпринять. Раз ты его не любишь, а ее не ненавидишь, то я и в толк не возьму, к чему тогда вся эта канитель.

— Я тоже.

С этими словами Коринна обняла добрую Шмольке, а та, по мерцанию в глазах любимицы, поняла, что все миновало и буря утихла.

— Ну, детка, мы как-нибудь справимся, и кто знает, может, все еще образуется. А сейчас ставь-ка форму на стол, мы уложим пудинг, ему ведь не меньше часа надо вариться. И до обеда я твоему отцу ни словечка не скажу, а то он от радости ничего есть не станет...

— Ах, оставьте, прекрасно будет есть.

— Но после обеда скажу обязательно, даже если он сна лишится. Мне вот приснился сон, и я тебе тоже ничего о нем не сказала. А сейчас уже можно сказать. Мне приснились семь карет и обе «телки» профессора Быкмана подружками невесты, подружками кто только не хочет быть, на них все глаза пялят, больше, пожалуй, чем на невесту, она-то ведь уже занята. А вскоре обычно настает и их черед. Вот пастора я, правда, не сумела разглядеть. Знаю, что это был не Томас. Может быть, Соухон, но и для Соухона, пожалуй, толстоват.

Глава пятнадцатая

Пудинг был подан ровно в два часа и пришелся весьма и весьма по вкусу профессору. Благодарюствуя, он даже не замечал, что все его слова Коринна встречала молчаливой усмешкой, ибо был добросердечным эгоистом, как многие люди его склада, и не очень-то считался с настроениями домашних, покуда не случалось чего-то нарушавшего его душевный покой.

— Ну, а теперь вели убирать со стола, Коринна; прежде чем прилечь, я хочу еще написать хотя бы несколько слов Марселю. Дело в том, что он получил место, Дистелькамп, все еще сохранивший старые связи, сегодня утром сообщил мне об этом.

Говоря это, он смотрел на Коринну, желая собственными глазами убедиться, какое впечатление произведет на его дочь сия немаловажная новость. Однако он ничего не увидел, то ли потому, что нечего было видеть, то ли потому, что был недостаточно зорким наблюдателем даже в тех случаях, когда хотел им быть.

Он встал, встала и Коринна, чтобы пойти на кухню и попросить Шмольке убрать со стола. Войдя в столовую, Шмольке принялась с излишним и нарочитым грохотом,

посредством коего старые прислуги любят утверждать свою незаменимость в доме, собирать тарелки и приборы, причем так, что острия ножей и вилок торчали в разные стороны; колючую эту башню она, выходя из комнаты, крепко прижала к груди.

— Не уколитесь, Шмольке, голубушка,— заметил Шмидт, изредка позволявший себе некоторую фамильярность с ней.

— Не беспокойтесь, господин профессор, об этом не может быть и речи, так же как не может быть и речи о помолвке.

— Правда? Она сама вам сказала?

— Да, когда терла сухари для пудинга, у нее с языка сорвалось это признание. Ей все давно уже было не по сердцу, она только говорить не хотела. Очень уж ей наскучила канитель с Леопольдом. Что ни день, записочки с незабудкой на конверте и фиалкой внутри; вот она и убедилась, что он трусишка и его страх перед мамашей сильнее, чем любовь к ней.

— Что ж, я рад. Да, впрочем, ничего другого я и не ждал. И вы, вероятно, тоже, милая Шмольке. Марсель не чета Леопольду. И что в конце концов значит хорошая партия? Марсель археолог.

— Что правда, то правда,— проговорила Шмольке, заботливо таившая от профессора свое незнание ученых слов.

— Я говорю, Марсель археолог. Теперь он займет место Хедриха. И уже давно на хорошем счету. Придет время, и его со стипендией и оплаченным отпуском отправят в Микены...

Шмольке и на сей раз изобразила полное понимание и согласие с профессором.

— А может быть, и в Тирены, где сейчас работает Шлиман. И если он вернется оттуда, прихватив голову Зевса для моей комнаты...— при этом он невольно взглянул на печь, единственное место, куда еще можно было приткнуть Зевса,— то ему, я в этом уверен, безусловно будет обеспечена профессура. Старики не могут жить вечно. Вот, милая моя Шмольке, что я называю хорошей партией.

— Понятно, господин профессор. Для чего же тогда экзамены и вообще вся эта канитель? Шмольке, хоть и не был ученым, тоже говорил...

— Сейчас пойду напишу Марселю и потом прилягу на четверть часика. В половине четвертого, пожалуйста, принесите мне кофе. Никак не позже.

В половине четвертого кофе был подан. Письмо Марселю профессор уже с полчаса как отослал пневматической почтой, и если Марсель случайно не ушел из дому, то сейчас, вероятно, уже читал три краткие строчки, из которых явствовало, что он победил. Старший учитель гимназии! До сих пор он был всего-навсего преподавателем немецкой литературы в женской школе и нередко мрачно подсмеивался сам над собой, когда ему приходилось говорить о Codex argenteus¹ (юные создания хихикали при этих словах), о «Беовульфе» и о древнесаксонской книге «Спаситель». Несколько туманных выражений относительно Коринны тоже были вплетены в письмецо, короче, по всему можно было предположить, что Марсель в самое ближайшее время появится в доме профессора, дабы выразить свою благодарность.

И правда, еще не было пяти, когда у Шмидтов зазвонил звонок и вошел Марсель. Он от души поблагодарил дядюшку за протекцию, когда же тот отклонил благодарность, заметив, что если речь и может идти о таких вещах, как благодарность или протекция, то он должен адресоваться к Дистелькампу, Марсель отвечал:

— Пусть так. Но то, что ты немедленно мне об этом сообщил, да еще пневматической почтой, тоже как-никак заслуживает благодарности.

— Да, Марсель, о пневматической почте, пожалуй, следовало упомянуть. Мы, старики, нелегко приспособляемся к новому ценю в тридцать пфеннигов, и немало воды утечет в Шпрее, прежде чем мы ко всему этому привыкнем. Ну, а что ты скажешь о Коринне?

— Дядюшка, ты прибег к столь туманному обороту... я толком его не понял. У тебя написано: «Кеннет Леопард отступает». Ты подразумеваешь Леопольда? И что же, по твоему, Коринна должна воспринять как кару то, что Леопольд, в котором она была вполне уверена, от нее отвернулся?

— В этом не было бы большой беды, унижение, о котором здесь, увы, нельзя не говорить, увеличилось бы еще на градус, и, как я ни люблю Коринну, я должен признать, что проучить ее все же необходимо...

Марсель хотел ему возразить...

— Нет, не защищай ее, она все это заслужила. Но боги не столь жестоко обошлись с нею, и полное поражение, которое выразилось бы в самовольном отступлении Лео-

¹ Серебряная книга (лат.).

польда, превратили в половинное, свели его к нежеланию Матери. Да, да, моя дорогая Женни, несмотря на весь свой лиризм и вечные слезы, возымела ббольшую власть над своим сыном, нежели Коринна.

— Может быть, потому, что Коринна вовремя опомнилась и не пожелала пустить в ход все средства.

— Не исключено. Но как бы там ни было, Марсель, мы должны решить, каково будет твое отношение к этой трагикомедии. Опротивела тебе Коринна, которую ты только что так горячо защищал, или нет? Считаешь ли ты ее и вправду опасной особой, у которой за душой нет ничего, кроме суетности и тщеславия, или полагаешь, что все это не так уж недостойно и не так серьезно, просто женский каприз, заслуживающий снисхождения? К этому сейчас все и сводится.

— Да, милый дядюшка, у меня есть своя точка зрения на эту историю. Но признаюсь откровенно, я с большой охотой выслушал бы и твое мнение. Ты всегда был добр ко мне и не станешь хвалить Коринну больше, чем она того заслуживает. Хотя бы уже из эгоизма, потому что тебе хочется, чтобы она осталась в твоём доме. А ты ведь немножко эгоист. Прости, я хочу сказать: только иногда, в отдельных случаях...

— Говори смело: во всех случаях. Я готов это признать и утешаюсь лишь тем, что эгоисты встречаются довольно часто. Но мы отклонились от темы. Я хочу и буду говорить о Коринне. Но что тут, собственно, можно сказать? Думается, она всерьез относилась к этой истории, да и тебе она смело и открыто в этом призналась, а ты поверил ей, пожалуй, даже больше, чем я. Таково было положение вещей недели две назад. Но я готов побиться об заклад, взгляды ее полностью переменялись, и даже если бы Трайбели засыпали своего Леопольда золотыми слитками и драгоценными камнями, она, как я думаю, все равно бы от него отвернулась. Душа у нее, по существу, честная, прямая и открытая, чувство чести легко уязвимое, после недолго длившегося заблуждения ей вдруг уяснилось, что значит с приданным из двух фамильных портретов и отцовской библиотеки стать невесткой в богатом доме. Она совершила ошибку, убедив себя, что «и так сойдет», ибо Трайбели неустанно подкармливали ее тщеславие, изображая, что на все лады ее домогаются. Но можно домогаться так, а можно и эдак. Одно — поддерживать светское знакомство, другое — связать себя с нею на всю жизнь. На

худой конец, можно войти в герцогскую семью, но никак не в буржуазную. И если бы он, буржуа, еще кое-как с этим смирился, то уж его буржуазка, конечно, нет, тем паче что она зовется Женни Трайбель, урожденная Бюрстенбиндер. Одним словом, в Коринне, наконец, проснулась гордость, позволь мне добавить: слава богу, и безразлично, могла бы она добиться своего или не могла, ей это уже претит, она по горло сыта всей этой трайбелевской историей. То, что недавно было отчасти расчетом, отчасти заносчивостью, теперь видится ей в ином свете и взывает к чувству долга. Вот тебе мое мнение. А теперь разреши еще раз тебя спросить: как ты намереваешься себя вести? Хватит ли у тебя сил и охоты простить ей эту глупость?

— Да, дядюшка, хватит. Разумеется, мне было бы куда приятнее, если бы этой истории вовсе не было; но поскольку она имела место, я извлеку из нее все хорошее. Коринна, вероятно, раз и навсегда порвала с новыми веяниями, с болезненной страстью к внешнему блеску и вновь научилась ценить образ жизни, с детства ей привычный.

Старик кивнул.

— Некоторые на моем месте,— продолжал Марсель,— заняли бы иную позицию, для меня это очевидно; ведь люди все разные, в этом убеждаешься каждый день. Мне, например, довелось недавно прочитать прелестный маленький рассказ Гейзе о молодом ученом, насколько мне помнится, даже зараженном любовью к археологии, то есть в какой-то мере о моем коллеге, который влюблен в молодую баронессу, отвечающую ему полной взаимностью. Правда, он еще сомневается в этом, еще не убежден в своем счастье. Мучась этой неуверенностью, он однажды случайно проходил за живой изгородью в тот самый час, когда баронесса с подругой совершала прогулку по парку и рассказывала ей о своем счастье, о своей любви, но, на беду, позволила себе вставить несколько шутливо-озорных замечаний касательно любимого человека. Услышав их, наш археолог и влюбленный уложил необходимейшие вещи и был таков. Мне это непонятно. Я, милый дядюшка, так бы не поступил, из всего разговора до меня дошли бы только слова любви, а не шутки, не насмешка, и вместо того чтобы удрать, упал бы вне себя от радости к ногам возлюбленной баронессы, не говоря ни о чем, кроме своего безграничного счастья. Вот как бы я вышел из положения, милый дядюшка. Разумеется, можно найти и другой выход, и я, со своей стороны, искренне рад, что не принад-

лежу к людям столь щепетильным. Чувство чести, разумеется, заслуживает уважения, но если оно не знает меры, оно повсюду сеет зло, а уж в любви и подавно.

— Bravo, Марсель! Ничего другого я от тебя не ждал, и твои слова только лишний раз подтверждают, что ты сын моей родной сестры. Это шмидтовская кровь в тебе говорит: ни мелочности, ни тщеславия, а постоянное стремление все обозреть и выбрать должное. Подойди ко мне, мальчик, поцелуй меня. Одного поцелуя мне, пожалуй, мало, ведь когда я думаю, что ты мой племянник и коллега, а вскорости будешь еще и моим зятем — Коринна ведь тебе не откажет, — то мне, пожалуй, недостаточно и поцелуя в обе щеки. Зато и ты получишь удовлетворение, Марсель, Коринна должна написать тебе, исповедаться, так сказать, и вымолить у тебя отпущение грехов.

— Ради бога, дядюшка, не выдумывай таких штук. Во-первых, она ничего подобного не сделает, а если бы и сделала, я бы этого не потерпел. У евреев, как мне на днях рассказывал Фридеберг, имеется закон или завет, согласно которому самым тяжким преступлением считается «посрамить ближнего своего», по-моему, это удивительно умный закон и почти уже христианский. Если никого не следует срамить, даже своих врагов, то каково же, милый дядюшка, было бы мне срамить свою кузину Коринну, которая и без того от смущенья боится глаза поднять. Если люди, не очень-то склонные смущаться, вдруг смутятся, значит, они смутились по-настоящему. И если кто-нибудь находится в таком тяжком положении, как Коринна, другие обязаны построить для него золотые мосты. Я сам напишу ей, милый дядя.

— Ты славный малый, Марсель, подойди, поцелуй меня еще разок. Но не будь слишком добрым, женщины этого не выносят, даже наша Шмольке.

Глава шестнадцатая

Марсель и вправду написал Коринне, так что на другое утро перед ее прибором лежало два письма. Одно — на листке малого формата с картинкой в левом углу: пруд и плачущая ива, в нем Леопольд, наверно, уже в сотый раз, говорил о своем «непоколебимом решении»; второе — безо всяких живописных дополнений — было от Марселя. Оно гласило:

«Дорогая Коринна! Твой папа́ вчера говорил со мной и, к величайшей моей радости, дал мне понять, что — про́сти, но это его собственные слова — «разум опять возобладал в ней». «А истинный разум, — добавил он, — идет от сердца». Смею ли я в это поверить? Неужели я дождался той перемены в твоих взглядах и чувствах, на которую всегда уповал? Во всяком случае, папа́ меня в этом заверил. Он считал, что ты выкажешь готовность сама обо всем сказать мне, но тут я энергично запротестовал, мне не нужны признания в неправоте или в виновности; то, что я теперь знаю, хоть и не из твоих уст, делает меня безмерно счастливым, и горечи в моей душе уже не остается. Кое-кто, возможно, не разделит бы со мной такого чувства, но мое сердце, однажды заговорив, не испытывает потребности говорить с ангелом, напротив, совершенства удручают меня, возможно, потому, что я в них не верю. Недостатки, по-человечески понятные, мне симпатичны, даже если я от них страдаю. Все, что я от тебя слышал, когда после вечера в честь мистера Нельсона провожал тебя домой от Трайбелей, разумеется, памятно мне, но памятно лишь моему слуху — не сердцу. В сердце живет одно: то, что с самого начала, с юных дней жило в нем.

Надеюсь еще сегодня увидеть тебя. Как всегда, твой

Марсель».

Коринна протянула письмо отцу. Тот стал читать его, выпуская густые клубы дыма; кончив чтение, он поднялся и поцеловал в лоб свою любимицу.

— Ты родилась под счастливою звездой. Теперь ты знаешь: вот это и есть доподлинно возвышенное, по-настоящему идеальное, а вовсе не то, что считает идеальным моя подруга Женни. Верь мне, Коринна, классическое, которое теперь подвергают осмеянию, освобождает душу, не ведает мелочности, предвосхищает христианство и учит нас прощать и предавать забвению, «потому что все согрешили и лишены славы божией». Да, Коринна, у древних встречаются речения, не уступающие библейским. А иной раз и превосходящие их. К примеру: «Стань тем, кто ты есть». Только грек мог сказать подобное. Разумеется, такой процесс становления должен принести свои плоды, но если меня не обманывает отеческая пристрастность, в твоём случае он принесет их. Вся эта трайбелевская история — ошибка, «шаг в сторону», как — впрочем, тебе это известно — называется одна современная комедия, к тому же

написанная советником судебной палаты. Чиновники судебной палаты, слава тебе господи, всегда питали склонность к литературе. Литература освобождает... Теперь ты нашла правильный путь и себя самое в придачу. «Стань тем, кто ты есть», — говорит великий Пивдар, и Марсель, чтобы стать тем, кто он есть, должен уехать и увидеть мир, большие города и прежде всего памятники древности. Древние города, они как гроб господень; к ним устремлены крестовые походы науки, а когда вы воротитесь из Микен — я говорю «вы», потому что ты будешь его сопровождать, — Шлиманша всегда сопровождает мужа, — то я скажу, что на свете не существует справедливости, если через год вы не станете приват-доцентами или экстраординарными профессорами.

Коринна поблагодарила отца; он ведь и ее сопричислил к ученым, но пока что она чувствует себя более пригодной к тому, чтобы вести хозяйство да управляться в детской. Засим Коринна вышла и направилась в кухню; там она присела на скамеечку и дала прочитать Шмольке письмо.

— Ну, что скажете, милая Шмольке?

— Ах, Коринна, что мне сказать? Разве то, что всегда говорил мой Шмольке: к некоторым счастье приходит даже во сне. Ты вела себя безответственно и вообще бог знает как, а оно все-таки пришло к тебе. Ты родилась под счастливой звездой.

— Папá сказал мне то же самое.

— Ну, значит, так оно и есть, Коринна. Профессора не ошибаются. Ну, а теперь хватит болтать да шутки шутить, довольно уж мы позабавились с беднягой Леопольдом; мне его минутами даже жалко становится, ведь он не сам себя сделал, а человек в конце концов таков, каким он родился. Давай серьезно говорить, Коринна. Когда, ты полагаешь, все это произойдет или хотя бы в газете будет напечатано? Завтра?

— Нет, милая Шмольке, так быстро дело не делается. Надо мне сначала с ним увидеться и поцеловать его...

— Твоя правда. Раньше, конечно, нельзя...

— И потом, должна же я все-таки написать бедному Леопольду. Он сегодня опять уверял, что готов умереть за меня...

— Ох, господи, вот бедняга.

— В конце концов он будет даже рад...

— Все может быть.

В тот же вечер, как и было сказано в его письме, явился Марсель и первым делом приветствовал дядю, углубленного в чтение газеты, который — возможно, потому, что вопрос о браке он считал решенным — встретил его несколько рассеянно и, не выпуская из рук газеты, спросил:

— Ну, Марсель, что ты об этом скажешь? *Summus episcopus*...¹ Император, наш старый Вильгельм, снимает с себя этот сан, не хочет его больше, и достанется он Кёгелю. А может быть, Штёкеру...

— Ах, дядюшка, во-первых, я этому не верю. И затем, вряд ли нас будут венчать в соборе...

— Ты прав. Я впал в ошибку, свойственную всем *неполитикам*, — забывать о более важном, под влиянием очередной сенсации, которая потом, конечно, оказывается фальшивой. Коринна сидит у себя в комнате и ждет тебя; мне думается, лучше всего будет, если вы сами обо всем договоритесь; я еще не дочитал газеты, кроме того, третий — лишний, даже если это отец.

Когда Марсель вошел, Коринна приветливо и несколько смущенно поднялась ему навстречу, хотя весь вид ее свидетельствовал, что она решила по-своему трактовать все происшедшее, то есть по мере возможности обойтись без трагедий. Отсвет заходящего солнца озарил окно, и когда они сели рядом, Коринна взяла его за руку и сказала:

— Ты очень хороший, Марсель, и надеюсь, я всегда буду так думать. То, чего я хотела, было сумасбродством.

— Ты вправду этого хотела?

Она кивнула.

— И всерьез любила его?

— Нет. Но всерьез хотела выйти за него замуж. Я больше скажу тебе, Марсель, я даже не думаю, что была бы очень несчастлива, это не в моем характере, но, конечно, и не слишком счастлива. А кто счастлив? Знаешь ты такого человека? Я — нет. Я брала бы уроки живописи, верховой езды и на Ривьере подружилась бы с какой-нибудь английской семьей, разумеется, у которой есть *pleasure-yacht*², и поехала бы с ними на Корсику или в Сицилию, словом, туда, где сохранилась кровная месть. Потребность в острых переживаниях у меня бы, вероятно, никогда не прошла; Леопольд ведь несколько вялый. Да, так бы я жила.

¹ Верховный епископ... (лат.)

² Прогулочная яхта (англ.).

— Ты все та же и по-прежнему любишь изображать себя хуже, чем ты есть, Коринна.

— Бряд ли, но, конечно, я себя не приукрашиваю. И потому ты, надо думать, веришь, что все это для меня осталось позади. Меня с детства влекло к внешнему блеску и, пожалуй, влечет до сих пор, но утолить эту жажду можно лишь непомерно дорогой ценою. Теперь я это поняла.

Марсель хотел снова прервать ее, но она не позволила.

— погоди, Марсель, я должна сказать еще несколько слов. Видишь ли, с Леопольдом я, возможно, как-нибудь бы и поладила, почему, собственно, нет? Иметь подле себя слабого, доброго, незначительного человека даже приятно, в известном смысле это преимущество. Но его мамаша — это страшная женщина! Разумеется, в собственности, в деньгах есть свое очарование, иначе я не совершила бы этой ошибки. Но когда деньги всё, когда они затмевают ум и сердце, и вдобавок еще сдобрены сентиментальной слезливостью, все во мне возмущается, и пойти на это было бы мне невыносимо трудно, хотя я, наверно, все бы вытерпела. Мне думается, человек, спящий в хорошей кровати и живущий в холе и в неге, может вытерпеть многое.

Через два дня в газетах было объявлено об их помолвке, и одновременно с официальным извещением прибыли разосланные карточки. Так же и в дом коммерции советника. Трайбель, пробежавший глазами пригласительную карточку и сразу же уразумевший важность этого известия и то, какое влияние оно будет иметь на восстановление мира и спокойствия в его доме, не преминул направиться в будуар, где завтракали Женни и Хильдегард. Еще в дверях он высоко поднял конверт и воскликнул:

— Что мне будет причитаться за оглашение этого письма?

— А чего ты хочешь? — в свою очередь, спросила Женни, в чьей душе, возможно, забрезжила надежда.

— Поцелуя.

— Не дури, Трайбель.

— Если от тебя мне его не дождаться, то, может быть, Хильдегард...

— Идет, — отвечала Хильдегард, — а теперь читайте! И Трайбель прочитал:

— «Честь имею сообщить о состоявшейся сегодня помолвке моей дочери...» — спрашивается, милостивые государины, какой дочери? Дочерей много. А ну-ка угадайте! Кстати, я удваиваю назначенный мне гонорар... Итак, «...моей дочери Коринны с доктором Марселем Ведеркопом, старшим учителем и лейтенантом запаса Бранденбургского стрелкового полка номер Тридцать пять. Доктор Вилибальд Шмидт, профессор и старший учитель гимназии Святого духа».

Женни, стесненной присутствием Хильдегард, пришлось удовольствоваться торжествующим взглядом, брошенным на мужа, а Хильдегард, по обыкновению пустившаяся на поиски погрешностей против общепринятой формы, сказала:

— И это все? Насколько мне известно, помолвленные со своей стороны должны добавить несколько слов. А Шмидт — Ведеркопы пренебрегли этим обычаем.

— Ошибаешься, дорогая Хильдегард. На втором листке, я его вам не прочитал, имеется извещение от жениха и невесты. Я оставляю тебе эту карточку на память о твоём берлинском пребывании и в качестве доказательства постепенного прогресса здешней культуры. Разумеется, мы еще изрядно поотстали, но мало-помалу все устроится. А теперь обещанный поцелуй.

Хильдегард наградила его двумя поцелуями, и столь бурными, что было ясно: в этот день состоится еще одна помолвка.

В последнюю субботу июля была назначена свадьба Марселя и Коринны. «Долгое жениховство ни к чему», — заявил Вилибальд Шмидт. У молодых людей эта поспешность, само собою разумеется, никаких возражений не вызвала. Одна только Шмольке, так торопившая помолвку, теперь слышать не хотела о скорой свадьбе. По ее мнению, три недели, потребные на трехкратное оглашение с церковной кафедры, срок не столь уж долгий, а так быстро, нет, это не годится, уже и без того разные разговоры пошли. В конце концов она успокоилась или, по крайней мере, утешилась тем, что «разговоров все равно не избежать».

Двадцать седьмого в квартире Шмидтов состоялся девичник, на следующий день в «Английском доме» праздновалась свадьба. Пастор Томас совершил обряд венчания.

В три часа экипажи подъехали к церкви св. Николая, шесть подружек невесты, среди них обе «телки» Быкмана и обе Фельгентрей. Последние, теперь это уже можно открыть, в перерыве между танцами, обручились с двумя референдариями из квартета, теми самыми, что тоже участвовали в пикнике в Халензее. Тирольский певец, разумеется находившийся среди гостей, был энергично атакован «телками», но устоял, ибо, как сын владельца углового дома, привык к бурному натиску. Дочери Быкмана довольно легко смирились с неудачей. «Не он первый, не он последний», — заметил Шмидт, но их мамаша до последней минуты не могла скрыть жестокого разочарования.

В остальном это была очень веселая свадьба, возможно, оттого, что с первой минуты среди присутствующих воцарилось легкое, безмятежное настроение. Всем все хотелось забыть и простить. Наверное, поэтому, надо сразу упомянуть о самом главном, и семейство Трайбелей в полном составе явилось на свадьбу, за исключением Леопольда, который в это самое время скакал к «Яичной скорлупке». Конечно, советницу поначалу одолевали сомнения, она даже произносила какие-то сентенции о бестактности и афронте, но второй ее мыслью было истолковать все происшедшее как сплошное ребячество и таким образом без труда заставить умолкнуть тут и там возникавшие пересуды. Эта вторая мысль восторжествовала: советница, как всегда с приветливой улыбкой на устах, явилась *in raptificalibus*¹ и была безусловно самой важной и блистательной персоной за свадебным столом. По настоянию Коринны, приглашены были даже Патоке и Вульстен, первая пришла, вторая же прислала письменное извинение: она-де не может оставить одну Лизи, это сладостное дитя. Под словами «сладостное дитя» растеклось пятно, «слеза, и, я думаю, неподдельная», сказал Коринне Марсель. Из профессуры здесь, кроме уже упомянутых супругов Быкман, были только Дистелькамп и Риндфлейш, ибо все, кого бог благословил потомством, в это время находились в Кёзене, Альбеке и Штольпемюнда. Несмотря на отсутствие столь многих лиц, в тостах недостатка не замечалось. Речь Дистелькампа была наилучшей, Фельгентрея — чудовищной по отсутствию логики, отчего ее и покрыл громкий хохот, отнюдь не предусмотренный оратором.

Пришло время обносить гостей сладостями. Старик

¹ В полном параде (лат.).

Шмидт уже переходил с места на место, говоря любезности пожилым дамам, а также некоторым помоложе, когда разносчик телеграмм — уже в который раз — появился в зале и сразу же подошел к Шмидту. Шмидт, преисполненный стремления обойтись с сим вестником добрых пожеланий, как с гетевским певцом, и по-царски наградить его, наполнил рядом стоящий бокал шампанским и поднес его разносчику, который, сначала низко поклонившись молодым, лихо осушил его. Раздались громкие аплодисменты.

Шмидт вскрыл телеграмму и пробежал ее глазами:

— От родственного нам британского народа.

— Читайте! Читайте!

— «To doctor Marsell Wedderkopp...¹»

— Громче!

— «England expects that every man will do his duty...²».

Подпись: «Джон Нельсон».

В кругу посвященных (как в суть дела, так и в английский язык) раздались восторженные возгласы, Трайбель же сказал Шмидту:

— Думается, Марсель тому порукой.

Коринну неизменно обрадовала и развеселила эта телеграмма, но, увы, ее оживление и счастливое расположение духа было ограничено временем, ибо пробило восемь часов, а в половине десятого отходил поезд, который должен был увезти ее в Мюнхен, а оттуда в Верону или, как с нежностью выразился Шмидт, «ко гробу Джульетты». Впрочем, все это Шмидт назвал «еще пустячками», предобеденной «закуской», да он и вообще говорил довольно надменно и, к вящей досаде Быкмана, пророчествовал о Мессении и Тайгете, где, бесспорно, будут обнаружены гробницы если не самого Аристомена, то, по крайней мере, его отца. Когда он, наконец, умолк и на лице Дистелькампа заиграла довольная улыбка от того, что его друг вновь оседлал своего конька, все заметили, что ни Марселя, ни Коринны в зале больше не было.

Гости не спешили расходиться. Но часам к десяти зал все же наполовину опустел; Женни, Патоке и Елена поднялись первыми, за Еленой, разумеется, и Отто, хотя он охотно остался бы еще на часок. Эмансипировался только старый коммерции советник, сидевший рядом с братом

¹ Доктору Марселю Ведеркопу... (англ.)

² Англия ждет, что каждый выполнит свой долг... (англ.)

своим Шмидтом, вытаскивая анекдот за анекдотом из «Шкатулки с драгоценностями немецкой нации», все пурпурные рубины, говорить о «чистом блеске» которых было бы величайшей неосторожностью. Несмотря на отсутствие Гольдаммера, все стремились не отстать от Трайбеля, а всего больше старался Адолар Крола, которого специалисты, вероятно, удостоили бы первого приза.

Давно уже горели свечи, облачка сигарного дыма завивались в большие и малые колечки, молодые парочки постепенно разбрелись по углам зала, в каждом из коих, по не совсем понятным причинам, стояли четыре-пять тесно сдвинутых лавровых дерева, образуя живую изгородь — защиту от нескромных взглядов. Здесь находились и «телки», вторично, вероятно по совету матери, предпринявшие атаку на тирольского певца, напрасную и на сей раз. В это время кто-то начал брнчать на рояле, очевидно, молодежи пришла пора в танцах утвердить свое право на веселье.

Приближение этого опасного момента чутьем опытного полководца уловил Шмидт, уже не однажды оперировавший местоимением «ты» и званием «брат»; пододвигая Кроле непочатый ящичек сигар, он сказал:

— Послушайте-ка, певец и брат мой! «Carpe diem (мы, латинисты, ставим ударение на последнем слоге) — используй день!» Еще минута, и тапер, изменив всю ситуацию, даст нам почувствовать, что мы здесь лишние. Итак, повторяю: «То, что ты хочешь сделать, делай без промедления». Миг настал! Крола, ты должен сделать мне приятное и спеть любимую песнь Женни. Ты сотни раз аккомпанировал ей, а значит, сумеешь и сам ее спеть. Думаю, что вагнеровских трудностей в ней не встретится. А наш добрый Трайбель не посетует на профанацию песни, столь дорогой сердцу его возлюбленной супруги; когда напоказ выставляют святыню, я называю это профанацией. Скажи, Трайбель, я прав? Или я в тебе обманулся? Нет, не мог я обмануться в тебе. В таком человеке, как ты, обмануться нельзя, у тебя открытое, доброе лицо. А теперь иди, Крола! «Больше света» — великие слова, некогда сказанные нашим олимпийцем; но нам они ни к чему, здесь все залито огнями свечей. Иди. Я хочу завершить этот день как человек чести — в мире и дружбе со всеми и прежде всего с тобой, Адолар Крола.

Закаленный сотнями торжественных обедов и ужинов и в сравнении со Шмидтом еще достаточно трезвый, Крола не долго противился и пошел к роялю, Шмидт и Трай-

бель рука об руку последовали за ним, и, прежде чем оставшиеся гости успели понять, что сейчас будет пропета песня, Крола отложил в сторону свою сигару и начал:

Груз богатства, бремя власти
Тяжелее, чем свинец.
Есть одно лишь в мире счастье:
Счастье любящих сердец.

Лес шумит, рокочит струи,
Взгляды нежные ловлю
И ласкаю поцелуем
Ручку милую твою.

Снова мы с тобою вместе,
Ветер к легкой пряди льнет.
Ах, лишь там есть жизнь, где вести
Сердце сердцу подает.

Все пришли в ликующее настроение, ибо голос Кролы был все еще силен и звучен, во всяком случае, по сравнению с теми голосами, которые привыкли слышать в этом кругу. Шмидт прослезился. Но тут же взял себя в руки.

— Брат, — сказал он, — ты утешил меня. Брависсимо, Трайбель, а ведь наша Женни права. Что-то такое есть в этой песне, не знаю, что именно, но есть. Это настоящая песня. В подлинной лирике кроется какая-то тайна. Может быть, мне надо было при этом остаться...

Трайбель и Крола переглянулись и сочувственно кивнули.

— ...А бедняжка Коринна! Сейчас она под Треббонио — первый этап на пути к гробнице Джульетты... Джульетта Капулетти, как это звучит! Кажется, она похоронена в египетском саркофаге, что еще интереснее... А вообще я не знаю, правильно ли ехать всю ночь напролет, прежде такого обычая не было, прежде люди были ближе к природе, а значит, нравственнее. Жаль, что моя подруга Женни ушла, она бы рассудила, так это или не так. Я лично не сомневаюсь, что природа — это нравственность и вообще самое главное. Деньги — вздор, наука — вздор, всё — вздор. Профессорское звание тоже. Тот, кто это оспаривает — *recus*¹. Верно ведь, Быкман? Пойдемте, господа, пойдем, Крола... Пора расходиться по домам.

¹ Скотина, здесь: глупец (лат.).

КОММЕНТАРИИ

Переводы произведений Фонтане для данной книги сделаны по тексту собрания сочинений — Theodor Fontane, *Romane und Erzählungen in acht Bänden*, B-de 3, 5, 6, Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1969.

При работе над данными комментариями использованы комментарии к вышеуказанному изданию.

Шах фон Вутенов

Повесть написана летом 1882 года и тогда же стала выходить отдельными главами в «Фоссише цейтунг». В 1883 году была напечатана в Лейпциге. В основу сюжета положен действительный случай, имевший место в 1815 году, — самоубийство майора привилегированного жандармского полка прусской армии — О.-Ф.-Л. фон Шака. Эта история и обстоятельства, ей сопутствовавшие, вызвали немало пересудов, и когда Фонтане, почти через полвека, услышал рассказ о ней в одном из берлинских салонов, вся ситуация была романтизирована и приукрашена до неузнаваемости.

Фонтане заинтересовался судьбой героев драматического конфликта и приступил к изучению их биографий и обстоятельств их жизни. Написанию повести предшествовала многолетняя подготовительная работа — для воссоздания колорита эпохи писатель изучал мемуары, переписку, военно-историческую и публицистическую литературу тех лет. В процессе этого изучения вырисовывался основной замысел повести, совершенно по-новому истолковавший историческое событие и перенесший его в 1806 год.

Стр. 25. *Жандармский полк* — привилегированный, аристократический полк прусской армии, который был создан в подражание французскому полку того же названия, охранявшему особу короля. Офицеры жандармского полка прославились всякого рода экстравагантными проделками. Полк был распущен в 1807 году при реорганизации прусской армии.

Стр. 27. *Бюлов А.-Г.-Д., фон* (1757—1807) — прусский офицер, автор книг по военному делу, выразитель оппозиционных настроений части прусского офицерства. Критиковал стратегию русской и австрийской союзных армий во время похода против Наполеона в 1805 году, за что, по требованию русского царя, был арестован. Умер в 1807 году в русской тюрьме.

Стр. 28. *Зандер И.-Д.* (1759—1825) — известный в те годы берлинский литератор и издатель.

Миссия Хаугвица.— Накануне битвы под Аустерлицем — решающей победы Наполеона в русско-австро-французской войне 1805 года — прусский король Фридрих-Вильгельм III (1770—1840) послал своего министра, графа фон Хаугвица, в Вену для переговоров с Наполеоном. 15 декабря 1805 года Хаугвиц заключил с Наполеоном Шёнбруннский договор, по которому Пруссия уступала Франции Ансбах, Клев и Невшатель и получала за это Ганновер, находившийся тогда в союзе с Англией. 15 февраля 1806 года было заключено еще более невыгодное для Пруссии соглашение с Наполеоном. Внешняя политика Хаугвица, робкая, непоследовательная и беспринципная, была весьма непопулярна в патриотически настроенных кругах Пруссии.

Минос и Радамант — в греческой мифологии сыновья Зевса, выступают как судьи в подземном царстве Аида.

Карлсбадская облатка — сорт вафель, выпекаемых в Карлсбаде (ныне Карловы Вары).

...из створничков вельфского льва и скачущего коня...— Лев был изображен на гербе дома Вельфов — династии, правившей в Ганновере до 1806 года. Конь украшал герб герцогов Брауншвейгских.

Стр. 29. *...между речушками Нуте и Нотте.*— Нуте и Нотте — небольшие речки в окрестностях Берлина. Выражение означает: в Берлине и поблизости от него.

...продолжают верить в особое назначение Каленберга и Люнебургской степи.— Каленберг — местность вблизи Ганновера, получила свое название по замку Каленберг, принадлежавшему семье Вельфов. Люнебургская степь — равнина между Аллером и Нижней Эльбой на территории Ганноверского курфюршества.

Стр. 30. *Подумать только — Вена! Ее спасли!* — Речь идет о битве при Каленберге 12 сентября 1863 года, которую польский король Ян III Собеский выиграл у турок, освободив осажденную ими Вену.

Склеп капуцинов — усыпальница Габсбургов в церкви Капуцинов в Вене.

И это в Пруссии, на глазах у его величества.— Имеется в виду Фридрих-Вильгельм III (с 1797 г. король Пруссии).

Стр. 32. *...великий король...*— Речь идет о Фридрихе II Прусском (1712—1786).

«Осененный силой».— Пьеса «Мартин Лютер, или Осененный силой» принадлежит перу Цахариаса Вернера (1768—1823) — известного драматурга немецкого романтизма, создателя мифической трагедии рока. Премьера пьесы состоялась в Берлине в 1806 году.

Рахель Левин (1771—1833) — одна из самых образованных и одаренных женщин своего времени. В ее салоне в Берлине встречались многие выдающиеся писатели и ученые.

Значит, принц, — отозвался Альвенслебен.— Прусский принц Луи-Фердинанд (1772—1806) возглавлял придворную оппозицию против короля Фридриха-Вильгельма III, был известен своей разносторонней образованностью, а также любовными похождениями.

Стр. 34. *Иффланд А.-В.* (1759—1814) — актер и драматург, с 1796 года — директор Национального театра в Берлине. Блестяще сыграл роль Лютера в упоминавшейся выше пьесе Цахариаса Вернера.

Свободный каменщик — член ложи Свободных каменщиков, или масонов.

Стр. 35. ...«*коли мантя упала, и герцогу не сносить головы*» — слегка измененная цитата из драмы Фридриха Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» (V, 16).

Стр. 36. «*Я привязал его к яслям, почему же, спрашивается, он не жрал?*» — Эти слова Фридрих II написал на полях прошения о материальной помощи, поданного вдовой армейского комиссара по снабжению провиантом.

Стр. 39. *Майская травка* — ясменник пахучий, цветущий обычно в мае. Из листьев ясменника приготавливают так называемое «майское вино», или «майский пунш».

Стр. 40. *Тонкинские бобы* — древесный плод, произрастает в Южной Америке и используется для производства ароматических эссенций и спиртных напитков.

Стр. 41. *Ношниц* Карл, фон (1771—1838) — историческое лицо, сначала адъютант принца Луи-Фердинанда (см. коммент. к стр. 32), позднее генерал-лейтенант русской армии. В его воспоминаниях дано подробное описание «санного поезда», о котором рассказано в одиннадцатой главе повести Фонтане.

Французский Бухгольц — деревня к северо-западу от Берлина, поселение французских эмигрантов-гугенотов.

Стр. 43. «*Земля на плечах Атласа...*» — Это высказывание принадлежит Фридриху II и содержится в некоторых из его завещаний.

«*Кавалерийская атака пруссаков неотразима*» — слова, сказанные Фридрихом II после битвы при Сооре (1745).

«*Битва не проиграна, раз еще не вступила в действие лейб-гвардейский полки оставались в резерве и вводились в дело только в случае крайней необходимости.*»

«*Хауде унд шпенерше цейтунг*» — известная ежедневная берлинская газета, выходившая с 1740 года. Хауде и Шпенер — имена первого и второго ее издателя.

Стр. 46. *Гипербореи* — в переносном смысле «северяне».

Стр. 48. «*Помпадур*» — название дамской сумки.

Стр. 50. *Доротеенштадт* — район Берлина, построенный по воле княгини Доротеи, супруги бранденбургского курфюрста Фридриха-Вильгельма.

...*барельеф, по приказу покойного короля высеченный на гробнице его сына...* — По приказу Фридриха-Вильгельма II (1744—1797) упомянутый барельеф был создан в честь его незаконного сына, графа фон дер Марка, умершего в 1787 году, в возрасте девяти лет.

Стр. 53. *Отсюда Ульм...* — Под Ульмом 17 октября 1805 года часть австрийской армии капитулировала перед Наполеоном.

Герцог Брауншвейгский К.-В.-Ф. (1735—1806) — прусский генерал, в 1792—1794 годах возглавлял прусское войско в коалиционной войне против революционной Франции, а в 1806 году — в войне против Наполеона. Был смертельно ранен под Ауэрштедтом (14 октября 1806 г.).

Гогенлоэ Ф.-Л., фон (1746—1818) — прусский генерал, один из военачальников прусской армии в войнах против революционной Франции и Наполеона. Наполеон разбил его в сражении под Йеной (14 октября 1806 г.).

Стр. 55. *Тамплиер.*— Орден тамплиеров (храмовников) был основан в 1119 году для защиты паломников ко «гробу господню». В XII—XIII веках немецким тамплиерам принадлежали общины Темпельгоф, Мариенгоф и Мариенфельде.

Стр. 56. ...в «Натане»...— «Натан Мудрый» (1779) — драма Г.-Э. Лессинга.

...более поздних дней Фербеллина.— В битве при Фербеллине (1675 г.) бранденбургские войска под командованием курфюрста Фридриха-Вильгельма одержали победу над шведами.

Стр. 57. *Возможно, вас прельщает одеяние...*— Одеяние тамплиеров — белая мантия с восьмиконечным красным крестом.

...гибель этого ордена лежит на совести Филиппа Красивого.— Филипп IV Красивый (1268—1314), с 1285 года король Франции, обвинил тамплиеров в идолопоклонстве и ереси. В 1312 году он вынудил папу Клементя V, находившегося от него в зависимости, распустить этот влиятельный орден, и все земли французских тамплиеров отошли казне.

Стр. 61. *Массенбах К.*, фон (1758—1827) — политик и публицист, представитель оппозиционных кругов офицеров и придворных.

Пуль К.-Л.-А., фон (1757—1826) — военный писатель, в 1806 году переселился в Россию и стал советником Александра I.

Стр. 62. ...нахожусь в стране Моавитской...— Вилла принца Луи-Фердинанда примыкала к деревне Моабит на северо-западе от Берлина. Второй, метафорический смысл этих слов связан с именем библейского народа моавитян, которые, по преданиям Ветхого завета, были соседями израильтян и находились с ними в постоянной вражде. Принц Луи-Фердинанд намекает на свои натянутые отношения с королем Фридрихом-Вильгельмом III.

Стр. 63. ...о нашей прошлогодней тюрингской диспозиции? — В конце лета 1805 года прусская армия, мобилизованная для участия в очередной кампании против Франции, была размещена в Тюрингии, с главной квартирой в Эрфурте.

Стр. 64. *Ломбар И.-В.* (1767—1812) — выходец из семьи французских гугенотов, был тайным советником прусского кабинета по вопросам внешней политики. Проводил по отношению к Наполеону политику уступок и полумер, за что подвергался резкому осуждению в антинаполеоновских кругах, особенно после поражения союзных войск под Иеной.

«И бог дохнул — и грозный флот...» — Шиллер вольно переводит здесь нижеследующее латинское изречение, которое голландцы выбили на своих монетах после гибели испанского флота — Непобедимой Армады, — в 1588 году.

Стр. 65. *Генерал Левальд* (1685—1768) — прусский полководец во время Семилетней войны (1756—1763).

Стр. 66. «А в ранце том потергом...» — вольная цитата из стихотворного раешника немецкого поэта Г.-А. Бюргера (1747—1794).

Стр. 68. *Бренкенхоф Ф.-Б.* фон (1723—1780) — прусский эксперт по вопросам экономики и финансов, оставил ряд сочинений.

Последний польский король — Станислав II Август Понятовский, который вынужден был отказаться от трона в 1795 году, в результате третьего раздела Польши.

Стр. 69. *Дуссек Ян* Ладислаус (1760—1812) — чешский пианист и композитор, принадлежал к кругу принца Луи-Фердинанда.

Стр. 69—70. *«Поклонение искусства»* — текст для придворного торжества, написанный Фридрихом Шиллером по случаю прибытия в 1804 году в Веймар русской великой княгини Марии Павловны.

Стр. 70. *Гистрионы* — актеры.

Стр. 71. *Граф Калькрейт* (1737—1818) — генерал-фельдмаршал прусской армии. Приведенный анекдот заимствован Фонтане из книги Бюлова *«Поход 1805 года»*. *Орден Черного орла* — высший прусский орден, *орден Красного орла* — второй по значению.

Стр. 72. *Сидней Смит* (1764—1840) — прославленный английский адмирал, в 1799 году успешно защищая от французов сирийский порт Сен-Жан-д'Акр, который Наполеон хотел использовать как опорный пункт во время своего наступления в Египте.

Стр. 73. *Генц Фридрих, фон* (1764—1832) — публицист, ярый противник Наполеона и сторонник политики Меттерниха. Считался превосходным стилистом.

Бургольц Фридрих (1768—1843) — берлинский историк и писатель.

Стр. 75. *...в битвах при Моргартене и Земпахе...* — В этих битвах в 1315 и 1386 годах швейцарские крестьяне одержали победы над рыцарскими войсками австрийского дома Габсбургов, в результате чего был положен конец австрийскому господству в Швейцарии.

Стр. 78. *...еще под Прагой и Лейтеном, а недавно опять под Вальми и Пирмазенсом.* — Под Прагой и Лейтеном прусские войска одержали победы над австрийцами во время Семилетней войны. Под Вальми 20 сентября 1792 года войско австро-прусских интервентов потерпело поражение в бою против войска революционной Франции. Под Пирмазенсом пруссаки 14 сентября 1793 года одержали победу над французами.

Стр. 79. *«Валленштейн», «Дева», «Телль»* — ставились от случая к случаю, чаще всего давали *«Политического жестящика» Хольберга...* — Первые три названия — драмы Ф. Шиллера *«Валленштейн»*, *«Орлеанская дева»*, *«Вильгельм Телль»*. *«Политический жестящик»* (1722) — комедия датского писателя Людвиг Хольберга, в которой он высмеивает доморощенных мелкобуржуазных политиканов.

Стр. 82. *Мирабо — мой товарищ по несчастью.* — Виктуар намекает на то, что лицо Мирабо — знаменитого публициста и политического деятеля эпохи Великой французской революции — было также изуродовано оспой.

Стр. 86. *Катарина фон Бора* (1499—1552) — в 1523 году бежала из монастыря урсулинок, в 1525 году вышла замуж за Лютера.

Стр. 87. *Бетман Фридерика* (1760—1815) — известная берлинская актриса.

Стр. 88. *...пробивал себе дорогу в жизни дальним родством с прославленным генералом...* — Имеется в виду популярный в свое время кавалерийский генерал Г.-И. фон Цитен (1699—1786).

Стр. 89. *Фамулус* — помощник, слуга.

Стр. 116. *Оботригы* — славянская народность, некогда обитавшая на территории Мекленбурга.

Стр. 117. *Прекрасная Мелузина* — легендарная морская фея, якобы являющаяся родоначальницей знатного французского дворянского рода Лусиньянов. Ее история рассказана в средневековой немецкой «народной книге» *«Прекрасная Мелузина»*.

Стр. 119. *Кёкриц К.-Л.* (1744—1821) — прусский генерал, генеральный адъютант Фридриха-Вильгельма III.

«Отшельник» — известная в те годы гостиница в Потсдаме.

Стр. 121. *Бишофсвердер И.-Р.*, фон (1741—1803) — прусский генерал и министр, фаворит короля Фридриха-Вильгельма II, которому он потакал в его увлечении оккультными науками и спиритизмом.

Стр. 125. *«Турецкий шатер»* — популярное кафе в старом Шарлоттенбурге (предместье Берлина, в котором был расположен парк и королевский дворец).

Пути-перепутья

Роман «Пути-перепутья» был закончен летом 1887 года и опубликован в «Фоссише цейтунг». Писатель работал над ним около года. В 1888 году книга вышла в Лейпциге.

«Обычная берлинская история» — такой подзаголовок дал Фонтане первой газетной публикации романа, всякими способами подчеркивая характерность, типичность своих героев. Действие романа происходит в 1875—1878 годах.

Стр. 159. *...известный поэт, который написал стихи в честь своей прачки?* — Шамиссо Адельберт (1781—1838), немецкий писатель-романтик. Здесь имеется в виду его стихотворение «Старая прачка».

Стр. 161. *«Флора»* — концертный зал, сад и ресторан в Шарлоттенбурге.

Зеленый свод — залы, в которых размещена коллекция редкостей и произведений прикладного искусства старых немецких мастеров. Зеленый свод во времена Фонтане находился в Дрезденском королевском дворце, теперь для него построено в Дрездене специальное помещение. *Кружка с изображением девиц, вишневая косточка, на которой уместился весь «Отче наш»* — знаменитые экспонаты коллекции Зеленого свода.

Стр. 162. *Питт* — имя двух знаменитых английских политиков второй половины XVIII — начала XIX веков.

Стр. 163. *Ведь и кронпринц называет свою Викторину просто Вики.* — Речь идет о кронпринце Фридрихе-Вильгельме (1831—1888), позднее прусском короле Фридрихе III, женатом на английской принцессе Виктории, дочери королевы Виктории.

Стр. 169. *...два Гергелевых натюрморты...* — Гертель Альберт (1843—1912) — немецкий художник-пейзажист.

...Ахенбаховой «Бурей на море»... — Ахенбах Андреас (1815—1910) — художник так называемой «Дюссельдорфской школы». Рисовал главным образом морские пейзажи.

Стр. 171. *...на корсо.* — Корсо — название главной улицы итальянских городов, по аналогии — всякой улицы, по которой движется прогулочная процессия нарядных экипажей.

Стр. 173. *Ленке* — владелец известной в то время берлинской антикварной лавки.

Освальд Ахенбах (1827—1905) — брат Андреаса Ахенбаха (см. коммент. к стр. 169), также художник-пейзажист «Дюссельдорфской школы».

Стр. 174. *...перед Вольфовой «Умиравшей львицей»...* — «Умиравшая львица» — скульптура Вильгельма Вольфа (1816—1887), установленная в Тиргартене в Берлине.

Неймаркец — житель Неймарка, северо-восточной части провинции Бранденбург.

Бенч, Ренч, Стенч — выдуманные названия, по аналогии с действительными названиями городков в Неймарке.

Это ведь тот, что не поладил с Бисмарком? — Здесь и в дальнейшем автор намекает на недовольство политикой Бисмарка у определенной части прусского дворянства. Причиной поелужил якобы чересчур либеральный характер этой политики.

Стр. 176. *Добенек Фердинанд, фон (1791—1867)* — прусский генерал-лейтенант.

Мантейфель Э.-Г.-К., фон (1809—1885) — прусский генерал-фельдмаршал. В качестве главы военного кабинета принял активное участие в реорганизации прусской армии. Император Вильгельм I осуществил эту реорганизацию в 1860 году против воли либерального большинства ландтага. Был распущен ландвер, более демократическое войско эпохи освободительной войны с Наполеоном, и полностью восстановлен консервативно-монархический дух прусской армии.

...некий кирасирский офицер из резерва... — Речь идет о Бисмарке, который носил обычно форму 7-го кирасирского полка, расквартированного в Хальберштадте.

Сен-Прив, Седан — места решающих сражений во время франко-прусской войны (1870—1871 гг.).

Фербеллин — см. коммент. к стр. 56. *Герой Лейтена.* — Под Лейтеном прусская армия одержала победу над австрийцами во время Семилетней войны под командованием короля Фридриха II.

Блюхер Г.-Л., фон (1742—1819) — прусский фельдмаршал, знаменитый полководец эпохи наполеоновских войн.

Стр. 177. *Йорк И.-Д.-Л., фон (1759—1830)* — прусский фельдмаршал, полководец эпохи наполеоновских войн; заключением конвенции в Таурогене 30 декабря 1812 года дал первый сигнал к борьбе против Наполеона.

«Крейццейтунг» — «*Нейе прейсше цейтунг*» (на первом листе ее изображался Железный крест, и потому она впоследствии была названа «Крейццейтунг») — газета, основанная в 1848 году, орган реакционной прусской аристократии.

Взять такого человека... одна из лучших наших фамилий... — Речь идет о графе Гарри фон Арниме, который в 1872 году стал послом новой Германской империи во Франции, а в 1874 году был отозван, обвинен в сокрытии ряда государственных бумаг и посажен в тюрьму, откуда бежал за границу. Бисмарк в борьбе за власть стремился уничтожить влиятельного соперника. Аристократическим героям Фонтане граф фон Арним, бывший ставленником придворных кругов, неизменно представляется благородной жертвой политических интриг.

Бойценбургер — граф фон Арним-Бойценбург, двоюродный брат Гарри фон Арнима, деятель консервативной партии.

Стр. 179. *Озеро мурен.* — Мурены — рыбы, типа угря, встречающиеся в Южной Атлантике и в Средиземном море и считавшиеся большим лакомством: древнеримские патриции обычно устраивали у себя в поместьях «садки мурен». Барон Остен смешивает «мурен» с «маренами», рыбами семейства осетровых, водящимися в озерах Северной Германии.

Стр. 181. *Гихтель И.-Г. (1638—1710)* — немецкий мистик. Радовал, в частности, за отмену института брака.

Модьтке Хельмут, фон — с 1871 по 1888 год глава германского генерального штаба.

Ранке Леопольд, фон (1795—1886) — известный немецкий историк консервативного толка.

Гумбольдт Александр (1769—1859) — знаменитый немецкий ученый-естествоиспытатель.

Стр. 182. *Князь Пюклер Г.-Л.-Г.* (1785—1871) — был связан с берлинскими литературными кругами, сочинял путевые заметки, увлекался также устройством парков в своих поместьях.

Вы ведь через Путткамеров в родстве с господом богом — намек на Бисмарка. Его жена Иоганна — урожденная Путткамер.

Стр. 184. *Балафре* — меченый (*франц.*) — прозвище двух французских герцогов де Гизов (XVI в.), имевших шрам на лице. Здесь используется в том же значении.

...подумывает сделать свою белошвейчку Белой дамой. — Белая дама — персонаж из популярной тогда оперы французского композитора Ф.-А. Буальдье (1775—1834), в основу сюжета которой положена шотландская сага. Действие оперы происходит в замке Авенель. Имеется в виду, что Ринекер намеревается сделать Лену супругой.

Стр. 188. *Теперь давай съедем еще на пару двойной орешек* — обычай, пришедший из Франции: влюбленные съедают по половине двойного плода, что дает им право требовать поцелуя при встрече.

Стр. 191. *«Человек под железной маской»* — пьеса швейцарского писателя Генриха Цюкке (1771—1848), посвященная судьбе неизвестного узника Бастилии, который был освобожден Великой Французской революцией в 1789 году.

Стр. 200. *...хорошенькая вендка...* — Венды (они же сорбы) — западнославянская народность, населяют Лаузиц (теперь территория ГДР).

Стр. 201. *...при Старом Фрице, даже раньше еще, при солдатском короле...* — Старый Фриц — прусский король Фридрих II; солдатский король — Фридрих-Вильгельм I (1688—1740), отец Фридриха II.

Стр. 203. *...выписать бочку из Гейдельберга* — намек на гигантскую бочку, которую показывают в Гейдельберге как достопримечательность.

Стр. 205. *«Переход Вашингтона через Делавар», «Последний час Трафальгара»* — исторические полотна американского художника Беньямина Уэста (1738—1820).

Стр. 208. *Королева Изабо, мадемуазель Жанна и мадемуазель Марго, мадемуазель Агнес Сорель* — персонажи из трагедии Фридриха Шиллера «Орлеанская дева».

Стр. 209. *...обе дочери Тибо д'Арка...* — Жанна и Марго (см. коммент. выше).

Стр. 210. *Это, конечно, из «Дон Карлоса», но ведь можно раз в жизни обойтись и без «Девы»...* — Имеется в виду драма Фридриха Шиллера «Дон Карлос», а в последнем двусмысленном намеке вновь обыгрывается его же «Орлеанская дева».

Стр. 211. *Муж или мов* — французские марки шампанского.

Стр. 219. *Книги Сивиллы.* — Согласно сказанию, древнеримская пророчица Сивилла предложила королю Тарквинию девять оракульских книг. Когда он нашел цену за них слишком высокой,

она сожгла три из них и удвоила цену, затем сожгла еще три и снова удвоила цену, после чего король наконец купил три последние книги.

Стр. 220. *...как дочь полка* — намек на популярную в то время комическую оперу Гаэтано Доницетти (1797—1848) — «Мария, или Дочь полка».

Стр. 221. *Хинкельдей* Людвиг, фон — с ноября 1848 года берлинский президент полиции, крайне реакционная фигура, был застрелен на дуэли в Юнгфернхейде в 1856 году.

Стр. 228. *Гольбейновская мадонна*. — Имеется в виду «Мадонна бургомистра Мейера» знаменитого немецкого художника Ганса Гольбейна Младшего (1497—1543), хранившаяся в дрезденском Цвингере.

«Мосье Геркулес» — популярный фарс Жоржа Белли (1836—1875).

Стр. 235. *«Тысяча три»* — слова из известной арии Лепорелло в опере Моцарта «Дон-Жуан».

Стр. 238. *Меннониты* — секта, получившая свое название по имени фризского священника Менно Симонса (XVI в.).

Ирвингианцы — последователи учения шотландского священника Эдварда Ирвинга (1792—1834). Члены этой секты стремились к обновлению религиозной жизни в духе учения апостолов и верили в скорое наступление конца света и Страшного суда.

Стр. 250. *Николаевский полк*. — Кирасирский полк, расквартированный в Бранденбурге-на-Хавеле, носил имя русского царя Николая I.

Стр. 268. *«Вандалы»* — аристократическая студенческая корпорация в Гейдельберге. *Валгалла* — небесное обиталище древнегерманских богов, куда попадают также павшие в борьбе герои.

Стр. 278. *Кёниггрец* — место решающего сражения между австрийцами и пруссаками в 1866 году.

Стр. 280. *...несчастный король... приходился свекром королеве Луизе...* — Речь идет о супруге короля Фридриха-Вильгельма III. Реплика, вложенная Фонтане в уста героини, глубоко иронична, так как широко известны были любовные похождения самой королевы Луизы.

Стр. 283. *А где же венки?* — По обычаю, венки на голове может иметь только невеста-девушка.

Госпожа Женни Трайбель

Роман задуман в конце 80-х годов и завершен в начале 1892 года. Еще до окончания начал печататься в газете «Дейче рундшау», а в октябре того же года вышел отдельной книгой в берлинском издательстве Фридриха Фонтане, сына писателя.

Действие романа, по всем приметам, происходит летом 1886 года, частично в нем нашли отражение и события 1887—1888 годов, то есть время действия отдалено от времени появления книги всего пятью-шестью годами. Фонтане описывает здесь берлинские круги, близкие или хорошо ему знакомые, даже место действия — улицы и районы Берлина, досконально известные писателю. Все герои имели своих прототипов, ситуации были заимствованы из жизни, — об этом свидетельствуют черновые материалы и письма Фонтане.

Стр. 289. *Камера сословий* — палата, регистрировавшая изменения сословной принадлежности граждан и рассматривавшая прошения о возведении в дворянство.

Стр. 294. *«Парсифаль»* (ок. 1210 г.) — стихотворный роман Вольфрама фон Эшенбаха, одна из вершин немецкого рыцарского романа. Изучение литературы средних веков — одна из прерогатив «романтиков», в отличие от «классиков», которые посвящали себя изучению античной литературы.

Стр. 296. *Конгард* Карл, фон (1731—1791) — немецкий архитектор эпохи раннего классицизма, с 1765 года работал по заказам Фридриха II.

Кнобельсдорф Г.-В., фон (1699—1753) — архитектор и художник, строил берлинскую оперу и дворец Сан-Суси.

Хустер — владелец «Английского дома», изысканного ресторана в Берлине.

Стр. 297. *«Берлинер тагеблатт»* — газета либерального направления, основана в 1872 году. К ней имелось еженедельное юмористическое приложение, его любимой фигурой был «бездельник Нунне», которому приписывались многочисленные изречения и остроты. *«Дейчес тагеблатт»* — берлинская консервативная газета, основана в 1880 году.

Вендская Шпрее. — Так называлась река Даме в том месте, где она впадает в Шпрее, близ Кёпеника.

Зингер Пауль (1844—1911) — берлинский фабрикант, ставший позднее одним из лидеров немецкой социал-демократии в годы ее преследования Бисмарком. С 1884 года депутат рейхстага.

Буггенхаген. — В ресторане Буггенхагена встречались берлинские политики и часто устраивались политические собрания.

Стр. 302. ...«как лань желает к потокам воды...» — Трайбель шуточно цитирует Ветхий завет (Псалмы, 41, 2).

Подумать только, корабль «Виктори», Вестминстерское аббатство! — «Виктори» — победа (англ.) — название флагманского корабля адмирала Нельсона. *Вестминстерское аббатство* — собор в Лондоне, место погребения королей, государственных деятелей, поэтов и многих выдающихся людей Англии.

Стр. 303. ...*работы профессора Франца.* — Франц Юлиус (1824—1887) — известный берлинский скульптор.

Рейнхольд Бегас (1831—1911) — модный высокооплачиваемый берлинский скульптор.

Стр. 305. ...«в стране обычай есть такой» — переиначенные слова Гретхен из «Фауста» Гете.

Стр. 306. *Чех Г.-Л.* — бургомистр города Шторкова, в 1844 году по личным мотивам совершил покушение на жизнь прусского короля Фридриха-Вильгельма IV. В годы перед революцией 1848 года была весьма распространена анонимная сатирическая «Песня о Чехе».

Георг Гервег (1817—1875) — известный революционно-демократического направления эпохи революции 1848 года и начала рабочего движения в Германии. Приведенные ниже цитаты взяты из сборника Гервега «Стихи живого человека» (1841).

Стр. 307. ...*Гервег даже в Шарлоттенбург к нему ездил...* — В 1842 году Фридрих-Вильгельм IV предоставил аудиенцию Гервегу и имел с ним беседу. Этот визит оппозиционного поэта к королю произвел весьма неблагоприятное впечатление на демократическую общественность.

...но если есть на свете человек, который отнюдь не желает героически слиться с вечностью... — намек на следующий эпизод революции 1848 года: в апреле Гервег во главе отряда добровольцев выступил из Франции, чтобы помочь швабским повстанцам. Отряд был разбит, почти все участники похода погибли, Гервег спасся бегством. Его враги распространяли легенду, что он трусливо бежал еще до начала боя.

«Золото — это только химера» — крылатые слова из популярной оперы немецкого композитора Мейербера «Роберт-дьявол» (1831), текст Скриба.

Стр. 308. *Сентенции из Бюхмана*. — Г. Бюхман издал в 1864 году ставший классическим сборник «Крылатые слова».

Стр. 309. ...«послушный долгу, не порыву чувства» — цитата из драмы Шиллера «Мессинская невеста» (I, 1).

Людвиг Лёве — берлинский промышленник, деятельный член либеральной Немецкой прогрессивной партии, с 1878 года член рейхстага.

«Дубовый венок» — награда за гражданскую доблесть.

Стр. 311. ...не удалось бы выиграть свою битву на Ниле. — В сражении при Абукире (на Ниле) 1 августа 1798 года адмирал Нельсон одержал решающую победу над французским флотом, которым командовал Наполеон Бонапарт.

Стр. 312. *Теория «железа и крови»* — название агрессивной политики силы, провозглашенной Бисмарком и проводимой им при объединении Германии сверху. Лозунг «Железом и кровью» впервые был высказан Бисмарком в речи, произнесенной в прусском парламенте 30 сентября 1862 года.

Ян Ф.-Л. (1778—1852) — основатель первых в Германии гимнастических и спортивных организаций. Его называли «папаша гимнастики Ян».

Стр. 313. *Леттевский союз* — «Союз содействия профессиональному образованию женщин»; был создан в Берлине в 1866 году либеральным юристом и политиком В.-А. Летте.

Стр. 318. *Мейнингенцы*. — Генерал Бернгард фон Саксен-Мейнинген был с 1878 года мужем принцессы Шарлотты, дочери императора Фридриха III.

Стр. 319. ...в атмосфере Молькенмаркта... — Возле Молькенмаркта находилась берлинская тюрьма.

Леди Мильфорд — любовница князя в драме Шиллера «Коварство и любовь».

Стр. 320. ...разбойников из клана Квитцовых... — Квитцовы — старинный дворянский бранденбургский род, прославившийся своими разбойничьими набегами. В XIV—XV столетиях Квитцовы буквально терроризировали страну и в начале XV века возглавляли борьбу бранденбургского дворянства против курфюрста из дома Гогенцоллернов. Для Фонтане Квитцовы — символическое название современных ему восточнопрусских юнкеров, не до конца преодолевших свое разбойничье прошлое. Пьеса «Квитцовы» Эрнста фон Вильденбруха, посвященная упомянутому выше восстанию XV века, была поставлена в Берлине в 1888 году.

Стр. 321. ...состоится ли моральное очищение Фридрихштрассе? — На Фридрихштрассе в Берлине во времена Фонтане находилось множество увеселительных заведений и публичных домов.

Стр. 322. «Уничтожьте гадину» — слова Фридриха II из письма к Вольтеру, в котором речь идет о католической церкви. Воль-

тер сделал эти слова антиклерикальным лозунгом французского Просвещения. В 70-е годы, в эпоху борьбы Бисмарка с клерикальной оппозицией и так называемого «Культуркампфа», этот лозунг вновь приобрел актуальность.

Стр. 322. *«Улетел мой покой...»* — слова из песни Маргариты в первой части «Фауста» Гете.

«Лесной царь» — песня Шуберта на слова Гете. Далее в тексте упомянуты названия двух известных баллад И.-Н. Фогля (1802—1866) и М. фон Эра (1806—1846), положенных на музыку Карлом Лёве, творцом немецкой песни-баллады.

Стр. 324. *«Ручеек»*, *«Я вырезаю на коре...»* — названия песен из цикла «Прекрасная мельничиха» (1820) Вильгельма Мюллера, музыка Франца Шуберта.

...обе Миланоло... — Сестры Миланоло, Тереза (1827—1904) и Мария (1832—1848), — итальянские скрипачки, прославленные вундеркинды.

Стр. 328. *...башню с музыкальными часами...* — Музыкальные часы с тридцатью семью голландскими колоколами были установлены на одной из берлинских церквей, построенной в 1695—1703 годах. Колокола наигрывали мелодию арии Папагено из оперы Моцарта «Волшебная флейта» («Всегда будь верным, честным будь...»).

Стр. 329. *...о том «канадце, что еще не знал...»*. — Коринна цитирует начало известного стихотворения «Дикарь» (1801) Иоганна Готфрида Зойме.

Стр. 330. *Руппиновская печатная картинка.* — В издательстве «Густав Кюн в Новом Руппине» печатались известные иллюстрации к событиям дня, очень популярные в провинции Бранденбург.

Стр. 331. *Коринна на Капитолии* — намек на героиню романа мадам де Сталь «Коринна, или Италия» (1807).

Мадай Г. — с 1872 по 1885 год начальник берлинской полиции.

Стр. 333. *«Семеро греческих храбрецов»* — аналогия к полугендарным семи греческим мудрецам, которым молва приписывает многие афоризмы житейской мудрости.

«Знамя семи стойких» — новелла крупнейшего швейцарского писателя Готфрида Келлера (1819—1890).

Стр. 334. *«Все Дугласы верность умеют хранить»* — цитата из стихотворения Фонтане «Восстание в Нортумберленде», написанного на сюжет английской народной баллады.

Эдуард фон Гартман (1842—1906) — один из последователей философа Шопенгауэра (1788—1860), приобрел широкую известность благодаря своей «пессимистической этике».

Стр. 335. *...остановились на первом короле...* — Речь идет о Фридрихе I, с 1688 года — курфюрсте Бранденбургском, с 1701 года — короле Пруссии.

Стр. 336. *...под покровы саусского изваяния...* — Согласно древнегреческому сказанию, в египетском городе Саисе поклонялись статуе божества, скрытой под покрывами от людских взоров. В стихотворении Шиллера «Саусское изваяние под покрывом» оно трактуется как истина.

Стр. 337. *Родегаст С.* (1649—1708) — с 1698 года ректор одной из известных берлинских гимназий.

Стр. 338. *«В того невольно верят все...»* — цитата из «Фауста» Гете (I, 2021).

Сражение под Шпихерном — одна из первых битв франко-прусской войны на Шпихеровских высотах.

Панч — любимый персонаж английского кукольного театра.

«Кладерадатч» — широко известный сатирический еженедельник, основанный в Берлине в 1848 году. При возникновении имел либеральную ориентацию, но скоро стал полностью поддерживать политику Бисмарка.

Стр. 339. *«Уходит старое, не то уж время»* — цитата из драмы Шиллера «Вильгельм Телль» (IV, 2).

Раскопки Генриха Шлимана в Микенах. — Генрих Шлиман (1822—1890), знаменитый немецкий археолог, выбился из низов, не имел университетского диплома и достиг всего в результате самообразования. Его наивысшие достижения — открытие исторической Трои (1870), а также гробниц и крепостных сооружений в Микенах (1874). Его книга «Микены» вышла в Лейпциге в 1878 году.

...если он вдобавок докопается до Агамемнона и будет искать трещину в черепе — память об ударе Эгисфа... — Согласно древнегреческим сказаниям, Агамемнон, царь Микен, по возвращении из Трои после победоносной Троянской войны был убит своей женой Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом.

Стр. 340. *Пугающее родство между Тевтобургским лесом и грубостью...* — В Тевтобургском лесу (9 г. н. э.) германцы под водительством Арминия уничтожили три римских легиона. Здесь Тевтобургский лес — символическое обозначение германского варварства.

Макс Пикколомини — герой драмы Шиллера «Смерть Валленштейна».

...предки Ореста и Ифигении. — В древнегреческой мифологии Орест и Ифигения — дети Агамемнона, сына царя Атрея.

Вирхов Р. (1821—1902) — известный берлинский ученый, врач и патологоанатом, один из основателей либеральной Прогрессивной партии и противник политики Бисмарка.

Стр. 344. *Верно, — подтвердил Этьен.* — *Жорж Занд.* — Приведенное ниже выражение «Понять значит простить» принадлежит не Жорж Занд, а мадам де Сталь.

...хоть немножко ради Альфреда де Мюссе... — Французский писатель Альфред де Мюссе был возлюбленным Жорж Занд.

Стр. 345. *Дух Банко.* — В трагедии Шекспира «Макбет» убийце стал являться дух убитого военачальника Банко.

Стр. 346. *«В дни юности легко понять, что право...»* — цитата из «Смерти Валленштейна» Шиллера (II, 2).

Стр. 347. *Румор К.-Ф., фон* (1785—1843) — немецкий писатель и историк искусства, считался авторитетом в гастрономических вопросах.

Князь Пюклер-Мускау — см. коммент. к стр. 182. В его владениях Мускау и Браниц им были разбиты получившие широкую известность сады и парки. Под именем Семилассо князь публиковал описания своих путешествий. Он действительно привез с собой купленную им в Абиссинии рабыню-негритянку.

Стр. 349. *«обещанных субсидий нет притока...»* — цитата из «Фауста» Гете (II, 4832).

Стр. 352. *«как просто говорю я о великом...»* — слегка измененная цитата из драмы Гете «Ифигения в Тавриде» (I, 3).

Стр. 352. «Кубок», «Хождение на железный завод» — баллады Шиллера.

Стр. 353. *Гретна-Грин* — деревушка в Шотландии вблизи английской границы, куда ездили, чтобы легко, без обычных формальностей и без родительского благословения, сочетаться браком.

Брюкнер Б.-Б. (1824—1905), *Кёгель Р.* (1829—1896) — влиятельные берлинские проповедники и духовные лица в высоких чинах.

Стр. 354. «...мощный корень сил твоих таится» — цитата из «Вильгельма Телля» Шиллера (II, 1).

Стр. 362. ...получила графство при короле Христиане. — Датский король Христиан IV (1577—1648) прожил четырнадцать лет в мorganатическом браке с Христианой Мунк, которой он дал графский титул.

Стр. 365. *Карл фон Айхенхорст* — герой известной баллады (1778) немецкого поэта Г.-А. Бюргера.

Стр. 367. *Шперль* — владелец ресторана в Трештове под Берлином.

Стр. 368. *Йости* — хозяин старинного кафе на Потсдамской площади в Берлине.

«Молоко благочестивых мыслей» — цитата из «Вильгельма Телля» Ф. Шиллера (IV, 3).

Стр. 372. *Бернауский* военный корреспондент — комическая фигура из популярного берлинского сатирического листка «Осы». Корреспондент Випхен присылал свои лихие корреспонденции не с поля военных действий, а из Бернау под Берлином.

Слова Монтекукули о ведении войны... — Германский фельдмаршал Р. фон Монтекукули (1609—1680), по преданию, утверждал, что для ведения войны необходимы три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги.

«...среди чудищ единственной доброй душой» — цитата из баллады Шиллера «Кубок».

Стр. 373—374. ...он нарочито избегает слова «центр»... — намек на буржуазно-католическую партию центра, основанную в 1871 году.

Стр. 374. «Я своих паппенгеймцев знаю» — слегка измененная цитата из драмы Шиллера «Смерть Валленштейна», ставшая крылатым выражением.

«*Национальцейтунг*» — берлинская либеральная газета, основанная в 1848 году, позднее орган национал-либеральной партии Бисмарка.

Стр. 375. ...господин из породы Мальволио... — Мальволио — персонаж из комедии Шекспира «Двенадцатая ночь».

...метода есть и в безумии — измененная цитата из «Гамлета» Шекспира (II, 2).

...можно быть хорошим человеком и плохим музыкантом... — изречение из комедии Клеменса Брентано «Понс де Леон» (V, 2), ставшее крылатым выражением.

Стр. 376. ...заодно со свободными консерваторами. — Свободная консервативная партия была основана в 1866 году и представляла в парламенте интересы бисмарковской группировки — юнкерства и крупной буржуазии.

Стр. 377. *Геновеа, Сусанна* — персонажи из немецких народных книг, символы непорочности и невинности.

...«стремиться к этому — уже немало» — вольная цитата из элегии древнеримского поэта Проперция (II, 10, 6).

Стр. 381. «Тем наслаждайся, что имеешь!» — по-видимому, измененная цитата из песни К.-Ф. Геллерта (1715—1769) «Довольство своим состоянием».

«Зихен», «Тяжелый Вагнер» — берлинские пивные бары того времени, популярные в артистических кругах.

Стр. 384. ...ибо у нас существует Бранденбургская школа... — По-видимому, Фонтане имеет в виду прежде всего художника Вальтера Лейстикова (1865—1908), открывшего для живописи прелесть бранденбургского пейзажа. Слова «непревзойденные мастера светотени», несомненно, относятся и к берлинским импрессионистам (Либерман, Скарбина и др.).

«...да не будет этого от меня» — цитата из Ветхого завета (2-я Книга Царств, 20, 20).

Паульсборн — владелец ресторана вблизи замка Груневальд. «Песья глотка» — ресторан в Груневальде, любимое место отдыха берлинцев.

«Признательность династии Австрийской» — цитата из драмы «Смерть Валленштейна» Шиллера (II, 6).

Стр. 386. «Во Францию два гренадера...» — начало стихотворения Г. Гейне «Два гренадера».

Стр. 387. ...словом, «внутренний Дюпнель» брака... — Укрепления у датской деревни Дюпнель были в 1864 году, после кровопролитных боев, взяты прусскими войсками. Выражение «внутренний Дюпнель» было употреблено тогда же в одной из газетных статей и стало крылатым словом.

Отто Трайбель на снегу перед замком в Каноссе. — В январе 1077 года император Генрих IV провел три покаянных дня в заснеженном дворе крепости Каносса в Северной Италии, где в это время пребывал папа Григорий VII. После этого акта покаяния папа снял с Генриха IV церковное проклятие и признал его императором. Фраза Бисмарка во время «Культуркампфа» «в Каноссу мы не пойдем» сделала слово «Каносса» необыкновенно популярным в те годы.

«Не знаю, что это значит...» — начало знаменитого стихотворения Г. Гейне «Лорелея», положенного на музыку Ф. Мендельсоном-Бартольди.

...«сказка вашей жизни» — намек на заглавие автобиографической книги Г.-Х. Андерсена «Сказка моей жизни» (1847).

Стр. 394. «Если по тебе тоскую...» — строфа из стихотворения «Лунный свет» (1831) немецкого поэта Н. Ленау.

Стр. 414. Юбилейная выставка — художественная выставка, состоявшаяся в Берлине в мае 1886 года по случаю столетнего юбилея первой берлинской художественной выставки.

«Яичная скорлупка» — загородный ресторан на Верхней Шпрее, место отдыха берлинцев.

Стр. 418. И должно же было это случиться именно в Груневальде. — Фонтане намекает на населявшее эти места в средние века бранденбургское дворянство, прославившееся своими разбойничьими набегами.

Стр. 422. ...читал Гете (что именно, нетрудно догадаться)... — Фонтане намекает на то, что Леопольд читал «Германа и Доротею» Гете.

Стр. 424. ...о водосбросных каналах и радиальной системе...— В те годы это были модные темы для разговоров в связи со строительством разветвленной подземной канализационной системы в Берлине.

Стр. 427. *Зал Корнелиуса*.— В этом зале были выставлены главным образом картины Петера Корнелиуса (1783—1867) для стенной росписи в усыпальнице королевской семьи; роспись осуществлена не была. *Предела* — часть большой алтарной фрески с изображением Страшного суда, которую Корнелиус написал для Людвигскирхе в Мюнхене. В Национальной галерее находится эскиз этой картины.

Стр. 434. «*Codex argenteus*» — название западноготского перевода Евангелия епископа Ульфила (IV в.). Книга была написана серебряными и золотыми буквами на красном пергаменте, отсюда ее название.

Стр. 436. *Маленький рассказ Гейзе* — новелла Пауля Гейзе «Незабываемые слова» (1883).

Стр. 438. «...разум опять возобладал в ней» — цитата из «Фауста» Гете (I, 1198).

«...потому что все согрешили...» — цитата из Нового завета (Послание к римлянам, 3, 23).

«*Стань тем, кто ты есть*» — цитата из второй оды древнегреческого поэта Пиндара (ок. 518—446 гг. до н. э.).

«*Шаг в сторону*» — популярная в то время комедия Эрста Вихерта (1872).

Стр. 439. *Чиновники судебной палаты, слава тебе господи, всегда питали склонность к литературе* — намек на Э.-Т.-А. Гофмана и Вильгельма фон Меркеля (1803—1861), бывших советниками апелляционного суда.

Стр. 440. *Император, наш старый Вильгельм, снимает с себя этот сан...*— Со времен Реформации в протестантских странах глава государства являлся одновременно верховным епископом в стране. В мае 1886 года группа консервативных депутатов выступила с проектом большей самостоятельности церковных властей. Однако сан епископа остался у императора.

Стр. 443. ...как сын владельца углового дома...— Угловой дом считался в Берлине особенно выгодным владением. «Он дурак, но у его отца угловой дом», — с этой формой признания я не могу более смириться» (Фонтане — к дочери Марте, 25 августа 1891 г.).

Стр. 444. ...как с гегевским певцом...— намек на балладу Гете «Певец», где наградой певцу является «лучший кубок вина».

Аристомен — легендарный царь Мессенин.

Стр. 445. «*Шкатулка с драгоценностями немецкой нации*» — выдуманное название по аналогии со «Шкатулкой с драгоценными добрыми советами» В. Шпемана (1887).

«*Используй день!*» — знаменитая цитата из оды Горация (I, 11, 8).

«...то, что ты хочешь сделать...» — цитата из Нового завета (Евангелие от Иоанна, 13, 27).

«*Больше света*» — по преданию, последние слова Гете.

Стр. 446. *Треббин* — городок в Бранденбурге, любимый Фонтане.

Н. Берновская

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Фрадкин. «Человеческая комедия» Теодора Фонтане</i>	<i>3</i>
<i>Шах фон Вутенов. Перевод Наталии Ман</i>	<i>25</i>
<i>Пути-перепутья. Перевод С. Фридлянд</i>	<i>143</i>
<i>Госпожа Женни Трайбель, или «Сердце сердцу весть подает». Перевод С. Фридлянд (главы 1—8) и Е. Вильмонт (главы 9—16)</i>	<i>285</i>
<i>Комментарии Н. Берновской</i>	<i>447</i>

ТЕОДОР ФОНТАНЕ

*Шах фон Вутенов
Пути-перепутья
Госпожа Женни Трайбель*

Редактор *Е. Маркович*
Художественный редактор *Л. Калитовская*
Технический редактор *С. Журбицкая*
Корректоры *Г. Асланянц и Н. Гористова*

Сдано в набор 7/V-1971 г. Подписано к печати 17/VIII-1971 г.
Бумага тип. № 3. 84×108¹/₃₂. 14,5 печ. л. 24,56 усл.
печ. л. 26,69 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ 2045.
Цена 98 коп.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28

OCR Давид Титневский, апрель 2020 г., Хайфа

0-98
198998 173

